



НЕВА

2
2020

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Евгений СТЕПАНОВ

Стихи • 3

Елена КРЮКОВА

Иерусалим. Роман • 8

Константин КОМАРОВ

Стихи • 115

Татьяна ОКОМЕНЮК

Расстрельный список. Сосед. Рассказы • 120

Андрей ДМИТРИЕВ

Стихи • 138

ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ

Шавкат АХМЕДОВ

Вот и до кишлака Кучкак дошла проклятая война.
Махбуба-разведчица. Рассказы • 144

Юрий ИВАНОВ

Моя послевоенная деревня. Рассказ • 155

ПУБЛИЦИСТИКА

Евгений БЕРКОВИЧ

Слезы Гейзенберга, или Неопределенность
принципа неопределенности.
Об одном эпизоде из истории квантовой механики • 164

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

К 100-летию Федора Абрамова

Олег ТРУШИН

«И где гарантия, что с нами ничего не случится?» • 177

Сергей ДОМОРОЩЕНОВ

Как нужна нам «преходящая» литература!.. • 198

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Территория памяти. *Вера Харченко.* Память о войне: семейные нарративы 75-летней давности, фрагменты истории, судьбы. **Искусство чтения.** *Игорь Шумейко.* Крокодилер (литература двойного назначения).

Книжный остров. *Публикация Елены Зиновьевой* • 223

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Обители Афона. *Часть 7* • 245

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).*

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

Евгений СТЕПАНОВ

ИМЯРЕК

Идет, забыв обиды,
Глядит, глядит окрест
Советской Атлантиды
Стареющий адепт.

Глаза сверкают нервно,
Неясность впереди.
Но галстук пионера
Сияет на груди.

Сияет, точно знамя,
Как символ давних лет,
Где люди жили, зная:
Бар и холопов нет.

И можно было верить:
Добро сильнее зла.
Без лишней фанаберий,
Спокойней жизнь текла.

Хорошей перспективой
Не брезжит новый век.
...Идет-бредет красивый
Советский имярек.

ЛЮ

Сеть — это сеть, фейсбук не ласков.
Спаси помилуй жить в сети
И ждать, как милостыни, лайков.
Так можно и с ума сойти.

Евгений Степанов (1964) — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университет христианского образования в Женеве и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Публикуется с 1981 года. Печатался в журналах «Нева», «Звезда», «Подъем», «Урал», «Дружба народов», «Знамя», «Наш современник», «Арион», «Интерпоэзия», «Юность», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига («Литературная газета») и премии журнала «Нева». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

Суть — это суть, до самой сути
Дойти — тщеславье и тщета.
Один живет в тепле, уюте,
Другой сгорает, как щепка.

Смерть — это смерть, и Черной речки
Не избежит большой поэт.
Смерть — это смерть, не даст осечки
Глобальный черный пистолет.

Но жизнь не кончилась покуда,
Еще далек Армагеддон.
Жизнь — это жизнь, я верю в чудо.
Капель звенит: дин-дон, дин-дон.

Пускай пока мертвецким снегом
Покрыта плоть живых аллея,
Свет — это свет, лучится светом
Душа возлюбленной моей.

БАБОЧКА БРЭДБЕРИ

И превращается в мурло	И зреет взрыв, и млеет тля,
Лицо — бессовестно и шустро.	Не обделенная клыками.
— Вранье-предательство-бабло, —	И возмущается земля
Сказал бы нынче Заратустра.	На фоне пламенных цунами.

На фоне каменных палат
Растет сорняк невероятный.
А бабочка порхает над
Добром и скверной.

КУЗНЕЦОВ

Кузнецов повзрослел, не перечит
Болтунам, не скулит, точно пес.
Время лечит? Наверное, лечит.
Впрочем, часто калечит — всерьез.

Кузнецов повзрослел и не хочет
Лишних благ, лишних дел, лишних фраз.
И успехов себе не пророчит,
Но живет, как умеет, — сейчас.

Кузнецов повзрослел, и шумиха
Не нужна никакая ему.
Он живет очень просто и тихо
В деревянном своем терему.

ОБ ЭТОМ И О ТОМ

Я в весеннем лесу пил березовый сок...

Е. Агранович

Сколько было в жизни выкрутасов — Неужели я настолько глуп? Ведь не пью, как Бари Алибасов, Жидкость для прочистки грязных труб.	Годы ускользающие... где вы? Память приключения хранит. Кто я был? Студентик из Женевы. Кто я был? Парижский ушлый гид.
Сколько в землю золотых зарыто — Ничего не выросло потом. Сяду у разбитого корыта — Помолчу об этом и о том.	Не сидел я сиднем в теплой норке, На свою планиду не серчал. Ну, а как годами жил в Нью-Йорке, Расскажу, пожалуй, не сейчас.
Страх и горечь сердце оковали. Я устал, и закрома пусты. Я ловил рыбешек в океане, А поймал русалочки хвосты.	Все банально. Я искал удачу, Покоряя глянцевою даль. А теперь... Печальный, чуть не плачу — Времени утраченного жаль.
Так судьба сложилась кочевая — Я увидел этот мир сполна, Каждый раз — на время — получая Новые — как страны — имена.	Нет того, что было мной искомо. Ни в какие дали не хочу. Я вернулся. Я отныне дома. Дома и печали по плечу.

МОЛИТВА

Я смешной и хилый,
Я упал плашмя.
Господи, помилуй
Мя!

Чтобы с новой силой
Быть всегда в пути.
Господи, помилуй,
Господи, прости!

ВСЕ ПРАВЫ

Шанс на триумф, нет забавнее шанса.
Надо спешить, ибо время не ждет.
— Это успех, — говорит Санчо Панса.
— Тягостный грех, — говорит Дон Кихот.

Жизнь не изюм, и нужна передышка.
Без передышки — каюк и кирдык.
— Это привал, — восклицает мальчишка.
— Это провал, — отвечает старик.

Трудно незнайке в компашке всезнаек.
Трудно добиться серьезных побед.
— Это итог, — замечает прозаик.
— Это исток, — восклицает поэт.

СВОЕ МЕСТО

Я сам себе тюрьма...
А. Р.

Я часто наблюдал,
Как битый-перебитый
Вчерашний маргинал
Становится элитой.

Я часто видел, как
Вчерашняя элита
Уходит в полумрак,
Становится забыта.

Константы нет. Я рад,
Что не бежал за модой.
Я понял: первый ряд
Грозит бедой-невзгодой.

Я понял, что свое
Всего дороже место.
Мне по фигу вранье
Условного «Нацбеста».

Я не сошел с ума —
Мне лишнего не надо.
Я сам себе тюрьма.
И сам себе награда.

ЦЕЛЬ

Так есть и будет, времена
Одни и те же год от года.
Цель дурака — конфликт, война.
Цель мудреца — продление рода.

Сон — это жизнь. Жизнь — это сон.
И как показывает опыт,
Цель графомана — микрофон.
А цель поэта — внятный шепот.

Кто тень наводит на плетень,
Тот чушь городит на смех курам.
Цель подмастерья — э т о т день.
Цель мастера — прорыв, футурум.

МОЯ ЖИЗНЬ

Беру свое по праву
И не беру чужого.
И не лелею славу.
Лелею слово.

Проходят дни и ночи —
Щетина поседела.
И стала речь короче.
И не погибло дело.

ДВИЖЕНИЕ

Слава богу, никаких наград.
Слава богу, не с горы, а в гору.
Стихотворный простенький наряд,
Слава богу, впору.

Не имею права на болезнь,
Но имею право на аскезу.
Сам себя я говорю: «Не лезь
На рожон!»

Но лезу, лезу.

НА ЛАДОНИ

Жизнь? И ладно — и маюсь покуда.
Смерть? И ладно — законный удел.
Я не жалуясь, я не зануда.
Это чудо — я жил, как хотел.

Это нынче я краток и кроток,
А когда-то растрчивал пыл.
И любил худощавых красоток
И красоток потолще любил.

Я по кругу бежал, точно пони,
Но порой выступал как факир.
И учился держать на ладони
Необъятный (и крошечный) мир.

Елена КРЮКОВА

ИЕРУСАЛИМ

ХОЖДЕНИЕ ПО ГОРЮ И РАДОСТИ СВЯТОЙ ВЪРЫ,
МОНАХИНИ ГОРНЕНСКАГО ЖЕНСКАГО
МОНАСТЫРЯ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛѢ ВЪ ИЕРУСАЛИМѢ,
А ТАКЖЕ ПРАВДИВОЕ И ДОСТОЙНОЕ СКАЗАНИЕ
ЧУДЕСЪ, ЧТО СЪ ТОЮ СВЯТОЙ ВЪРОЙ
ВЪ МИРѢ СРЕДЬ ЛЮДЕЙ ПРИКЛЮЧИЛИСЯ

ХОЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ. ПАЛОМНИЦА

Крест мой — черный крест. Укрась его зимою, как елку.
Воткни в сугроб. Я погляжу окрест.
Тьма непроглядная — руки мои осязают праздник земной,
и стоять недолго
Черной елкой, в крестовине боли,
светлейшею из невест.

Крест мой — он только мой. Я его не покину.
Мрак живых ладоней безлюден, беспрогляден и наг.
Вознесу молитву праотцам, Отцу и Сыну,
а Дух Свят — алмазным снегом: у врат полночных
на коленях, бедняк.

Ночь ног, пыль миров, волосы мои инеем схватит.
Голая, после прожитой жизни, вишу на кресте

Елена Крюкова — поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Родилась в Самаре. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публикации: «Новый мир», «Нева», «Знамя», «Дружба народов», «День и ночь», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «Зинзивер», «Слово», «Дети Ра», «Волга», «Юность» и др. Автор книг стихов и прозы (романы «Юродивая», «Врата смерти», «Тибетское Евангелие», «Рай», «Беллона», «Солдат и царь», «Русский Париж», «Пистолет», «Царские врата» и др.). Лауреат премии им. М. И. Цветаевой («Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» (Санкт-Петербург) за лучший роман 2012 года («Врата смерти», № 9 2012), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012). Лауреат региональной премии им. А. М. Горького («Серафим», 2014), Пятого и Седьмого Международных славянских литературных форумов «Золотой витязь» («Старые фотографии», 2014; «Солдат и царь», 2016), Международной литературной премии им. И. А. Гончарова («Беллона», 2015), Международной премии им. А. И. Куприна («Солдат и царь», 2016). Дипломант литературной премии им. И. А. Бунина («Поклонение Луне», «Беллона», 2015).

и едва дышу, и уже не дышу, и до Воскресения хватит
меня одной — голодному миру — куска огненной жизни
в седой пустоте.

Я чернею великой скорбью. Я вижу время.
Крепко жмурюсь: а вот это видеть нельзя.
Голой елкою, без бус и гирлянд, без медовых свечей,
я стою, лечу надо всеми,
над пророчествами всеми своими
по дегтярному небу
слезным алмазом скользя.

Я всего лишь человечница, не ангелица,
я всего лишь паломница в степь,
где планет плачет волчий полынный вой,
где мой Бог сможет, распятый, укусом,
как дамасским вином, упиться —
всем избитым, в крови, бессмертием
наклонясь надо мною, живой.

Глубокой и беспроглядной ночью, когда за изломом улицы, за ее крутым, почти под прямым углом, бешеным поворотом дымливо и сутемно курился январский Енисей, Вера Емельяновна Сургут собралась в Иерусалим.

Квадрат окна слишком жестко, безвыходно очерчивал ее мир — в лицо его, то бело-серебряное, то золото-осеннее, то мрачное, чернее угля, то слишком синее, синее купороса, она, изнутри нищего жилища, глядела то и дело. Вера Емельяновна жила одна, и это было хуже всего. Ночью она часто боялась умереть: просыпалась и прислушивалась к себе, к гулкому и частому биению сердца. Врач из районной поликлиники, с виду схожей со старинной дощатой ладьей — Вера видела такую лодку в музее, еще ребенком, — вздыхал глубоко: «Тахикардия у вас, голубушка, несчастненькое у вас сердечко! Трепыхается! Чем бы его таким вкусным подкормить, сердечко ваше голодное, ума не приложу. Давно ли у вас это трепыхание началось? А?» Вера не знала, что врачу отвечать: она не могла так глубоко нырнуть во время, чтобы обнаружить там исток недуга.

Долго сидела за столом, сторбившись, добрых полночи. Время вило над головой, потом стало валиться вбок, иставать, вспыхивать и гаснуть, теряться. Давно отгремел бодряцкий гимн по радио — приемник она никогда не выключала, черный ящик старательно и отчетливо играл парадную музыку в полночь и в шесть утра, — утих детский визг наверху, угас лай дальних собак, только сосед за стеной глухо и влажно покашливал — вечная простуда, а может, вечный табак, а может, вечная чахотка. Потеряв время совсем, она вздрогнула: явилась боль пропажи. С трудом встала. Протянула руки к окну. Руки Верины сами вцепились в погрязнелые, с золотой вышивкой, занавеси, знамена старых времен, хотели запахнуть поплотнее, чтобы не видеть света фонарей, их горящей тоски, — а вместо этого вдруг рванули ткань в разные стороны.

Угрюмый город. Беззвездная ночь. Дома шли вверх, все вверх и вверх, пытаясь каменными головами уткнуться в небо, — да все равно ростом не вышли, небо было шире, выше и дальше любого людского камня. Стрельчатые, треугольные, в виде столбов, с крышами острыми и плоскими, слепые, скорбные, а вот горят два окна, а вот мгновенно, резко вспыхивает непрерывная цепь огней, опоясывая узкую высотку. Домов

много. Убежища из железа и бетона, из огнеупорных кирпичей, и внутри них живет, спасается человек. Он спасается от смерти.

Вера, стоя у окна с распахнутыми руками, вдруг догадалась об этом.

И ее резко, быстро, быстрее вспышки снега под большим фонарным огнем, накрыла черный крест: все конечно. Конечно все. И все. Бесследно проходит все. И исчезает. Это как вода. Вон он, Енисей, — дымится, полоумный зимний вулкан, парит за чередой домов, что каменными коровами идут к нему на водопой. Люди сначала живут, потом умрут. Как это перенести?

Мысли простые, обычные. Нелепые, она еще не старая, кто-то над нею и посмеется, зайдет от смеха, если она расскажет об этом. Жалко самое себя стало? Ах ты, кошечка, за ухом чтобы почесали, захотелось?

Отступила от окна на шаг, другой. Взора не отводила от мрачного полотна в квадрате старой оконной рамы. Белого в сибирской ночи было больше, чем черного. Вера глядела, глядела, жадно, внимательно, зрачками вспарывала белые силки, что некрепко сшивали крыши и изгибистый чугун фонарей, тяжелые сугробы и мохнатые от густого куржака провода и карнизы. В такие лютые ночи погибают зимние птицы, комьями валясь с могучих разлапистых елей, со сверкающих пухом инея длинноиглых сосен. Вера вообразила себя такою птицей. И чуть было не упала перед окном, и выпустила из скрюченных пальцев шторы, и судорожно ухватилась за подоконник. Он холодом, как давно мертвый материн утюг, ожег ей ладони. Под фонарями взвивалась метель, и Вера чувствовала: через полчаса эта робкая вялица перейдет в мощную пургу, и пурга эта пожрет и дом, и город, и ее у страшного, в диких морозных узорах, окна, и Енисей, что там, за поворотом, гудит, ворчит и дымится. Адский зимний дым Енисея, с детства знакомый. Ребенком она пугалась, когда мать, больно вцепившись в ее детскую лапку, вытаскивала ее из-за поворота — после бани обе, женщина и девочка, шли, укутанные в шали, мать в большую, козью и дырявую старую шаль, дочушка в маленькую, кроличью, беленькую и новехонькую, — и Енисей разверзлся под ногами урчащей иззелена-серебряной пропастью, и далеко в ранней ночи маячила, вмерзала в заберег черная пристань, и к ней жался, в ее бок вжимался остроклювый грязный, с ярким белым номером на боку, катерок, железный цыпленок. Вера так же хотела вжаться в бок матери, укутанной в шаль и старую овечью шубу, прислонилась к ней, запнулась валенком за трубу поперек дороги и растянулась. Мать завопила благим матом: «А-а-а-а, ты нарошно, нарошно! опять за свои штучки! дрянь такая! вся в отца! вся! вся!» Отец Верин, она знала, ей соседка, безрукая Зита, нашептала, сидел в заключении далеко отсюда, на севере, в загадочном городе Туруханске. Вера на-smелилась и спросила однажды у матери, где это Туруханск. Она думала, мать на нее, по обыкновению, заполошно заорет, а мать тяжело, прерывисто вздохнула и выдавила, как едучую мазь из аптечного тюбика: «Это, дочка, в аду». — «А что такое ад?» — спросила Вера. Тут мать озлилась и прошипела: «Не твоего ума это дело».

В другой раз ей удалось выведать у матери, что ее отец жив, только живет в специальном месте, для преступников, кто захотел сделать плохо их любимой родной стране. «А оттуда убежать можно?» — робко шепнула Вера. Мать сидела на продавленном диване и шила. Пришивала цигейковый воротник к Вериной шубке. «Нет, дочь, там люди сидят в бараках, за решеткой, и по забору обкручена проволока колючая; кормят их баландой, будто бы свиньи они, и мрут все там, мрут как мухи. Может, и батька твой уж сдох давно. Или в затылок ему стрельнули». Мать шмыгнула и утерла нос ладонью. Уколола палец иголкой и выматерилась. Высосала из пальца кровь. Сплюнула на пол. Вера растерла подошвой на паркетине плевков. «Брось ты меня слушать. Бормочу я всякое. Вот отмотает срок и явится. И опять за старое: пить, гулять. Э-э-э-э-э!» — «Мама, а что такое виноград?» — без перехода спросила Вера. Мать скусила

нитку, долго отгрызала. Опять плюнула. «Ягода». — «А ее едят?» — «Едят». — «А ее продают?» — «Продают». — «Мам, купи мне!» Мать разгладила серую мышиную цигейку жесткой ладонью и громко выдохнула: «О Господи!»

«Кто такой Огосподи?» — тихо спросила Вера. И мать дала ей подзатыльник. Насильно, так, будто кошка смазала лапой, — чтобы отстала.

Отец так и не вернулся никогда.

Мать Верины жила долго и умерла в старости, вся сморщенная, бессильная, ходить уже не могла, от кровоизлияния в маленький усохший мозг — ее разбил паралич, скрутил ее в два дня, Вера и ахнуть не успела. Она не знала, как ухаживать за такими больными, и все клала матери на лоб мокрую тряпку, а потом в дверь ввалились соседки и наперебой стали тарыхтеть: «Разрабатывай ей руку, руку, руку в локте сгибай! ложку в пальцы засовывай, чтобы держала! выпустит, а ты опять засунь! упражняться надо, мышцы упражнять!» Ложка валилась на пол. Тарелка с супом падала, задевая локтем, разбивалась, суп разливался по тусклому паркету. Вера не помнила, сколько лет они с матерью жили в этом доме: всю жизнь. Она глядела на высохшее тощей рыбкой-чебаком тельце матери в гробу, обитом атласом цвета неба, и думала: «Вот и я так тоже когда-нибудь лягу и буду лежать и молчать». Одна соседка надела ее матери на шею крестик на грубом гайтане, другая всунула в сложенные руки образок величиной с дикое яблоко. До Троицкого кладбища доехали на автобусе — Вера тогда работала кондукторшей, и начальство автобусного парка милостиво выделило ей на похороны матери бесплатный автобус. Вера, пока на кладбище ехали, обводила мрачными глазами людей в автобусе: половину из них она не знала и уже не узнает никогда; кто они все были? Случайные прохожие? Голодные, возжаждавшие поминок со вкусной, с изюмом, кутьей? Матери старые друзья? Не было ни поминок в дешевой столовой, ни кутьи, ни водки. Не водилось таких денег у Веры. Сладкий кагор принесла соседка, что на груди покойницы уложила образок святителя Николая Чудотворца, а целую сумку булок — незнакомец, всклокоченный, как композитор Бетховен со старинной гравюры в Вериной детской книжке без начала и конца. Когда священник, молодой сивый парень, длинные волосы в косичку заплетены, в холодом храме отпелал усопшую рабу Божию, он осторожно вынул из ее синих скрюченных пальцев Николу Угодника. «Не положено с иконой святой в землю класть», — сурово сказал он и протянул святителя Николая молча, прямо стоявшей Вере. Вера слушала, как нараспев, печально говорит, а потом густым басом поет батюшка. Она не понимала тягучих древних, заковыристых слов. В школе их никто не учил, что есть на свете Бог; на свете был красный галстук, потом комсомольский значок, потом все оканчивали школу и забывали эти крики: «Будь готов!» — «Всегда готов!» — и салют под алым знаменем, что вилоьсь на холодном ветру на школьном дворе, на высоком, как мачта, флаштоке. Прямо на кладбище, как засыпали Верину мать землей, соседки раздавали из сумки булки, все отхлебывали из бутылки кагор, из темного стеклянного горла, и передавали другому. Прожевывали булку, пропитанную вином, и крестились. Вера не первый раз в жизни видела, как люди крестятся; и понимала, что вот теперь-то, когда мать родную хоронит, здесь, на Троицком кладбище славного города Красноярска, она должна послушно слепить пальцы в щепоть и наконец-то в жизни перекреститься; но стыдно ей было, и медлила она. Будто кто-то ее наотмашь должен был плетью хлестнуть по лицу — за то, что она здесь, на ярком, солнечном, резучем снегу, возьмет да широко, вольно на себя крест наложит. Зимний яркий, слишком синий, люто морозный день! Зима, все время зима. И мать умерла зимой. Вера глядела, как голодные люди торопливо жуют булки, как румянятся на морозе их щеки, как ходит, мечется из рук в руки темная, будто обожженный снаряд, бутылка, и вдруг ей почудилось, что не

на кладбище стоит она, а на рынке и все тут продают, что надо: и вино, и зимние плоды, золотые слепащие мандарины, и подгорелые пирожки, и кудлатые ананасы, и коричневый, в крынках и стеклянных банках, саянский мед, и аккуратно рубленное острым топором дымящееся мясо — грудинку, корейку, оковалки, — и мертвых кур, и мертвых рыб, и вяленые окорока мертвых медведей, и мертвых глухарей, и мертвую строганину, и всю мертвечину, что люди едят, едят, бесконечно грызут, перемальвывают зубами-жвалами. Ей стало худо, перед глазами возникла тьма, и она, подогнув ноги, упала перед свежим холмом. Люди, черные свечки на снегу, в темных серых пальто и черных катанках, сгрудились ближе к ней, пытались поднять на ноги, закричали, загомонили. Могильщики заваливали земляной холм разрытым снегом, охлопывали грязными лопатами. Вере, что клонила в бессознании голову на плечо, тыкали в зубы горлом бутылки. Она бессмысленно глотнула вина и ожила.

Ее уводили с кладбища под руки. Снег визжал под сапогами. Вера оглянулась и поймала глазами черный чугунный крест. Под чугуном лежала ее мать.

Потом, в жизни, она работала еще на всяких-разных работах: сторожихой, кастеляншей в рабочем общежитии, укладчицей на кондитерской фабрике. Кондуктором мотаться по тоскливому асфальту ей до смерти надоело, к тому же у нее на глазах в автобусе зарезали молодую девчонку, Вера заступилась, а убийца взял да на Веру ножом замахнулся. Дело было в последнем рейсе, в салоне никого, девка лежит на полу, истекает кровью, а Вера хватается за бешеный, увертливый светлый нож. Да, светло, ярко лезвие сверкало. Будто огнем горело. Ладони у Веры оказались все крест-накрест порезанные, а она уж и не помнит, как визжала, как шофер автобус останавливал и в салон, грязно ругаясь, вбегал. Шофер сильный и смелый мужик оказался; парню тому руки скрутил. Парень пытался его укусить. Шофер вбил ему кулак в скулу. Вера сидела, уронив изрезанные руки на колени, и у нее по коленям и ногам текла ее теплая кровь.

Она отлежалась. Порезы зажили. Но что-то важное, теплое тот парень у нее внутри надрезал — никогда не думала Вера о том, что такое душа, сердце, и вдруг стала думать о них и их чувствовать. Сердце стало биться быстро и неровно, задыхаясь, куда-то отчаянно опаздывая, а душа стала болеть, томиться и плакать, и Вера теперь понимала, как это, когда из глаз слезы не текут, а внутри все слезами просто обливается. Иногда эти слезы души прорывались наружу. Это могло случиться где угодно: в трамвае, на улице, на берегу Енисея, в пельменной, где она, промерзнув на остановке и не дождавшись железной повозки, жадно ела разваристые пельмени, обильно посыпанные молотым перцем, — и люди смотрели, как слезы щедро текут по ее лицу и стекают по шее за шарф, за теплый воротник. И Вера сидит, положив ложку на стол, и слез не вытирает.

Пыталась научиться вышивать: рукоделье, заделье, да как все бабы! Ниток накупила, иглок. На подушке-думке вышила красную шелковую дорожку. Не понравилась дорожка. Вера вышила еще красную плашку, поперек. Получился красный крест. Не понравился он Вере. Что за больница! «Скорая помощь», — ядовито шептала себе. Спорола шелк и снова вышила крест, другой: густо-черными, угольными нитками.

Чугунный черный крест. Как на могиле матери. В снегах. На белой наволочке. Забросила думку в угол дивана.

Когда на диване придремывала, переворачивала думку крестом вниз. Он углем из неостывшей печи жег ей щеку.

Крест, даже спрятанный, казался ей громадной буквой, грозной буквицей: она нарисовала ее, а языка не знала, с которого слово на эту букву начинается.

У нее была любовь, но свадьбой не закончилась. Человек, что ходил к ней украдкой, забегал на час, на два, был женат и тяжело болен: носил в себе насквозь больные

почки. Вере он сказал об этом не сразу. А тогда, когда она уже крепко прикипела душой и телом к нему. Она не просила его бросить ради нее семью — жену и сына; не упрашивала лечиться и выздоравливать. Она хорошо знала: от судьбы не выздоравливают, и надо тихо принять то, что тебе написано на роду. Хоронить любимого человека она не пошла: ей чудилось, она у могилы опять упадет и потеряет разум, но больше не очнется. А ей еще хотелось жить.

Годы шли, она жалела, что не родила от этого мужчины ребенка; а иногда воображала рядом с собою то мальчика, то веселую девочку, но смутно таяли в слезном тумане детские фигурки, ускользало из ухватливых, уже слабеющих рук детское сонное тельце. Дети! Не каждому дано испытать это счастье. Настал день, когда Вера, стыдясь и пригибаясь, будто кто ее тут увидит и уличит в неведомом преступлении, пробралась в Свято-Троицкий собор и, оглядываясь по сторонам, как рысь из-за колких еловых ветвей, купила икону и две толстых свечи. Икону она выбрала сама: прямо на нее смотрели огромные, широко распахнутые темные глаза, в их глубине ходил светлый огонь и вспыхивали яркие золотые искры. Глаза летели прямо в нее с крупно, во всю икону, изображенного мужского лица. «Спас Нерукотворный, Господь наш», — благоговейно сказала продавщица иконок и свеч и быстро, троекратно осенила, как осолила, себя крестным знамением. Вера отсчитала деньги, ее щеки заливала стыдная краска. Ничего не могла она с собой поделывать: в церкви жгуче-стыдно ей было. Она засунула сверток в сумочку, пришла домой, повесила Спаса над телевизором, а свечи воткнула в старый подсвечник, подаренный ей на день рождения ее мертвым возлюбленным. Зажгла. Свечи горели, чуть потрескивая. Вера сказала вслух: «Господи, пошли мне счастье». Одиноким голосом ее прозвучал холодно и глухо под голым потолком нищей комнаты. Старый буфет, старый стол, старые стулья отзвучивали гулкой насмешкой. Свечной огонь отсвечивал в стеклах буфета, отражался в старом зеркале. «Я старая, я уже больше никогда не полюблю и не рожу», — подумала Вера о себе, и очень больно ей стало. Но слезы не лились. Их уже у нее в запасе не было.

* * *

Она все стояла посреди ночи и глядела в окно.

Год назад, такой же лютой зимой, морозы под минус пятьдесят, все вокруг синее от мощного куржака, мертвыми узорами иней оплетал все, из чего состоял видимый мир, захворала ее соседка: та, что на похороны ее матери принесла бутылку темно-красного сладкого кагора. Соседку звали Анна Власьевна, в далеком прошлом она сначала командовала на войне отрядом, потом стала учить детей, потом, выйдя на пенсию, задумчиво плела кружева на коклюшках. Родом Анна Власьевна была из Вологды, и, гордясь, светло и беззубо улыбаясь, говорила она Вере, что происходит из семьи, где женщины от века занимались кружевом. Кружевница, это ж надо, вертела Вера головой, мяла в пальцах, разглядывала снежные, волшебные струи, нитяную вьюгу, что заметала крохотную уютную комнатенку Анны Власьевны, спинки кресел, диваны и стены. Анна Власьевна вбивала гвозди в стену и вешала на гвозди кружевной звездчатый туман; заходила Вера, ахала, охала, обе женщины разглядывали и разглаживали сияние вечной зимы, что уже молча, строго ждала их за поворотом.

Анна Власьевна поручала Вере куда-нибудь определять ее изделия: все равно куда, в магазин или на рынок отнести, сделать выставку в школе, вернисаж в галерее, лишь бы жило кружево, лица людей красивой метелью мело! Все грязь, всю нечисть из них вычищало! Вера морщила лоб, соображала. Но ничего не могла сообразить, кроме того, чтобы собрать царскую легкую белизну в котомку да оттащить на рынок: глядишь, купят, и у старухи к пенсии денежка будет! Продавала кружева за копейки. Стояла за

рыночным лотком среди публики, место было куплено, от себя деньги оторвала, народ подходил и мял в пальцах тонкотканые чудеса, а она смотрела и сглатывала слюну: нечего было говорить. Опять стыдилась: стыдно было торговать, совать в руки вещь и получать за нее бумажки. Однако старуха Анна Власьевна сильно радовалась этой продаже и горячо благодарила Веру: «Ах, Верушка, спасибо-то какое тебе, вот и живенько мое кружевцо, вот и славненько!» Вера на вырученные за кружево деньги купала Анне Власьевне пищу и лекарства.

Анна Власьевна слегла, когда уже не могла сидеть за коклюшками. Пришла Вера однажды, а дверь открыта, а старуха на диване лежит, и даже без простынки под собою; круглое лицо уже легко улетает, а седые пряди тяжелеют; только успела на себя, пока еще рука действовала, вытертое верблюжье одеяло натянуть. С трудом разлепила губы, натужно, беззубо вытолкнула в мир бедные слова: «Верушка, меня... удар хватил... Может, и не встану... Ты... поухаживай за мной... чуть-чуть, солнышко, я постараюсь... не залежаться...» С коклюшек свисало последнее старухино кружево: будто полночные снежинки, ясные, алмазные, друг с другом сцепившись, радостно заструились на сиротскую, горькую землю со смоляного зенита.

Лежала Анна Власьевна на том старом скрипучем диване почти год. Ее не стало неделю назад. Перед самым Новым годом.

Ничего старуха не отписала ни Вере, ни другим соседкам, что ходили к ней, заходили в вечно, безбоязненно открытую дверь, а вдруг умру, и ломать будут, жалко улыбаясь, шамкала кружевница, — а у нее просто ничего и не было: ни денег наличных, мертвых бумажечек, весело шуршащих в старом кожаном, похожем на сердечко портмоне, ни сберкнижек, ни дорогущих камешков, старательно опрарвленных в тяжелое, темное от старости золото, — ну совершенно ничего, кроме ее родных, зимних кружев, заматавших вечной метелью ее долгую тоскливую жизнь.

Кружева старухины растащили соседки. Вере удалось припрятать немного струящейся дырчатой, нитяной вьюги. Когда Верины руки прикасались к Анниным кружевам, у нее мгновенно замерзли ладони. И ей казалось, что по ее ладоням ползут ледяные, морозные узоры. Это смерть касалась Вериных ладоней своими. Просила ее о чем-то. Смерть тоже хотела праздника. Нового своего года.

Вера скосила глаза: вон она, елка Анны Власьевны, теперь у нее в углу комнаты, она перенесла елку к себе из опустелой квартиры. Вера на глазах старухи наряжала эту ель. По приказу кружевницы Вера вытащила из кладовки, сняла с высокой полки, встав на цыпочки и кряхтя, громадный, как дом, ящик, и потряху его боялась, бережно несла: она уже знала, что там, внутри. Поставила на стол, развернула ветхие картонные лопасти. В глаза ей ударили косые цветные лучи, и она радостно и потрясенно зажмурилась. Ящик был доверху полон старинных елочных игрушек; у Веры отродясь не было таких. «Это же роскошь какая», — шептала она, напуганно и медленно вынимая из ящика и раскладывая на столе, будто дорогущие, в хрупких ампулах, заграничные лекарства, умопомрачительные игрушки: картонные грибы с крашенными маслом шляпками и белыми ножками, а внизу на ножке поблескивал зеленый крап, травка, значит, и к ножке приделана медная проволока, чтобы обмотать ее вокруг толстой колючей ветки; фонарики, собранные из стеклянных трубочек, а внутри нежно сияло дутое стекло, вылитое в виде большого золотого зерна; плоских медведей, белок и рыбок из золоченого картона, на нитяных петельках; шары, отливающие морской синью и лиловой, в сизом налете, сливой; стеклянные часики, посыпанные сверху блестящей стеклянной крошкой, это снегом, так выходит, и навек на часах тех застыло священное время — без пяти минут полночь; полые внутри, нежнейшие лодочки с ватными гребцами, а вместо весел у них в руках промасленные щепочки; и вот под руки ей сама скользнула громадная, как сама никчемная промчавшаяся жизнь, золотая еловая шиш-

ка, а крепления-то у нее не было, чтобы ее к ветке прицепить; и Вера смущенно и горестно оглянулась на хозяйку: «А эту куда?» Старуха через силу махнула рукой, и Вера проследила направление ее сморщенного указующего перста: на верхушку. Старые мокрые глаза умиленно глядели, как Вера, опять по-детски встав на цыпочки, вытянувшись вся, надевает, натискивает чудовищную золотую шишку на елкину макушку. И когда шишка была надета благополучно, Вера отступила в сторону, шагнула широко и чуть не упала, чуть не свалилась на наполовину наряженную елку. И обе ахнули от ужаса: сгинет! — а потом от восторга: целая! «Елка — это госпожа, она любит богатые украшения, привереда», — бормотала Анна Власьевна сквозь остатки зубов, и Вера еле разбирала слова.

А когда ель была Верою наряжена целиком и полностью, Анна Власьевна вдруг прищурилась непонятно, скорбно закусил рот, щеки ее ввалились внутрь черепа, под зубы, лицо пострашнело, и с губ ее слетели слова, уж совсем Вере непонятные: «Снимай... все снимай... обратно... в коробку клади!» Как, все игрушки снимать? — изумленно переспросила Вера и обвела елку потерянными жестами, будто прощалась с ней. Да, да, кивала старуха, все, все!

И Вера, с дрожащими губами, столь же осторожно, едва дыша, снимала игрушки с ветвей: отстегивала замочки, развязывала завязки, стаскивала петли, разматывала старую медную проволоку. Все игрушки вскоре лежали в ящике и молчали. Вдруг сверкавший наверху блестящей драгоценной кучи фонарик свалился вниз, в прогал между стекляшек, и легкий звон ясно дал Вере понять: разбился.

Старуха велела укутать голую черную ель в белые кружева. И получилось так, будто елку замела метель; снежное кружево вспыхивало и мерцало, и плакала Вера, поднося ко рту больной мензурку со снадобьем, а старуха уже не могла глотать и говорить не могла, могла только смотреть, слезно и благодарно. Губы еще шевелились, а слова умерли. Глаза вспыхнули напоследок. Руки лежали на груди бездвижно. Вдруг палец согнулся и слабо, нежно поманил Веру. Вера наклонилась и приставила ухо ко рту Анны Власьевны. Старуха чуть слышно шептала: «Е-ру... са-лим... Ерус... лим... Ты... за... ме-ня... ту-да... сту-пай...»

Так, с легким выдохом: «Е-ру... са... лим!..» — и застыли круглое крупное лицо и тяжелые, лежащие двумя могучими осетрами на крупной груди, опухшие руки — эти пальцы, Вера видела, вывязывали снег и лед, облака и ветер, они вывязывали, плели счастье, и никто из людей это нежное счастье в глаза не видел. Застыло тело; оно, грузное и крупное, показалось Вере огромной енисейской баржей, приварившейся на всю долгую, вечную зиму к берегу, вмерзшей в твердый белый гранит льда. А душа, где она? Куда же девается все-таки эта душа? Ведь есть она внутри Веры, есть! Вот же, под рукой бьется!

Вера прижала левую руку к груди. Слева и правда билось, оголтело и больно. В чулке шкафу Вера слепо нашаривала чужие лекарства, ей было все равно, что — капли, таблетки, — она глотала горечь, и ей хотелось жить. Жить, еще немного! Еще чуть-чуть пожить! Не уйди! Как все они!

...как все они.

...а ты разве как они?

...сочтены твои дни. Погаснут твои огни. Не хочу гаснуть. Я хочу, чтобы всегда. Все люди умирают? А я останусь. Что надо сделать, чтобы не умереть? Сидеть дома, чтобы не убили? Не ездить, чтобы не разбиться? Какое хрупкое тело, стекляшка, фарфор. Дрянь жизнь, если она такая хилая.

...время — вот кто убьет...

...неужели нет ни одного человека на свете... ни одного, чтобы — жил всегда... вечно...

...а — Бог? Кто такой Бог? Кто бы объяснил. <...>

* * *

Насилу зари дождалась.

Как посветлело туманное небо, подернулось белесой, словно инистой, дымкой, Вера повязала с кистями платок, белый, как метель, усыпанный ткаными яркими розами, всунула ноги в зимние короткие сапожки, еще материнские — она много чего донашивала за матерью, — накинула на плечи старую дубленку с рыжим лисьим, долыса вытертым воротником и отправилась к старушке Расстегай. Чтобы к Расстегай попасть, надо было лишь дорогу перейти.

«Вот бы так и в Иерусалим этот попасть: раз, и в дамки. Нет, за ста землями он!»

Сдернула варежку и постучала. В руку зубами вцепился мороз. Костяшки пальцев заболели от стука.

Стучала смело — в окне у старушки Расстегай горел свет, она вставала ни свет ни заря и молилась.

Шарк-шарк — раздавались за дверью шаги.

— Кого Бог послал раненько?

Тонкий голос звучал весело и безбоязненно.

— Бабушка, открой! Это я, Вера.

— А, Верушка! Ранняя пташка!

Мгновенно распахнулась дверь.

— А ты что, бабушка, на ключ не запираешься?

— Однако только на крючок! Однако кому я нужна, старое базло!

Вера нашарила на полу голик и им отряхивала сапожки от снега. Старушка Расстегай умильно глядела на нее. Ее круглое раскосое лицо катилось на Веру, как с тарелки печеное яблочко.

— Да хватит, хватит! Обувку не сымай! Проходи! Каво явилася? Я-то щас помолюся — да в храм, к ранней обедне! А ты каво? Случилось чо?

— Нет, бабушка! — спохватилась. — Да, бабушка. Я... за советом. И за помощью.

— Ах ты, душечка! Да разве ж я молодым помочница! Это я тебя должна просить мне помочи! Ну ты давай... однако к столу... чайку... у меня чайник горячий... только накипятила...

Старушка Расстегай швыряла на стол, укрытый ветхой, в старых винных пятнах, скатеркой из буфета, похожего на ржавый танк, битые блюдца, шербатые чашки. Из заварочного чайника лилась, вилась темная струя. Вера понюхала чашку.

— Бабушка, у тебя, как всегда, на травах.

— Да, миленькая! Да, солнышко! А без трав-то мы куда! Да никуда! Это, однако, здоровье! А сахарок у меня скончился! Вон в чаек-то жимолось швыряй!

Перед Верой на столе, укрытом скатертью с аппликациями, стояла вазочка с темным, почти черным вареньем из жимолости. Длинные ягоды, похожие на длинный черный виноград, высовывались из густого сиропа, дразнили. Вера подцепила варенье ложкой и положила не в чай, а себе в рот.

— М-м-м-м... вкусно... сама варила, бабушка?

— Нет! Добрые люди принесли! добрые, вроде тебя!

— А я — добрая?

Вера спросила даже не ее — себя спросила.

И думала: «Добрая я или нет? Добрая или нет?»

— Ты-то? — Старушка Расстегай весело всплеснула короткими ручонками. — Еще какая добрая! Однако добрая, да! Вот мне одеяло подарила! И мне под им тепло!

Вера покосилась на топчан со свернутым в огромную колбасу стеганым одеялом.

- Я рада, бабушка, что греешься ты.
- А это чо, твое детское?
- Ну да. Меня им мамка в детстве укрывала.
- Вот-вот, а шас старенькая Расстегайка укрывается... все чин чинарем!
- Вера осмелилась. Нырять — так головою в омут.
- Бабушка. Анна Власьевна мне... — Слово искала. — Завещала... В Иерусалим сходить.
- Сходить?!
- Ну, съездить. Какая разница.
- В Ерусалим!
- Ну да.
- В Ерусалим!
- Да! Да!
- В Ерусалим!
- Да Господи, да что ж такое в этом Иерусалиме?! — тоже ошалело закричала Вера. — Вообще, что это такое?! Город?! Деревня?! Зачем Анна Власьевна меня туда перед смертью послала?!
- Вера кричала, как на пожаре. И опять она это кричала не старушке Расстегай, а будто бы самой себе. Самое себя перекричать пыталась.
- В Ерусалиме?! Да разве ты не знаешь?!
- Обе орали.
- Нет! Откуда мне знать!
- Да врешь ты все! Знаешь! Со мной играешься! С бабкой старой, постыдилась бы!
- Вера и вправду покраснела, до удушья.
- Не играюсь я с тобой! Я в газете читала, это в Израиле! Где евреи живут!
- Евреи... Да ты чо! Евреи евреями, а храм Гроба Господня там! Там! И часовня на Елеоне — там! И Гефсиманский сад там! И Исус там последнюю муку принял! Там — Распятие воздвигли! Там! Распяли Его на кресте! Пригвоздили! И кровушка с ладоней текла! И из ног Его пробитых текла! А ты притворяешься тут мне! Эх ты!
- Старушка Расстегай рассердилась не на шутку.
- Вера верила этому гневу. Она почувствовала себя неучем и дубиной, и опять ей было стыдно, как было стыдно часто, почти всегда. Иногда она стыдилась даже того, что живет. «Вот живу на белом свете, небо копчу, а кто я такая? Ну кто, кто я такая? Зачем — я?»
- Да ты крещеная, Верушка, или некрещеная? — прекратив вопить, деловито осведомилась старушка Расстегай.
- Вера опустила голову.
- В детстве... знаешь... я спала в кроватке такой, ну, знаешь, не доска, не пружины, а внизу, под матрацем, сетка. Крупная сетка такая. Как рыболовная... но... железная. И...
- Ну, спала, спала! Все мы спим! — насмешливо склонила старушка Расстегай к плечу свою круглую яблочную головенку. — Я тебя про другое спросила, душечка!
- И я спала... а подо мной... ну, к этой сетке железной... привязан крестик был. У него такие концы, знаешь... не длинные были... а вроде как скругленные.
- Какой крестик? Почему привязан?!
- Расстегай опять сорвалась на крик. Она честно ничего не понимала. А Вера пыталась объяснить.
- По тому по самому! Я только потом догадалась, ну, когда выросла, что это мой крестильный крестик! А носить нельзя было, ну, мать к койке моей и пришпандорила! Подо мной мотался. Ну, дескать, я сплю, и крест мой меня охраняет! Поняла?!

Расстегай заткнула крошечными, как у ребенка, пальчиками уши.

— Поняла, не ори ты! Это ты меня перед обедней так вздрючила! Грех какой! И чо ты мне хочешь сказать? Крещеная ты, однако дошло до меня! — Тут Расстегай осенило. Она помрачнела вмиг, ее пальчики слепо искали чашку с горячим чаем и не могли нашарить. — А может, это чей другой крестик там у тебя мотался! Может, с ним мамке твоей кроватку продали! С рук у кого приобрела! Чай, беднячка мамка-то была твоя! Как пить дать!

— Пить дать, — растерянно и тихо, эхом, повторила Вера — и прихлебнула терпкий, пылающий огнем в шербатой чашке травный чай.

— Пей, пей! Я тут и стланик заварила, и верблюжий хвост! Пей!

— Верблюжий... хвост?..

Вера брякнула чашкой о блюдец. Чай выплеснулся на скатерть. Рядом с красным винным расплывалось коричнево-зеленое чайное пятно.

— Травка такая, дурешка... наша, саянская... Ить, никаво ты не знаешь...

— А зачем ты меня спросила, крещеная я или...

— За надобой! Ить в Ерусалим побредешь! По льду, по снегу, однако... А ты знаешь каво? а вот и не знаешь! Там, рядышком, говорят... это... Мертвое море! Мыслю так, в этом море-то погибают все жуткие грешники! Немыслимо кто нагрешил на земли! И Юдушку там утопили! Посля таво, как он повесился на дереве! Правда, — Расстегай шмыгнула и отпила чай, — и другое болтают. Якобы Юдушку бросили в овраг, куда дохлую животину бросали, на съедение псам... и мухам, язви их!

— А Юдушка это кто?

Вере снова было стыдно спрашивать, но спрашивать надо было.

Расстегай взбросила крохотные детские ручонки. Ее морщинистые губы согнулись скорбной подковкой.

— Господи! Твоя святая воля! Юда, ну, Юда! Предал он Господа нашего! Ну вот же!

Расстегай будто ветром выметнуло из-за стола, она подкатилась на коротких ножках к этажерке, крашенной морилкой, подержала на руках одну тяжелую древнюю книжку, другую, помотала головой, подбежала к буфету, рванула стеклянную дверцу, нашарила среди чашек и плошек старое толстое, распухшее от тысяч листавших его пальцев Евангелие, шелестела страницами; нашла, что искала. Тыкала книжицей в нос смущенной Вере.

— Вот, вот! Юда! читай!

Вера уставилась в книгу.

— Вослух!

Вера взяла книгу из рук старушки Расстегай и начала, запинаясь, читать.

— Когда же настало утро, все перво... священники и старейшины народа... народа... имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и, связав Его, отвели и... предали Его... Понтию Пилату, пра... правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сере... сре-бре-ников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь... невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и... и...

— Ну чо и? Чо и? Чо замолкла?

— И... удавился.

— Видишь! Видишь, голубонька, чо происходит-то! Удавился он, пес таковский! Так ему и надо, псу! Пес — он и есь пес! Смердящий!

Вера не знала слова «смердящий», но как-то быстро догадалась, о чем оно.

— Собак не обижай, бабушка.

— Дык я и не обижаю! Это Юдушка пес!

— А зачем же ты его так ласково называешь, Юдушка, если он такая сволочь?

Старушке Расстегай нечего было ответить на эту правду. А может, просто расхотелось говорить. Обе прихлебывали чай с верблюжьем хвостом молча, сосредоточенно, и в воздухе раздавались чмоканья и нежное дутье на горячие чашки. Но остывал чай, и стыло, как на морозе, черно-синее варенье с друзьями крупных длинных таежных ягод; и стыло время под грудиной, под ребрами. <...>

* * *

<...> Тьма мотается и вспыхивает под веками алым, желтым. Фонари за окном. Станция. Штор тут нет, есть только страшные кожаные шоры, их надо опустить на глаза лошадиного поезда, тогда он поскачет быстрее и не будет пугаться фонарных огней. Глаза приоткрываются. Открываются, две шкатулки со слезами. Распахиваются настезь, до отказа. Огни спят, мелькают за окном. Состав тормозит, железные кости перестукивают, гремят. Стоп машина. Застыли вагоны. Зычный голос с перрона: стоянка пятнадцать минут! Что можно успеть за пятнадцать минут? Купить пирожок с ливером? Судорожно съесть на морозе? Запить нечем. Надо заказать у малявки чай или кофе. Тьма, я забыла взять с собою в путь воду в бутылке! Простую воду. Енисейскую, ледяную.

Лежи уже, дура. Не шевелись. Поезд постоит и пойдет. Побежит дальше. Ты закроешь глаза опять. Под черными веками поплывут изгибистые красные письма. Золотые знаки. Ты будешь пытаться их прочитать. Напрасно! Ты же не знаешь, кто их начертал. Тебе их показывают; зачем? Зря или не зря? Все зря. Нежная музыка звучит внутри тебя, это песня дороги. Ты трясешься в вагоне, лежа на верхней боковой, укрытая жестким тонким одеялом, и поешь по слогам, по кривым, изогнутым красным нотам песню своего пути. Когда-то письма оборвутся. И не прочтешь ни одной ноты. И не споешь больше ничего, так пой же сейчас!

Вера сама не замечала, как рот ее дрожит, а глотка выпевает смутные, нежные, хриплые звуки. Ее бессловесной песни не слышали попутчики: напротив нее, в плацкартном закутке, три мужика в солдатских гимнастерках резались в карты, на верхней полке скрючилась молоденькая девчонка: ее плечи и выгнутая колесом спина тряслись от рыданий, в такт вагонной тряске. Внизу, под Верой, бритый человек с колючим взором, зрачки как два острия вязальных спиц, добывал из котомки такое же лысое, как он сам, яйцо, вертел на столе, восхищенно шептал: «Крутое яичко, крутое! Как пить дать, не наврать, мать-перемать, крутое!» Людям не было дела до Веры. А Вере, вышло так, не было дела до людей. Люди сами по себе, Вера сама по себе. Никто ей не нужен. И она никому не нужна.

Так спокойнее.

* * *

Вера захотела по нужде и спустила ноги с полки. Ей было боязно прыгать вниз. Бритый дядька готовно подставил грубые заскорузлые руки. Он принял на них беспомощно падающую сверху Веру, как акушер младенца.

— Хо-хошечки, — воскликнул он довольно, — бабечка! Держись на ножках, а то повалят!

Вера не хотела, а покраснела. Уселась за гладкий, поддельного мрамора, дорожный стол.

— А вы так и не спали? — спросила.

Бритый подмигнул.

— А с кем тут поспать? И поспать-то тут не с кем, жаль такая. Вот разве что с тобой!

Вера на удивление легко подхватила игру.

— Со мной не выйдет. Я колючая. Обранишься весь!

Встала, ушла, опять пришла. Села. Бросила руки, как вещи, на стол.

Бритый осторожно, на диво нежно коснулся шершавым пальцем Вериной руки, мертво лежащей на гладкости стола. Ее дернуло живым током. Она убрала руку.

— Врешь все, — тихо и хрипло бросил бритый. — Теплая ты и слабая. Только прикидываешься сильной. Как вы все, бабы.

Вера под столом гневно стиснула руку в кулак.

Хотела ответить. В затылок забил колокол: не трудись, не трудись. Все напрасно, никому ничего не докажешь. И не покажешь. В животе перекатывалась булыжниками тягелая пустота, Вера не взяла с собой еды, а купить боялась: в поезде дорого, а выскочить на перрон — состав улепетнет, и поминай как звали.

— Жрать, бабенка, хошь? Только не ври!

— Хочу, — грустно сказала Вера.

Бритый шмякнул котому об стол. Развязал тесемки. Копченая колбаса. Куриные ноги торчат из фольги. Соленые помидоры в оббитой банке. Катал на ладони яйцо и хитро шурился на Веру.

— Что зыришь? Яички, да, яички! От самолучших курочек!

Протянул на ладони яйцо Вере.

— Ну? Что морду воротишь? Знаешь, где такие курки-яйки водятся? Хох-хо! На Ангаре, на Ангаре! А я-то оттудова домой еду, на Урал! В родные, эти, шпинаты! Отслужил как надо и вернусь!

Вера осторожно, как змею, взяла с ладони у бритого вареное яйцо.

— А вы... из армии... домой?

— Со щетиною седой?! — Бритый пощипал себя за скулу. — По возрасту не гош! А на солдатака похож! Нет, бабенка, не угадала! Я — из санатория!

— Из... санатория?..

Вера поздно, но сообразила. Густая краска залила ее лицо, губы сжались в злую и смущенную нитку.

— Да, лепилы надо мной потрудились! Поизмывались всласть! Да ты чисть, чисть яичко-то! Или руки-крюки?!

Выхватил из Вериных рук яйцо, ловко очистил и, голое, опять ей на ладони преподнес. Как ребенку; как царице.

И она взяла и ела.

И откусывала медленно, мелко, и жевала трудно, смущенно, не сводя с бритого дядьки глаз; и так сидели, и ели они, и пили в тряском поезде — одинокая баба в белом, с красными розанами, платке с белыми длинными, как метель, кистями, и выпущенный на волю заключенный, перед глазами его еще моталась колючая проволока, колючие ветви железных пихт и елей; и поезд мотался, как пьяный, звенел на стыках колесами, чугунными погремущками, внезапно застывал, а потом опять срывался с места и мчал вперед, как бешеный, хотел догнать недостижимое, ускользящее время, настигнуть его и убить, как охотник зверя, а время, смеясь, хохоча во все зубы, железно и скользко все убегало вдаль, бежало, исчезало, показывая на миг снежное жало и тут же пряча его, манило, летело, ничего от людей не хотело, а люди все гнались за ним, пытались его изловить, и связать, и покорить, и разделать, разрезать на куски, для всех голодных, его мощную слепую тушу, а оно все бежало, перебирало железными ногами, махало железными гигантскими крыльями, разевало железный клюв и издавало безумный клекот, — и страшно было человеку бежать за ним, а он все бежал, и тянул к времени рельсы, и запускал над ним самолеты, и взрывал перед ним бомбы и снаря-

ды, а время все летело, ширя крылья, поверх всего человеческого, и непонятно было человеку, Ангела это крыла или диавола: не видел он того, не понимал, не хотел, хватая ртом ледяной последний воздух, понимать. <...>

* * *

Пока ехали до Челябинска, день, ночь и еще полдня, незаметно и страшно сдружились. Веру бритый узник, отпущенный на свободу, обаял и закружил — за ней никто и никогда так не ухаживал, не кормил ее не поил, не шутил ей и не пел ей, выбрасывая из хриплого горла путаные, через пень-колоду, как под хмельком, частушки, блатные песенки, прибаутки, — дядька соскучился по вниманию бабенки, а Вера смотрела в его щербатый рот, как в дырку скворечни — о, вот сейчас вылетит синяя, нежная птица сойка, наш северный павлин! А может, говорящий попугай! Зеленый волнистый озорник, и затрещит клювом! Проводница-малявка сердито косилась в их сторону, когда шла с веником подметать вагонный пол: старая кокетка и гололобый тюремный донжуан, ишь, нашли-таки друг дружку! Вера не сводила с бритого глаз. Она уже слушала его как учителя. Принимала на веру все, что он залиvisto брехал.

— А тут-то, ты вообрази, Верушка... — Он произносил «Верушка» как «ватрушка». — Ты только представь!.. иду и вдруг проваливаюсь, натурально, в яму! Волчья яма, отменно вырыта. Глубко! И вот сижу на дне. Весь в грязи изгвазданный. Грязи наглотался, пока туда валился. В бога-душеньку! Я настила под ногой не увидел. Лапник настелили, поганцы. Да еще какой густой! Как у Ленина, блин, в мавзолее. Будто гроб, ямину елью застлали! И вот я... матерюсь нещадно! А что прикажешь делать? Орать? Ну, подойдет вохра, винтовку к плечу вскинет и в расход. А что со мной церемониться, хо-хошечки! Я ж в ямине! Я же волк! Волк... Мозгами, волк, ворочаю... И придумал. Услышу голосок поюнее, подзову! Полезет несмышлениш спасать — я его вниз утяну!

Умолкал. Хитро на Веру глядел.

Она содрогалась спиной. Знала, что сейчас услышит.

— И... что?

— И то! Свист услышал! Завопил! Мальчонка подбежал! Сын нашей кухарки. Он мамке резать хлеб пособлял. Годов десяти пацан. Я ему: ветку хватай, мне сюда опускай, тяни, я покарабкаюсь! Пацан, дурень, лапник вниз спустил, я его на себя рванул, он в яму так и покотился! Я ржу-хохочу! Покатушечки! Он плачет! Ревет взახлеб! Трясется! Я его — крепко держу! Хотя бежать ему, бабенка ты дура, некуда!

— И что... ты с ним... сделал?..

— Как что?! Убил и схрустел, конечно!

Вера мотала головой.

Пыталась смеяться.

— Я тебе... не верю...

— Не верь! Не верь! Эх... ну не сожрал, нет, нетушки, хватит дрожмя дрожать. Я орал как резаный, народ подзывал, а пацан у меня вроде как в заложниках там валялся. Я ему ноги ремнем связал! Руки — рукавом рубахи, отодрал, в жгут сплел! Он меня костерит! Я — его! Так ругаемся! Ночью холод зверский, звездочки блещут! Жрать и правда охота! Думаю, и правда хороший поросенок, да только огонь в ямине не развести! А то бы сожрал, вот ей-богу! День займется — я опять ну орать! И приперлись... эти. Вытащили нас... обоих... мы уж отошдали совсем... с ног валились... пацаненок концы отдавал... уволокли его... в лазарет, так думаю... а в меня полстакана водки влили, я разум утерять... очухался — на койке лежу, и укол ставят... А до конца срока знаешь, сколько мне было?.. не знаешь. И не надо тебе знать! Верушка, ты глупая как пробка!

Он так ласково вылеплял это губами, что Вера вся покрывалась стыдным потом.

Когда поезд докатил до Челябинска, бритый помог Вере надеть на спину ранец и подал ей руку, когда они выходили из вагона.

* * *

Зимний Челябинск мало чем отличался от зимнего Красноярска. Пожалуй, дымящих заводских труб было больше и дышать было тяжелее. Они с бритым дядькой брели сквозь город медленно и тяжело, будто слоны, нагружены поклажей, и Вере ее школьный ранец казался неподъемным кованым сундуком. Быстро смеркалось, зажигались витрины магазинов, продуктовых лавок, универмагов, ресторанов, кафе, кинотеатров, близ театральных подъездов загорались торжественные старинные фонари, и все сильнее и острее пахло бензином, из приоткрытых дверей харчевен тянуло вкуснейшими яствами: жареной курицей, а может, тушенными в сметане грибами, а может, просто капустой в томатном соусе, с мелко накрошенным чесноком, с молотым красным и белым перцами. Вера нюхала вечерний зазывный воздух, и все труднее становилось его, плотный, вязкий и дымный, вдохнуть глубоко. Ловила воздух ртом, как рыба. Бритый покосился на нее. «У нас тут с непривычки все так вот дышат, как ты теперь. Ртом, и зенки выкатывают. Ничего, привыкнешь!» Вера робко улыбнулась ему. Все больше робела она, все бесповоротней превращалась в забытую дуру школьницу с ненужным ранцем за худыми плечами, за тощей хордой звенящего позвоночника.

Она сама не поняла, как так вышло, что она оказалась не дома у своих родичей, а в домишке у бритого: этаж под крышей, коммунальная кухня, бабки варят в кастрюльках нищую еду, чад и грохот, и бритый открыл дверь свою не ключом, а ногой, на кровати спали мальчишка с девчонкой, до затылка закутавшись в клетчатый дырявый плед; бритый сбросил на пол сначала юнца, потом девчонку, они по-кошачьи уползли на животах, на локтях за приоткрытую дверь. Бритый цапнул со стола початую пачку сигарет, закурил, подошел к окну и вытолкнул наружу створку фортки. Снег, вихрясь, забытым безумием полетел в чадную комнату.

— Рассупонивайся, лошадка, — хриплый голос бритого опять мазнул по Вере забытым детским весельем. — Станция Березай, кому надо, вылезай. Прибыли.

Вера так и стояла, ранец не снимала, ремни давили на плечи, обрывками мыслей она пыталась поймать летающую над головой опасность. Опасность тихо села ей на лоб и касалась кожи нежными крыльями.

Бритый затянулся, вынул сигарету изо рта, держал двумя скрюченными пальцами на отлете, медленно подошел к Вере.

— Ну что? — тихо спросил. — Мужика, что ль, никогда не видала, старая ты уже баба? Что зыришь? Если не нравлюсь, пнула бы давно, еще в вагоне. А то за мной потащилась, с нашим удовольствием. Спать с тобой буду. А как же. Мужика с бабой да не поспать. Чай, не нехристи мы! Все у нас, как у людей, устроено!

Махнул рукой, как медведь лапой, вниз.

— У нас все спереди!

Он медленно снял с нее детский ранец. Размотал платок с кистями и бросил в угол. Все больше девчонкой чувала себя она. Речь потеряла, не нужна была речь. Села на койку, бритый присел на корточки и медленно стащил с Веры сапоги — один сапожок, второй. Стянул грубовязанные носки. Она медленно пошевелила застывшими пальцами.

Бритый погладил ее щиколотки в толстых коричневых чулках.

— Что ж ты, блин, моя лучинка, неясно горишь, — вышептал, как спел. — Что тебе надо-то в жизни?.. не пойму. Куда-то в путь пустилась. К родне какой-то непонятной,

мать твою. Или еще куда? А не открываешь куда. Молчишь! Падла! — Он сказал «падла» как «красавица моя». — И, главное, зачем. Не жилось тебе в Красноярске твоём? А? Вот со мной связалась. Зачем? Да, зачем? Затем, что ли, что я человек? Да? Человек я? Человек?! А может, я зверь?!

Вера молчала. Ноги ее холодели.

На лбу бритого, под отросшей за время пути седой щетиной, блестели капли пота, как мелкая чешуя детишек-карасей.

— Может, и зверь, — сам себе ответил и для верности даже сам себе кивнул. — Кто меня знает. Меня тут ведь уже забыли. Туда мне и дорога. А знаешь, за что сидел? Долго сидел. Угадай с трех раз. Угадаешь — конфетку дам. Живую, ха! Сладенькую, хо-хо! Не угадаешь...

— Нож под ребро? — тихо спросила Вера.

Хотелось шутливо, а вышло страшно.

Бритый зашелся в беззвучном смехе. Вытирал смешные слезы. Царапал наждаком ладоней щеки. Вера тоже заплакала. Он и ей щеки грязными ладонями вытер.

— Бабенка! Драная юбчонка! Парня я пришил. За дело. Ножонки-то задрогли. Щас согреешься!

Он встал с корточек, подхватил из-за стола стул легко, как щепку, подошел к двери и воткнул ножку стула в старинную, выгнутую стеблем озерной лилии медную дверную ручку.

* * *

<...> Он зорко следил, чтобы Вера не убежала. Ему было с ней удобно, в самый раз. Вера и сама притерпелась. Уже стала забывать про Иерусалим. Он торчал внутри, в потрохах, невынутой занозой. Однажды Бритый закатил пирушку. Выгнал Веру на кухню, стряпать. Она приготовила солянку, холодец, жареную курицу с чесноком. В комнату, за круглый старый стол, набилась куча людей. Люди, люди! Гомонили, пели, пили, плевались, ругались скверно и страшно и страшно плакали, утыкаясь лбами в жесткие плечи друг друга. Баб не было ни одной. Все сильнее пахло мужиками. Вера разрезала дрожащий, как жирная бабья ляжка, холодец острой финкой. Подцепляла вилкой и швыряла на битые тарелки. Губы ее, как обычно, были в нитку сжаты. Бритый забросил в рот кусок холодца, жевал и долго смотрел на Веру. На нее ли?

...Иерусалим, я забыла, что это, хрустальный дом, а может, дом на слом... Ие-ру-са-лим... сизый дым, дым...

Дверь приоткрылась. Вполз холодок. Вползла в щель нога-змея. В черной потертой туфельке, остроносой. За ногой вдвинулось в прогал бедро, черная юбка качнулась. Шаг внес в комнату тело. Бритый ловил глазами глаза вошедшей. Слишком бело, снежно мерцало ее лицо. Обычно щеки румянят. Эта — набелила. Или отморозила? Лицо повернулось вбок, Бритый глядел на него в профиль. Потом опять маска уставилась прямо в комнату: широко стоящие глаза новой бабы глядели на старый, половинкой шелкового лимона, абажур и не видели света.

Бритый чуть не присвистнул. Баба как две капли воды была похожа на Веру.

Он не знал, что за баба. Гости пригласили? Чья-то шмара? Не все ли равно. Он сделал жест: давай, не стой в дверях, шагай! Вилка из его кулака упала на стол. Тарелка зазвенела и треснула. Вера сидела прямо, не оборачиваясь. Будто боялась обернуться. Бритый чуть не крикнул ей: «Не вертись! Не смотри!»

Потер переносицу кулаком. Помял пальцами глаза. Баба в черном, копия Веры, не исчезала. Только тихо, медленно попятилась в коридорную тьму.

В стену застучали. Шумную компанию к порядку призывали.

— Что копытю колотите! — вскричал Бритый. Глаза его тонули в раскрытой черной дверной щели. Пьяный озноб танцевал по спине. — Спать им хочется, охо-хошечки!

Вера, твердо, железно глядя перед собой, на скатерть, где валялась вилка и лежал отбитый зуб фаянса, поднялась, глаз от яств, посуды и скатерти не отрывая. Уцепилась за спинку колченогого стула, будто падать собралась. Медленно развернулась живой баржей и выплыла вон из дымной бешеной комнаты. Лимонный абажур качнулся. Бритый сунулся вперед, хотел Веру остановить, но будто споткнулся и упал грудью на стол, подбородком в крупно, грубо накрошенный салат.

* * *

Вера сама не знала, зачем вышла. В голову ей вступила лютая боль, заплясала под черепом, торжествуя и бесясь впотьмах в просторном костяном зале — без мыслей, без огней. Она прошла по половицам и встала, как на льду, как на краю. Черная река ее сна неслась под ней, под ногами, мимо.

— Не пей больше, Верка... козленочком станешь...

Кто шепнул это? Она или кто другой?

Озиралась. Глаза еще не привыкли к темноте.

Вера, подняв руки ладонями вперед, сделала шаг, другой. Зеркало в коридоре? Спасибо соседям, что повесили.

Она стояла и смотрела на себя в зеркало. Только почему она в черном? Кто пошил ей этот ночной наряд? Погребальный, одно слово. Вера передернула плечами и пощипала себе плечи, обласкала ладонями рукава. В зеркале она не сделала этого. Просто стояла, и все. И смотрела сама на себя. Мимо них обеих, между их лиц вился белый дым. Вера будто ногами в снегу стояла. Только снег мерцал не белым, а черным. Как антрацит.

— Не пей... Верка...

Губы шевелились, а в зеркале ее губы молчали, стиснутые крепко.

Она выше подняла обе руки и прижала ладони к своему отражению. Живое тепло под ее руками сказало ей, что это зеркало повесили не соседи. Она оторвала руки. Будто пальцы стали — корни, и она вырвала их из теплой земли.

— Ты... кто такая?

Зеркало улыбнулось. Вера отразила ее улыбку.

Губы ее свела легкая, дикая судорога.

— А тебе какое дело?

— Никакое.

Вера шагнула назад.

«Бежать, и все!»

— Скрыться хочешь? А зачем?

— А зачем?

— Обезьяна!

— Это ты обезьяна!

Они препирались, будто торговались на рынке.

— Что ты повторяешь за мной! За собой повторяй!

Вера сжала кулаки.

— Слушайте, — она перешла на ненужное «вы», — дуйте отсюда.

— Зачем?

— Затем!

— Я в гости пришла!

Бросали слова резко, отчетливо, тихо. Чтобы никто не услышал.

Вера взялась обеими руками за голову. Наклонила лицо, мрачно глядела в пол. Ничего не видела. Тьма и мусор, окурки шуршат под ногами. Рыбьи кости под подошвой хрустят.

— Ну и гостюй, гостья!

— Ты тут тоже гостья.

— Откуда знаешь?

— От верблюда! Уходи лучше ты!

— А не то?

Зеркало качнулось в сторону и начало падать. Вера рванулась было поддержать его, чтобы не разбилось на тысячу кусков. Не успела. Женщина выскользнула из-под ее рук, из-под жизни ее, как резкий зимний ветер. Вере почудилось дальнейшее пение сойки. Потом говорящий попугай провизжал: «Война! Война! Спасайся!» Раздался звон: это в приоткрытую дверь выбросили выпитую рюмку, и она нежно и отчаянно разбилась о кирпичную кладку старой стены, устлая половицу под Вериными ногами осколками детского льда.

* * *

— Я хочу уехать.

— Много хочешь, мало получишь!

Бритый показал Вере кукиш. Она с кукишем молча согласилась. «Значит, надо еще ждать», — сказала она себе. Ждала. Ее отражение больше не появлялось перед ней. Она поняла так: пить надо понемногу, а лучше вообще не пить, по-церковному это грех. Она вспомнила о том, что у нее в ранце, на самом дне, лежит таинственная книжка Евангелие, подаренное ей старушкой Расстегай. Она робела вынимать его перед Бритым, тем более читать из него. Да и шрифт она этот, старинный, с завитками, титлами, ятями и еще невесть какими хитрыми буквицами не очень-то разбирала; шрифт этот был ей как шифр, кто-то был на земле посвящен в него, она же нет, хотя слова навстречу ей попадались русские и очень даже знакомые. Например, «блажени». «Это ведь блаженные!» — радостно догадывалась она. Или, к примеру, «юность твоя». Юность — она и есть юность! Твоя, моя! Что тогда, что теперь! А тогда — это когда? Сто лет назад, тысячу?

И все же настал день, когда Вера, чуть Бритый исчез за дверью, быстро, будто мышь из мышеловки вынимала, вытащила Евангелие из ранца. Открыла, уставилась в исчерченные загадочными письменами ветхие листы. Пахло воском и церковью. Она подносила книгу к носу, нюхала. Вспомнила, как старушка Расстегай книгу целовала. Как икону! Запах превращал время в прах. Отовсюду: с потолка, из окна, с небес — лился мед, мерцало, вспыхивая на губах, вино, рассыпалась радужная пчелиная перга. Слова обдавали сладостью ноздри и язык, и першило в горле. Вера читала быстрым шепотом:

— Блажени нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блажени плачущии, яко тии утешатся. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю... Блажени алчущии и жаждущии правды... яко тии насытятся!..

Насытятся... Она вспомнила, как жрут и пьют за столом друзья Бритого, уральские бандиты. Зачем она здесь? Ей жалко Бритого. Да, жалко! У него нет жены. Она хоть немного побыла ему женой. Да ей надо в дорогу. Алкать и жаждать правды? Зачем Бритому и его корешам правда? Они и без правды отлично проживут! Ограбят, убьют! И никаких вопросов! Душу ничто не мучает. Или мучает? Терзает?

— Блажени милостивии, яко тии помиловани будут... Блажени чистии сердцем... сердцем... яко тии Бога узрят. Блажени ми-ро-творцы, яко тии сынове Божии нарекутся. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.

Дальше пошло труднее. Слова слипались в единый ком, катились мимо глаз, лишь маня яркими вспышками, и укатывались в неизбежность, в бессловесную тайну.

— Блажени есте, егда поносят вам, и иж... иж-де-нут, и рекут всяк зол глагол на вы лжу-ще, мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко... яко... мзда ваша многа на... небесах?.. не-бе-сех...

Дверь стукнула, распахнулась во всю ширь, и вошел, колотя об пол сапогами, Бритый.

Вера вздрогнула и сделала движение — спрятать Евангелие под юбку, под колено; не успела. Бритый шагнул и выхватил книгу у нее из рук.

— Ух ты, ах ты, с бухты-барухты! — прохрипел он. От него пахло сивухой. — Книжечка церковная, буковки любовные! Загнать ее старьевщику — дорого даст! И еще кусок жизнешки проживем. А толку что старье мусолить! — Затолкал Евангелие за пазуху. — Мое будет теперь! Откуда у тебя, Верка ты, фанерка? Соседки подарили? Чтоб за меня молилась, за грешки мои, так?!

Похлопал книжку по торчащей из куртки кожаной корке.

— Дорого дадут. Не сомневайся! Я недавно одного художника обчистил, много всего потырил у него: и камеру старинную, и кольцо с сапфиром... а может, пес его знает, с лазуритом... и иконку этой, как ее, Богородицы, и чайник золотой, и чайничек серебряный... ты, начальник, ключик-чайничек, отпусти на волю!.. И, главное, книжищу, книжищу такую, не приподнять кирпич, толстенную, все вот такими же ятями... ять, мять, начирикано... Подлатался, мать! И жили мы, не тужили! Ты-то, шушара, как будто не догадываешься, на какие шиши лямку тянем!

— Догадываюсь, — ровным голосом сказала Вера. И вдруг сделала радостное, восторженно-детское личико. — Дай книжку обратно! Ну дай, дай!

И протянула руку к ней, высунувшей кожаную старую, исцарапанную щеку из-под бандитской куртки.

Бритый попятился.

— Эге-гей, вор-воробей! Деньги не клюй, получишь плюй!

Положил ладонь на Евангелие.

— Отдай!

— Хренушки! Я его хорошо загоню! Знатно! Какой тут год издания? А шут с ним! Сразу видать, что старье! У старьевщиков чем старше, тем моднее; они знаешь, что покупают-продают?! Время! Время у них ценится. Не вещь, запомни, фефела! Время! А время что, пощупать-понюхать можно? Да ни шиша подобного! Время, ты вот объясни, никто не объяснит, что оно такое, откуда оно...

Ушел и хлопнул дверью.

* * *

Ночью, когда Бритый, натешившись ею, сладко захрапел, Вера выпросталась из-под него, оделась быстро, быстрее солдата по тревоге в казарме, обвязала голову белым платком с розами и метельными кистями, ранец на спину взгромоздила уже в коридоре. Глаза ее шарили по темным непроглядным стенам — она искала то, живое зеркало. Зеркала не было больше. Его разбили. Разбило время. Или память. Обезьяну застрелили. На мясо пустили, а из шерсти ее связали кому-то жалкому, бездомному теплые носки.

Тут вдруг стукнуло ей сердце изнутри в ее железные ребра. Она подошла к вешалке в коридоре. Высоко над головой торчали серебряные крючки. Тихо спали, висели без шелеста и шороха казенные временем старые плащи и грязные куртки вечно пьяных соседей. На одном крючке висела куртка Бритого. Вера ошупала ее, как человека. Нашупала твердое. За пазухой, под рваной подкладкой, лежало и спало Евангелие старушки Расстегай. Вера вытащила его и, дрожа, засунула в ранец, утолкала на самое дно.

Вера сбегала по лестнице, и ей чудилось: за ней бежит Бритый, орет: «Стой! Зарезу! Хо-хошечки!» — и она бежала еще быстрее, ноги мелькали, как спицы в колесе, на крыльце она все-таки споткнулась и растянулась ничком, во весь рост, и разбила скулу об острый каменный край ступени, и набирала в ладонь снега и прислоняла к разбитой щеке звонкий, звериный холод, ладонь пачкалась кровью, Вера зло смеялась и, волоча ушибленную ногу, шла вперед по ночным улицам, ранец за спиной, упрямо шла, обреченно, вольно. <...>

* * *

<...> Она шла по Москве и искала в ней ту вечную Москву, о которой она в книжках читала, будто в сказках, и которую воображала себе часто и радостно, как летом — новогоднюю елку: вот кремлевские башни и алые на них звезды, вот танки на параде, вот полосатые, дынные и яблочные купола знаменитых пряничных церквей, — где все это, родное до слез? Небоскребы, блеск стекла и металла, до рези в глазах, дымная гарь, грохот колес и крики гудков заслоняли живой яркий цвет и живой дальний колокол. Тихо, шептала она себе, тихо! Не возмущайся! Это же она, твоя Москва! Твоя любимая столица! Спасибо Иерусалиму, а то так бы и прожила в Сибири и Москвы бы не увидела, не пошагала вдоль по ней, по родимой! Глаза против воли все запомнили. Зачем человеку память? К чему помнить все? В гроб с собой не возьмешь, повторяла она изогнутыми насмешливо тонкими губами ворчливую Лизину присловицу.

На Красную площадь Вера все-таки выбрела. То в метро, то в троллейбусе, то пешком, — ей казалось, она движется ползком, — то и дело выпрашивая у прохожих дорогу, нарываясь на иноземцев, они беспомощно растопыривали пальцы и лопотали по-ихнему, Вера извиняюще улыбалась, она ни одного чужого языка не знала, и это тоже бросало ее в краску, топило в глубоком стыде: вот мы неграмотные какие! а простые! а сибиряки такие вот, лапотные! Она словно бы попала из незапамятного времени, а чуть ли не из-за тюремной колючки, в новый мир, в странный, резкий его свет и гром, — у нее было чувство, что ее выбросили в пустое открытое небо, в черный, всеми звездами сверкающий ночной оком, и все взблескивает вокруг, светится и рушится в бездну, а ей надо пройти над бездной по самому краю жизни, по ее узкой, как ладонь или ступня, дрожащей кромке.

...скажите мне имя времени! Оно — мое. Крепче кремня, нежней, чем белье!

...прозрачней и призрачней, чем свадебная фата...

...страшней, чем на тризне... в крови его пята...

Многоглавая мощная церковь ударила ее по глазам ярким бешенством, безумием куполов: желтый! звездный! алый! в колючих гранях, будто самоцветная друза! полосатый, как матрац! золотой, тяжкий сгусток счастья, хоть лизни золотой сахар, да не отравись только, закрой глаза, застынь, слушай! Как раз зазвонили с колокольни. Вера стояла и слушала звон, будто всю жизнь была глухая и вот услышала мир. «Как чудо», — подумала она с легкой улыбкой — над собой, над миром, что вот внезапно взял да подарил ей столицу, и она невольно сравнивала ее с Сибирью, и выходило так, что

все равно Сибирь сильнее, мощнее, грандиознее. «Наша Сибирь — главное чудо», — думала Вера, задирая голову и восторженно, как дитя, разглядывая яркие сумасшедшие купола Василия Блаженного. Стекло и сталь за спиной померкли. Новизна сдохла, рухнула и разбилась: умерла. Вечность моталась перед Верой в небе, синем уже по-летнему, в виде этих разноцветных круглых разбойничьих голов в расписных роскошных тюрбанах. Вечная Русь принесла ей на голубиных крыльях большую радость, и Вера не знала, куда ей эту радость спрятать: за пазуху ли, в ранец за спиной.

Ни на какую гостиницу денег у нее, конечно, не было. Лизины дареные купюры из ее кошелька исчезали так же быстро и внезапно, как и появились. Она старалась их сберечь, и тем быстрее и насмешливей они, разменные, утекали. Столько поджидало в Москве соблазнов! Как это вкусно, и это, и еще это, а голод не тетка! А это, разве можно такое пропустить, не посмотреть! Вера забредала в зоопарк, в планетарий, дивилась на ночное искусственное, под куполом, небо, полное звезд, и планеты по нему катились, и Юпитер с Красным Пятном, и круг лунного сыра, и Сатурн с кольцами, подобный детской юле; даже на концерт звезды, модной певицы, однажды попала — так долго перед ней трясли билетом и так красиво, медово светились из вечернего мрака толстые, в три обхвата, колонны громадного театра, что Вера не устояла, махнула рукой и вынула деньги из потощавшего гомонка. Певица пела так красиво! Слишком красиво; Вера даже подумала: она не живая женщина, а красивая кукла, и внутри нее завели голосовой автомат, и он выпускает на волю, в публику, красивые соловьиные рулады. Певице громко хлопали, хлопала и Вера. Она хотела вместе с другими людьми увидеть еще раз, хоть на миг, красивую певицу; толкалась около тяжелого занавеса в потной нарядной толпе, протягивала руки, кричала вместе со всеми: «Бис!» В гардеробе, когда она брала свою одежду, она поймала ненавидящий взгляд гардеробщицы: Вера ничего за услугу не дала ей, никакой денежки, не вынула из кармана. Ночевала на Казанском вокзале: быстро и сурово сдружилась с дежурной из Сибири, и та милости ради, без всякой оплаты, пускала Веру в зал ожидания, где можно было угнездиться в железном неудобном кресле и сиротски дремать в тепле.

Ночью, на вокзале, она просыпалась, будто кто ее в бок толкал. Вытаскивала из ранца Евангелие. Нырjala в него, и страницы, как чьи-то живые ладони, грели ей холодные руки.

<...>

* * *

Она пришла в себя в больничной палате, где беззвучно сновали медсестры, беззвучно и осторожно клали на тумбочки ампулы и шприцы и молча, хмуро ощупывали и осматривали лежащих на койках людей строгие врачи. Тишина царила тут и торжествовала. Тишину никто не смел нарушить. Когда больной стонал или, еще хуже, кричал, тут же подбегали люди в белом, делали ему быстрый укол, всовывали пилюлю под язык. И человек утихал.

Вера старалась не кричать, не стонать. Сильно болела голова. Стены палаты были выкрашены масляной краской в белый цвет, и ей казалось, она лежит засохшей бабочкой в бумажной коробке. Ее спросили тихо: где ваш полис? Она так же тихо ответила: в ранце. Потом спросила еще тише: а где мой ранец? Открыли тумбочку и показали ей ранец. Вера закрыла глаза. Из-под ее век на подушку медленно текли слезы. Она оплакивала погибших. А еще плакала перед будущим — она уже не знала его.

Когда худенькая медсестричка с ярко накрашенным ртом пришла делать ей очередной укол, Вера тихо спросила ее:

— Скажите, что это было такое?

Медсестричка вытащила иглу из Вериной кожи, поправила белую шапочку и пожала плечами:

— А вы разве не знаете? Один безумец перестрелял народ. Кучу народу! Дрянь такая! Точное число жертв неизвестно! Мертвых много. Разные цифры называют! А живые вот в больницах валяются, в разных. Вот у нас, все палаты забиты, к нам много привезли, мы рядом с бульваром, нам и карты в руки! Многих мы спасли! Вот вас!

— А я разве раненая?

Вера выпростала из-под одеяла руки и изумленно ошупала себя: плечи, шею, подбородок, грудь.

— У вас сотрясение и ушиб мозга, — веско сказала медсестричка, изо всех сил пытаясь поменять воробьиный голосок на важный и знающий, врачебный. — Контузия. Ну, как на войне, знаете? Но сейчас опасности нет! С вами все будет хорошо!

Вера повернула голову на подушке.

Она не хотела, чтобы птичка-сестричка видела ее слезы.

Слезы текли восторженно, отчаянно, обильно, — непонятно. Внутри Веры будто переключили запретный слезный тумблер. Она лила слезы, задыхалась, звала ночами мать, звала шепотом умершую Анну Власьевну, но больше всего, чаще всего она звала к себе Бога. Его имя всплывало на ее губах само собой. Как песня. И нечего уже было Его стыдиться. Она сама себе была церковь, в этой сверкающей чистым льдом кафеля белой палате, среди этих молчаливых, со снадобьями в ладонях, одетых в белые одежды людей, спешащих к тем, кто должен был умереть: продлить, хоть ненадолго, им единственную жизнь.

Она стала понимать, что такое жизнь. Жизнь была, оказывается, постоянным прощанием с жизнью. Она сама с собой все время прощалась, и троекратно целовалась, и махала рукой, и уходила, и вставала на подножку вагона, и все никак не могла уехать, бросить влюбленных в нее, жалких людей. Жизнь каждый день прощалась и с Верой, она поняла это, и все не могла Веру отпустить, а может, просто жизнь знала, что ей еще рано покидать Веру, такую хорошую, такую смирную и верную, — молчаливую, выносливую.

...вынести, вот это и это... и еще... и всегда и везде...

...не ослепнуть от света. Не утонуть в воде.

...на койке выгибаться... в любви столбняке...

...помогите, братцы... а надо прощаться... чтобы рука в руке...

Вера понимала: вот в нее стреляли и чуть не расстреляли, и она осталась жить, и это означает, что к жизни надо, надо еще тянуть руки, надо крепко обнимать ее и шептать ей на ухо простые и добрые слова. А рядом не было никого, кроме Бога. Вера, лежа на больничной койке и глядя долгими ночами в потолок, видела Его. Переводила глаза на окно. Крестовидная рама чернела на фоне светлого неба. Забыли задернуть шторы: полночный свет наполнял палату белым молоком. Луна лила этот свет, и Луна была настоящая, а все больные тут — потусторонние, и Вера тоже. Она глядела на этот тихий, нежный свет, как из могильной ямы. Черный крест обнимал чугунными руками нежное молочное серебро. Ночь текла и плакала. Луна сияла. Черный крест ее сторожил. Мрачно и бессонно.

Внезапно Вера стала арфой и зазвучала. Ее волосы обратились в струны, тело, изгибаясь, дрожало и отзывалось огненным биением. Так, музыкой, билось ее сердце.

На фоне светящегося окна сидел человек. Она еле видела его. Сидел, закрыв глаза. Длинные спутанные волосы текли с темени на лоб, виски, на плечи. Сгорбился. Голый: голый торс, голые ноги. Белой простыней обмотан живот. Худой. Щеки ввалились. Будто деревянный. Не шевелился. Пальцы сцеплены на коленях. Сидит, молчит. Слушает, как бьется его сердце. Одинокое.

Музыка, музыка, далеко, на том свете, бьют в барабан.

Люди бьют человека, привязанного к столбу, плетями. Слышен хлесткий стук ударов.

Полосы крови по телу. По голому телу — полосы боли.

Он ночью, один, сидит на больничном табурете.

Вера поняла: это он на ней играет, на живой арфе. Струны рвутся.

Нет, он сидит неподвижно. Она сама, одна, поет и плачет.

Вся дряжа музыкой, она привстала на койке на локтях, и койка прогнулась. Человек, сидящий на табурете, не двинулся. Луна обливала его посмертным молоком, и оно густело, застывало потеками льда, и снова таяло, и плакало. Музыка становилась громче, Вера села в койке и обхватила себя за плечи, так сильно ее трясло. Человек на табурете открыл глаза и увидел ее. На кого он был похож? На миг Вере показалось: это ее отец. С того лагерного снимка, где ээки сидят за длинным столом в столовой. И перед каждым алюминиевая серая тарелка. И перед каждым ложка. Лица серые глядят и не видят. Зачем видеть время, которое распорили по швам в прожарке и сожгли, и нет его?

— Отец, — неслышно сказала она, крепче вцепляясь себе в плечи, — ты прости меня, что я такая.

Длинноволосый голый человек на табурете ничего не ответил.

Луна вошла в палату и задернула штору. Серебряная прозрачная занавесь протянулась между голым заключенным и Верой. Арфа стонала, разламывалась надвое. Из Псалтыри скрюченные, дрожащие пальцы старухи Лизы судорожно вырывали страницу с любимой кафизмой. Зрение и слух Веры ломались, кричали и таяли, истекая ночной кровью. Напоследок Вера успела заметить, что вдоль по его нагому телу, по груди, плечам, ключицам бегут вспухшие алые полосы. «Избили, в лагерях-то вон оно как, бьют, лупят почему зря, всего отделали, вот так оно в лагерях, долго будут рубцы заживать и в сырой земле не заживут, какие глубокие раны, как жестоки люди, жестоки».

* * *

<...> Перед Верой внезапно затанцевала змея. Она думала, такая реклама, и змея механическая. На асфальте старый потертый ковер расстелен, на нем изгибается кольцами крупный питон, а рядом дядька, красивый и небритый, щетка щетины серебряно играет в солнечных лучах, прохожие спешат, смеются, швыряют деньги в железную миску. Дядька, белокурый, с профилем старого ангела, протянул руку. Питон подставил плоскую хитрую голову. Скосил глаз. Дядька слегка сжал питону шею, и питон обвился вокруг руки мгновенно и бесповоротно. Вера испугалась: а если будет кольца сжимать! Рука тогда хрустнет в кости!

Она бросилась к облыселому ковру. Вцепилась питону в хвост.

— Отпусти сейчас же!

Небритый старый красавец хохотал, закидывая шею, кадык его хищно торчал.

— Осторожно, сударыня! Он сейчас на вас перекинется!

— Какая я вам сударыня!

— Ну, госпожа!

— Какая я госпожа...

Питон повернул голову, высунул язык и в одну секунду покинул руку дрессировщика и обмотался вокруг ребер Веры.

Она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ее лицо посинело, рот приоткрылся.

Красивый, как старый принц, небритый дядька хлопнул в ладоши. Быстро вынул из кармана крохотный пузырек. Надавил круглую крышку. Разнесся нежный тревожащий запах. Питон разжал кольца. Его тело, все в таинственных разводах и малахитовых уз-

рах, обмякло, опало. Словно нехотя, он сполз на ковер, подполз к ногам дядьки и улегся уютно и покорно, как кот на печи.

Народу возле ковра столпилось много. Аплодировали. Вера глядела туманно, невидяще. Колени ее подломились, и она грациозно, вроде как восточная пери, опустилась на колени. Змея косила на Веру бусиной круглого злого глаза.

— Bravo, bravo!.. а женщина тоже с вами работает?..

— Видишь ли, змея вместо ребенка, жалко их до чего...

— Брось, может, у них дома семеро по лавкам...

— Ты что, не видишь, дурень, она же не из цирка... так, проходящая, а змей напал... все взаправду...

— Э-хе-хе!.. а мужчина что, разве из цирка?.. сам по себе... теперь все частники...

— Меня, несчастную... торговку частную... ты пожалей...

— Теперь все торговцы... все торгуют всем... эти вот — змеей торгуют...

— Ну так ты и заплати!

— И заплачу... не возникай...

Вера, чтобы рассеять все сомнения, взяла да и поклонилась. Озорство разбирало ее, распирало изнутри. Красавец дядька оценивающе проехался по ней быстрым, цепким взглядом, быстро оценил обстановку, будто держал Веру на ладони, как кусок хлеба, и думал: съесть не съесть, свежий ли, черствый, а зуб не сломаю?

Тожe прижал растопыренные пальцы к груди и поклонился. В поклоне ловко подхватил питона на руки. Змея очухалась от жестоких, на нее выбрызнутых духов, ожила, дрожала расписной роскошной кожей. Дядька положил питона себе за шею, держал его одной рукой за голову, другой за хвост.

Вера следила за ним, как за врагом из засады.

«Жизнь и смерть держит. Вот голова, это жизнь, а хвост — это смерть. Или — наоборот?»

Люди кричали:

— Повторить! Еще!

Дядька, улыбаясь, обернулся к Вере.

— Слышите, гражданка, еще хотят.

Во рту его, среди прочих, еще крепких и белых, а может, нарочно выбеленных зубов, не доставало глазного зуба. «В драке выбили», — подумала Вера.

— Какая я... тебе... — она скатилась на грубость. — гражданка!

— Ну тогда товарищ.

Она уже смеялась.

— Товарищи зрители! — зычно возгласил воспитатель змей. — По вашим многочисленным просьбам... и заявкам! Концерт продолжается! И сейчас вы увидите смертельный номер! Называется «Неверная жена султана».

Обернулся к Вере. Она сразу поняла, чего от нее хотят. Хотела воспротивиться. Восстать, оттолкнуть дядьку и сломя голову убежать. Вместо этого, как под гипнозом, она стащила с плеч ранец, легла на ковер на спину, головою на ранец, сложила руки на груди и сделала вид, что сладко спит. Красавец сложил руки на груди и прохаживался по ковру взад-вперед, изображая бессонного грозного султана. Потом и он улегся на ковер. Вынул из кармана изогнутую в виде рога деревянную дудку с утолщением на конце. Дунул в нее: дудка издала тревожный гулкий звук, будто далекий муэдзин на минарете в ночи кричал, а может, пел в нос святые слова. Питон вздрогнул всей кожей, высоко поднял голову, поводил ею туда-сюда, быстро-быстро высовывал и прятал язык, а потом медленно, страшно пополз — все ближе и ближе к Вере.

Вера сама не понимала, что с ней такое стряслось. Руки ее превратились в лианы. Тело — в крупный гигантский стебель. Она, глядя перед собой расширенными глаза-

ми и не видя ничего, изгибала шею, сгибала ноги в коленях, сидя на ковре, исполняла древний, неведомый ей танец, играла в любовь, играла в смерть. Питон подполз совсем близко к Вере, и она положила обе руки ему на узорчатую кожу. Он полез вверх по Вере, как по дереву. Верины руки скользили по змее. Она трогала ее локтями, кистями рук, потом губами. Змея обвилась вокруг Вериных плеч. Вера гладила змею, приближала лицо к ее голове и приоткрытой пасти. Змея высовывала язык и касалась им Вериного рта. Публика затаила дыхание. Вера легла спиной на ковер, раскинув руки и раздвинув ноги. Питон свивался на ней кольцами. Кто-то в толпе крикнул. И засмеялся. Небритый дядька вздрогнул: изобразил, как султан проснулся, встал и прокрался к любимой жене в спальню. Люди молча следили за искусной пантомимой. Питон обвил ногу Веры и положил плоскую, как пирожок с капустой, голову ей на низ живота.

Дядька швырнул на ковер дудку, разинул рот и беззвучно заорал, потрясая в воздухе кулаками. Протянул вперед указательный палец. Это был приказ о казни неверной супруги. Питон сполз с тела Веры и, повинувшись владыке, обвился вокруг Вериной шеи.

И стал ее душить. <...>

* * *

Вера стала жить у дрессировщика в квартире. Две комнатенки на окраине, около шоссе Энтузиастов. Полупустые, в одной физкультурный мат на полу, в другой пружинящий матрац. Крошечная ванная, в ней маленькая стиральная машина. Кухня-скворечник. На кухне машина кофейная: красавец страстно любил кофе. Пил его без перерыва. За день мог выпить десять чашек, когда и больше. Питон Дервиш спал вместе с дядькой. Ласково обвивал его, клал огромную плоскую башку к дядьке на подушку. Звали дядьку женским именем Валя. «Валентин — это здоровый», — назидательно говорил он Вере, поднимая палец, словно определяя направление ветра.

Вера молча наклоняла голову.

Она не знала, сколько проживет здесь. Время сложилось цирковым веером. <...>

* * *

— Валя, — тихо, уставясь в кухонный пол, сказала она ему, — я от вас уйду.

Сидели за голым столом. За их спинами, в сковороде, ждал приготовленный Верой обед — шницеля, поджаренные с грибами и луком.

— Куда ты уйдешь?! — расхохотался Валя. — Побираться? Или в Сибирь вернешься автостопом?

— Что такое автостоп?

— Ну и дура!

— Я вам не говорила. Но сейчас сказать хочу.

— Ну, валяй! Колись!

— Мне в Иерусалим надо.

Валя присвистнул, потом зашелся в хохоте. Булькал, как чайник на огне.

— О-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Куда, куда?! Во, тетка, даешь! А поближе куда тебе не надо?! Париж открыт, но мне туда не надо! А-ха-ха!

Вера терпеливо выслушала весь его смех, до конца.

Бросила в наступившее молчание:

— В Иерусалим надо мне, и я туда доберусь. Вы меня отпустите, пожалуйста.

Валя прищурился, шагнул к шкафу, раскрыл дверцу и вынул темную бутылку.

— Красенького?
— Я вина с вами пить не буду. Мне с него плохо. У меня к вам просьба.
— Валяй!
— Мы будем выступать, вы мне денежек откладываете. Я на поездку так заработаю. А то где же мне заработать. И жить мне негде. Если вы, конечно, согласитесь. Если нет, я от вас уйду. Бог... — она запнулась, произнесла это слово, — мне что-то другое тогда пошлет. Кого-то.

Старый красавец склонил голову набок, как птица; рассматривал Веру, как заморскую колибри.

— Ишь! — выцедил. — Обо всем рассудила! Все взвесила! Да-а-а-а... Умна баба. Да нища, старая тряпка! Да ты никто и звать тебя никак! Да ты... да ты... — Вера видела, как у него перехватило дыхание. Он ловил воздух ртом. — Ты знаешь что... Оставайся! Ну, насовсем! Я привык к тебе!

За руку ее схватил. Крепко, цепко. Вера от боли сморщилась.

— Я женюсь на тебе! Хотя ты и старая кошелка!

Захотел опять. Хохот тоскливо повис кухонной гарью, угас.

В открытую дверь вполз питон, подполз к ногам Вали, обвился вокруг его ноги и положил по-собачьи голову на его колено. Валя рассеянно гладил голову змеи, сам безотрывно глядел на Веру.

— Дура. Я привык к тебе. Дура!

Вера все ниже опускала голову.

— Мне надо. Я уйду все равно.

— Куда ты без денег потопаешь!

— Бог поможет.

Слово «Бог» она произнесла на этот раз более твердо. Даже радостно.

Валя то бледнел, то краснел. Потом с грохотом вытащил из ящика штопор и зло раскупорил бутылку. Вера уже вынимала бокалы. Валя уже разливал красное.

Ударил бокалом о ее бокал.

— За твой отъезд, дура, — тихо сказал. — Дам я тебе денег. Есть у меня. И загранпаспорт сварганю. Палец о палец не ударишь. Принесу, дура, на тарелочке. С голубой каемочкой.

И он сдержал свое слово.

* * *

<...> Она впервые в жизни летела самолетом. Да, ей было страшно, но не настолько, чтобы паниковать. Когда самолет загудел и стал набирать скорость, она вцепилась в подлокотники кресла; когда взлетел, она разжала руки, глубоко вздохнула и заткнула пальцами уши — гул показался ей невыносимым. Потом привыкла. Самолет нырял в воздушные ямы, Веру тошнило. Она изо всех сил подавляла приступы рвоты. Стюардесса подошла к ней и сладким голосом спросила, чего ей надо. Ничего не надо, замотала Вера головой, спасибо. Стюардесса быстро убежала по ковровой дорожке и быстро прибежала с подносом в руках; склонилась перед Верой, будто перед шахиней, и быстро щебетала — угощала. Вера протянула руку и смущенно взяла с подноса тарелочку с красной икрой и толстопузый бокал; ей почудилось, в бокале сок. Поднесла бокал к губам, в нос ударил мощный спиртовый дух. Это оказался коньяк. Вера никогда не пила коньяк, только водку и вино. Она осторожно втянула запах ноздрями, нюхала долго, пьянела от запаха, улыбалась. Чуть пригубила, держала бокал на коленях, обнимая обеими руками, грела ладонями. Она не знала, что именно так, в ладонях, греют коньяк.

...черный крест... самолет...

...красный плот...

...красный крест... нет мест... норд-ост, зюйд-вест...

...красный крест. Он горит. Я баба, я должна его вышить. Тогда... еще можно выжить.

Но я не рукодельница. Я моей жизни мельница. Я не Анна Власьевна. Лечу. Слетаю с ума. Я лучше тем крестом стану сама. Раскину руки... будто обнять... я — мать... всеобщая мать... Железный гроб в небесах. Я лечу. Я дух. Я прах. Свечой — свечу.

...крыла... я — в небо ушла...

Откусила от тарталетки, чмокала, наслаждаясь, ну, красную икру она ела в Сибири не раз, чаще в гостях, а когда распродажа, задешево и сама покупала; прихлебывала коньяк, так потихоньку и выпила все, до дна, захмелела, развеселилась. Спать захотелось. Вера уснула, и бокал вывалился у нее из рук и покатился по проходу салона. Ренец ее торчал из-под сиденья: ей разрешили пронести с собою ручную кладь.

Когда она проснулась, она услышала рядом разговоры других людей. Люди беседовали о чем угодно: о здоровье, о еде, о войне и о мире. Вера поняла, что все боялись близкой войны и только о ней и говорили, а если даже не о ней говорили вначале, то на нее все равно сбивались. Она прислушивалась. Толстый, как сдобный пирог, мужчина, шикарно одетый, с золотым, с алмазом, перстнем на безымянном пальце, громко вещал кудрявой болонке-соседке о том, что он скоро уезжает в Канаду на пээмжэ. Вера думала, Пээмжэ — это такой город в Канаде, и может, даже курорт с лечебными ваннами и спа-процедурами, а потом догадалась: это Постоянное Место Жительства. «Дура ты и есть дура», — презрительно подумала о себе. Толстяк возглашал:

— Да вы знаете, сударыня, сейчас все отовсюду бегут! Украинцы бегут в Америку, в Канаду. Азиаты — в Европу. Тучами наваливаются, роями! Германия вот точно скоро потонет в турках! Там в школах, знаете ли, учатся одни турецкие дети! Немчиков раз-два и обчелся! Наши евреи бегут, миль пардон, в Израиль! Вся моя родня — давно в Израиле! В Яффо, в Тель-Авиве, в Хайфе! Хайфа, о, знаете, сударыня, это такой красивый город! Красивейший! Одесса-мама ну просто отдыхает!

Вера не расслышала толком, что ответила дама. Кажется, она возразила и стала защищать Одессу. Толстяк поморщился.

— А чего в Одессе такого уж эффектного?! Оперный театр?! Потемкинская лестница?! Ланжерон?! О, Господи... Ланжерон... Сколько я там ракушек очаровательных находил когда-то... Сейчас, перед Канадой, вот тоже, знаете, хочу по Ланжерону побродить, ракушку, черт возьми, поискать... черт меня возьми совсем... да...

Он повернул жирное блестящее лицо к Вере, тройной подбородок дрогнул, и Вера вытащила из кармана носовой платок и протянула толстяку.

— Вот... вытритеесь...

Толстяк оттолкнул ее руку.

— Фу! Какую грязь вы мне предлагаете! Вытирайтесь сами!

— Он чистый, — растерянно возразила Вера, — я стирала...

Толстяк вынул из кармана свой платок и утер глаза, рот и подбородок. А слезы все мелко, градом, катились, лились ему за шиворот, под крахмальный воротничок.

Стюардесса подкатила тележку на колесах. Сначала по-иностранному спросила, потом по-украински, потом наконец по-русски:

— Обед желаете? Курочка с рисом, салат, сок, вода, коньяк?

— Коньяк, — сказала Вера и протянула руку.

Толстяк захохотал, и подбородки его затряслись.

— Ишь, какая лизоблюдочка! А закуски к коньяку? Давайте, милочка, давайте все, что там у вас есть!

— Не все, что есть, — строго сказала стюардесса, продолжая мило улыбаться, — а то, что полагается.

Откинула раскладные столики, расставила бумажные тарелочки с яствами, бокалы с коньяком, улыбнулась до ушей, унеслась, катя тележку перед собой.

Толстяк заинтересованно глядел на бедно одетую Веру.

— А вы, сударыня, смею полюбопытствовать, к кому в Одессе? К родне?

Вера держала бокал в руке и весело глядела на толстяка. Глаза ее, широко, по-коровьи расставленные, чуть раскосые, серым жемчугом блестели.

— Или Одесса для вас перевалочный пункт? Хм, ну, транзитом проедете?

Хмельная Вера сощурила глаз и посмотрела на толстяка сквозь прозрачную толщу коньяка.

— Транзитом. Я — в Иерусалим еду.

— О! — закатил глаза толстяк. — На Святую Землю! Недурно, сударыня, недурно.

Паломница?

Опять окинул насмешливым взглядом ее бедный наряд.

Вера поежилась, собрала пальцами на груди воротник темной кофты на мелких пуговицах.

Бокал с коньяком дрожал в ее другой руке.

— Да. — Врать так врать. — Паломница.

— Хм, святое дело. — Толстяк тоскливо вздохнул. — А я вот... в город детства. Может, там, на пляже, вместо ракушек... свое детство найду! Выпьем?

Соседка-болонка обиженно кашлянула. Она привлекала к себе внимание.

Толстяк поправил в кармане роскошного пиджака белый торчащий уголок платка. Помял шелковый узел галстука. Вдруг рванул галстук, стащил его, бросил на пол самолета. Сложил губы в улыбку, и на Веру изо рта его блеснул старинный золотой зуб. «Как у бандита», — подумала Вера. Толстяк взял с раскладного столика бокал и двинул им о бокал Веры.

— За наше детство, — сказал, задыхаясь. — Ой, нет! Давайте лучше за...

— За любовь! — задушенно, высоким журавлиным голосом крикнула кудрявая соседка через их головы. И ближе посунула к ним свой бокал.

— Елочки же палочки! — выдохнул толстяк. — Конечно, за нее, родимую! Со мной, в этом же самолете, летит моя любовь. Девушка моей мечты! О, если бы вы видели мою девушку! Ну, в Одессе по трапу будем сходить, увидите! Принцесса!

— А где она? — спросила Вера.

— В бизнес-классе! Со всем шиком! А я тут! В эконо-дерьме! Я — ближе к народу! Потому что я сам народ! Выпьем!

Они выпили. У Веры загудело в голове. Она опять вся и вдруг стала музыкой, звучала, вибрировала — звучали пальцы, дрожали плечи, тихо пели ноги, шелестели губы, звенели волосы, развиваясь, выпадая из пучка, похожего на кукиш. Вера косилась на толстяка и думала: «Вот у такого жиряги и девушка-красотка есть, ну, небось она за деньги замуж вышла, а может, и не замуж, а так, а может, он добрый, хороший человек, а может, он мужик хороший, ну, в постели, даром что жирняй», — и пугалась своих грубых, циничных мыслей, как пугаются летящего под откос поезда. Кудрявая болонка улыбалась толстяку коралловыми крашеными губами, поправляла на морщинистой шее ослепительно сверкающее кольцо. «Драгоценности все на себе везет, и не боится, что сорвут с груди».

— Вот вы, паломница, — толстяк отпивал коньяк из бокала медленно, вкусно, — а коньяк пьете!.. вы вот скажите мне: каково это — верить в Бога?.. Ну, какое у вас чувство, ну, что вы верите. Я вот не верю, мне интересно. Как вы... ну... Его — чувствуете? Или никак? Нет, как-то ведь чувствуете все равно. Без чувства веры нет. Чувство... это...

это ведь как любовь! Вот я люблю мою девушку. О!.. очень. Так люблю, так!.. жизнь за нее отдам. Я ей и так все состояние свое отписал! Все — ей — завещал! Кожу с себя готов содрать — и ей отдать!.. А вера... вера... что она такое? Ну, что вы... да, вот вы... паломница... ощущаете, когда губами к иконе прикасаетесь? Или вот в Иерусалиме пойдете ко Гробу Господню? Или там... в Вифлееме поедете, туда, где Иисус в яслях лежал, с коровами и овцами?.. А?.. Благоговение... или что другое?.. что... другое...

Самолет внезапно накренился на один бок, перекатился на другой, чуть не сделал «бочку», с трудом выровнял полет, потом его сильно, мощно тряхануло, и он задрожал крупной противной дрожью — так, что зазвенели все его стальные сочленения, кольца и винты.

— Трясет, как в преисподней! — сказал толстяк.

Коньяк выплеснулся из бокала ему на штаны.

Самолет клюнул носом воздух и стал падать. Люди в салоне завизжали. Спящие дети проснулись и громко, пронзительно заплакали.

— Мы умрем! Умрем!

Кудрявая болонка поднесла оба кулака ко рту и кусала их и орала как резаная.

Вера ни на кого не смотрела. Она смотрела вперед.

«Ну вот и все. Как все просто! Какая же простая и маленькая жизнь! Сколько ни живи, а все будет мало. Как все вопят! А вокруг нас, в небе, какая тишина! Никому нет дела до людей, что орут в самолете. И даже Богу до нас дела нет! Падаешь — и падай! И не плачь, потому что некому и незачем плакать! Зачем они все так страшно кричат?»

До нее донесся дикий голос:

— Люди! Люди! Я поганец! Я людей убивал! Люди! Каюсь! Боже! Если Ты есть! Прости меня! Люди! Простите! Простите! Я не хочу так просто уйти! Непрошненным! Простите!

Голос поодаль закричал с надсадом:

— Да простили тут давно все тебя! И Господь простил!

Вера глядела прямо перед собой и не видела, как торопливо, истерично, мелко дрожащей рукою крестится толстяк. По толстому лицу тек пот вперемешку со слезами. Толстые, вывернутые по-негритянски губы бормотали:

— Люсенька... Люсенька... я тебя... не увижу... не обниму... где ты, крошечка моя... красавица...

Опять на одно крыло, на другое перекатился железный бочонок. Люди плакали. Крики бились о стены салона. Кудрявая болонка низко нагнулась, приблизила лоб к согнутым коленям и обхватила ноги руками. Как кошка, она пыталась свернуться в клубок, чтобы спастись.

Вера сидела деревянно, пристегнутая ремнем. Мысли сначала еще жили в ней, потом враз все умерли. Во рту у нее пересохло. «Питъя, — подумала она жестоко и жестко, — на том свете уж точно не поднесут». Стюардесса металась по салону, потом не удержала равновесия, и упала, и поползла, хватаясь руками с намазанными лиловым лаком ногтями за кресла, за ковер, за подлокотники.

— Уважаемые пассажиры!.. господа!.. гос... по...

Она еще пыталась быть вежливой. Ее выучили правильно.

— Эй! — крикнул толстяк Вере в ухо.

Она обернула к нему невидящее лицо.

— Увидимся на том свете?!

Что ей было делать?

Надо было говорить ему правду.

Или — солгать.

Беда была в том, что она не знала ни лжи, ни правды.

Ничего не знала.

— Увидимся! — крикнула она ему в ответ сквозь вой в салоне и людские вопли.

И сама заплакала, оттого что человеку перед смертью неправду сказала.

* * *

Самолет будто провалился в вату. Выровнял полет. Гудел ровно и мерно. Больше не трясло.

Все изумленно оглядывались, смотрели друг на друга, смотрели и не верили тому, что живы. Что все кончилось. Кончился страх и ужас.

Стюардесса, стыдясь, одергивая задранную юбку, медленно поднялась с пола. Поправила волосы. Заученно улыбнулась. Сверкнули зубы. Она стала говорить, и ее голос напоминал голос сломанной куклы, заведенной сломанным позолоченным ключом:

— Уважа... емые!.. пассажи... ры. Мы попали в зону... тур... тур... бу... лентности... и теперь вышли из нее. Мы!.. продолжаем наш полет. Просьба всем... кто не... пристегнуть ремни... а кто... не... отстегивать... до посадки... и полной остановки самолета. Мы!.. скоро!.. прибываем в аэропорт города...

— Одессы, — хрипло закончил за стюардессу толстяк. Он нашел пухлой, как подушка, рукой руку Веры и сжал ее тепло, больно и отчаянно. И Вера ответила на пожатие.

— Просьба всем оставаться на... местах!.. до полной остановки... двигателей...

Самолет начал снижаться. Это уже не было падением. Он снижался по глиссаде, в иллюминаторах вспыхивал облачный туман. Когда шасси коснулось земли, Вера прикусила зубами губу, потекла кровь. Когда самолет встал на месте и затих, толстяк отстегнул ремень, уткнул лицо в ладони и затрясся в неудержных, совсем бабьих рыданиях.

* * *

<...> Все ближе подходила она к домишку на берегу, и да, это было крохотное приморское кафе; смеркалось, и в полумгле оранжево, лимонно горел и переливался дявольский неон в неуклюжих буквах над крышей: «КАВЯРНЯ». Ветер выдул из Веры последние остатки тепла. Дрожа, вошла она в кофейню, поднесла ко рту руки, дышала в ладони, даже пососала грязные пальцы, как леденцы.

— Ви продрогли? Погрійтеся! — Бармен с полотенцем через запястье склонился перед ней в радушном поклоне. — Сідайте, пані, ось вільний столик!.. Чашку кави бажаєте або чого міцніше?..

Она села, стащила со спины ранец, затолкала его под стол и шупала ногами, чтобы не украли; ей принесли на подносе кофе и в блюдечке — темный коричневый сахар. Она впервые грызла такой сахар. Фруктовый?.. медовый?.. Окунала кусок сахара в кофе, пила вприкуску. Блаженствовала. Как ей было хорошо! Забылась. Забыла, кто она, куда и зачем движется по земле. В зал вошел человек. Она сперва не заметила его. Такой он был серый, как мышь, незаметный. Низкорослый, худой. Будто невесомый. За его плечами болтался то ли старьевный мешок, то ли старый рюкзак. То ли бродяга, то ли прокуренный рокер, то ли несчастный бомж, то ли тайный наркоман, неприкаянный, неслышный, он прокрался сквозь столы, выбрал Верин стол и сел за него, ошупывая странную суровую женщину глазами, будто то была нарядная рождественская елка.

— Можно мне с вами?

Бродяга говорил по-русски.

Вера вздрогнула, и ее глаза стали опять видеть.

— Да. Конечно.

— Добрый вечер.

— Добрый.

К бродяге тут же подскочил официант; судя по всему, бродягу тут хорошо знали.

Он уже отхлебывал из огромной чашки кофе, и уже курил, ссыпая пепел в пепельницу, не глядя; и уже улыбался Вере беззубым жалким ртом, и уже говорил, и болтал, слово за слово, а Вера хранила молчание, как хранит его холодное море.

— Вы тут одна сидите!.. я и думаю, развлеку. И сам развлекусь. Знаете, тяжело мне жить. Несладкая моя жизнь!.. а у кого она сладкая?.. сладкой, ее просто нет. Все мы, блин, сладкоежки!.. а надо мясо грызть, мясо, и крепкими зубами. Вы знаете, я ведь гений. Ну да, не делайте круглые глаза!.. Не думайте, я не псих. Я настоящий гений! Чистой воды. Алмаз «Шах». Или там «Орлов». Без примесей. Играю на солнце! А меня — в грязь, в грязь! Да сапогом, сапогом! И бульжником — вдребезги!.. да я привык. Я написал гениальную книгу!.. да!.. подобную Псалтыри!.. новую, не побоюсь так сказать, Псалтырь, да у меня рукопись утащили. Да, так просто, взяли — и украли! А у вас что, никогда ничего не крали? И даже деньги?.. и даже губную помаду из сумочки?.. ну да, вы не краситесь... вы — без макияжа, ах... это тоже сейчас модно, мода такая, голое лицо... Я плакал! Дико, страшно плакал! Потому что рукопись моя была в тетради, никакая не виртуальная! А потом, знаете... больно говорить, да... — Отхлебнул горячего кофе. Закрыв глаза. Вера глядела на его впалые щеки, на его щетину и морщины, длинными стрелами через все лицо. — Ну как не сказать... У меня жена ушла... и унесла с собой ребенка... моего ребенка... но это полбеда... она... она... убила меня.

Вера думала: «Господи, да воистину сумасшедший».

Но слушала молча, терпеливо.

— Что, думаете, безумец я? — Бродяга криво усмехнулся. Грел руки о чашку. — Думайте на здоровье. Это ваше право. Жена ударила меня ножом. Вот он след! — Бродяга внезапно со звоном отставил чашку и потянул вверх рубаху и полу куртки, под рубахой мелькнули полоски тельняшки, он бесстыдно обнажил ребра, через ксилофон тощих ребер тянулся длинный белый, грубый шрам. — Хороший след мне женка оставила?.. да, знатный. На всю оставшуюся... да ладно, это бы еще полбеда. Знаете, что потом-то было?.. а?.. не знаете. А потом она себе по ребрам тем ножом полоснула, да так, шуточно, чтобы только поцарапать... а рукоять ножичка сухо-насухо вытерла... и мне в руку всунула... чтобы мои пальчики отпечатались. Лежу на полу, в кроватке, нож у меня в руке, сжимаю его, да все я понял тогда сразу, а куда бежать, кровью истекаю, сознание уходит!.. она убежала, стервь. И дочку, дочку унесла... так орала дочка... как поросенок под ножом... Короче... женщина... и вы женщина, и она — женщина... в тюрьму меня-таки посадили!..

— В тюрьму, — эхом повторила за бродягой Вера.

Кофе в чашках остывал.

Она не могла оторвать глаз от его лица: оно светилось.

— И — отсидел!.. еще как отсидел... оттрубил... тика в тик... десятку... адвокат как ни бился, чтобы до пятерки скостить, не смог... И — вышел! И... в монастырь двинул!.. вот куда. Монастырь — счастье мое и проклятье мое. Оказался я там, в келье — и что?.. одинок, матушка. Одинок! Впору меня самого свечой у аналоя жечь. Так и сгореть хотел, такой свечой. Тосковал!.. выл. Ночами — выл! Вслух Псалтырь читал. И Евангелие — читал. И пока читал, знаете? — много постиг. Главное — постиг!

Вера дрогнула бескрылой спиной. Под лопатками заболело, заныло.

Что это такое он главное-то постиг?

Любопытство разобрало ее. Боль прошла вдоль хребта, вспыхнула и умерла в горячо бьющемся сердце.

— Вокруг меня стали, знаете, монахи толпиться. А я им — свои мысли излагал! И вроде как мое учение это было. Не смейтесь! А впрочем, можете и смеяться. Я не запрещаю. Смешно, да, смешно все, что я вам тут болтаю. Жизнь вообще смешная штука. Монахи меня слушали, раскрыв рты!

И тут Вера раскрыла рот.

Она не могла удержаться.

— А о чем... вы им говорили?

— О чем?! — Бродяга хитро прищурился. — А вам так хочется знать?.. Извольте!.. расскажу. Пока нас отсюда никто не гонит. Каварня эта не круглосуточная, но до двенадцати ночи мы точно посидим. Не попрут. Меня тут любят. Я тут все починаю. И электропроводку... и полки прибиваю... и люстры прикручиваю... и... О чем?! О том! Делай что хочешь, да, только потом будь готов, что придется отвечать. За все, что сделал. И необязательно на небе. И на земле — ответишь! Обманываешь? Тебя тоже обманут, и еще как! Своруешь?! Тебя обворуют, да всего обчистят, до нитки! Изобьешь кого втихаря?.. не взыщи: тебя так отделают, маму родную не узнаешь. Исхлещут всего, в кровь, до кости!

Вера цапнула бродягу за локоть. Ее затрясло.

— Так, значит... — Она дрожала все сильнее. — Вот Христос! Вот его избили... ну, мучили Его... в тюрьме, когда Иуда Его поцеловал и Его в тюрьму солдаты забрали. Били Его солдаты! Смертным боем били! Мне старуха Расстегай говорила. А потом я и сама прочитала. В Евангелии! Истязали! К столбу привяжут и бьют! В смерть бьют! Без пощады! И что же?! Что ж это значит, а?.. что Христос кого-то, значит, сам когда-то избил... над кем-то надругался... а теперь — Его самого пытаются?! Так, выходит?! Не понимаю. В этом твоя истина, что ли?! Ошибаешься ты!

— Нет! Не ошибаюсь! — Бродяга тоже кричал. — Все — так! Все! Кроме — Христа! Он ведь за нас за всех муку принял, ни одному живому существу не причинив зла! На то Он и Бог! Поэтому — Бог! А все мы — грешники!

— Господа-товарищи, — по-русски, презрительно бросил бармен от уставленной бутылками стойки, — пожалуйста, потише... у нас посетители, неудобно... Алешенька, ты-то что разорался на ночь глядя...

— Прошу прощения, — бродяга прижал ладонь ко груди и поклонился в сторону бара, — больше ни-ни...

— Тяпнул, что ли, уже где?

Бармен сердито протирал полотенцем бокалы.

— Нет, нетушки... ни в одном глазу... я трезв как стекло...

Вера заглянула в чашку. Черная кофейная гуща стояла на дне чашки нефтяным озером.

Бродяга вздохнул раз, другой тяжело, длинно.

— Жизнь... жизнь... Я говорил монахам: не бойтесь любить! Вы боитесь даже другу, соседу услужить, доброе слово сказать. Что толку, что вы молитесь? Вы делами — молитесь! Делами — Бога славьте! Я учил: есть люди, совсем не верящие в Бога, они даже над Богом смеются, атеисты, глухие к Богу и слепые, и обижают Его, оскорбляют... Но они так живут... так!.. что они — самые подлинные, настоящие христиане! И людей любят. И им помогают. И слабого — жалеют. И все строят, создают, и бескорыстно, не за мзду! И милость к врагам даже имеют! И четко — по Христу! — после удара по правой щеке — левую смиренно подставляют! И смеются над мучителем! И живут полной жизнью, и снова любят, любят! Ближнего — любят! И что? Что после этого ты скажешь? Что они — не во Христе живут?.. Еще как во Христе! Еще какие они христи-

ане! Самые наилучшие! Честнейшие! Только что — лоб не крестят! И их-то надо уважать, и приветствовать, и любить, потому как они — наиглавнейшие дети Христа! А не те, что в монастырьках за трапезой сидят да к обедне гуськом тянутся! И вот так... вот так я монахов-то там, в монастырьке моем, и учил... А игумен пришел как-то раз... перед дверью стоял — и все подслушал... и меня после за шкуру схватил!.. и орет: ересь глаголешь, ересь! Вон, кричит, из монастыря! Мирской ты человек, и топтать ты тут нашу монастырскую травку, и сажать монастырскую капустку не должен, и кондаки и ирмосы с нами распевать — опять же не должен!.. ничего ты тут не должен... И — никому... И — жми отсюда... чеши к едрене-фене...

— К едрене... — Вера смешливо прижала ладонь к губам, — так прямо... и сказал?..

— Ну, там я дословно не помню... но смысл такой... Короче, собрал я манатки... не ко двору я пришелся. Да там послушник был один. Молоденький! Совсем юный. Ко мне так привязался! Я ему как брат был. Родной. Он мне все услужить старался. Помочь. Я там, в монастыре, руку сломал. Ремонт у нас был, я белить стену известью полез, на леса взобрался, люльку со мной стали на ремнях поднимать, ремень оборвался, ну, и я упал. Об пол шмякнулся. Рука — хрясь! Так тот послушник сам гипс раздобыл, сам лангетку наложил. Руку мне забинтовал, как младенчика. Все спрашивал: больно? больно? Заботливый. И вот когда я уходил... ну, разжалованный уже, расстриженный... послушничек этот как метнется ко мне! Как обнимет! Крепко-крепко! И зарыдал у меня на плече. Как, знаешь, Давид с Ионафаном обнялись... и рыдаем оба... ну, он мальчишка, слабодушный... а я, взрослый мужик, и чего реву?

— Давид... — морщила лоб Вера, — Давид... это царь Давид, что ли? Который Псалтырь сочинил?

— Сочинил... — Бродяга, вроде Веры, в чашку свою заглянул. — Такие книги, знаешь, не сочиняют. Они — богодухновенные. Тебя как звать?

Вера не заметила, как, когда они перешли на «ты».

— Вера.

— Хорошее имя. Крепкое. Такое... — Бродяга сжал кулак и потряс им. — А я...

— Ты Алешенька.

Бродяга изумленно воззрился на Веру.

— Откуда ты знаешь?!

— Я услышала. Тебя назвали так.

Кивнула на бармена. Бармен сидел на круглом высоком стуле и медленно, важно курил. Алешенька откозырял ему, как офицер генералу.

— Точно. Алешенька я. Неприкаянный. Да вот, Вера, в путь я собрался. В неблизкий.

— В путь?

— В путь.

Вера вздохнула.

— И я тоже в пути.

Алешенька улыбнулся ей так светло, будто среди ночи солнце взошло.

— Значит, мы с тобой оба путники.

— Да. Путники.

Ей понравилось слово «путники». «Путники, путники», — неслышно вышептывала она горячими губами. Сцепила чашку рабочими крепкими пальцами. Подняла. Стукнула чашкой о чашку Алешеньки.

— Давай допьем. Выпьем. Кофе. За нас.

Опрокинули чашки себе во рты. Проглотили холодный кофе и засмеялись.

— Кофе — за здоровье! Ну мы даем! А может, Вера, чего покрепче? Глянь, у них полно тут чего покрепче. Заказывай.

— А у тебя деньги есть?

— Есть. Не вопрос. Что берем?

Взяли пузатую бутылку местного, одесского коньяка. Бармен принес, откупорил, поставил бокалы, нарезал тонкими ломтями яблоко, в розетке поставил на стол маслины и сыр. Алешенька поблагодарил бармена гордым царским кивком.

— Потом рассчитаемся, Жорик.

— Я много не буду, — тихо сказала Вера, глядя на пузатую, как тот толстяк в самолете, бутылку. Алешенька усмехнулся.

— И мало тоже. Прозит, как говорится!

— Что-что?

— Темнота. Твое, типа, здоровье!

Вера больше нюхала коньяк, чем пила. Алешенька пил много, забрасывал в рот маслины, веселел, розовел. Его торчащие скулы пылали, как в жару. Пьянел он быстро и радостно.

— А-а-ах, Верчик! Хорошая ты баба. А куда стопы направляешь? Из нашей милой, славной... Одессы-мамы? Одесса-мама, Ростов-папа! Снимите шляпу!.. Одинокая? Или замужем?.. да мне-то что, мне плевать. Разные у нас дорожки!.. тришки-ешки!..

— А ты куда?

Вера уткнула нос в бокал. Коньяк пах черносливом и шоколадом, а еще немного дорогим табаком.

— Я-то? Я — в Хайфу. Паром мой через пять дней. Надо обождать. С тоски помру!

— Я тоже в Хайфу, — сказала Вера, искоса, через стол, глядя на монаха-расстригу.

— И ты в Хайфу?! Вот так да! — Алешенька расплылся в широкой улыбке. — Промысел Божий! Вместе поплывем! И молиться, — он сглотнул и восторженно поглядел на коньяк, — будем вместе...

— А ты зачем в Хайфу? — Вера захотела блеснуть знанием. — На пээмжэ?

Алешенька захохотал. Оборвал хохот.

— Вроде того. У меня билет в один конец. Я там... Вера... в монастырек тамошний хочу попроситься. И... остаться. И чтобы укрыли. Там... там хочу. Хочу... На Святой Земле. Я тут, на грешной-то, хлебнул горячего!.. я не все тебе рассказал, не-е-е-ет. Не все! Я — грешник! Грешник великий. Отмолить грех свой хочу! А он у меня такой... такой...

Согнулся. Выгнул спину. Бессильными руками лицо закрыл. Пьяно заплакал. Стал раскачиваться за столом, чуть со стула не упал. В край стола вцепился, изругался шепотом.

— Какой? — тоже шепотом спросила Вера.

Спохватилась:

— Не надо. Не рассказывай.

— Не... буду... — всхлипывал Алешенька. — А впрочем, скажу... В двух словах... Ты — поймешь... Ты же Вера... Я обуреваем дьяволом был... в компашке тут одной мы собрались... Это уже на Украине произошло. Да... тут... под Одессой... за городом... хуторок на берегу... море такое славное, ласковое... и девочка... девчонка эта... Короче... еще короче...

— Я поняла, не надо! — тихо вскрикнула Вера.

Алешенька не слышал ее.

— Дочка хозяев... лет десять ей... банька там у них, во дворе... прибор в камни бьет... Гости орут: баню хотим! Баню растопили... девочка эта — нам веники несет. Березовые... Паримся, хлещемся... и тут... собутыльники мои делись куда-то... я — один... за стенкой, на улице, на ветру — голосок... песню поет... Я вышел, сгреб ее в охапку, в баню внес... дьявол это, Вера, дьявол... Он — везде... вот он за тобой сейчас следит! Подсматривает! И только ищет удобного момента... ждет... выжидает... маленькая де-

вочка... беленькая, как вареная курочка... глаза такие у нее были... я ей рот рукой зажал... она мне всю руку искусала... всю...

Вера оттолкнула от себя бокал. Он скользко проехался по столу и упал на пол. Нагнулась, подхватила из-под стола ранец и побежала к двери.

— А платить?! — кричал вслед бармен.

Алешенька кинул на барную стойку купюру и, заплетая ногами, ринулся за Верой.

Догнал ее на ветру. Ветер крутил и мотал перед ее лицом ее жесткие волосы. Она сжимала руки в кулаки. Шла быстро, да ноги вязли в песке. Шла вдоль берега. Море плело дикие, разбойничьи кружева прибой. Алешенька пьяно костылял за ней, протягивал руки к ней, будто ей молился, а она была икона, и ожила, и навек уходила от него.

— Вера!.. Вера!.. Ну что ты!.. брось!.. я пошутил!.. Я все придумал!.. чтобы тебя напугать!..

Вера шла, в нитку сжав губы.

Алешенька забежал вперед. Раскинул руки. Вера остановилась, тяжело дышала.

— Пусти!

Она плюнула на песок. Ночное небо сияло кучей малой крупных и мелких, бешеных звезд.

Ветер крутил Верину юбку и редкие сивые волосенки Алешеньки на его голой голове.

— Ты как мать игуменья! Ну, накажи меня! Расстриги меня вдругорядь! Чтобы неповадно мне было! Епитимью на меня наложи! Кирпичи меня... заставь... всю жизнь таскать! Или... воду из моря черпать! И в пригоршне — на берег носить! Всякую чушь делать буду! Только... не... уходи!

Крикнул отчаянно, хрипло:

— Не покидай!

Вера дрожала. Ей было отвратительно и больно. Боль рвала ее на части, раздирала. Ее будто кто-то огромный ломал на части, как жареную курицу, рвал, терзал, вцеплялся в нее зубами. Будто звезды небесные превратились в острые зубы и грызли, жевали ее, перемалывали. Ветер налетел, мощный его порыв толкнул Веру в грудь и чуть не уронил ее на песок. Алешенька упал перед ней на колени.

— Я чудовище! Я дерьмо! Но я хочу... снова стать человеком! Я хочу... Вера... к Богу! К Богу вернуться! Меня же к Нему уже звали! Много званых, Вера, да мало избранных! Помоги!

Его руки обняли ее, его лицо уткнулось ей в живот.

Она, сама не понимая зачем и почему, гладила его по затылку, как ребенка.

— Не плачь...

Его руки сжимали ее все крепче.

— Вера! Прости меня! Я пьянь, я дрянь... Но я тебе все рассказал! Как на духу! Ты — моя священница! Ты — исповедь у меня приняла! Так отпусти! — Он хрипел из последних сил. Ветер забивал ему глотку, перекрикивал его воем и свистом. — Отпусти мне грех! Не могу я с ним жить!

— Встань! — крикнула Вера. — Песок сырой!

Алешенька не мог встать. Он крепко запьянел. Вера подала ему руку и стала тянуть его вверх. Все вверх и вверх. И он вставал, поднимался, все вверх и вверх, все вставал и вставал, и все никак не мог встать.

Встал наконец, не вровень с ней, а ниже ее — маленький, шуплый. Жалкий.

— Где мы будем жить?

Ветер перекрывал тихий голос Веры.

— А разве мы... будем жить?..

Вера улыбнулась. Мимо ее глаз осеннее море текло белой суровой нитью прибора, нить под ветром то и дело рвалась, и сыпались, печально осыпались крупные и мелкие, дальние и ближние, бедные звезды белыми тыквенными семечками в соленую пену.

— А как же... еще как будем... Ну где-то нам... надо... пять суток переждать... не на вокзале же... а можно и на вокзале...

— Нет... на вокзале не надо...

Уже оба друг другу улыбались. И губы их дрожали. Алешенька дышал хрипло, потом закашлялся, и кашлял надсадно, и вынул из кармана платок, и Вера в свете звезд увидала на платке красное пятно.

Алешенька быстро спрятал платок в карман, затравленно глянул на Веру и зло, резко спросил:

— Ну что зыришь?.. да, болен я... а помирать хочу там... там... у Христа... поняла?!

— Поняла, — сказала Вера.

Она взяла Алешеньку под локоть и повела. Потом он вырвал руку и взял под локоть ее.

Они шли по берегу и не знали, куда и зачем шли.

Шли, чтобы идти.

И в этом был весь смысл; и все чудо; и все наказание; и все прощение.

* * *

У бродяги Алешеньки в карманах, как выяснилось, водилось много разномастных денег: и гривны, и доллары, и евро, и русские рубли, и даже почему-то дерзко затесались среди прочих купюр мексиканские песо. Они сняли в дешевой гостинице на отшибе номер на двоих. Гостиница притулилась у самого моря, ее стены сотрясал ветер, ветер выл в трубах, срывал с веревок на балконах белье постояльцев. Море грохотало, как в бубен. Алешенька смеялся над ранцем Веры: «Какой детский сад, старшая группа!» Вера хохотала над рюкзаком Алешеньки: ну надо же, столько валюты с собой, а рюкзакишко весь штопанный-перештопанный!

Ели в гостиничном буфете. Все просто: бутерброды, сосиски, чай. Буфетчица бойко сыпала и сыпала перед ними дробной чечеткой украинську мову. Вера пожимала плечами. Она иногда ловила в россыпи чужого языка знакомые слова. Алешенька важно, изысканно говорил по-украински, вел с буфетчицей душещипательные беседы: о детях, о моде, о загранице. Хохлушечка с метельной кружевной наколкой в пышных черных волосах уже знала, что они оба на днях уплывают на пароме в Израиль. «Які ви обидва щасливі, ви побачите Святу Землю! Я так заздрю вам!»

Буфетчица думала, что они семейная пара.

Кровати в номере стояли сдвинутые, они их растащили по разным углам. Когда Вера раздевалась, Алешенька выходил покурить. Курил он редко, и Вере казалось, он делает вид, что курит. «Тебе же нельзя!» — сказала она, намекая ему на его плохой, кровавый кашель. «Мне теперь все можно», — мрачно и твердо ответил он, и подобростил на ладони пачку сигарет, и поймал, как жонглер в цирке.

Дни текли, накатывал прибой, бил в просоленные валуны, ласкал темный, серый сырой песок, и Вера с балкона глядела на море долго и нежно, слезно, — так глядят на возлюбленного, которого покидаешь навсегда. Приближалась зима, и не было у Веры теплой одежды, подарила она ее птичке в столичной больничке, ну да ладно, это ничего, успокаивала она себя, на юг же еду, там зимы не бывает. Алешенька сказал ей, что в Израиле два раза в году снимают урожай апельсинов. Она дивилась, ахала. «Апельсинов с тобой наедемся до отвала!» — кричал он, а потом сгибался в три погибели и кашлял — надсадно, страшно. И кровь текла по его подбородку. И он утирал

ее ладонью и страшно ругался. И Вера шептала: «Ты же бывший монах и будущий тоже, тебе нельзя так скверно выражаться».

Алешенька брал ее руку в свои обе и погружал лицо свое в ее ладонь, как в теплую воду.

И так сидел, долго, не шевелясь.

Дни протекли, время отбило склянки стеклянным ледяным прибором. В назначенное время прибыли они оба в одесский порт, там уже у пристани стоял громадный, как айсберг, паром, и по трапу на него всходили люди, и веселые и грустные. Веселые люди говорили громко, шумели, восклицали, обнимались. Грустные люди молчали.

Вера и Алешенька перешли по трапу с пристани на паром, его покачивало на волнах. Веру замутило. Она смущенно посмотрела на Алешеньку.

— Меня тошнит.

— Ничего! — Алешенька поправлял лямки рюкзака на одном плече, на другом. —

С Божьей помощью!

— Это хуже, чем самолет, я чувствую.

— Море, матушка, море...

Их несло вверх и вперед в толпе пассажиров, у Веры было чувство, что случилась революция, восстание или же война, и всех зовут собирать ополчение, и всем надо быстро сбиться в строй и дружно, гневно идти на врага, а где враг, не знает никто, — Алешенька тянул ее за руку и все повторял: «Вера, у нас четырехместная каюта, это же просто роскошь, курорт с видом на море, мы будем видеть море, Верчик, будем видеть воду и солнце!» — они шли по коридорам и переходам, между сдвинутых стульев и между тесно прижатых друг машин, и искали номер каюты, и наконец нашли, но располагаться там не стали: «Еще успеем налегаться!.. пошли море смотреть, и как отплываем!..» — и паром медленно, тяжело отвалил от пристани, переваливался на волнах, как чудовищная железная утка, волнение усиливалось, ветер дул с северо-востока, продувал насквозь, выдувал из людей все тепло, и Вера пряталась за тщедушного Алешеньку, а он обнимал ее, от ветра и холода спасая. Брызги летели в лицо, и Вера слизывала с губ соль.

Они оба смотрели на угрюмое море.

— Как бы бора не началась, — пробормотал Алешенька.

— Что? — не поняла Вера.

— Бора. Ветер такой. Сильный, ледяной. Паром обледенеет. И его может перевернуть. Вера нервно засмеялась.

— Знаешь что, не пугай меня! Я пуганая.

— Да. Стреляная ты воробьяха.

Взялись за руки, как дети. Так стояли, обдуваемые ветром.

Паром набирал ход.

— Ты есть хочешь?

— Не особенно. Я бы выпил.

— Губа не дура.

— Я и сам не дурак.

— Холодно? Может, в каюту пойдём?

— А давай еще немного постоим? Ветер такой... свежий...

* * *

Они оба не поняли, когда начался настоящий шторм.

Бора налетела быстро, никто и пикнуть не успел. Море вспучилось, темная зеленая вода вспыхивала зловеще, оживала взорванным малахитом, волны накрывали одна

другую и рушились на палубы парома. Громадный и царственный возле пристани, в порту, он немедленно сделался белой нищей скорлупкой посреди безумия соли, ветра и льда. Релинги мгновенно обледенели. С капитанского мостика разнесся зычный ор, усиленный мегафоном: «Всем уйти с палубы в каюты! Всем быстро в каюты! Держитесь за релинги! Держитесь...» Голос оборвался. Гул ветра заглушал крики людей. Паром раскачивало так, что Вера подумала: «Сейчас, вот сейчас перевернемся!» Они еще держались за руки, когда огромная, с целый дом, волна накрыла их.

Вере удалось уцепиться за железный выступ. Бешеная вода оторвала Алешеньку от нее и потащила вниз, все вниз и вниз по наклоненной палубе. Он катился все вниз и вниз, и пучина уже была под ним, темно светилась рядом, и Вера, сцепив зубы, видела, как он скатился в море, — волна смысла его с палубы, быстро и просто, смерть выглядела очень просто, как всегда и везде: вода, и ветер, и назначенный срок. Вера смотрела, как Алешенька скользит все вниз и вниз, как палуба все круче наклоняется, кренится страшным последним креном, и вот уже человек бьется в волнах, еще ударяет руками, ладонями по соленой бешеной влаге, ловит соленую воду ртом, он еще пытается плыть, да вода слишком холодна, в такой долго не продержишься, — не проживешь. Алешенькина голова моталась над водой. Вера глядела, как он умирает: то погружается в воду, то всплывает опять, живой поплавок, — опять тонет. Вынырнул опять! Она поймала глазами его глаза. А он — ее. Он смотрел на нее безотрывно, смотрел навек. Навсегда. Он кричал ей глазами: не забудь меня! Не забудь! Прости хоть ты меня! Прости!

Его рот дрогнул, губы раскрылись, он закричал, Вера по губам его прочитала: «Вера!» Он звал ее. Сейчас он нырнет и больше не вынырнет. Она схватила зрачками его последний взгляд. Он странно высветился последней, яростной радостью. Будто он встал за столом, за мощным пиршеством, и поднял над роскошью жизни бокал, этот свой любимый одесский коньяк, пять звездочек, и заорал: «За жизнь!» И Верины глаза вспыхнули, они вспыхнули слезами и ужасом, но она не видела этого. Зеркала же не было рядом. Не моталось никакое зеркало перед лицом. Мотались, и прыгали, и сшибались, и разлетались, как зеленые камни, волны. Орал с верхней палубы все тот же гулкий голос. Навалилась волна, окатила Веру с головы до ног слезами и солью. Море плакало и ярилось. Голову Алешеньки захлестнула вода, она еще мелькнула, дернулась, поторчала живым поплавком и исчезла. Вера вцепилась в крашеную железяку другой рукой. Обеими руками держалась за железо. За жизнь.

* * *

Не помнила, как буря утихла. Бора, дикая зверица, перестала терзать ледяными когтями зеленую шкуру моря. А ветер все не умирал. Вера, как привидение, пробралась в каюту. Там уже дрожали, сидя на жесткой койке, как воробьи на стрехе, плотно прижавшись друг к дружке, два парня, юные, почти подростки — а просто, должно быть, зверски худые. Они были очень похожи. Братья, видать. Светлые кудри вокруг тощих, с впалыми щеками, остроугольных лиц. И глаза ледяные, прозрачные, дно видно, зрачки будто режут тебя ножами.

Вера уселась напротив. Юнцы не заговаривали с ней. Они дрожали и молчали. Глядя на них, начала дрожать и Вера. Паром беспощадно, жестоко мотало на волнах. До штиля было еще далеко. В животе у Веры заурчало. Она вспомнила тот кофе в кафетерии и тот крепкий, царапающий глотку, как наждак, одесский коньяк. Ее одновременно и тошнило, и есть она хотела, и плакать, слезы уже лились, она их не вытирала, и сквозь слезы все смотрела, прямо смотрела в лица этим братьям, должно, близнецам, что сидели напротив.

Один из братьев не выдержал первым.

— Вам плохо?

Вера сплела пальцы на коленях. Удерживала внутри себя дурноту.

— Нет. Нормально.

Другой юноша вынул из кармана джинсов железную коробочку. В ней лежали пересыпанные сахарным песком, аккуратно нарезанные лимонные дольки.

— Возьмите. Пососите. Лимон помогает.

Оба парня говорили по-русски с акцентом.

Вера осторожно, как живого жука, взяла двумя пальцами из коробочки кусок лимона, засунула в рот, сосала. Кислота бросилась ей в голову, не хуже коньяка.

— Спасибо.

— Прошоме, — ответил первый отрок.

Вера долго не думала.

— Вы русские?

— Литовцы, — сказал второй.

— В Израиль... — хотела спросить: «на ПМЖ», да смех сквозь слезы ее разобрал. — В гости?

— Visiems laikams, — сказал первый. — Навсегда.

Вера проглотила лимон. Он рыбкой проскользнул по ее потрохам.

— У вас там... родители?

— Никого, — сказал второй. Воткнул пятерню в растрепанные светлые кудри. — Но нас встретят.

— У нас там, — сказал первый, — экклесия.

— Что? — спросила Вера. — Кто?

Во рту было кисло. Тошнота отступила.

А может, просто море разгладилось под серым утюгом неба.

— Экклесия, — настойчиво, терпеливо повторил первый. — Цер-ковь.

Вера вспыхнула. Ощутила себя девчонкой, ребенком несмышленым; и вроде как ее за ручку ведут во храм, а она не знает, что такое храм, и что у него внутри, и как там надо себя вести, жарко там или холодно, и горят ли свечи, и все ли там прощают, все ли грехи.

— Православная?

Второй улыбнулся. Зубы во рту у него стояли кривым частоколом, как кривой, покосившийся забор.

— Не-е-е-ет. Нет-нет! Это не наше. Это — чужое. У нас — своя.

Первый вытянул шею, как гусь:

— Да! У нас — истинная. Наш владыка — наместник Бога на земле! О нем мало кто знает, но придет время, и все узнают!

Перекрестился странно: обе руки сначала положил на лоб, потом на живот, потом развел в стороны, потом прижал к сердцу. И так сидел, блаженно закрыв глаза.

— О нем уже тысячи знают, — сладким голосом выпел второй мальчик. — Миллионы! О Блаженном Андрее! Он незримо летает над землей и приходят к людям, невидимый, и сердцем их благословляет! Он — благовестник! Он несет великую любовь! Превышенебесную! Он — помазанник!

— И помазует всех нас, грешных, — первый сидел, все так же закрыв глаза, — сей любовью, как святым миром из золотого сосуда...

Во рту Веры стояла кислятина. Она дернула мокрым подбородком. Скосила глаза в иллюминатор: море укладывалось длинными, спокойными зелено-болотными пластами. Выглянуло солнце. Залило водный простор веселым изумрудным свечением.

Как и не было бури и смерти.

Слезы все лились и втекали ей в рот. Она глотала их, как лимонный сок.

— Вы плачете? — участливо спросил второй юноша. — Чем помочь?

— Ничем, — шмыгнула носом Вера и утерла лицо ладонью. — У меня погиб... — она не постеснялась вранья, — муж.

Второй открыл глаза.

— Как?! Вот сейчас? В шторм?

— Его смыла с палубы волна, — с трудом сказала Вера.

Оба подростка поднялись. Потом опустились на колени. Так же странно, широко, смешно, будто обнимали кого-то после долгой разлуки, обеими руками перекрестясь, запели:

Блаженный Андрей, святой апостол грешной земли!

Приди, возлюби, исцели!

Святое солнце во тьме, апостол Андрей!

Прими в объятия ты грешную душу скорей!

Вера хотела им подпеть и не смогла. Горло перехватило. Она задыхнулась в слезах. Мальчики вскочили с колен, сняли с нее ранец и уложили ее на каютную койку, привинченную к стене громадными железными болтами. Она отвернулась к стене и так лежала, молча, с мокрыми щеками.

ХОЖДЕНИЕ ВТОРОЕ. МОНАХИНЯ

<...> Она прибыла с монахинями в монастырь, глядела широко и туманно, все ей было в диво, всего она пугалась, всему изумлялась, всего стеснялась. Монахини подвели ее к матушке игуменье: «Это матушка Мисаила, ниже кланяйся, ниже!» Вера на всякий случай поклонилась матушке Мисаиле земным поклоном. Древняя, вся изморщенная старуха, с каменно-суровым, туго обтянутым черным апостольником твердым лицом, молча, грозно благословила Веру. Погляделась в Веру, как в зеркало. У Веры губы в нитку сведены, и у старухи тоже. Только у Веры впалые щеки гладкие, а у старухи будто изрезанные острым скальпелем, в рубцах и шрамах времени. Старуху увели под руки. Монахини шептали: «Скоро ей девяносто пять лет, у нее всю семью при Сталине расстреляли, она блокаду пережила, ленинградка, здесь уже полвека или даже больше. Святая!» Вера подумала: «Да здесь все свято, куда ни плюнь». Сама себя одернула: «Куда ни глянь».

Молоденькая монашка нежно, будто бы Вера была смертельно больная и надо было срочно вести ее на операцию, взяла ее за руку и потянула за собой. Вера покорно пошла за ней, семена, как балерина. Ее привели в пустую комнату; в комнате не было ничего, кроме приземистого сундука, и потолок низко висел, давил затылок. «Как в бочке тут, и я соленый огурец». Вера устало присела на край сундука. Монашка улыбнулась ей, как ребенку.

— Вы впервые в Иерусалиме?

— Да.

— Отдыхайте! Вы утомились.

— Да.

— Откуда добирались? Из Болгарии? С Украины? Из России?

— Из Одессы, — сказала Вера, и слезы снова залили ей раскосые глаза. — А до Одессы — из Сибири.

— Ой, как издалека! — воздела руки монашка. — Семь железных сапог износили!

— Нет, — сказала Вера и растерянно поглядела на свои ноги, — никаких... железных... вот кожаные — истрепались...

Монашка необидно, тоненько засмеялась.

— Вы потерпите. Сейчас сюда принесут постель. Будете спать на сундуке. Это келия сестры Феодоры. Она умерла позавчера ночью. Завтра будем хоронить.

Монашка сказала о смерти легко, и просто, и светло, будто о трапезе, о свадьбе или о крестинах. Вера содрогнулась. Опять рядом зазвучала скрипка, к ней добавила голос вторая, скрипки пели, как две женщины: одна высоким голосом, другая низким. Дверь открылась, и худенькая послушница внесла тонкий овечий матрац, верблюжье одеяло, свернутое в шерстяную трубу, и сложенное в прозрачный конверт белье. Через минуту сундук превратился в кровать. Улыбчивая монашка указала пальцем на ложе.

— Молиться с нами не пойдете? Спокойного вам вечера. И ночи тоже. Спите с Богом. Мы за вас помолимся.

Монашка повернулась, чтобы уйти. Вера схватила ее за руку.

— Стойте! — Ей почему-то страшно было остаться одной в этой голой комнате. — А куда мне завтра пойти?

— Как — куда? — Монашка глядела ласково. — Вам никуда не надо спешить. Поживете у нас. Постоите монастырские службы. Помолитесь с нами. Потрапезничаєте. Разговоры будете с матерью Мисаилой разговаривать, она у нас много чего знает, вы не глядите, что она старая и молчит. Она даже поет! Русские песни! Да еще как, в полный голос! И на клиросе тоже поет вместе с нами. И апельсины весной сажает в саду! Весело тут у нас! Божья благодать!

— Да, — шептала Вера, — весело...

— А когда наживетесь, вот тогда по Иерусалиму и побредете! Перво-наперво пойдете на Виа Долороса.

— А что это?

— Это улица, по которой Иисуса вели на Распятие. Вы должны пройти Его Крестным путем! Я расскажу вам, как туда добраться. У нас еще будет время!

Вера поняла: времени у нее уже не будет.

— Я пойду туда завтра, — твердо сказала она.

— Завтра? — Светлая монашка опять забавно всплеснула руками. — Завтра! И не отдохнете как следует! Да куда вам торопиться!

— Я спешу, — сказала Вера еще тверже.

— Куда вы так спешите?..

Монашка все еще улыбалась. Вере захотелось смахнуть эту невесомую улыбку с ее лица, как дрожащую на ярком солнце стрекозу.

— Я жить спешу. Знаете, люди на моих глазах умирали. И я их провожала. У них, у каждого, была своя... эта улица, ну. И у меня тоже будет. Я хочу скорее ее увидеть.

* * *

Светлые, бледно-желтые, почти белые камни раскалились и прожигали Верины ноги даже через подошвы сандалий.

Сандалии ей дала игуменья Мисаила. И легкую кофту: «Накинь вместо своей, плотной, изжаришься ведь, сегодня такое солнце!» Солнце било сверху вниз копьями белых лучей. Вера уже узнала, что у нее именины — четырнадцатого октября, в самый этот Покров Богородицы. Монахини уже успели рассказать ей все про Виа Долороса: и про то, как Иисус шел по той мостовой и падал три раза, а последний раз упал, когда увидел Голгофу; и про то, что на пути Он встретил Матерь Свою; и про то, что Крест за него понес Симон Кириянин, ибо Иисус медленно шел, через силу, и еле-еле Крест

на спине волок, а злые воины спешили, с тоской посматривали, как на закат катится солнце, управиться поживей с казнью хотели. «Откуда улица начинается?» — спросила Вера. Ей объяснили. Она крепко держала в руке маленькую карту Иерусалима и все на нее смотрела: и когда ехала, и когда шла.

Виа Долороса — что это означает? Крестный Путь? Слезный Путь? Скорбный Путь? Зачем на земле столько языков, и все языки чешут по-разному, и люди разных народов друг друга не понимают, и плачут и смеются, пытаясь правду сказать, и жестами показывают слова свои, и у них не получается ничего? Вера стояла на выжженных до белизны камнях, камни отдавали ей тепло, она шурилась от солнца, приставляла ладонь ко лбу и глядела из-под руки на каменные арки, на древние лестницы и стрельчатые окна, а небо синим вином лилось ей на платок. Монашки дали ей от солнца белый апостольник; она повязала его вокруг головы, как белый плат сестры милосердия, завязав на затылке толстый узел.

Вера морщила лоб. Тыкала пальцем в карту. Ей сказали: здесь, вот здесь Христа приговорили к ужасной казни.

Она вспомнила слова из Евангелия. Ей даже не нужно было лезть в ранец, и вынимать его, и находить это место в Евангелии от Иоанна, где они были написаны. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се Человек! Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его!»

— Распни... распни Его!

Воздух сгустился, ветки ближнего дерева отчаянно мотались на жарком ветру, и будто бы рядом тикали, как опасная бомба, незримые часы.

— Распни, распни Его!.. Распни... распни Его...

Вера повторяла и повторяла эти слова, а они все не отвязывались от нее.

Она медленно пошла вперед до улице. Вот здесь Его бичевали, свистели в воздухе плетки, глумились и скалились солдаты, кричали: «Царь Иудейский! радуйся!» — и били Его по щекам, и плевали Ему в лицо, в глаза. Потом Его бросили в темницу. Он всю ночь сидел на каменной холодной скамье. О чем Он думал? Он плакал. Истекал кровью. Никаким вином не была тогда эта кровь, никаким хлебом — Его плоть; раны горели, рубцы вспухали, Он понимал: завтра будет еще хуже. Еще больнее.

У Веры заболели руки, ноги. Будто ее самое избили, и она еле тащилась, окровавленная, по горячим камням. В сандалиях, а будто босиком; и на камнях — кровавые следы. Вот здесь Он упал! Зачем Он упал? Почему? Солдат ударил Его. Он не устоял на ногах. А может, просто солнце сильно припекло. Боль от ран стала невыносимой. Ад! Он близко. Ад — это и есть земля. Наша земля. Такая красивая! А люди на ней такие злые. И землю бичуют. И зверей на ней убивают: стаями, стадами. И сами себя убивают. Люди — людей.

— Люди людей убивают, а нам и телят не велят...

Ее губы шевелились через силу. Пить! Она хотела пить. А римские воины не давали ей пить. Всюду церкви, храмы! Часовни! Понастроили... да, память, чтобы помнить... Кто вспомнит о ней? Кто о ней заплачет?

Ну да, да, просто вот о ней, о Сургут Вере Емельяновне, какого года рождения, какой адрес, какой там город, да разве это так важно для памяти, все это чепуха, все приметы нашей малюсенькой жизни, червяком малым сворачивается она у ног на лютой жаре, и идут ноги, и босые, пропыленные, и в сандалиях, а потом опять голые, без врезающихся в щиколотки узких телячьих ремней, и ранят стопы острые камни, и здесь, да, вот здесь останавливается Спаситель, потому что из толпы на Него глядит женщина, и Он слишком хорошо ее знает, ведь это — Его мать.

— А ты, ты ничья не мать... никогда никого не родила... ни Бога... ни черта... ни человека!.. уж человека-то хотя бы постаралась... попыталась...

Затылок пылал под апостольником, Вера вся разжарилась, распухла, порозовела и посмуглела, как беляш на сковороде. Сорвала с себя апостольник и им вытерла лоб, лицо и шею. Потом опять накинута на голову белый кусок легкой ткани; так стояла. Чувствовала и даже слушала бешеное солнце.

На стене серого дома висели огромные пестрые ковры. Узоры на них вились одинаковые: круги, будто великанские клумбы, а внутри кругов еще круги, и так до самого крохотного круга, до центра. Ковры висели на петлях, а петли были накинута на гвозди чудовищной величины, вбитые в щели между громадными блоками известняка. «Вот такими гвоздями прибывали ко Кресту Христа».

Вера ту же затянула концы апостольника на потном затылке.

Интересно, сколько стоят такие ковры? Как турецкие... а может, и правда мусульманские...

«В Иерусалиме ведь разные народы живут... не только евреи... и арабы, и турки, и... а русские живут?.. Русские — везде живут... Значит, разные боги тут... и как не передерутся... мечеть — с Христом, а католики — с Аллахом... а с ними со всеми — этот, как его, у евреев главный... имя забыла...»

Она подошла к бессильно, мертвой шкуркой, висящему на древних страшных гвоздях коври, пощупала его, помяла в пальцах. Погладила ворс.

— Красивый какой, — вслух сказала.

Торговец услышал.

На диком, вусмерть ломаном русском языке завопил:

— Гразив шеншин! Шеншин, даме! Ковере гразив, та! Ошен гразив! Губит, губит пошалта! Губит!

Вера с трудом уразумела: «губит» — значит «купить».

«Меня просят купить ковер. Но ведь у меня денег... а сколько у меня денег?.. я и сама не знаю... На обратный билет?.. когда?..»

— У меня денег нет, — просто сказала.

Усмехнулась. Развела руками.

Торговец закричал гортанно и тонко:

— Тэнг?! Тэнг?! Эсь в даме тэнг! Эсь! Эсь, йа знат!

— Какой упрямый, — шептала Вера, — прости Господи...

Свела брови и отступила на шаг. <...>

* * *

...из-за угла вышла женщина. Долго глядела Вере вслед.

...глядела так, что Вера вздрогнула и чуть не обернулась...

...но не обернулась, все так же шла вперед...

...слишком, страшно похожа, одна кровь, одно лицо...

...на ее губы легла чужая ладонь. Она пахла гвоздикой. Пряно и страшно. Ее потащили, заламывая за спину руки, выворачивая в кистях, чтобы она не могла сопротивляться. В рот всунули тряпку. Она пыталась вытолкнуть ее языком. Ей заклеили рот скотчем, он больно стягивал кожу щек. Глаза завязали черной повязкой. Волкли. Слишком раннее утро. Слишком розовое, туманное небо. Еще слабое солнце, льется нежным молоком. Вера пыталась отбиваться ногами. Ее схватили за ноги и под мышками. Так несли. Быстро внесли в дом, в темноту; в незнакомых руках она билась крупной рыбой. Енисей! Какой Енисей, дура. Ты не спишь. Это не сон. Ты просто добыча. Человек запросто становится добычей. Люди охотятся на людей. Они охотятся сами на себя.

Вокруг нее поднялись, заклекотали голоса. Они кричали по-птичьи, по-зверьи, и было непонятно ей, где она, у людей ли; она нюхала воздух, стремясь ощутить запаха зверинца. Глаза не видели, а тело видело. Оно видело тесноту логова. Ловкая рука задрала, закатала ей рукав. Она быстро поняла, что будет. Крикнуть нельзя было. Убежать нельзя. Нельзя ничего. А можно — все. Им. Она не почувствовала укола. Тепло разлилось. Оно текло и разливалось везде, по всему миру, видимому и невидимому. К черту тепло! Я хочу холода! Я снега хочу! И нарощего, налипшего на релинги катера январского льда! Мохнатого, застылыми потеками, льда, его белых, звонко-прозрачных гребней, его зубьев, диких холодных зубов, они впиваются в живую кожу, в мясо, во все живое, а живого мало, слишком мало, чтобы ему можно было стать бессмертным.

Забытье навалилось и подмяло под себя. Она подчинилась забытью, другого выхода не было. Забытье росло в ней, над ней и разрослось так, что она стала им самим. Веры больше не было. Была белая масса тумана, и чужие руки, и биение бубна в висках, и плотная густая тьма, черные сливки, а через мгновение — черный расплавленный свинец, заливающий распяленную, беззвучно орущую глотку. Вместо глаз зияли дыры. Дырами нельзя было глядеть. Ими можно было только проклинать. Когда Вера довелось вынырнуть из забытья, она поймала за хвост, за жабры скользкую мысль; мысль эта была о том, что не надо сопротивляться, бороться не надо. Все равно все умрем.

«Все равно все умрем», — вышптала Вера сама себе, но шепота не получилось, она только вообразила себе его. Извне донесся гул. Чужая речь билась и утекала. Звучки сшибались и разлетались. Она не понимала ничего. Русских тут не было. А кто? Евреи? Арабы? А может, чернокожие? Пахло потом. Она ничего не видела, но почувствовала всей кожей, как над ней наклонилось чужое тело. Человек наверху, высоко, скрежетал словами, брызгал на нее сверху вниз горячей слюной. Отошел. Вера пошевелила руками, ногами. Развязаны. Это меняло дело. Можно было убежать, но бежать она не могла.

Гортанный клекот раздавался справа, слева. Может, ее хотели сделать грешницей в задымленном, грязном борделе. А может, мечтали привязать ей к животу взрывчатку, и чтобы она пошла и взорвала ресторан. Или детский сад. Или вокзал. Или рынок. Мало ли что шахидке можно взорвать. И самой сдохнуть. А может, ее хотели обучить воровскому ремеслу и засылать в дома к богатым, и чтобы умело, ловко и бесшумно она отмыкала сейф, и похищала ценные бумаги, и исчезала неслышной тенью.

А может, ее хотели просто изнасиловать. Все подряд. Разломить, как цыпленка табака на железном блюде. И сгрызть мясо. И косточки обсосать. И кинуть собакам.

Что можно сделать человеку с человеком? Да все что угодно. Угодно тому, кто сильнее. Их много, а Вера одна.

Она выгнула позвоночник, пыталась встать. Ее уронили на пол ударом ноги. Она валялась на полу, каменные плиты холодили ей спину и ноги. Ей удалось открыть глаза. Забытье с неохотой, медленно покидало ее. Небритый мужик с подбитым глазом низко наклонился над ней и что-то на чужом языке грубо, зло спросил ее. Она глядела ему глаза в глаза и молчала. Тогда мужик размахнулся и крепко ударил ее кулаком по лицу. А потом выпрямился и ударил ее ногой в бок. В ребра. А потом в живот. И еще раз, и еще раз.

Мужик бил Веру ногами, у нее не было даже сил кричать, она стонала глухо и гулко; потом он пинком перевернул ее со спины на живот. Теперь холодный камень был под щекой. Она лежала щекой на камне, из ее рта вытекала кровь и лужей расплывалась под ее лицом. Мужик выбил ей зуб.

Она зажмурилась, глотала кровь и плакала без слез. Слезы исчезли. А боль осталась.

Из каменной западни, где она ничком лежала на холодном полу, исчезли люди: постепенно или сразу, она не поняла. Стало тихо. Она слушала тишину.

<...>

— О-э-о! Э-э-э-эй! О-о!

Ключ затрещал в замке. Дверь резко отбросили вбок. На пороге стоял ее второй стражник. Ухмылялся. В руке у него сиял карманный фонарь, в его дрожащем свете Вера видела румяное, скуластое, жирно блестящее, обкрученное черным бархатом бороды чужое лицо. Вера, ни о чем не думая, с пустой, как сушеная тыква, головой взбрехала с пистолетом и уже уверенно, сильно нажала на спусковой крючок; и он поддался уже легче, быстрее. Выстрел прозвучал оглушительно под тяжелыми, низко нависшими сводами. Источенные веками колонны уходили вдаль потусторонней анфиладой, осыпались сухим печеньем, старой мацой. Вера огляделась быстро, как зверек, которого травят охотники. Коридор, и окон нет, может, подвал, а может, окна забиты. Бежать! Только что она убила двух людей. И на душе у нее два страшных, смертных греха.

«Я спасаю свою жизнь! Свою!»

Она раскрыла ранец и сунула туда краденый пистолет.

Он упал на дно ранца рядом с Евангелием. <...>

* * *

<...> Мир был един, прошлый и будущий. Апостолы собирались под крышами заметенных изб. Жгли длинные толстые свечи. Ели жареную рыбу. Пели псалмы, и из бородатых, усатых уст звучала все та же огненная Псалтырь. И все тот же огонь бился в раскрытой чугунной дверце печи. На Лысой горе сиротливо упирались в небо голые кресты. Христос лежал в могиле. Не было надежды. Упования не было. Оставались только слезы, они бесконечно струились. И Мать их не утирала. И девушка с рыжими косами все жарила, жарила свежевывловленную усатую рыбу на громадной черной сковороде. По бокам рыбы бежали страшные костяные узоры. Масло шипело. Рыбий глаз белел жареным жемчугом. Ученик, самый юный, ломал на блюде круглый хлеб, пальцы его дрожали, лицо было все мокрое, и слезы капали на дощатый стол. Рыжекосая ту же утягивала завязки фартука. Мать, в черном, строго сидела на закраине стола. Перед Ней в миске лежал, выгнув бок, большой жареный лещ, и иглы ребер торчали из белого сочного мяса. Мать глядела на рыбу, на мертвую рыбу. И все так же, беспрерывным потоком, соль слез текла по ее впалым щекам.

Все жило, и все было живо. Никуда не уходило. Длилось. Бред соединял жаром и слезами дым, и огонь, и блеск людских глаз. Рыжая накинула на плечи овечий тулуп, всунула ноги в лапти и, заливаясь слезами, побрела куда глаза глядят. Над нею диким яростным шатром, переливающимся и алмазно-цветным, расстелилось полночное небо. Рыжая шла и шла по снегу, ветер вил ее косы, они на ветру расплетались, и сушил ветер ее мокрые скулы, на лету, на бегу стирая слезы жесткой степной холстиной. Ночь восставала, и поднималась с земли, и уходила вверх. Все вверх и вверх. Рыжая подняла лицо к звездам. Звезды, о звезды, шептала она, неужели и я к вам однажды уйду! Ей голос нашептывал: не к звездам ты уйдешь, а в землю, под снег и лед! А ветер гудел: не верь, только к нам и явишься, к ветру, солнцу и звездам, а больше ни к кому! Некуда тебе больше идти, кроме как в небо, потому что вера в тебе! А тот, кто без веры, так и правда в землю уйдет! И черви сожрут его.

Рыжая не понимала, что она уже пришла, ступая лаптями по наметенному за ночь снегу, на деревенское кладбище. Много тут дорогих людей лежало. С портретов на крестах люди смотрели. Бумажные цветы кресты обвивали, яркие венки резали глаза: вечная память, вечная любовь. Алые бумажные розы, белые махровые гвоздики,

бутоны цвета дешевой помады, акрихиновые жестяные листья. Ноги в лаптях шли, ноги сами видели все поперед глаз. Вот он, крест. Черный, чугунный. На кресте висит веночек из бумажных белых роз, дожди и снега превратили их в мокрую мятую газету. Рыжая вспомнила, как Его хоронили. Как Мать бросилась грудью, животом на могилу, обнимала свежий холм, а Ее оттащили ученики и плакали вместе с Ней. Сейчас могилу занес снег. Белая насыпь, одна из многих здесь. Спит кладбище. И ее сюда положат, рядом с Ним, подумала рыжая; она сама попросила учеников, если она умрет от тоски по Нем, положить ее рядом.

Она стояла около снежного холма и смотрела на черный крест, ничего не видела от слез. Вдруг сбоку ощутила дуновение. Будто теплый ветер среди зимы подул. Обернулась быстрее молнии. Перед ней стоял Христос. Холщовый плащ Его вил ветер. Он улыбался. А в глазах Его тоже, как и у рыжей, стояли слезы.

Рыжая упала на колени и протянула к Нему руки.

— Учитель!

Слезы уже текли по Его лицу. Он прижал палец ко рту.

— Магдалина!

Она хотела обнять Его колени. Он отступил на шаг.

Его босые ноги вминались в снег.

— Нельзя Меня трогать! Я сейчас не из плоти, из огня. Испепелишься! Я еще не поднялся к Отцу Моему.

Рыжая глядела сквозь соленую пелену: и правда Он весь переливался огнем, испускал лучи, вспышки ходили по Нему, по телу и по одежде, гасли и снова рождались. Она с восторгом прижала руки к груди. Целовала Его глазами.

— Какое счастье! Ты — воскрес!

Улыбка Его из радости сделалась печалью.

— Я пока не знаю, счастье это или нет.

— Да! Счастье! Для всех — счастье!

— Для всех... — тихо повторил Он вслед за рыжекосой.

Рыжая, не сводя с Него глаз, поднялась, скинула лапти, чтобы удобнее было бежать, и, восторженно, потрясенно оглядываясь на Него, побежала, все быстрее и быстрее, босиком по снегу, через все смиренное кладбище, через снега, сугробы и наледи, по тропе, обратно в избу, пробежит немного и опять оглянется — стоит ли, живой ли; Он все стоял и смотрел, как она бежит. Все меньше становилась Его фигура, все сильнее трепал ветер Его холщовую накидку, и рыжей казалось, это крылья развеваются у Него за спиной. Вот Он стал серым осетром, висящим на невидимой рыбацкой леске под звездами. Вот стал гусем, и крылья растопырены, и метель его заметает. Вот малым утенком, а утица потерялась, укывляла далеко вперед, и Он один, и все больше становится не малым птенцом, а снежным холмом. Вот уже стал завьюженной могилой в полях; и никто не принесет бумажного бедного цветка, в снег не воткнет, чугунную лопасть креста проволочным стеблем не обвяжет. Вот растворился в белизне.

А Магдалина все бежала, задыхаясь, не бежала — летела, чтобы мужикам великую весть рассказать; и долетела до избы, и дверь толкнула, стукнула дверь, она ворвалась в тепло с мороза, снег падал с нее на деревянные плахи дожелта выскобленного пола и таял, она стояла, лоя ртом воздух, и апостолы, застыв над мисками с таинственной, древней жареной рыбой, усатой, как грозный полководец, строго глядели на нее.

— Что ты? — спросил белобородый морщинистый Петр, светясь огромной лысиной в мерцании лампад. — Бежала? Запыхалась? Тебя никто в ночи ножом не напугал? Садись вечерять!

Рыжая стояла, не шелохнулась. Улыбка взошла на ее лицо и осветила избу, темные углы, котла на печке, рыболовецкие снасти на сундуке, лица людей за столом.

— Он воскрес, — сказала она просто.
И никто не удивился.
И все замолчали.
И каждый молчал о своем.

* * *

Долго пребывала Вера в забытии; и за ней ухаживали, пока она лежала в болезни, все, по очереди, монахини Горненского монастыря в Эйн-Кареме во Иерусалиме; и настал день, когда Вера открыла глаза. Все, кто в это время был при ней, опустили на колени, и помолились, и возблагодарили Господа за исцеление болящей.

Ей тут же поднесли по ее просьбе ее Евангелие, что мирно лежало на столе в ее келье и ждало, когда его владелица очнется от сумрачного потаенного сна.

Вере развернули Евангелие, открыв его, опять же по ее тихой просьбе, на особо любимых ею страницах. Перелистали желтую старую бумагу, чьи углы, истончившись, уже осыпались под пальцами, как пыльца с крыльев бабочки. Две монахини стояли и держали перед лицом Веры Евангелие: сестра Васса и престарелая сестра Елисавета, уже собиравшаяся в дорогу к Богу. Они держали книгу, а Вера читала, и губы ее с трудом шевелились, и голос еле доносился до монахинь, но все же слова различали они.

«Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас; и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна».

Так прочитала Вера и жестом показала, чтобы Священную Книгу убрали от ее глаз. Монахини сделали это. Вера сказала им:

— Вот читаю буквы и слова, а будто бы я все слова позабыла. И звучат они мне, как в первый раз. Как свежий снег летит мне в лицо. И читаю вслух, а будто бы это не я, а голос со стороны слышу. С небес. Скажите, сестры, верно ли это? И как меня зовут, сестры? Я имя свое забыла.

— Тебя звали Вера, — отвечали ей монахини, — и если будешь принимать иночество, то, верней всего, Верой же тебя и нарекут в монашестве. Потому что это хорошее имя, правильное для монахини имя. Без веры мы никуда. Поэтому пребудь Верой! Помни, принявшая обет живет уже не для себя, а для всех.

Вошла в келью игуменья Мисаила, тяжело переставляя старые ноги, и сказала, обращаясь к лежащей на постели Вере:

— Читай душеспасительные книги и повторяй великие молитвы. Без молитвы нет человека. И без Бога нет человека. Несчастен тот, в ком Бога нет. В ком не живет Бог, тот и дело свое делать по-божески не может; да, он делает его, но оно нечестиво и мгновенно, оно очень быстро умирает, вздохнуть не успеешь, а умерло уже. Учись, Вера, страху Божию! Страх Божий — не тот страх, который ест тебя изнутри. И всю изгрызть может, и в страх превратишься; это человеческий страх. А Божий — это когда ты от восторга трепещешь перед всякими Его делами и молишься: Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Повторяй, Вера, так и люби Бога, Создателя своего!

Вера закрыла глаза и медленно перекрестилась. А мать игуменья торжественно перекрестила ее издали, стоя при дверях. А потом подошла близко к ее ложу, наклонилась над Верой, еще раз наложила на нее крестное знамение и поцеловала Веру в лоб. Сказала:

— Долго не залеживайся, очнулась, так вставай и к делам приступай! Много дела у человека на земле!

И встала Вера, и приступила ко множеству дел своих на земле. <...>

* * *

...Вере разрешили брать в палатку толстые фолианты из монастырской библиотеки. Она чаще всего утаскивала к себе в холщовую скинию три увесистых книжищи: Библию, Четьи-Минеи и Псалтырь.

Книги эти воздвигались для Веры дворцами величиной с гору, по ним можно было бродить, спать в них и бодрствовать; в них можно было жить.

Она и жила.

Однажды так сидела она в палатке с зажженным фонарем, с Библией на коленях. Книга была раскрыта на странице, где резво бежала старославянская вязь, плелась в кружевные узоры, — о святой героине Юдифи и о безумном тиране Олоферне. На гравиюре, рядом с черными, на желтой бумаге, буквами древнего языка, мерцала Юдифь — ступнями и ладонями из-под длинных одежд, широко открытыми, испуганными глазами; она, пятась от застланного звериными шкурами царского ложа, волокла за волосы отрубленную голову.

Вера пристальней всмотрелась в фигуру женщины. А что если, спросила она себя, взять да и убить злого правителя, главного в мире царя, чтобы уберечься от войны? «Свято место пусто не бывает, — усмехнулась она сама над собой, — тут же на трон посадят другого. И еще злее». Мир слишком резко и больно стал делиться на добро и зло, и Вера все острее чувствовала это.

И где таится тот царь? Где прячется?

«Но ведь убийство — грех, грех... Значит, не всегда грех?..»

Тяжелющая книга давила на колени. Фонарь мигал. В отогнутую, зацепленную железным крючком полотняную дверь палатки налетал холодный ветер. Ближе к утру сухая земля подмерзала, и с туманных небес шел, как на родине, легкий сиротливый снег. Снег набивался холодной ватой в земные щели и впадины. Земля посверкивала под Луной, будто плат золотного шитья. Послышался шорох.

Вера вздернула голову.

Ветер играл, шуршал страницами старой Библии, ломкими, как печенье.

Женщина в черном приближалась к Вериной палатке. Вера подумала: монахиня. В прогал холщовой двери видела подол ее рясы и медленно ступающие ноги в разношенных башмаках. «Среди ночи идет меня проведать. Не замерзла ли я тут».

Монахиня подошла ближе, вот стояла уже возле палатки, и Вера захлопнула Библию, положила на матрац, встала и вышла под звезды. На ветер.

Вера смотрела на женщину.

Женщина смотрела на Веру.

У них было одно лицо.

Одно — на двоих.

Каждая из них гляделась в другую, как в зеркало.

Они стояли друг против друга, как на войне.

Под их ногами тускло вспыхивало старое серебро ночного снега, чеканными извилинами бежало по черной и рыжей, железной земле.

Вера миг замерзла. Дрожала.

«Опять. Опять она пришла. Я — к себе — пришла! Но я ли это?»

— Здравствуй, — сказала она сама себе.

«Я правильно сделала, что первая поздоровалась».

Ее отражение в зимнем зеркале без улыбки смотрело на нее.

Женщина разлепила губы.

— Здравствуй.

Стояли, молчали.

Потом Вера тихо, дрожа, сказала:

— Уходи.

И вот тут другая улыбнулась.

Содрогнулась Вера от этой улыбки.

— Ты думаешь, ты от меня убежишь? — спросила другая.

Вера попыталась ответить улыбкой на улыбку.

Не получилось.

— Я ничего не думаю.

Другая протянула вперед руки, и Вера отшатнулась.

Из рукавов рясы, как из двух земляных ям, высовывались руки с длинными ногтями, и земля набилась под ногти, а может, это кровь засохла.

Вера зажмурилась. Сложила пальцы для крестного знамения.

Стала подносить руку ко лбу, а поднести не может.

Рука такая тяжелая стала, прямо чугунная.

И тут другая засмеялась.

Она смеялась беззвучно и страшно. Скалила зубы.

— Что, — спросила Вера сквозь зубы, — а так, без крестного знамения, не уйдешь?

Изыди!

Другая перевернула руку ладонью вверх. По ладони медленно полз толстый белый червь. Он таял на глазах. Стек наземь водой, и другая вытерла ладонь о подол рясы.

Пока она руку вытирала, Вере удалось перекреститься.

Апостольник упал с головы другой, и в свете звезд и Луны сверкнула крохотная холодная серьга в бледной мочке уха.

— Изыди! — повторила Вера уже громче.

Другая глядела на Веру во все глаза.

«Да, я сама гляжу на себя; и я и есть диавол; и диавол, да, внутри нас, внутри каждого. Отрицаюсь сатаны и всех... деяний его...»

Верини губы слабо, жалко шевелились.

— Что, — спросила другая Вера тихо, — опять молишься? Все молишься и молишься? Хорошо тебе. Ты не знаешь, что будет с землей.

— Нет, знаю, — упрямо, тихо сказала Вера.

— Знаешь? Ну, что?

— Будет над землею Страшный суд, — шептала Вера. Ее чугунная рука кочергой висела вдоль тела. Ей казалось: разрыли ее могилу, и ее на посмеяние вынули из земли.

— Ха! Суд! — Другая уже смеялась в открытую. — Да это же я тот Суд и сделаю! Я!

И никто другой!

— Как ты смеешь, — шептала Вера.

Другая смеялась во всю глотку, громко и нагло. Звезды снегом осыпались с небес.

— Смею!

— Есть ли ключ...

— Договаривай!

— Есть ли в небесах ключ от спасения? От нашего спасения?

— А! Пожелала спастись! Жить уж очень хочется! Да твоя жизнешка — маленькая, жалкая! Что тебе о ней петься! Все равно все умрем!

- От ухода ключ...
- От смерти, что ли?!
- От ухода нашего... всеобщего... от всеобщей... гибели мира...
- Ах, вот ты о чем!

Другая Вера оборвала смех. Ее лицо стало злым и уродливым. Вера гляделась в кривое, злое зеркало. Не могла оторвать глаз.

- Да. Об этом о самом! Как нам спастись!
- Спасти? Разве вы не знаете? Вы же все знаете! Всезнайки! Каждый день твердите: бодрствуйте и молитесь! Молитесь! И ты думаешь, ваши молитвы вам помогут?!

Вера выпрямилась. Подняла лицо. Звезды стекали с зенита на ее затылок, кололи иглами ей щеки и лоб.

- Да! Если горячо молиться — Бог поможет! Бог тебя...
- Теперь Вера протянула руку. Пальцем указывала на другую себя.
- Все равно одолеет...

От тела другой шел холод.

Все внутри Веры вымерзло.

Она была зимняя земля, и снег и лед набились ей в песчаные складки и каменные морщины.

И другая наступила на нее, на землю, злой ногой.

- Я одолею всех. Но плевать на всех! Я и тебя одолею. Это главное!

Вера перекрестилась еще раз. Это было очень трудно.

Рука наливалась лунной тяжестью.

Рука Лунной катилась в смоляном небе, и не было ни конца ни краю тяжелому крестному знамени.

Другая отступила на шаг.

- А ты знаешь, кто я?!

- Да! — крикнула Вера.

Крик истаял в голых ветвях зимнего сада.

- Но ты не знаешь, что я с тобой сделаю!

- Ничего ты со мной не сделаешь, — сухими губами вышептывала Вера, — ничего...

Другая опять улыбнулась дико, страшно.

- Вот увидишь!

- А когда?

Голос Веры отлетал сухим листом.

- Так тебе все и открой!

- Зачем ты ходишь за мной? Что я тебе дала?!

- Ты...

И крикнула другая зычно, зверино, на весь тихий сад:

- Святая!

И столько было в этом крике презрения, ненависти и злобы, что Вера содрогнулась.

- Я не святая, — сказала Вера. — Я — грешница!

Пот тек по ее лицу, как слезы.

- Ты знаешь будущее!

- Не знаю!

- Не ври! Знаешь! А люди знать его не должны! Песни им поешь!

- Я — сама себе пою!

— А люди все равно слышат! Я все равно убью вас всех! Натравлю людей друг на друга!

- Не убьешь.

- Убью! И землю убью! И тебя!

— Меня, — шептала Вера, — меня... не убьешь... Ты — это я!
— Да! Я — это ты! Только без твоего сердца! Я тоже вижу все! Как и ты! Но мое сердце не бьется! Оно железное.

Вера подняла руку и тяжело, медленно перекрестилась в третий раз.

А потом поднесла щепоть к сердцу и медленно перекрестила его — под ночной, холодной рясой.

И другая — отступила.

И еще на шаг. И еще. И еще.

— Я приду за тобой. Когда, не узнаешь!

Вера глядела на себя широко открытыми глазами.

Положила ладонь на грудь, чтобы слышать биение сердца.

Ее сердце билось больно, горячо. Толкалось в ладонь. Жило.

Еще живое.

— Узнаю!

— Нет! Ты только про других все знаешь! Про меня — не узнаешь ничего!

И крикнула презрительно, визгливо:

— Ведь ты же не смотришь в зеркало!

Пятилась. Уходила.

Вера глядела себе вслед.

Бледное лицо над черной рясой таяло в морозной ночи.

Сухие листья валились с ветвей, шептались под ногами.

— Имя! — бессильно крикнула Вера уходящей. — Назови свое имя!

И далеко, как с того света, до Веры донесся птичий клекот:

— Ты же знаешь его!

— Но тебя зовут не Вера!

Далекий призрачный, ночной смех был ей ответом.

Ночь вспыхивала и гасла в замерзших ветвях.

Снег мерцал на черном пепле земли славянской ли, арамейской вязью. <...>

* * *

После этой страшной незабвенной встречи в зимней ночи мать Вера стала больше молиться.

Она молилась и про себя, и шепотом, и вслух, громко, крестилась широко, со слезами и улыбкой, и клала поклоны, много поклонов — сто, пятьсот, тысячу, она уже не считала. К ней приходили люди, и она говорила: «Возвращайтесь домой, кто пропал, тот нашелся!» Люди шли домой и находили там отца, что давным-давно ушел из дома; сына, что малюткой потерялся на вокзале в суматохе переезда. Люди приходили, и она говорила: «Копайте за восточной стеной дома, и клад найдете!» Люди брали в руки лопаты, и разрывали землю возле дома, думали откопать горшок с золотом, а находили старинную икону, Божию Матерь Троиручицу, и крестились на нее, и шептали: «А может, сам живописец апостол Лука ее намалевал на святой доске». Ризы Богоматери отсвечивали темно-алым, вишневым, кровавым. «Я всеобщая мать, — шептала себе Вера, — деток своих уже никогда не сочту».

Вера молилась вслух, стоя на коленях у иконы Божией Матери Умиление, она знала, что ее особенно возлюбил преподобный Серафим Саровский, об этом ей матушка Мисаила сказала; она произносила слова, а слова чудились ей языками огня, огни лизали тьму вокруг нее и тьму внутри нее, и очищалась душа от скверны, а свет отделялся от мрака, и слова текли настоящей музыкой, и Вера, сама себе удивляясь, говорила, как пела:

— Господи! Ты знаешь все, что у нас в сердцах живых творится. Ты держишь на ладони Своей Вселенную, Вседержитель Ты, Пантократор! Царь Иудейский — так кричали тебе там, на площади, когда захотели Тебя распять. Но Ты давно уже Царь Земной и Небесный! Взгляни на нас на всех! Мы, все живые, есть Твой храм. Мы — кирпичи Твоего храма. Сложил Ты нас, уложил тесно, плотно, чтобы храм сей не разрушился вовеки. А есть люди, что не легли в плотную Твою кладку! Есть люди, что под стену храма Твоего себя кладут взрывчаткой! Летят в святые стены снарядам! Господи, прости им, ибо не ведают, что творят! Помоги им, как Ты помогаешь праведникам Своим! Устереги их, несчастных, от диавола. Диавол в людях сидит. Он живет внутри людей, как червь, и гложет их. Съедают людей гнев, месть, злоба, зависть, желание разрушить все Твое. Выедены люди уже изнутри диаволом. Господи Боже! Последний земной раз — помоги им! Помоги — нам! Крепко забинтуй наши раны. И диаволу — крепко руки веревкой свяжи! И ноги! Чтобы шагу он не шагнул! Ты, милосердный Господь наш, трудно Тебе, но возьми, Господи, возьми жизнь мою! Не нужна мне она без Тебя! Если нужна моя плоть, моя кровь для Тебя — бери их! Если душа моя понадобится тебе — возьми ее, да она и так Твоя! Ради одного святого имени Твоего я буду страдать, радоваться, жить. И умирать. Мне смерть не страшна с Тобой, Господи! Только восхитить меня в Град Небесный, в Небесный Свой Иерусалим, а не низвергни в ужас огня адского, гееннского!

Так молилась Вера. На другой день она по-иному молилась, и так множество молитв говорила, как пела, она. Сестра Васса подслушивала ее молитвы, застывала, внимая, как ледяная.

Множество молитв, как множество песен, звучало из ее уст. Она уже знала много святых молитв, но все равно пела свои.

Когда Вера ложилась спать, холодной зимой — на жесткое свое ложе в келье Вассы, перед ее закрытыми глазами ходили ходуном, волновались водой под ветром старые, больные картины. Серый, мятый холодными вихрями Енисей; старые скособо-ченые пристани на самой кромке каменистых берегов; горы, поросшие ельником и кедром, мохнатые, грозные, темные, выставляющие небу угрюмые каменные лбы. Гольцы, подпирающие небо. Кружева, они из-под коклюшек все текли и текли, из-под высохших, слабых и прозрачных, как лед, старых пальцев Анны Власьевны. А потом кружева за окном восставали до неба, радостно и безумно мела кружевная метель и заметала все, что видно, и все невидимое глазу: латунь старой посуды, старое медное, позеленелое распятие на сморщенной старой груди матери, старую рубаху отца — мать подносила ее к лицу, лицом утыкалась в нее, и плакала, и утирала себе щеки соленым ветхим, ситцевым комом. Жизнь на поверку оказывалась очень маленькой, такой маленькой, что не успеешь над ней и поплакать, а она исчезнет. Куда? Человека закопают. И она, Вера, стояла на кладбище. А душа? Куда уходит душа?

Где она гнездится после того, как переходит ледяной, каменный порог?

Не у Тебя ли, Господи, за пазухой?

«Я у Христа за пазухой, — шептала Вера себе, спев очередную молитву свою и поднимаясь с колен, — мне хорошо. Мне грех жаловаться». А родина все равно обнимала ее, тормошила, толкала ее в сердце холодным кулаком, и ломались железные, тюремные ребра от такой забытой, пылающей любви. Вера молилась и родине: в святой песне она плакала о ней.

И молитвы ее были похожи на песни; и песни ее были похожи на видения.

«Нашу Веру-то, сестры, посещают видения!» — нашептывала сестра Васса монахиням. Монахини головами качали. «А видения те от Бога? А то доподлинно известно? А как она сама отличает? Вот иеромонах Серафим Роуз...» И долго монахини обсуждали, что говорил про туманные видения иеромонах Серафим Роуз. Бес или ангел посылает их? О чем поет мать Вера ночами перед тускло освещенным киотом, пока мо-

нахины коротко, тревожно забываются сном перед ранней, еще зимний Орион в зените веретеном кружит, многозвездной службой? А вы, сестры, слова-то разбираете? А что если кто-то из нас будет за нею ходить да тайком записывать? Уж больно любопытно, что она там бормочет. Не бормочет, а поет, сестра!

А это одно и то же.

К матери Вере в монастырь стали приезжать из разных градов и весей не только простые люди, но славные-знаменитые. Когда ей сообщили, что один из великих земных владык прибыл в монастырь и хочет видеть ее, она смутилась, туже затянула на горле апостольник. «Ко мне приехал? А вы, часом, сестры, не ошиблись?»

Человек оказался как человек. Не лучше и не хуже других. Почему-то захотел вытереть ноги на пороге ее кельи, искал тряпку. Мать Вера низко поклонилась человеку. Пригласила сесть. «Это я должен вам предлагать сесть», — усмехнулся владыка. Он произнес это по-русски. Вера, прихрамывая, отошла от двери и села на табурет напротив. Келья обняла их обоих густой тишиной. Вера заговорила первой. Она спросила владыку: «Откуда вы так хорошо знаете русский язык?» Он улыбнулся. «Мой дед был родом из России. Он уехал в революцию. Ему исполнилось семнадцать лет в семнадцатом году. Он родился в Сибири, на Енисее». Кровь отлила от Вериного лица. «Где?» Владыка наморщил лоб. «В селе Под-те-со-во, кажется, это недалеко от Красноярска. Или я путаю?.. не знаю?..» Вера смотрела на свои пальцы, на руки на коленях, они дрожали.

Потом они говорили долго, много. Без переводчика. Вера слушала владыку и думала: «Нельзя человеку без любви». Он очень высоко вознесен, и он один; и это самое страшное, одиночество на вершине. Владыка хотел, чтобы Вера сказала ему, что его ждет. «Я не гадалка. Бог запрещает магию, ворожбу. Молитесь, если вы веруете! Если не веруете — молитесь, чтобы уверовать. У нас только два пути к Богу. Третьего нет». Владыка хрустел пальцами. На безымянном у него поблескивал травяно-зеленый квадратный камень. Вера неотрывно глядела на перстень. У нее закружилась голова. Ей показалось, она с обрыва падает в холодный зимний Енисей и снег и лед плывут под слабыми ногами. Она раскинула руки, как крылья, и стала падать с табурета. Владыка подхватил ее, когда она перестала видеть мир.

...Очнулась оттого, что кто-то бил ее по щекам, и голос матушки Мисаилы донесся: «Очухалась!» Каплями отпоили, водой побрызгали, велели лечь и лежать, но Вера упрямо сидела на табурете, в сиденье крепко вцепилась и только спрашивала: «А он где? Где?» Ей сказали: владыка ушел с Богом. Васса обняла Веру за шею и шепнула: «Он оставил тебе подарок! Вон на столе коробочка! Мы не открывали!» Ой, еще как открывали, любопытные, беззлобно думала Вера. Пошатываясь, она поднялась с табурета, подошла к столу и взяла в руки коробочку. Открыла. Из черноты ей в лицо ударили зеленые лучи.

Кольцо владыки с африканским изумрудом Вера носить не стала. Монахиня она, да и перстенок велик, мужской же, сваливается с любого ее тощего пальца. Она поднесла изумруд игуменье. Мать Мисаила надела перстень на указательный палец, он у нее был толстый, как сосиска. Впору игуменье оказалось кольцо.

Матушка Мисаила носила его с гордостью и тем, к кому благоволила, весело рассказывала: «Это мне сам великий владыка подарил!»

Вера тихо улыбалась.

* * *

Богомазы иерусалимские малевали иконы и в дар приносили матери Вере. «Сегодня новодел, а завтра Чудотворная», — думала Вера. В келье со стен глядели Одигитрия и Богородица Владимирская, святой Пантелеймон Целитель и святые страсто-

терпцы царь Николай, царица Александра и расстрелянные дети их, четыре великие княжны и цесаревич. Смирненно глядели большими, черными глазами-озерами, и круглые веки, и круглые брови, и круги морщин на высоком лбу, святая Екатерина, святая Варвара и святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. И над кроватью висела икона мучениц за Христа Веры, Надежды, Любви и святой их матери Софии. Вера взглядывала на тонко намалеванную превосходным мастером икону, глядела на тоненькую, тополиную фигурку девочки Веры — выше всех она была из сестер, старше всех, ей уже исполнилось двенадцать. А Надежде десять, а Любви — девять. Раскаленные решетки! Били плетями, рвали тело клещами! Бросали в котел с кипящей смолой! Тело подвержено боли, а душа крепче железа. Вера Римская, святая мученица за Христа. Истлели твои косточки! А ты, мать Вера, ты-то за кого жизнь отдашь? За Бога своего?

Подолгу стояла Вера на коленях, молясь перед иконами, ловя зрачками и щеками их золотой теплый свет, и души всех людей, за кого она возносила молитвы, толпились над ней, клубились перед ней, и она чувствовала себя среди них, как в небе, среди облаков. Такое было не всякий раз на молитве, но когда приходило, она радовалась всем сердцем и понимала: земля и небо сплетены, и горе тому, кто над этим нагло и хитро смеется.

Она жалела презирающих и молилась за исполненных злобы.

Ее все спрашивали: не покинешь ли ты нас, мать Вера? не уедешь ли вдруг от нас? Нет, не уеду от вас, не покину вас, отвечала Вера, мне хорошо среди вас! А люди вокруг нее, ее бесчисленные гости, то умирали, то рождались, то женились и опять к ней приходили, чтобы она их благословила и помолилась за них. Вместе с монахинями и матерью Мисаилой она сподобилась увидеть и Патриарха Иерусалимского Феофила; она заглянула близко в глаза Патриарха и увидела там боязнь, мрак, ночь, страх и два желания: желание, чтобы скорее все земное кончилось, и желание, чтобы оно никогда не кончалось. Но ты же не канарейка, владыко, мысленно сказала она Патриарху, чтобы набросить на твою золотую клетку черный греческий платок! Патриарх Феофил благословил монахинь; каждая подходила под благословение с восторженным лицом, и только мать Вера подошла спокойно, чуть хромя, и губы ее были сурово сложены, и чуть раскосые, с сибиринкой, глаза в черных бессонных обводах, в окружьях вечной усталости, строго глядели над высокими восхолмьями скул. Патриарх вонзил в Веру острые лезвия зрачков и уже не вытаскивал. Вера положила правую руку на левую, по-русски сказала: «Благословите, владыко» — и согнула спину. Патриарх сказал ей что-то по-гречески, она не поняла. Рассердилась на себя. «Ни греческого, ни иврита, ни арабского, никакого другого языка не знаю, а еще в Иерусалиме живу! Лентяйка! Швабра сибирская!» Обругав себя мысленно, устыдилась. Прикоснулась к руке Патриарха губами. Ее губы были теплые, а рука Патриарха сухая, холодная, как осенняя, забытая в сарае вобла, в веснушках и в старческих смешных бородавках.

Каждую Пасху, в Страстную субботу, в храме Гроба Господня сам собою возжигался Благодатный Огонь. Вера видела это чудо. Видела, как раздевали Патриарха Феофила перед входом в Кувуклию, и он оставался в подризнике и епитрахили, беспомощнее младенца. Белый подризник горел снеговым сугробом, увалом над Енисеем, подернутым первым льдом. Во храме пахло медом и воском и было так жарко, что с людей тек пот ручьями. Люди ждали чуда, и Вера тоже ждала чуда. Она закрывала глаза и пыталась мыслями переселиться туда, во тьму, внутрь Кувуклии, и глядеть глазами Патриарха, и щупать воздух и мраморную плиту Гроба Господня старыми трясущимися руками. «Что он ощущает? Страх? Я бы тоже боялась. Говорят, он скинул с церковного трона прежнего Патриарха Иринея. В церкви тоже войны. И тут война! Зачем? Разве сама церковь — не любовь? Война — в мире, а любовь — в Боге. И тут тоже люди друг

друга топчут и бьют, и говорят, что во имя Бога. Где правда? Что есть правда? Вот он стоит там во тьме на коленях, владыка. И сейчас по мраморной плите потекут голубые звезды. Синие зерна чудесного света. Горящие капли, слезы. Может, это Его слезы? Все Васса так и рассказала, а ей другие сестры, а им армянин архиерей, что входил в Кувуклию. Патриарх поднесет к катящимся Божиим слезам ватку, и она загорится, затлеет, а тут и пук свечей подставят. Что это?!» Вера озиралась. По всему храму, там и сям, вспыхивали красные, синие и золотые молнии. Люди начали кричать. Высоко поднимать свечи белого воска. От раскрытой двери Кувуклии быстро стали передавать горячие свечи, связки свечей, огонь, он не шел по храму — бежал, летел, его хватили в кулаки, держали на ладонях, бросали в народ, в толпу. Огонь! Благодатный! Единственный! «Вот, Вера, ты катилась-катилась, живая кибитка, по земле да сюда, в Иерусалим, и докатилась. Как ты сподобилась?! А вот вышло же у тебя! Спасибо Анне Власьевне! Это я ее приказ исполнила. И надо же, Благодатный Огонь я вижу! И — в руке держу!» Она стояла, высоко поднимала пук свечей, а их, тонких и снежно-белых, в связке было ровно тридцать три, по числу лет Спасителя, и бешеный широкий огонь рвался вбок и вдаль, вырывался из ее руки, летел над головами во всю глотку кричащих прихожан, над радостным криком и над неслышным плачем, летел, рвался, обнимал лица и пальцы, гас и опять загорался, взрывался бессловесной яркой музыкой, эту музыку можно было видеть, не только слышать, и осязать, и даже целовать! Вера поднесла горящий пук свечей к лицу и окунула лицо в огонь. Водила огнем по щекам, по лбу, по подбородку, по зубам, блестящим в торжествующей широкой улыбке. Огонь не жет! Кажется, он даже пах — розой, нежным цветком, нет, диким шиповником! Вера смеялась во весь голос, гладила пламенем себе лицо и волосы. Держала над огнем ладонь. «Я ничего не чувствую! Никакой боли! Чудо! Огонь с небес! Из Небесного Града Иерусалима! Прямо оттуда! Там живет сейчас наш Господь! Господи! Спасибо Тебе! Ты — радость!» Люди кричали, молились и пели. Передавали друг другу огонь. Важно было передать друг другу огонь. Чтобы — жил. Чтобы — горел.

Вера оглядывалась: здесь, сейчас, при возжжении Благодатного Огня, никто не был одинок. Вот в длинном платье худая монахиня. На нее, Веру, похожа. Только много старше. Она кричит, как девчонка! Руки воздевает к темным, закопченным сводам храма! Медовое темное золото тучами надвигается на нее, время обращается в грозу и мечет молнии. Она пришла сюда одинокой, плачущей, ее бросил муж, и у нее умер ребенок. Никто не мог ее утешить. Только Бог! Его огонь — Его поцелуй! Вот старуха, она ехала сюда издалека, из далекой северной страны. Седая северянка, она погибает от жары. Все дети ее убиты на войне. Она давно и бесповоротно одна! А тут она — со всеми. И не только со всеми! Она — с Огнем. Золото Божьего костра! И все вокруг собрались, и руки греют, и смеются, и обнимаются. Вот бы все на всей земле так — обнялись! Ну что же вы не обнимаетесь! Обнимитесь!

«Обнимитесь!» — хотелось крикнуть Вере, и она зажимала себе рот ладонью, чтобы не завопить на весь храм. Она вдруг увидела себя со стороны, стояла сама перед собой, там, по другую сторону призрачного стекла, и глядела на себя: вот она Вера, апостольник ее сполз с затылка, волосы висят вдоль щек, глаза горят безумием радости, а рядом с ней смуглый потный араб, на плечах у него мальчишка сидит, и громко в бубен бьет, и хватает смуглого араба за мокрые кудрявые волосы, а по другую руку стоит дородная мадам, с ее толстого тела стекают блестящие атласные складки доророго модного плаща, высокая могучая шея обкручена мутно-серыми жемчугами, жемчуга и в ушах, перламутр помады блестит, а из глаз соленым салютом сыплются, искрами разлетаются по щекам мелкие слезы: она плачет так щедро и неистово, что все лицо уже давно мокрое, и шелк плаща, и кружевной шарф, она просто заливается слезами, а за ней, в дымящейся тьме, мерцают лица, седые виски, золотые и синие

белки сумасшедше-счастливых глаз, золотятся и летят волосы, огонь хватается их рыжей лапой, из мрака светятся руки, вздрагивают, трепещут, это уж не руки, а крылья бабочки, крылья ангелов, — они все, эти люди, будто в зеркале стоят и смотрят на Веру, а Вера — на них и на себя. Никто не одинок! Все — со всеми и во всех!

Так почему же она одна стоит, против людей и себя самой, стоит и держит бешено горящую пасхальную свечу, слепленную из многих тонких свеч, так слеплен мир из многих людей, живых и ушедших душ, и смотрит, смотрит в это тусклое зеркало мира, где все пьяны без вина от счастья жить и быть в Боге и с Богом, — зачем ей это созерцание, она хочет быть в хороводе, в хоре, быть внутри! Не отъединяться! Кричать — со всеми! Петь — со всеми!

Вера выше подняла сноп свечей Страстной субботы, огонь из ее руки метнулся вверх, к темным, будто подземным, росписям храмового потолка, улетал умалишенной золотой птицей, и все никак не мог улететь, все еще был с ней, реял над ней. Она задрала голову. Нельзя смотреться в зеркало. Все, кто ушел в зазеркалье, умерли. Она одна жива. Нет! Она не одна. Все эти люди — они здесь, по эту сторону зеркала. Они отражаются друг в друге. Они отражаются в Боге. А Небесный Огонь отражает их.

Люди прыгали, пели и кричали, а Вера медленно опускалась перед ними на колени. Она все так же высоко держала руку с огнем. Не опускала.

* * *

<...> — Мать Вера, — дотронулась до ее локтя сестра Васса, — там к тебе... из России... женщина какая-то. Очень представительная. Одета так богато. Шуба у ней... из белых мехов... ну, сама увидишь... Ступай. Прими.

Вера прижала ладони к щекам. Так постояла немного, перевела после молитвы дух и, едва заметно хромя, пошла к дому, где жили монахини. День стоял солнечный, но холодный. Дул резкий северный ветер. Перед дверью в дом стояла высокая разряженная дама. Атласное платье мело монастырскую мостовую. На плечах дамы сиял в лучах солнца палантин из серебристых норок. Мех несчастных зверьков невыносимо искрился, резал глаза. Или это так сильно сверкало кольцо в меховом распахе, на груди у женщины? В теле, пышная, грудь высоко подымается, дышит часто и тяжело. Мать Вера заглянула в ее глаза и чуть не отшатнулась. В глазах роскошной дамы застыл черный ужас.

— Здравствуйте, — спокойно поклонилась Вера, — Господь с вами! Издалека к нам! Чаем вас напоили? Накормили?

— Да ну его, чай! — Голос у дамы оказался внезапно звучным, заполнил собой все солнечное пространство, и, казалось, голос этот услышали даже звонари на колокольне. — И к чему еда! Это все чепуха! Главное, я до вас добралась. Вы мне важнее всего! Я к вам — всю жизнь добиралась! И вот получилось!

От голоса царственной дамы звенело и дрожало все вокруг. Ветви деревьев бились. Камни трескались. Вере почудилось — от вибрации голоса у ее ног вспыхнул пламенем пук сухой травы.

— Какой голос у вас...

— Я певица! — сказала дама и улыбнулась. Улыбка у нее была вымученная, страдальческая; она будто плакала и так гримасничала. Жирно, щедро крашенные губы змеино кривились.

— Понятно...

— Ничего вам не понятно!

— Вы в опере поете? — Вера почтительно наклонила голову в черном клобуке.

— На эстраде! — вскинула голову дама.

Тяжелый пучок смоляных волос оттягивал ей высокую полную шею. Шею обхватывала нитка крупного жемчуга. Вера глядела на жемчужный тусклый перламутр и думала: «Какая красавица, эстрадная певица, и любит ее народ, слушает».

— Может быть, я о вас знаю. Как вас зовут?

— Зиновия.

— Это эстрадный псевдоним?

— Это мое имя, данное мне при рождении, увы!

— Почему увы? — Вера улыбнулась. — Очень хорошее имя. Оно означает знаете что? Богоугодную жизнь ведущая. Вот вы, вы... вы ведете богоугодную жизнь?

Покосилась на ее белый норковый палантин.

— Я? — певица хмыкнула. — Богоугодную?! Да я именно за богоугодной жизнью — сюда приехала! Знали бы вы, какую я жизнь... — не могла договорить, — веду...

Вера тихо взяла певицу за руку.

— Идемте ко мне в келью. Вы мне все расскажете.

* * *

Сестра Васса вскипятила им чай. Они обе сидели на низких табуретах у стола. Стоял Великий пост, и в вазе посреди стола лежали ржаные сухари — угощение к чаю. Васса выставила лимонное варенье в большой розетке. Певица беззастенчиво запустила чайную ложку в розетку, ела варенье из розетки, облизывалась, нахваливала. Она и правда была очень голодна. Варенье исчезло. Зиновия налила в розетку чай, размешала в нем остатки варенья и выпила этот лимонный морс.

— Ох, — перевела дух, — спасибо...

— Сестра Васса, а нет ли у нас чего посущественней?

— Рыбу нельзя, — загибала пальцы Васса, — блины на яйцах нельзя, сметану ни-ни, сдобные ватрушки нельзя, сыр нельзя, икру нельзя, мясо...

— Не о мясе речь, — поморщилась Вера, — ну, хоть постной лепешечки, той, что печет мать Ульяна! Нигде не завалилась? И картошечки к ней горячей, и грибов, тех, что из Кесарии привезли. Так! вижу! грибы в целости. Открывай, сестра, банку!

— О-о, — вскрикивала певица, делая отрицающий жест белой пухлой рукой, — не надо, ну что вы, зачем так хлопотать из-за меня!

— А вы не поститесь? Простите, я не спросила. Или поститесь все же?

— Мне священник сказал, — покраснела до корней волос певица, — что у меня работа тяжелая... и я должна все время восполнять потерю энергии... я же пою, пою... дни напролет на сцене... а то и ночи, знаете, на корпоративах...

— На чем, на чем? — Пришел Верин черед краснеть.

— А это, знаете, такие закрытые концерты... ну, в фирмах во всяких... приглашают... дорого платят...

Сестра Васса, повздыхав, вытащила из скрипучей тумбочки бутылку тель-авивского темного коньяка и маленькую, с наперсток, хрустальную рюмочку.

После горячей вареной картошки с солеными грибами и трех чашек чая с лимонным вареньем, а потом с абрикосовым певица раздумянулась, как расписная матрешка. Алые щеки ее залоснились, заблестели, словно намазанные кремом. Она подолом атласного платья вытерла пот со лба. Вера услала Вассу безмолвным кивком. Васса, подобрав рясу, выкатилась за дверь. Вера украдкой поглядела на часы. В их распоряжении было полтора часа, от силы два — до начала вечерни.

— Ну, рассказывайте...

Вера не впервые принимала исповедь.

Зиновия глубоко вдохнула, ее ребра расширились, бока выпятились под шелковым платьем, вся она стала похожа на обтянутой шелком бочонок. Потом выдохнула. И внезапно стала маленькой, мелкой — жалкой. Будто воздух весь из нее вышел навек.

Она заговорила так тихо, что Вера не расслышала первых слов:

— ...хороший муж. Правда, он младше меня на десять лет!.. но это же ничего, есть и больше разница, а какая разница?.. лишь бы вдвоем было хорошо, ведь да?.. И жили мы хорошо. Не пожалуюсь. Отдыхать на море летали, в Турцию, в Таиланд. На остров Бали летали! В океане купались... Сына родили. — Певица судорожно сглотнула. — Сына... Такого славного...

Прижала себе ладонь ко рту. Так сидела. Молчала.

Вера не торопила ее.

— И что же? Да самое то... самое оно... изменил он мне. С молоденькой! С совсем сикухой. Со шмакодявкой такой... ой, простите, я ругаюсь... но я не могу... Вы бы ее видели! Килька обглоданная, хамса! Выдерга! И что он в ней нашел! По сравнению со мной... — Певица обвела себя руками, выхваляясь статью. — Ну и... охомутала она его... по полной программе... и он из дома ушел. Уехал! С одним чемоданчиком. Сын так плакал! В голос ревел! Сын... А я... сначала в отместку хотела... любовников заводила... всяких... с кем только я не... простите... я знаю, в монастыре такие речи... но это чтобы вы знали, видели, что я такая жуткая, ужасная... что я — просто дрянь... дрянь! Настоящая! И мне грош цена! А все вокруг кричат: божественная!.. великолепная!.. и все такое прочее. У меня эти крики — вот уже где!

Резанула себя рукой по глотке. Вера поймала ее руку на лету.

— Никогда так не показывайте. То, что вы на себе показали, запомнит диавол. И сделает с вами точно так.

— Дьявол! — выкрикнула певица. Ее щеки уже пылали малиново, страшно. Пот тек по вискам. — Да что вы тут понимаете в дьяволе! — Она была как пьяная, хоть не выпила ни капли из мирно стоявшей на столе бутылки. — Дьявол не где-то там за углом! Дьявол — он вот, вот... вот он где... — Постучала себя кулаком по груди. — И делает он с нами, что хочет... уж поверьте мне. И может, он-то как раз и послал мне другого человека!

— Другого?..

— Да! Другого! Прекрасного! Превосходного! Вдвое меня старше! Благородного как я не знаю кто! И человек этот — меня полюбил как я не знаю кого! А человек этот — женат! И жена у него — не выдерга! Нет! Жена у него — первый сорт! А может, и вышний! Лучше меня в сто, в тыщу раз! Красотка, умнющая, добрейшая, добрее добрых... нежная, заботливая, так движется, сама грация... прямо как Богородица с иконы сошла и ожила — вот какая... И дети у них! Целых трое! Девочки! Ангелочки! Вера—Надежда—Любовь! Кроме шуток! А тут я. И мужик этот как спятил на мне! Все, кричит, всех от себя отсеку, всех выгоню, ото всех убегу, а с тобой — буду! Только с тобой!

Вера опустила голову и не смотрела на певицу. Она смотрела себе в колени: там лежали ее руки, утружденные, с плоскими, как деревянными ладонями, с шершавою тыльной стороной, рабочие, сильные, усталые — недвижные.

— А сын мой плачет. Кричит: мама, мама, где папа, я так люблю папу! Где он, вернись к нему! Или пусть он вернется к нам! Сделай так, чтобы он вернулся! Найди его! Или я из дома уйду и сам его найду! Давай ищи! Так кричит день за днем. И я не выдержала. Я ему взяла да и крикнула в ответ: нет! Никогда я не буду твоего отца искать! И не нужен он мне! Он меня обманул! Он предал меня! А значит, и тебя! Он для меня — не существует! И для тебя уже не существует! Нет его, нет, понимаешь, нет!.. Я так кричала сыну... моему сыну... сыну...

Зиновия опять заклеила рот рукой. Вера терпеливо ждала.

— И вот когда я крикнула в лицо моему мальчику: нет! никогда! — он пошел и... и...

Вера уже поняла, что случилось. Она подняла свою тяжелую теплую руку и положила ее на колено певицы.

— И утопился... в реке...

— Царствие Небесное, — еле слышно сказала Вера и перекрестилась.

Певица так и вскинулась.

— Царствие Небесное — самоубийце?! — Глаза ее бешенством горели. — Царствие, бормочете?! Небесное?! Да, может быть, он и правда на небесах сейчас! А в церкви же нельзя молиться за самоубийцу! Нельзя им панихиду служить! Вообще преступники они! И на кладбище их — не хоронят! А я кладбищенскому сторожу заплатила черт знает сколько денег! Чтобы он позволил мне моего сыночка в ограде кладбища похоронить, а не за оградой! Все карманы вывернула! Все кошельки на снег перед ним побросала! Позволил! Позволил...

Солнце клонилось к закату. По стенам кельи ходили красные пятна печального, вечернего света.

— Если бы вы видели, какой мальчик мой был, когда его вынули из воды! Синий... распухший... Нет, я не могла посмотреть ему в лицо! Я смотрела вокруг лица. Около. В само лицо — не могла. Это был не он. А правда! может, это был не он! не Тимочка мой! может, все они ошиблись!.. Но батюшка в церкви... вот он — не клюнул на деньги... он — оттолкнул мою руку... он сказал, печально так: ваш сын сам выбрал наложить на себя руки, и он сам убил свою душу живую, и это даже не самоубийство, это — убийство... А я кричала: да он же ребенок, ребенок же он еще!.. А батюшка мне: да ведь не несмышленишь же, уж отрок, двенадцать лет... Ему было всего двенадцать лет... Почему батюшка отказал мне в отпевании?! Почему он такой жестокий?! Может, он — от дьявола, а не от Бога?! А еще в церкви стоит, среди икон... Я так орала в церкви... что меня вывели под руки и еле усадили в машину... А потом, когда меня привезли домой, я и осознала: это я, я сама погубила моего сына, я, я одна...

— Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего Тимофея: еще возможно есть, помилуй. Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя, — прошептала мать Вера и медленно перекрестилась.

— И вот... И вот... — Пот густо тек по красному, как из бани, лицу певицы. — Я решила, что сейчас мне уже можно все... И я... я увела моего того хорошего человека из семьи... увела!.. но он не женился на мне. Мы ездили по курортам... он снял нам шикарное жилье... мы там просто бесились на кровати... мы спали где угодно, когда угодно... мы просто ели, съедали друг друга, мы друг для друга были самой шикарной жратвой... и я, я видела это, чувствовала, что я для него — не человек уже, нет... а жратва... и он для меня тоже... И он вернулся к жене. Но все уж было открыто! Все было наружу, наизнанку, все наши потроха! И он сказал жене: я буду с тобой, но и с ней тоже! И началась моя ужасная жизнь. Мать Вера! да! ужасная!

Она в первый раз назвала Веру — «мать Вера». И Вера вздрогнула.

— В чем был этот ужас?

— Он... утопил меня. Теперь — меня!.. я утонула...

— В чем? где?

— В ужасе мира, мать Вера!

Вера глядела молча. Она решила ничего не спрашивать.

— В политике, будь она проклята! В вооружении, да, в горах оружия! В близкой войне! Вернее, в защите от нее, от ее призрака, он так думал, что он нас — от этого безглазого призрака — защищает! Он у меня был — политик. Был, почему был... Да он

и есть! Такой, знаете, знаменитый. На весь мир гремит! Погремушка чертова! Я стала летать с ним на всякие его саммиты. На всякие симпозиумы, встречи эти отвратные! в зале сидела и наблюдала, как он — договоры заключает! Или как на трибуну выходит, к микрофону рот приближает... и говорит. Говорит, говорит!.. говорит... Он говорит... а я не слышу его. Только кровь в висках бьется: бум! бум! бум! — страшно так. Голова вот-вот взорвется. И земля вместе со мной. Так все страшно, и мой человек, знаменитый, умный очень, такой умный, что страшно, говорит об очень, очень страшных вещах. Так, что ты не хочешь, а понимаешь: нам скоро всем хана. Ой, простите! Здесь нельзя так выражаться. Я — нечестивая!

Зиновия закрыла себе рот рукой и даже, во зле и досаде на саму себя, куснула себя за руку.

— Окунулась я в крошечный ужас. Поняла одно: человечество идет к самоубийству. Мальчик мой убил себя. Жить не захотел. Это что! Это — может быть, и хорошо... что он — раньше всеобщего ужаса — с жизнью расстался... А люди! Все, кто на земле живет! Мы же все как спятили! Семимильными шагами — к смерти идем. Бежим! Задыхаемся! Опоздать боимся! Слушаю моего любимого и понимаю: скоро, не успею оглянуться, грянет великое сражение. И все погибнут! Все хотят войны! Изголодались по ней, что ли? Не могут без нее?! Так и тянутся к ней. Как к мамке родной! Да ведь она же смерть, хотелось заорать мне на весь зал этого саммита какого-нибудь жуткого, где вроде бы люди в зале восседают, а мне кажется — черти! Рожи у них такие, чертявые. И — рога над теменем, и пяточки свиная! Вот-вот захрюкают, все, дружно, и помчатся к гибели, к краю пропасти! И все туда, скопом, рухнут, визжа. И вот все думаю: так зачем же тогда Бог? Ох! Где же тут Бог-то, в нашей жизни? Маленькая она, крошечная! Не успеешь родиться и завопить: уа-а-а-а! — как надо руки складывать на груди и в гроб ложиться. Вам легче, святым! Вы святые. Вы — помолитесь, у вас и душа чиста, и летит она, как птица. А у меня — только на моих концертах летит. Когда я на сцене стою, работаю. Тогда я все забываю. И сына на берегу... на песке... с распухшим лицом. И любовные, подлые крики мои в чужих постелях! И человека моего, этого, блестящего, знаменитого! Ну да, нас с ним папарацци тыщу раз уже подловили. И меня с ним рядом — тыщу раз засняли! Только мне от этого ни жарко, ни холодно! Печатайте фотографии наши, дурацкие таблоиды! Я уже и с журналистами судилась. И выигрывала процессы! Да потому что меня люди любят! А они... кто такие?!

— Они тоже люди, — тихо сказала Вера.

— Люди! Это — нелюди! Они плохие. Подлые! Мне говорят: молитесь за врагов ваших! Знаю я все эти поучения. Я не могу за них молиться! Враг — это враг!

— Зачем вы приехали сюда? Ко мне?

Верин голос шелестел тише шуршанья салфетки.

Зиновия вытерла мокрое лицо ладонями.

— Я приехала сюда, чтобы... здесь поселиться! Уйти в монастырь. Я выбрала — к вам! Мне рассказали о вас. Я поняла: вот — святая!

— Я не святая, — шептала Вера.

— Не спорьте! Вы — святая! К вам полмира идет! Я хочу уйти к вам! Сюда! От мира. В нем одни страдания. Возьмите меня! Иначе руки на себя наложу.

Вера выслушала эти слова и встала из-за стола.

— Спойте мне.

— Что-о-о-о-о?!

— Спойте мне, — твердо, приказом, а не просьбой, сказала Вера.

Зиновия тоже встала. Две женщины стояли рядом. Обе высокого роста, у Веры более широкие и угловатые, твердые плечи. Певица поражала княжью роскошью холе-

ного, сдобного тела. Меховой палантин сполз с плеч на пол. Она переступила через него, через мертвого зверя. Шелк платья заискрился, водяно, речно переливался в тусклом ягодном свете лампад. Солнце уже закатилось, окна густо синели, Вера не пошла ни какую вечернюю Литургию, и это был грех, она еще не успела осознать его. Певица вдохнула воздух глубоко и судорожно, как будто ее, утопленницу, вытащили из темной глубины. И запела — так полнокровно, ясно, ярко и нежно, что Вера вся покрылась гусиной кожей, словно голая вышла из воды на широкий холодный ветер восторга.

— Спи-усни... Спи-усни... Гаснут в небесах огни... Спи... От сена запах пряный, в яслях дух стоит медвяный, вол ушами поведет... коза травку пожует... В небе синяя звезда так красива, молода... Не состарится вовек... Снег идет, пушистый снег... Все полято замело — а в яслях у нас тепло... Подарил заморский царь тебе яшму и янтарь, сладкий рыжий апельсин, златокованный кувшин...

Затаив дыхание, Вера слушала; она понимала, что Зиновия поет колыбельную.

Может, она сама ее написала; скорей всего, было так. Она пела с закрытыми глазами. На ее лицо вззохла улыбка. Она и правда походила сейчас на икону Божией Матери Умиление — на любимую икону преподобного Серафима Саровского. Вера любовалась ею. Раскрылись пространства и просторы, сместились густые и прозрачные слои воздуха. Перемешались тепло и мороз. Тихо шел с небес снег, в яслях стояли коровы и козы, длинными сливовыми глазами глядели на Того, Кто родился. Мать держала ребенка на руках. Развернула пеленки. Любовно глядела на маленькое нежное тельце, еще живое тело родного человека. Все — всем — так — не могут быть родные. А что есть чужой? Родной? Вот вырастет этот ребенок. И скажет всем: вы все родные друг другу. Зачем Он это скажет? Ведь Его все равно никто не услышит.

А услышат — потом.

Глаза матери сияли. Светились двумя ночными солнцами. Потом она запеленала младенца, прижала его к груди и закрыла глаза.

— Спи, сынок, спи-усни... Заметет все наши дни... Будем мы с тобой ходить, шубы беличьи носить, будем окуня ловить — во льду прорубь ломом бить... Будешь добрый и большой, с чистой, ясною душой... Буду на тебя глядеть, тихо плакать и стареть... Спи-спи... Спи, сынок... Путь заснеженный далек... Спи-усни... Спи-усни... Мы с тобой сейчас одни... Мы с тобой одни навек... Спи... Снег...

Зиновия выдохнула последнее слово так нежно, будто ловила малую снежинку ладонью.

Она и вправду протянула ладонь вперед.

Синее вино вечера лилось в монастырское окно.

— Снег...

Зиновия сгребла в кулак на груди спящее кольцо.

— А давайте вместе споем, мать Вера?

Вера ничего не ответила. Певица вздохнула, и Вера тоже. Певица запела, и Вера вместе с ней.

— Черный во-о-орон... что ж ты вьешься-а-а-а... над моею головой!.. Ты добычи не добыешься... черный во-о-о-орон... я не тво-о-о-ой!

Они вместе пели в келье русские песни, и Вера плакала, не замечая, что плачет.

А за дверью кельи стояла сестра Васса, закрыв лицо ладонями. <...>

* * *

— Я не могу. Я больше не могу! Я хочу уйти на тот свет, Вера.

— Стой. Погоди. Ты не имеешь права так говорить. Побойся Бога!

— Да что мне Его бояться! Я теперь ничего не боюсь. Я готова Ему служить. Но только пока у меня есть силы жить. Вера! Они у меня заканчиваются. Вера! Я больше не могу жить. Я — хочу — уйти — за ним!

Вера ловила ее летающие, отчаянные руки. Слезы лились по лицу Зиновии на подбородок ей, за ворот, по груди, рясу ей солью вымачивали.

— Я тебя понимаю. Ты мать! И твоего ребенка нет на свете. И ты хочешь к нему, туда. Но ты знаешь, где он теперь?

— Знаю! Все вранье, что он грешник! Он — ангел! И он — среди ангелов, на небесах! И я уйду к нему! Небеса меня примут. — Она дрожала. — Еще как примут! Я измучилась, Вера. Душа моя заржавела, почернела! Нет мне покоя! Я молюсь, я его зову, покой, а он... смеется надо мной! И все люди надо мной смеются. Мне кажется, что они все знают обо мне! И в меня летят усмешки... ухмылки! Еще немного, и плевки полетят! Я — презренная! Я — шваль. Я...

С губ Зиновии сорвалось скверное слово, она произнесла его беззвучно, но Вера прочитала его по губам.

— Тебя все любят в монастыре, Зиновия.

— Нет! Не все. Все никогда не могут любить одного человека! Враги есть у всех. И ненавистники. И у меня тоже. Знаешь, когда я в миру жила, сколько у меня врагов было?! О, не счастье! Меня просто заклевали. И голос хриплый! И одеваюсь как ведьма! И дура-то, двух слов связать не умею! Сын еще не родился — бесплодная, пустой кувшин, сухое дерево! Сын родился — а что только один, себя слишком любит, дети — обуза! Ты даже не представляешь, как меня убивали! А видишь, я жива!

— И будешь жить.

— Нет! Не буду! Устала!

Руки Зиновии враз обессилели, повисли вдоль тела. Она села на табурет и замолчала — крепко, надолго.

Вера хотела говорить. Но тоже молчала. А что тут скажешь? Все и так понятно. Человек устал жить. Душа устала. Хочет вон из тела, на волю.

— Ты права не имеешь, — прошептала Вера. — Жизнь дал Бог, Он у тебя ее и отнимет.

— Я — Ему — помогу!

Вера молчала. Тербила концы угольно-черного апостольника.

— Повторяй за мной, Зиновия. Боже, очисти мя грешную, яко николиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя... да неосужденно отверзу уста моя недостойная... и восхваляю имя Твое святое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Она искося, из-под надвинутого на лоб апостольника, взглянула на Зиновию. Поразилась земляной черноте ее лица. Будто бы уже из гроба своего смотрела на нее Зиновия, и губы певичы искривились в усмешке — позорной, презрительной, над самою собой.

— Ты думаешь, это мне поможет?

— Зачем же ты... тогда... — Вера искала глазами ее глаза, — здесь?

— Я думала спастись. Правда. Не веришь?

— Верю.

— А теперь я не верю. Я себя убью!

Вера встала на колени и стала молиться, не глядя на Зиновию.

Зиновия будто вспыхнула огнем. Сорвала с себя платок. Волосы ее разметались. Глаза горели дико, светло. Она шагнула к Вере и схватила ее за руку. За правую, коей Вера крестилась.

— Уйдем отсюда! Вместе уйдем! В мир! Ну его, монастырь этот твой, мертвечина тут! Поешь ты хорошо! Будем петь вместе! Нам еще повезет! Бросай все мертвое! Живи! Ло-

ви счастье! Лови жизнь! Ртом лови, ноздрями, животом, всем! Это же чудо, жизнь! Жаль только, такая коротенькая!

Вера, стоя на коленях, глядела на Зиновию снизу вверх.

Ей казалось: волосы Зиновии шевелятся, как щупальца черного осьминога.

— Ты так поешь, Вера... За сердце твой голос хватает... Я рядом с тобой — нуль, зеро... Сбежим! Уедем! Ты увидишь Россию! Ты тут высохла без нее! Ну! Решайся! В воздухе-то война висит! Ветер войной пахнет! Хоть перед гибелью общей — Родину увидишь! Ну! Ну скажи хоть слово, ты, умоленная! Да, ты святая! А я — грешница, пробы на мне негде ставить! И ничего у меня не получилось с твоим монастырем! Ну, не молчи же, ну!..

Вера, не вставая с колен, тихо сказала:

— Я поеду с тобой. Но не из-за себя. А из-за тебя. Потому что ты страдаешь. Чтобы ты руки на себя не наложила. А то на моей душе грех твой будет. Я тебя спасу. Я буду с тобой, сколько понадобится.

И при этих словах встала с холодного пола кельи так легко, будто ветер ее, высохшую былинку, поднял и понес над землей.

* * *

<...> Они собирались молча, спешно, стояла глубокая ночь, небо вызвездило, и поднялся ветер; ветер резкий, холодный, он гудел и свистел над Святой Землей, говоря о том, что природа может страдать, и гневаться, и кричать, как человек. Вера и Зиновия взвалили на плечи поклажу: Вера — ранец, Зиновия — котому. Переглянулись. Надлежало переступить порог. Это было самое страшное.

Вера земно поклонилась всему, что было тут много лет ее жизнью.

— Господи... спаси и сохрани... всех, всех спаси и сохрани...

Она даже не могла, как надо, по правилу, благословить молитвой остающихся.

Зиновия затравленно, волчком, оглядывалась. Обе женщины стояли в келье Зиновии. Сестра Васса спала, через тонкую стену, нежнейшим, спокойным сном — до будильника к полунощнице. Зиновия воззрилась на Веру, губы ее запрыгали. Вера видела: она испугалась того, что делала. Но было уже поздно.

— Еще не поздно остаться, — вымолвила Вера, не веря себе.

Зиновия помотала головой: нет!

Обе вышли вон. Сначала — Зиновия, вслед за ней — Вера, поправляя ремень ранца: он давил плечо. Ее родимое Евангелие лежало на дне ранца, как и много лет назад.

* * *

Зиновия сказала: поедем самым ранним автобусом в Тель-Авив, оттуда улетим. Вера спросила: почему из Тель-Авива лететь, ведь можно из Иерусалима? Зиновия ответила: здесь нас могут догнать. Нам не надо погони. Вера спросила: откуда у тебя деньги на билеты? Зиновия улыбнулась: мне мой мужчина на карту перевел.

И Вера больше ни о чем Зиновию не спрашивала.

Они поймали машину, шофер довез их до Яффы-Роуд, Зиновия взяла два билета до Тель-Авива. Внутри автовокзала было светло, блестяще и холодно. Зиновия купила им по шакшуке, в обеих руках несла по сковородке, взбитые яйца с помидорами и перцем шипели в кипящем масле, Вера отшатнулась: я не буду! сейчас Великий пост! — на что Зиновия пожала плечами и прикрикнула: все, закончились твои монастырские правила, теперь мир, теперь будут мои! Вера взяла за ручку горячую сковороду и стала поедать шакшуку, обжигаясь, изо всех сил дуя на нее. Зиновия смеялась и тоже ела.

Потом обе выпили по чашке зеленого чая, такого же горячего. «Я весь рот обожгла», — пожаловалась Вера, как ребенок. Зиновия взяла Веру за подбородок. Так немного подержала. «Обожгла? Это ничего. До свадьбы заживет!» Лицо Веры под апостольником превратилось в помидор.

Объявили автобус на Тель-Авив. Обе поднялись с холодного сиденья. Их обдувал игрушечный сквозняк кондиционера. Слегка трепал их рясы.

— Нам нужна цивильная одежда, — прищурившись, сказала Зиновия, оглядывая Веру.

— Нет, не нужна, — сказала Вера.

— Что ты со мной споришь? Вот так нас точно сразу вычислят. И в Тель-Авиве нас уже будут ждать с собаками. Мать Мисаила даром что старая, а не дремлет. Васса проснется, все поймет и сразу донесет.

— Нет, — еще тверже сказала Вера, — я ни во что другое не оденусь. Это моя одежда на веки веков, аминь.

— Ну и... сумасшедшая!

— Уж какая есть.

Вере совсем не хотелось ни шутить, ни препираться. Зиновия забежала в вокзальный бутик и быстренько купила там длинное цветастое платье и туфли на высоких каблуках; потом сбегала в туалет и переоделась. Придя, затолкала в котомку рясу и вытащила из котомки норковый палантин. Встряхнула. Накинула себе на плечи. Серебристый мех вспыхнул забытой роскошью. Повернулась перед Верой и прижала ладонь к бедру.

— Ну? Как я тебе?

— Долежался, — сухо сказала Вера, кивком указывая на мех.

— Ну да!

— Хоть сейчас на сцену, — так же холодно сказала Вера.

Она попыталась улыбнуться, не вышло.

Они вышли из вокзала, теплый ветер ударил им в грудь, потом в спину. Перед ними стоял автобус, и Вера задрала голову, таким он гляделся громадным, как айсберг. И под солнцем сверкал ледяно. Женщины забралась в автобус, уселись. Переглянулись.

— Ты хоть осознаешь, что мы сейчас поедим? Уедем?

— Куда? — беззвучно спросила Вера.

Зиновия угадала по губам.

— Из Иерусалима вон!

— Куда? — повторила Вера.

— В Россию, Господи, куда же еще! В Россию! <...>

...Зиновия поправила сползающий с плеч норковый палантин. Лицо ее румянилось возбуждением, восторгом бегства, предчувствием долгой опасной дороги.

— О чем ты?

Вера молилась.

— Спаси, Блаже, души наша...

Посмотрела на Зиновию долго, долго.

И Зиновия захотела укрыться от ее всевидящих глаз.

— Господи, да будет воля Твоя.

Зиновия смущенно перекрестилась.

За спиной люди, смеясь, говорили на иврите. Вера за все время жизни в Иерусалиме выучила на иврите всего несколько слов. Она помнила сказание о башне Вавилонской. Сколько языков на земле! А любовь — одна.

Молитва для нее, пока она жила в монастыре, была главным деянием. А теперь что? Что для нее теперь главное? Ведь она возвращается в мир.

«Боже мой, Вера, что же ты наделала».

Мир. Ведь его, белый Божий свет, зовут — Мир. Это недаром. Мир — это залог того, что он никогда не станет войной. Много людей про войну кричит! Кто-то к ней даже усиленно готовится, Вера понимала это. И будущее страдание, она тоже это понимала, ей одной было не отодвинуть. Не отомлить. Только вместе. С кем? Кто ей поможет? Она посмотрела на Зиновию. Вот она? Разве она сможет помочь? Зиновия возвращается в Мир, чтобы вернуться к себе. Чтобы — петь. А Вера? Она же петь не умеет. Что она будет делать в Мире? Кого спасать? Зиновию? Одну ее? Единственную?

— Единственную... — вылепили губы.

«Надо же кого-то единственного занять в жизни. И — спасти».

Всех людей — всех, кто в ней нуждался, кто к ней шел — побоку, чтобы спасти — одного человека?

«Да. Так бывает».

Автобус мягко, так нежно стронулся с места, что Вера не заметила, как поехали.

Зиновия вынула из сумки косметичку, щелкнула замком, вытащила круглое зеркальце, озорно, кокетничая сама с собой, смотрелась в него. Поправляла волосы над виском.

— Вера, неужели я вернусь на сцену! Я буду петь! Вера! Нет, я еще не осознаю этого!

Она так радовалась, что Вера подумала — она сейчас вскочит с кресла и запоем на весь автобус.

— Зина! Сиди спокойно.

Глаза Зиновии влажно блестели. Такой красивой Вера никогда не видела ее.

Зиновия приблизила губы к щеке Веры и тихо спела ей прямо в ухо:

— Сиди спокойно, сиди, молчи... Стучи, мое сердце, стучи, стучи... Гори, мое сердце, ярче свечи — в огромной, как мир, черной ночи... Тебя не излечат в ночи врачи, тебя не казнят в ночи палачи, с тобой только ночи черная кровь, с тобой только, сердце, твоя любовь!..

— Что это?

— Это моя песня. Я вчера ее написала. Перед отъездом. Я буду ее петь в Москве. На первом же концерте спою! Вот удивятся мои продюсеры, когда я перед ними появлюсь! Они-то небось думают, я умерла!

Автобус набирал ход. Вера не думала ни о чем мирском. Как, где они будут жить? На что кормиться? Может, не жить будут, а выживать? Певица будет петь, это понятно. А Вера что будет делать? Не было об этом ни мыслей, ни слов. Автобус катился все быстрее. Ровный асфальт ложился под колеса, пассажиры-соседи включили музыкальную запись в гаджете, звуки наполнили салон, все заулыбались: музыка веселая, плясовая. За окнами мелькали ветви, камни, мотели, мосты, горы, пески. Святая Земля, ставшая Вере родной, провожала ее.

«Я на время уезжаю. На время. Только на время. Я вернусь».

Она пыталась вспомнить, с каким чувством уезжала из Красноярска. Да, с точно таким же: думала, что доберется до Иерусалима, выполнит завещание Анны Власьевны, погостит немного в чужих краях и вернется.

«А теперь вот все эти люди, целый автобус веселой молодежи, да куда они все едут? А просто в Тель-Авив. Просто — кто куда! Кто в гости, кто по делам, кто на работу устраиваться. Кто так же, как мы, в аэропорт поспешит: к самолету. Лететь. Люди все время куда-то летят. Небо, оно как пашня, все летящими железками распаханное. А молодые? Куда они мчатся? Они думают, мы их не понимаем. Мы их — понимаем! А они нас — не всегда. Мы для них — старье! А старье надлежит выбросить. Оно уже немодно! И в дырах. О чем они?.. а, о политике. О войне опять! Бормочут стихи, а это разве стихи? В нас плюют. В то, что не они сами — плюют. Ну, не все, конечно... не все...

А к тебе в монастырь молодежь разве не приходила? Приходила... Много молодых ты принимала... И в горе, и в счастье приходили... Зачем?.. Чтобы на тебя подивиться? Чтобы просто потом друзьям сказать, похвастаться: я — у монахини Веры — да, да, у той самой — в Иерусалиме — был!.. и чай с ней пил... с сахаром вприкуску... с баранками русскими... По усам текло, а в рот не попало... Ничего так монашка... бойкая... да, прозорливая... мне судьбу предсказала...»

...все слишком странно. Странностей хоть отбавляй. Через край. Водку льют и льют в поминальную рюмку. Воду — в стакан. Я будто в поезде Тайшет—Абакан. Пить! Жажду — жить! От воды всякий пьян. Жажду — быть. Вьется, сгорает нить. Дорога вьется. Кто надо мной так хищно смеется? Вода через край — хрусталь — серая сталь — из стакана, а ее льют и льют, утони, захлебнись в огнях и туманах... все льют и льют...

...что... вино и брашно... страшный?.. суд?..»

Зеркальце в пальцах Зиновии страшно высверкнуло. Ударило светом по ослепшим глазам.

Автобус трянуло, он чуть замедлил бег, потом опять набрал скорость. Легкий гул висел в воздухе, и у Веры закладывало уши, будто они не по земле катились, а летели в самолете. Зиновия печально спрятала круглое, больно скалящееся сколами огненных скал, колдовское зеркальце в сумку. Отвернулась от Веры, глядела в окно. Ее лицо, такое знакомое Вере за все это время, что Зиновия прожила в монастыре, стало чужим: румяным, лоснящимся — довольным, мирским. Она предвкушала сладость той жизни, которую бросила. И кажется, она — по крайней мере, здесь и сейчас — забыла, что хотела расстаться с жизнью. Жизнь оказалась сильнее ее скорби.

Вера не осуждала ее. Она радовалась этому преображению.

«С каждым может случиться всякое. Человек меняется. Зиновия изменилась. Где ее бессмертная душа? Она родилась к новой жизни. Не все мы умрем, но все изменимся».

Вера шепотом повторила слова апостола Павла. Что-то произошло с временем. Оно будто остановилось. Автобус двигался вперед, а время встало. Потом появился яркий свет. Их всех, и железную повозку, и людей внутри нее, обняла ярчайшая вспышка. Люди ослепли и закричали. Слепла и Вера. Она перестала видеть Зиновию, людей вокруг, мир за окном. Свет превратился в огонь и достиг сначала до тела, потом до сердца, и сердце наполнилось болью и вспыхнуло.

Вспыхнуло все.

Все, что родилось под солнцем и луною.

И ярко, бешено горело все, что могло гореть.

И огонь.....

ХОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ. ПЬВИЦА

...под веками пламя.

...лицо медленно остывало от вселенского жара.

— Э-эй. Э-э-э-эй! Вера-а-а-а! Проснись! Прибыли!

Вера глядела слепо, беспомощно.

Разум возвращался к ней, но она не верила ему.

Ухватившись за локоть Зиновии, Вера вылезла из автобуса. На другом автобусе они добрались до аэропорта Бен-Гурион. Перелет Вера помнила смутно. Помнила: тусклые иллюминаторы, и в них туман, а потом слепяще-синяя пустота.

Зиновия поймала перед зданием аэропорта такси, назвала адрес. По обе стороны машины мелькала жизнь, не прожитая Верой. Они приехали к Зиновии домой. Вера

впервые видела такую роскошь. Цветные плашки паркета отсвечивали голубым, золотым, розовым. Картины болотно мерцали в тяжелых позолоченных багетах. Хрустальные люстры напоминали сверкающие княжеские лодки. Рояль плыл черным лаковым кораблем. Зиновия пробежалась пальцами по клавишам. Смеялась залиvisto. Она так радовалась миру! Так радовалась дому. «Какая пылица, — кричала Зиновия, бегая по комнатам и счастливо раскидывая руки, — я завтра же найму горничную!» Она кричала о том, как наймет еще повариху и стилиста и как позвонит продюсерам, что сочли ее мертвой. Еще что-то радостное залихватски кричала. А потом уселась за рояль, и стала играть бурно и пламенно, и запела. Ее голос заполнил комнаты. Вера не могла сосчитать, сколько у певицы комнат. Да и ни к чему это было. Раздавались звонки, звенели колоколами разговоры, возникали и таяли голоса, люди входили и выходили, а какие-то оставались, пахло вареным и жареным, ярко сияли посреди стола, укрытого белой скатертью, фрукты в мощной великанской вазе, и певица брала из вазы апельсин, чистила его острыми, уже торопливо покрашенными заморским лаком ногтями и хохотала: «Конечно, в монастыре апельсины вкуснее!»

Зиновия жадно окунулась в забытую жизнь, она не пела, а пила музыку, как воду в пустыне, как вино. Обзвонила знакомых музыкантов, что играли с ней когда-то; снова собрала оркестр. «Вера, это мои музыканты! Мои! Ты такой певец, каковы музыканты твои! И у тебя такие музыканты, какой ты певец!» Опять смеялась. Вера не могла смеяться вместе с ней.

Вере постелили богатую пышную постель, она спала в отдельной комнате, а ночью, во сне, ей все казалось, что она в своей келье и что рядом сопит, похрапывает сестра Васса; она просыпалась, поднималась на локте и испуганно смотрела вокруг себя, с трудом осознавая, где она.

Москву, что явилась ей бегло, быстро, изменчивым ликом своим, когда Вера направлялась в Иерусалим, и довелось ей прожить в столице отмеренное время, она не узнавала и не принимала: слишком сутолочным, слишком ярким, грязным и гигантским, подавляющим каменной мощью своею, представал перед ней этот город, вечерами так полный огней, что Вера, когда выходила на улицу, замуривалась, не в силах перенести громадный огненный натиск. Это был город, незнакомый ей, и она совсем не хотела с ним знакомиться; ни к чему он ей был. Многооконные небоскребы упирались в небо, а рядом расползались по пыли, по снегу нищие домишки. Мир никак не мог стать однородным, да и зачем? От века в мире боролись богатство и нищета, храбрость и трусость, добро и зло. Вера понимала: здесь тоже много зла, как и везде на земле. И здесь ждут люди ее помощи. Но перво-наперво надо было помочь Зиновии; Вера видела, ее захлестнула радость возвращения к самой себе и к земному делу своему, и молила Бога об одном: чтобы Бог ей, Вере, дал силы поддержать Зиновию во всемирном пении ее.

Являлись продюсеры, один лысый и веселый, другой волосатый и мрачный; и оба ели и пили у Зиновии, и сновали женщины, чтобы повкуснее накормить мужчин — повариха хлопотала на кухне, горничная и Вера таскали в гостиную подносы с яствами и винами. Пили много. Вера глядела на винопитие без осуждения, спокойными печальными глазами. Все круглее становились ее большие, чуть раскосые, широко распахнутые и широко расставленные под морщинистым лбом византийские глаза; все сильнее торчали сибирские скулы, и легкая раскосинка делала временами диким, таежным ее худое смуглое, загорелое на жестоком иерусалимском солнце лицо. Не лицо, а лик. Зиновия иногда останавливала взгляд на Вере, вздрагивала и тихо, зло и быстро спрашивала: «Что? Судишь меня, святая? Приговор мне сочиняешь? А я вот такая. Хочу — пью, хочу — пою!» Вера вздыхала прерывисто, как после плача. «Пой, Зина. Лучше — пой».

Зиновия взяла ее на первую репетицию: «Поехали со мной!» Вера еще не знала, что Зиновия задумала. Приехали в большой белый, с колоннами, дом, поднялись по лестнице в белый, тоже с колоннами, зал. Певица взбежала на сцену. И поманила за собой Веру.

— Давай, давай иди сюда!

Вера глядела строго, свела брови в линейку.

— Зачем? Не пойду.

Зиновия махала рукой, будто тонула и молила о помощи.

— Ну же! Ну!

Вера медленно поднялась по ступеням на дощатую сцену. Вблизи сцена гляделась совсем не торжественно и не нарядно: барабаны свалены в кучу, разбросаны подиумы, вьются змеями микрофонные шнуры, на стульях золотыми недвижимыми тушами лежат тромбоны, трубы и валторны.

— Через провод не упади! — кричала певица.

Вера подошла к ней, припадая на больную ногу. Только теперь она увидела, что близ рампы стоят два микрофона.

Зиновия крепко взяла Веру за руку. Рука Зиновии была твердая и теплая.

— Давай вместе. Черный ворон, что ж ты вьешься. Андрей! — крикнула во тьму зала. — Смикшируй там, где надо. У нее голос сильный!

Вера слишком поздно догадалась, чего от нее хотят.

Отступать было поздно.

Музыканты валом валили на сцену, рассаживались, гитаристы перебирали струны, духовики брали пронзительные, режущие ухо ноты: разминались. Пианист гонял руки по клавишам и кричал: «Замерз! Замерз! Пальцы не шевелятся!»

Вера, в черной, до пят, рясе, и певица, в черных, обтягивающих бедра лосинах и в черной водолазке, — обе одновременно вдохнули воздух и запели:

— Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой! Ты добычи не добьешься... Черный во-о-о-орон, я не твой!

Оба голоса, высокий и низкий, заполнили зал так легко, будто светились во тьме теплым сладким молоком, и его доверху налили в каменный кувшин.

В зале сидели люди. Немного людей. Они замерли, слушая песню.

— Завяжу смертельную рану подаренным мне платко-о-ом... А потом с тобою стану говорить все об одном... Полети в родну сторонку, скажи мамушке мое-е-ей... Ты скажи моей любезной, что за ро-о-одину я пал! Отнеси платок кровавый милой любушке мое-е-ей...

Лысый продюсер привстал в кресле. Лохматый обнял лоб ладонью, уронил голову на грудь и так сидел: слушал.

— Ты скажи: она свобо-о-одна... я женился на другой!..

Люди тихо входили в зал, протекали за задние ряды, мышами юркали на передние места. Кто были эти люди? Случайные в этом большом, угрюмом здании, и приблизились к концертному залу, и утро, и час ранний, и что они делают здесь? Они изловили в воздухе музыку, какой не слышали никогда. Зиновия пела, закрыв глаза. Она плыла в песне, как в море. Рассекала голосом и сердцем темные воды, чтобы они не сомкнулись у нее над головой. Вера пела с открытыми глазами. Настежь распахнутыми. Она вся была — открытая дверь, и сквозь нее, открытую, мог входить и насквозь выходить, в широкий мир, и широкий ледяной, безумный ветер, и любой человек, что сюда забрел, в зал, и тот, кто тосковал вдали и не мог въявь слышать песню, но улавливал ее последней, предсмертной дрожью сердца. Круглые огромные глаза, почти совиные, прожигали темный, сизый воздух зала. Пахло куревом. Маленький барабанчик отбивал нервный пульс. Один резкий удар, четыре коротких, три длинных. Один, четыре коротких...

— Взял невесту тихую, скро-о-о-мну... в чистом поле под кустом...

Обе женщины пели и не смотрели друг на друга. Голоса их сплетались — крепче некуда. Словно это был один голос и разделился надвое.

— Повенчальна была сваха — сабля во-о-о-острая моя!

Зал затаил дыхание. Репетиция, концерт? Все равно. У царя Давида в руках арфа, и он, закрыв глаза, поет свои псалмы. Пой, Вера, пой! Эта жизнь — тебе. Она твоя. Тебе в ней назначено петь. А ты об этом и не знала.

— Калена стрела венчала... середь би-и-и-итвы роковой... Чую, смерть моя приходит!.. Черный ворон...

И тут Зиновия открыла глаза и резче молнии обернулась к Вере.

И поймала глаза Веры, ее черные, без дна, зрачки: Вера тоже смотрела на нее.

«Весь я твой!» — надо было спеть древние, вечные слова, но Вера все переиначила. И Зиновия ее подхватила.

— Я не твой!

Торжествующая улыбка обвила щеки Зиновии. На ее румяных скулах застыли капли слез. Вера стояла прямо и гордо, молча. Сухая, жесткая, как доска. Как всегда: спокойно. Молчала, будто бы это и не она вовсе тут так пела.

— Ну что? — спросила Зиновия, и микрофон нагло разнес ее вопрос по всем закоулкам зала. — Каково тебе? А? Хорошо тебе? Не ругаешь меня? Ну, поругай, поругай!

Звукооператор догадался и убрал звук.

Люди в зале переглядывались.

Вера повернулась к залу спиной и медленно отошла от микрофона в сторону. Люди видели ее спину, облитую черной рясой. И ничего не понимали. Монашка какая-то, хромоножка, а голос с целый дом, до дна пробирает, поет так, что душу вынимает, ну да, они там, в монастырях-то в ихних, петь обучены, с утра до ночи в хорах поют, вот оттуда и взяли, а откуда, вы не в курсе, из Новодевичьего, а может, из Зачатьевского, а может, из Данилова.

* * *

Зиновия стала заниматься с Верой музыкой. Распевать ее: ставила у рояля и показывала упражнения для голоса. Вера послушно повторяла. Это было ее новое послушание в миру, и она безропотно делала то, что от нее требовали. Голос креп, расширился, приобретал грудные бархатные ноты. На репетициях Зиновии и Веры толклась публика; их репетиции уже посещали, как концерты, Зиновия шутила: «Билеты начнем продавать». Первый их совместный концерт прошел на ура. Народ завалил обеих певиц цветами. Люди несли и несли на сцену букеты. Люди пришли на концерт своей любимицы, про нее слухи ходили, что она где-то в монастыре на Святой Земле исчезла, погибла для мира, а она — вон она, живая-невредимая, поет, как соловей, да еще монахиню с собой из монастыря привезла, с таким голосом — закачаешься! «Браво! Бис!» — орали им, надрывая глотки, и женщины выходили и выходили на сцену снова, кланялись, взявшись за руки, Зиновия улыбалась, Вера все тоньше, в нить, сжимала суровые губы, а люди ставили к их ногам корзины цветов, подносили такие букеты роз, что Зиновия не могла унести их за кулисы в руках, как крепко ни обнимала, — и в конце концов клала на плечо и так несла, как вязанку дров, и публика хохотала и рукоплескала бешено.

А Вера шла за ней, стараясь не хромать, а идти прямо и ровно, и ряса ее черная на сквозняке, что дул из-за кулис, развевалась вокруг ног, делая ее похожей на летящее над досками сцены черное облако.

Их неожиданный дуэт рождал домыслы, сплетни. Их концерты обрастали невероятными слухами. Желтая пресса старалась, вылезала из кожи. Их обвиняли в порочном

сожительстве; о Вере писали, что она дочь богатейшего магната, которую он юницей заточил в монастырь из-за скандалов капризной любовницы; а еще, что она дочь знаменитого итальянского тенора, выросла в Италии и ни слова не знает по-русски, а влюбилась в Россию и тайно приняла православие и монашеский постриг; а еще, что они с Зиновией задумали узаконить свою грешную страсть в Амстердаме, а потом взять ребенка на воспитание; а еще, что Вера на глазах у президентов всех стран прыгала с парашютом на авиасалоне в Париже и сломала ногу и теперь хромает; а еще, что она, дурочка монашка, вытащила Зиновию из петли, и в награду Зиновия обучила ее пенью, и вот поют вместе. Еще писали, что все это театр, кукольная комедия, и никакая Вера не монахиня, а просто так надела рясу, для привлечения народа на концерты, для пущей рекламы. А на самом деле она работает в ночном клубе на Варшавском шоссе, она танцовщица на шесте и искусная стриптизерша, а это так, наглый маскарад. Чего не вытворишь ради хороших сборов!

Жизнь пошла бешеная, плотно ложились друг к дружке дни, месяцы и годы. Женщин крепко склеивала музыка. Вера окунулась в мир, о каком даже не мечтала. Музыка раскрывалась ей всем нутром, а внутри были тысячи жемчужин, и все играли светом царским, самоцветным: золотым, алым, сиреневым. Каким угодно. На выбор. Музыка менялась ежесекундно, на лету. Ни одна мелодия не звучала сегодня так же, как вчера. Музыка измеряла время и тут же зачеркивала его, уничтожала. Внутри музыки время не билось, и все более Вера со страхом и радостью убеждалась: музыка — это Бог. <...>

* * *

И явился не запылится, из-под земли вырос человек, что любил Зиновию, да так и не расстался с супругой своей и на Зиновии не женился.

Человека этого звали... Да, у него было, конечно, имя, но оно слишком громко, знаменито звучало, и слишком оно было опасным для того, чтобы другим его просто, как за завтраком или обедом, произносить; у Зиновии для него было свое, тайно-ласковое имечко; Вера же звала его, как все, N, она не могла иначе.

N, явившись один раз, стал появляться и другой раз, и третий, и десятый. Стал приходить. С цветами, как водится. С тортами. Вера в пост не вкушала торт. N косился на Веру, когда она тихо ела столовой ложкой из алюминиевой миски разваренную гречку, в то время как N и Зиновия, рядом с ней, отпивали чилийское вино из высоких бокалов и закусывали отменными устрицами из фирменного рыбного магазина на Тверской.

О чем N беседовал с Зиновией? Вера никогда не подслушивала их разговоров; хотя они оба Веру не стеснялись, при ней ругались, при ней мирились и звучно, вкусно целовались. Зиновия, Вера видела это, приняла N и простила; у них началось новое время их любви, и Вера радовалась за Зиновию — вот у нее теперь есть своя, женская жизнь, ведь она молода, и она хочет жить, и хоть жизнь эта у них, у мужчины и женщины, во грехе, да Господь все устрояет; все управит Он и тут; если суждено им Богом, людям этим, быть вместе — будут.

И Вера не замечала того, что происходило на самом деле; ее глаза не видели, уши не слышали. После концертов она молилась в своей комнате — она обратила комнату в келью: у нее там по стенам висели дешевые софринские иконки, купленные в церковных лавках, да на видном месте, на деревянном столике с высокими, как у богомола, тонкими ножками лежало ее родное Евангелие, что колесило вместе с ней по земле. Она молилась, как всегда, сосредоточенно, отрешаясь от всего мирского, полностью погружаясь в разговор с Богом.

Молитва — это и был ее дом, а вовсе не роскошная, царская квартира Зиновии. Все, происходящее с ней, Вера принимала сердцем, потому что сердце ее непрерывно молилось.

Так, беспрерывно молясь, на ходу про себя повторяя Иисусову молитву, подобно преподобному Серафиму Саровскому или святой Иулиании Лазаревской, она и не увидела, не заметила, что случилось.

Н приходил уже очень часто, через день, а потом и всякий день, когда Зиновия и Вера пребывали в Москве. Цветы в доме не переводились. И все чаще Н подсаживался к Вере, перемолвиться с нею парой слов. Все чаще просил ее: «Вера, спойте, пожалуйста, вашу новую песню». Вера послушно садилась к роялю. Ее неумелые, негибкие, слишком твердые для музыканта пальцы с трудом впивались в клавиши, она давила их, как давят смородину в медном тазу, чтобы пересыпать сахаром. Да, она пела. А Н — слушал.

И Вера не видела, как он слушал; она была занята песней.

* * *

День этот настал просто и печально, как все остальные дни в круговерти метельного времени. Н подгадал, когда Зиновии не было дома. А Вера была. Она, засучив рукава и подоткнув подол рясы, убирала квартиру, отпустив домой горничную. Открыла дверь на звонок. Никогда она не спрашивала трусливо: кто там? Зиновия журила ее за это. «Верочка, ты дурочка! Это же мегаполис! А не монастырь! Здесь любой тебя по голове бульжником долбанет или ножом пырнет! Или пулю в тебя с порога всадит — и давай грабить! А у меня, сама понимаешь, есть что стащить!»

На пороге стоял Н. Бледный как снег. Самого еле видно из-за громадного букета белых роз. Вера поклонилась, приглашая гостя войти. Он вошел. Сбросил плащ. Вера смущенно одернула рясу, взяла у Н из рук розы и поставила в воду — не в вазу: в ведро. Они сели за стол. Розы в ведре благоухали. Н заметно волновался. Губы кусал. Вера глядела ему в лицо прямо, светло и спокойно.

— Простите, — сказал Н, — простите, простите. Я — люблю вас.

Вера вроде бы и не удивилась. Выслушала это, наклонила голову. Молчала.

Она давала человеку свободу: говорить, молчать, плакать, уйти.

— Вы можете смеяться надо мной.

Вера вздохнула.

— Но вы же любите Зиновию. Вы же всегда любили ее.

— Да. Я любил ее. И сильно любил. Но я любил тело. И меня любило тело. Чужое тело. А я всю жизнь искал душу. Душу! Понимаете, душу! Я всю жизнь... душу искал! И вот нашел! Нашел... вас... Не смотрите на меня так! Вы глазами из меня — душу вынимаете!

Вера отвела взгляд. Закрыла глаза.

Губы ее шевелились. Она беззвучно повторяла Иисусову молитву.

— Вера!

Н взял в свою руку ее руку. Вера какое-то время руки не вынимала. Чужое тепло перетекало из руки в руку, и она прислушивалась к этому перетеканию, спрашивала себя: хорошо ли это? плохо ли? что я должна делать? — и не делала ничего, просто так сидели, рука в руке.

Потом она, будто опомнившись, мягко вынула свою руку.

И ее рука все еще хранила тепло чужой любви.

И Вера помолилась за любящего человека: «Господи, спаси его и сохрани».

— Я не могу вам помочь.

Он плакал.

— Я так и знал!

Склонился над коленями Веры. Припал губами к ее руке, спокойно лежащей на коленях.

Тепло чужих губ. Боль чужой любви. Нельзя быть вместе, но и расстаться тоже нельзя. Так рядом!

Дверь стукнула. В гостиную, нераздетая, прямо в шубе и сапогах, разъяренной зверицей ворвалась Зиновия.

Вера, как издали, услышала ее вскрик.

— Я так и знала!

«Вот она почему-то знала все. А я почему ничего не знала?»

Н оторвался от руки Веры, выпрямился, поднялся, глядел на обеих женщин сверху вниз. Высокого роста он был. Глаза его вспыхивали слезами, а лоб волновался, как море, морщинами. Ничего не говоря, не глядя на Зиновию, он вышел. Зиновия резко, грубо, чуть не разрывая мех, стащила пушистую песцовую шубу, переступила через нее, обернулась и пнула ее, как убитого зверя. Вколачивая каблук в паркет, протопала к столу. Села. Мерила Веру острым, ножевым взглядом.

— И что скажешь?

Вера молчала.

— Монашка умоленная! За моей спиной!

Вера молчала.

— Далеко у вас зашло?! Отвечай!

Вера подняла на Зиновию глаза.

— Зиновия... ты ли это... Бога побойся...

— Никакого твоего Бога я давно не боюсь! — кричала Зиновия, из глаз ее летели искры слез и ненависти. — Никакого! Я так и знала! Я чувствовала! Ты — предатель! Иуда ты! Ты ничего не говорила мне! Чтобы я... — Задохнулась. — Да чтоб ты... — Осеклась. — Да ты бы хоть прощения попросила! У других — просишь! а у меня — нет! Слабо тебе!

И крикнула, протяжно и страшно:

— Свята-а-а-ая!

Вера встала из-за стола.

Что-то ей надо было сделать сейчас же; или уйти, и уйти навсегда, или остановить истерику Зиновии, дать ей воды, безжалостно облить ее холодной водой, потом растереть полотенцем, и слезы ей вытереть, обнять, утешить; и правда, может, встать перед ней на колени и прощения у нее просить, как она просила прощения у всех людей, кто их прилюдно оскорблял; а может, надо было размахнуться и вклепать Зиновии пощечину, от всей души, и заорать: да никого я не люблю, и ничего и не было, и быстро ты брось эти штучки, рыдания и вопли! разве же я способна на такое, ты же сама видишь!.. а если ты меня до сих пор не поняла, тогда иди, думай, молись, плачь, понимай!.. — и вдруг как кипятком окатило ее: когда сидела она за столом, а он, Н, целовал ее руку, разве не приятно, не радостно ей было? Разве нежностью, сладким теплом не обдавал этот горячий, со слезами, поцелуй ее изнутри? А вдруг она сама любит его? И врет сейчас Зиновии, врет, что не любит.

«Но я же... я же — монахиня... я же — всех люблю... всех...»

И Вера растерялась.

Она не знала, что ей делать. Не знала себя.

И стыдилась себя, и боялась себя.

И спрашивала себя: «А что ты чувствуешь по правде? Что? Что?!»

Не было у нее на это ответа.

Медленно, медленно опустилась она перед Зиновией на колени.

И обняла ее ноги, крепко, крепко обняла.

— Зина... прости...

Зиновия дрожала.

— Ага! Прощения просишь! Значит, рыло в пуху!

Она оттолкнула Веру, зло, грубо, как давеча шубу, пнула, и сама отошла, и запустила пальцы с острыми крашенными коготками себе в смоляные волосы, и закинула к потолку лицо, и смеялась, и плакала, — сходила с ума. Вера все еще стояла на коленях. У нее не было сил ни подняться, ни говорить, ни идти. Она склонилась, будто в земном поклоне, и лбом припала к паркету. И так, согнувшись, стояла на коленях, уткнувшись лбом в пол, как на молитве напротив чудотворной иконы. И незримая икона громадными глазами с темного, закопченного лика, светясь синими выпуклыми белками и прозрачными озерными радужками, зрачками сияя, в которых — не чернота, а золото живое, жалобно, слезно глядела на сжавшуюся в покорный ком Веру, как на приبلудную собаку, как на жалкого голодного зверя, что всецело — в чужой могучей власти.

* * *

Посреди ночи Вера внезапно проснулась. Она теперь спала у Зиновии не на мягком диване, не на заграничной пуховой перине — на жестких досках, чуть прикрытых верблюжьей кошмой, а сверху грубой льняной простынкой. Такою была ее просьба о ночлеге.

Услышала легкий скрип. Еще, еще один. По плашкам паркета кто-то очень осторожно шел. По деревянному мосту через незримую реку.

...перламутр минут, гиацинт часов...

...отведи беду... отодвинь засов...

...нет... только не зажигай свет...

Вера таращилась во тьму, но огня не зажигала. Рядом с ее рукой на стене висел выключатель ночника. Она не протягивала к нему руку. Ждала. Глаза скоро привыкли к темноте. Она услышала дыхание. И запах спирта. Кто-то пьяный вошел к ней. «Поздние гости Зиновии? Кто-то мотался по дому и заблудился? Горничная подвыпила... ночевать осталась... и бродит?..» Глаза различили во мраке светлую ночную рубашку до полу. Белую праздничную ризу в полумгле храма.

Белую розу.

Человек вступил в полосу лунного света. Выблеснуло лицо секирой. Женщина. «Зиновия!» — хотела воскликнуть Вера, да не успела: певица уже наваливалась на нее всей тяжестью, грудью и животом, и силилась набросить ей на шею тонкий жесткий шнурок. Вера все сразу поняла, отбивалась. Вертела головой, отдирала от груди, от голой шеи липкие пальцы.

Пьяная Зиновия перебарывала Веру, оказывалась сильнее. В Москве певица потихоньку набрала вес, снова стала той пышной примадонной, что когда-то приехала спасать свою жизнь в иерусалимский монастырь. Ей удалось обвить шею Веры удавкой. Сильные пальцы Зиновии затягивали удавку, пьяный язык плел кренделя, вышептывал то, что трезвая таила в себе, скрывала.

— Ах ты, змея!.. подколодная... Вот она и вся твоя святость... Подлая ты, подлая!.. Ну ничего... молись... сейчас полетит твоя душа в Рай... или куда там?.. Молись давай, молись... мысленно... не рвись, дура... я все равно сильнее...

«Господи Иисусе Христе... Сыне Божий... помилуй мя... грешную...»

Вера лежала под ней, она все еще не верила, что Зиновия ее убивает; ей казалось это невозможным. «Мне снится страшный сон, я сейчас помолюсь, поднатужусь, скажу себе, что это сон — и проснусь». Когда пришло понимание: это не сон! — было поздно и бороться, и молиться: Зиновия уже сильно, зло стягивала петлю.

— Сдохни... сдохни, собака!..

Вера видела над собой искаженное злобой и бешеной ревностью пьяное лицо Зиновии, оно уже начало подергиваться туманом; она не могла поднять руки, чтобы оттолкнуть Зиновию или процарапать ногтями ее лоб и щеки. Тело утратило силу. А душа еще ныла и стонала. Еще хотела жить. Воздуху не хватало. Рот открывался и закрывался, как у рыбы.

Из последних сил, выгибаясь на жесткой своей постели коромыслом, Вера выхрипнула:

— Прости ей... Господи... прости...

И тут случилось чудо. Пальцы Зиновии разжались. Вера громко и хрипло вдохнула воздух. Она дышала с таким звуком, будто ножом чистили сковороду. Вдыхала воздух еще, и еще, и еще раз, и веря себе, и не веря: жива. А убийца? Что с ней? Вера не видела Зиновию. Или Вера ослепла?

— Зина... — Хрипы разрывали грудь. — Зина... где ты...

Рядом, на подушке, валялась черная удавка.

Зиновии не было нигде.

Вера приподнялась на кровати на локте — и увидела ее.

Зиновия распласталась на полу животом. Ноги разбросаны по полу, руки согнуты в локтях, ладонями затылок обхватила. Трясется, стонет. Бормочет невнятно. Вера прислушалась. Да, говорит! Ей, Вере. С ней. И ей все равно, слушает, слышит ее Вера или нет.

— Я тебя... к музыке ревновала... не только к нему... к поганцу... а к песням... к успеху!.. мне казалось — ты у меня успех крадешь... что все восторги лишь тебе достаются... А я, я одна... хотела успеха!.. невероятного, громадного... чтобы мне одной доставалась вся слава... А тут — ты... под боком... как бельмо на глазу... да еще как поешь... так поешь — лучше меня... лучше... лучше... все сердца сразу в плен берешь... а меня уж никто и не слушает... и никто на меня не смотрит...

Вера, надсадно кашляя, прижав ладонь к искалеченному удавкой горлу, с трудом спустила ноги с кровати, хотела идти — и упала рядом с лежащей на полу Зиновией бессильным тяжелым снопом.

Она хотела ее обнять.

И обняла.

Теперь она, Вера, всю тяжесть своей, жесткой, угластой, легла на Зиновию. И придавила ее к паркету, так срубленное дерево придавливает раненого зверя.

— Ты мне все говори, все, все... я все выслушаю... все пойму...

— А... простишь?..

Зиновия повернула лицо, она щекой лежала на полу, ее рот безобразно расплющился, губы, набухшие вином и рыданиями, еле шевелились.

— Бог тебя уже простил...

Лежа под Верой, обнимающей ее, Зиновия, задыхаясь, лепетала:

— Я!.. я гадина... прощения нет мне... Я ведь давно хотела тебя убить!.. очень давно... еще в Иерусалиме... когда к тебе все шли и шли, и вот я думала: вот она святая... ее все любят, превозносят... к ней все идут на поклон... и помощи у нее просят, и руку ей целуют... а у меня никто помощи не просит, только вопят мне: песен!.. песен!.. пой нам!..

пой быстрее, да все самое лучшее, мы тебе — денег заплатим!.. Я свой дар обращала в деньги... в одни только деньги... и не стыдилась... Бесстыжая я была... и есть... сгорел мой стыд синим пламенем!.. а когда, я и не заметила... Не... заметила...

Сотрясалась в бешеном плаче.

Вера быстро, жарко целовала ее затылок. Потную шею в вырезе рубахи, спину, плечи.

— Ну Зиновья... ну успокойся, успокойся... все ведь кончилось, все... ужас прошел... давай Господу помолимся...

Одним резким движением Зиновья перевернулась с живота на спину, отбросив в сторону Веру, и Вера разжала объятия и испуганно притиснула руки к груди.

— Господу?! Господу... Да разве же я сейчас на Господа имею право! Я же — убийца!.. чуть ею не стала...

— Господь пришел не к праведникам, но к грешникам, — хрипло и твердо сказала Вера.

Зиновья лежала на полу лицом вверх. Смотрела на Веру.

Вера смотрела на нее.

Зиновья смотрела на Веру глазами растерянными и все еще ее ненавидящими. И себя — ненавидящими. За то, что грешница; что пьяная дрянь; что не удержалась, не устояла.

Вера смотрела на Зиновью спокойно и мрачно. Так смотрит мать на сына, что убил ближнего своего; и не прощает его; и тут же прощает, ибо она — мать.

Она только мать, и ей нельзя убить и затоптать своих детей.

Ее дети согрешат, убьют, предадут, а она простит их, а если они не способны каяться, она сама покается за них.

— Зиновья... Зря ты пила вино...

— Не вино, а коньяк, — страшно усмехнулась Зиновья.

— Ты простудишься так лежать. Вставай.

И Вера протянула Зиновии руку, а потом вторую.

Она протянула ей обе руки.

Зиновья схватилась за руки Веры, Вера потянула ее вверх, все вверх и вверх и так подняла ее на ноги. Обе стояли, шатаясь, будто обе пьяные. Обнимали друг друга, поддерживали друг друга, чтобы ни одна не упала.

— Сядем... ноги слабые, как ватные...

Сели на Верину кровать.

— Верка... — Зиновья опять еле плела языком. — Ты вот что спишь на каком бездарном ложе... жестком, сволочном... как в монастыре... тело твое... не отдыхает нисколько...

— Не надо, чтобы тело наслаждалось, — Вера закрыла глаза, тяжело дышала. — Надо, чтобы дух работал.

— Вот у меня работал-работал... и отбросил копыта...

— Не кощунствуй. Тебе надо попить воды. И мокрое полотенце на лоб. Я сейчас... принесу...

Вера встала и с трудом побрела в ванную комнату. Появилась с намоченным полотенцем и с кружкой холодной воды.

— Пей!

Зиновья покорно пила.

Вера обвязала ей голову мокрым полотенцем.

— Сиди так. Через полчаса хмель выветрится. Ничего не говори. Просто смотри на меня.

И Зиновья послушно, как собака, смотрела среди ночи на Веру, на ее бледные щеки и капли пота, что катились с висков на щеки, на развитые и мокрые ее волосы, на мо-

настырский платок, сползший на плечи, — им Вера повязывала голову на ночь. На дрожь ее пальцев, на коричневую букашку малой родинки над верхней губой. Смотрела Вере в широко раскрытые под высоким лбом глаза.

А из глаз Веры на Зиновию смотрела недавняя смерть.

Вера ее увидела и переплыла, и глаза ее все еще смерть отражали.

Но жизнь подносила свое серебряное-золотое, угрюмое в угрюмой ночи зеркало прямо к Вериным глазам. Из живой амальгамы вливалось все живое в Веру, питая, насыщая. Прощая.

— Зина! Тебе лучше?

— Да, Вера.

— Я отведу тебя спать? Надо уснуть. Хочешь не хочешь, а надо.

— Может, лучше я с тобой посижу?

— Нет. Не надо.

— Ты меня не бойся. Я уже...

— Я знаю. Я не боюсь. Просто надо отдохнуть. Завтра работа. Репетиция. А послезавтра концерт.

— Я знаю. Вера! Прости меня. Простишь?.. простила?..

— Когда ты это делала, я тебя уже простила.

Зиновия упала головой в колени Вере.

— Прости... святая... еще раз!.. и еще!.. и каждый день... все прости и прости... все прости и прости...

Вера улыбалась, и слезы длинными белыми, в ночи серебряными полосами разрезали ее полынно-бледное, жесткое лицо.

— Бог простит. <...>

* * *

«Этот концерт будет последний», — сказала Вера Зиновии.

«Как — последний?» — Зиновия все еще не понимала.

«Очень просто. Я больше не буду петь».

«Со мной?!»

«Ни с тобой. Ни с кем».

Зиновия пожала плечами: блажь, настроение такое!.. вот пост закончится, и наступит Рождество, и все вкусно поедят, и Верочка тоже, и все плохое отлетит, как с белых яблонь дым!.. вот ведь она, Зиновия, даже смерть сына пережила, а ей-то, ей-то что страдать?.. никого особо не теряла, никого не любила... ну да... не любила... и не полюбит... сухарь несчастный, Верка, сухая косточка... галета иерусалимская... Готовились к концерту. Складывали ноты в кейс. Зиновия шептала себе под нос, повторяла тексты, чтобы не забыть. Бросала в косметичку пудру, патроны помад, духи, бусы, серьги: артистка на сцене должна радовать глаз зрителя! иначе грош ей цена в базарный день! Зиновия пялила на ноги тесные туфли, морщась, неуклюже бегала в них по комнатам: разношивала. «Ох, красотища!.. да малы немного. Верка!.. я в них водки налью, они по ноге и расправятся!» И правда, наливала в туфлю водки, хохотала: «Теперь от меня горьким пьяницей пахнуть будет!» Вызвали персонального шофера. Обе, и Зиновия и Вера, сошли по лестнице вниз, машина ждала у подъезда. У Веры было чувство, что она спускается в преисподнюю.

— Судия восседает на огненном престоле; окрест Его море пламени, и река огненная течет от Него подвергнуть испытанию все миры. И в людей вложил Он огня Своего, чтобы не попалил их оный огонь, когда воспламенит Он всю тварь и будет очищать ее как в горниле...

— Что ты там бормочешь, Верочка? Быстро в машину! Все рассчитано по секундам!

И они втиснули свои тела в лаковую красивую железную повозку, и покатила железная повозка по каменным улицам, неся обеих женщин в своем брюхе: чтобы родить для толпы людей, собравшихся в блестящем холодном, как ледекол во льдах, зале, единственную, жаркую музыку.

Как они пели на том концерте? А разве музыку можно — словами? Слово тоже может стать музыкой, но для того, чтобы это произошло, надо умереть и еще раз родиться. Несчастен тот, кто не умеет умирать. Если ты в юности прошел через смерть, она не страшна тебе и в старости, она — твой друг. Господь прошел через смерть, и музыку Его бессмертия слушает весь мир вот уже две тысячи лет. И вечность будет слушать; Он сам сделал Свой выбор. Не убоись ничего, человек! Ты ведь создан по образу и подобию Божию. Зачем ты сам себе врешь, что ты не музыка? Ты — музыка! И ты — Бог!

Но только тогда, когда ты не глумишься над Ним, и не плюешь в Него, и не вопишь на всю грязную площадь: «Распни Его!» — а молишься даже не Ему: молишься — за Него.

Они обе вышли на сцену, и поклонились, и запели. Оркестр сливался с их головами, вместе, сияя, голоса живыми реками бежали к океану. Океан сиял, перекатывал волны вдаль. Розовый и золотой прибой топырил пенные гребни. Необъятная музыка колыхалась, звала. Ждала. Ее жаль, так жаль было покидать. И разве Веру кто просил это делать? Ее просто вели, и она шла.

«Господь, спасибо Тебе, что Ты ведешь меня. Спасибо Тебе за волю Твою. Я исполнила свое дело здесь, и я опять должна срываться с места и лететь. Прости меня, если тут было что не так!»

...руку твою сжать... так крепко, до кости сжать...

...я твое дитя. Ты моя мать.

...я твоя мать. Ты мое дитя.

...я тебя родила, в небесах летя.

...ты моя подруга. Колющее жнивье.

...ты дрожащее, живое зеркало мое.

Она не слышала, как катился к их ногам прибой аплодисментов и им кричали «браво» и вызывали на бис. Зиновия брала ее руку, пожимала, у них были условленные пожатия: два раза — это на бис песню поем, два коротких, одно длинное — поем на бис, но не эту песню, а другую. А одно пожатие — это значило: ничего не поем, устали, просто низко-низко кланяемся! Два раза, песня на бис. А какую мы пели? Только что? Я не помню. Не помню!

— Зина... что поем...

Шепот беззвучный. Зал кричит и рукоплещет.

Оркестранты стучат смычками по струнам.

— Как — что... только что пели... память отшибло... «Молитву»...

— А, «Молитву»...

И они пели «Молитву», недавнюю Верину песню, и в зале опять плакали люди, потому что люди, на краю смерти, хотели жизни, и чужие нежные голоса им ее давали, полными горстями, и люди ели и пили эту жизнь, и готовы были пить и есть всегда, и дорого за нее заплатить, даже не деньгами, нет, чем-то гораздо более драгоценным и важным: возможно, даже жизнью самой, — с этой музыкой они не боялись умереть, и это была этой музыки главная тайна, ни у кого не хранилось за пазухой такой тайны, только у этих двух странных женщин, одна монашка, другая царица, пышная и красивая, как Екатерина Вторая, да что вы сочиняете, простая русская баба, на крестьян-

ку похожа, да они обе крестьянки, смотрите, какие грубые руки у той, что в монашеском платке, и лицо у ней грубое, будто топором стесанное, да, лицо как скала, к такой не подступишься, — а голос, голос! Он же летит сквозь тебя! Насквозь! Он тебе... состав крови меняет... эти песни слушаешь — и другим человеком станешь...

— Моя молитва — мое объятье. Моя молитва — любовь моя.

— Снимаю жизнь я, как будто платье!.. устала в тесной одежке я...

Они обе пели слова Веры и песню Веры, и Вера пела ее, как чужую, Божию, а Зиновия пела и сладко завидовала: вот гляди ж ты, какое чудо сподобилась написать, моя преподобная.

Вера пела: «Устала, Боже!.. уплыли силы...» — а ее собственную музыку и ее собственные простые, земные, жалкие слова заслоняло это, великое: «Суд без милосердия и огонь неугасимый ждут нас. Помни о сем, душа моя, позаботься избавиться от сего и возьми с собою добрые дела в дар Судие». Иная музыка, мощнее и величавее, печальная, необъятная, огненными столбами восставала перед нею до неба, и была эта музыка гораздо сильнее и чище всех на свете человеческих музык; и только немногие из людей могли такую музыку услышать и нотами — записать. И ночными, неутешными слезами — оплакать.

— Ни от сумы... ни от тюрьмы...

— Я жизни Божьей... я жизни милой...

— Я жизни светлой — молюсь...

— Из тьмы...

Песня закончилась, две певицы стояли на сцене и не могли ни говорить, ни петь, ни кланяться — силы их все, до капли, были выпиты музыкой, которая больше не повторяется в жизни. Люди встали с кресел, поднимали над головами руки, хлопая. Плакали. Улыбались. Кто-то крестился. Кто-то лицо ладонями закрывал. Густой гул стоял в зале. Обе женщины стояли недвижно и шевельнуться не могли. Вера закрыла глаза. У нее было чувство, что ступни ее приподнялись от пола и она повисла в воздухе.

— Вот это успех, — шепнула Зиновия.

Шепот этот отрезвил Веру. Она повернула к Зиновии голову.

— Давай поклонимся.

Они взяли за руки, как дети, и поклонились — раз, другой, третий.

Зал неистовствовал. <...>

* * *

Вера не говорила Зиновии об этих странных встречах. Мимолетных, беглых; вроде бы незначущих; быстрых и холодных, как мрачный дождь.

Она понимала: спокойное свидание и беспокойная беседа — все, что она могла подарить N на этой земле. Что будет там, потом, в небесах, никто не знал. И она знала меньше всего. Облака могуче и грозно ходили в небе; в этих призрачных ладьях плавало, плыло время.

Иногда N приносил Вере подарки. Она долго вертела в смущенных руках красивый браслет из крупной яшмы и темно-зеленого малахита — и, повертев и насладившись его созерцанием, возвращала его, не глядя в лицо N. А потом все-таки вздергивала голову и пыталась на N глядеть. Она не видела его лица. Оно плыло мимо, как облако. Попадало в слепое пятно. А может, она его просто не запоминала.

Ночами пыталась, закрыв глаза, вспомнить, и попытка умирала, не родившись.

N пригласил ее в очередной ресторан. Она пыталась отказаться: «Да нет, давайте лучше погуляем!» — «Сегодня метель, — сурово произнес он, и на Веру будто айсберг надвинулся, — вы простудитесь, я хочу сберечь вас».

Она запомнила этот вечер на всю жизнь. Поверх рясы она надела серую беличью шубку — ее ей купила Зиновия в бутике около Красной площади, задорого. Произведение знаменитого кутюрье, последний писк столичной моды. Вера пыталась шубку не носить — Зиновия насильно надевала ее на Веру. Туго завязать под подбородком апостольник, вот и вся защита от ветра и снега. Подумала, стоя перед зеркалом и чуть качаясь, и напялила высокую, как митра, лисью шапку из алмазно-блесткой чернубурки. «Звери, — подумала, — жаль зверей». Сердце сжалось, потом застучало. Когда Вера поворачивала ключ в замке, сердца в груди будто не стало: под ребрами зияла пустота.

Она обогнула дом, впечатывая в нападавший толстым белым слоем снег узкие сапожки, и тут прогудела машина — раз, еще раз. Вера вздрогнула и оглянулась. Водитель уже открыл дверцу, ждал ее. Она хотела сесть вперед, а потом вдруг захлопнула переднюю дверь и распахнула заднюю. Не хотела, чтобы N видел ее лицо слишком близко.

Он видел ее в зеркале. Улыбался. Потом мрачнел. Красивое богатое авто бесшумно скользило по широким и тесным улицам, светящимся нежным снегом. В машине они почти не говорили. N вышел первым и подал ей руку; Вера подцепила рукой в варежке полу шубки и подол рясы и поймала насмешливый взгляд мужчины — детская варежка, диво дивное.

— Я зимой всегда ношу варежки, — прошептала Вера, а N стоял с ней рядом и сжимал ее руку.

Провел на крыльцо. Сияли громадные круглые, лунные фонари. Вера поскользнулась на мраморной ступеньке. N поймал ее, когда она уже падала.

— Вы фарфоровая и можете разбиться.

— Я? — Вера задохнулась от негодования.

— Честно. Я все время за вас боюсь.

— Я монахиня, умею трудиться и могу постоять за себя.

— О, да вы почти что солдат. Вам легко будет воевать.

Они уже входили в стеклянное, зеркальное фойе. Он снял с нее шубку так, будто снимал платье. В зеркале она видела свое потное, залитое банно-вишневым стыдом лицо. Стояла столбом, не знала, куда и зачем идти, и N взял ее под локоть крепко и больно и повел вперед.

В огромном, будто тронном, зале стояли столы из карельской березы, полированные столешницы отбрасывали на лица гостей золотой свет. N указал на свободный столик у окна.

— Садитесь. Я заказал.

Сели, подбежала официантка, узнала N, угодливо склонилась, разулыбалась, как на карнавале. У официантки на худом лице торчали толстые губы, толще двух сложенных бананов.

— Вот меню! Выбирайте! Что будете на первое? Салатики у нас вкусные!

Вера сидела с каменным лицом. N выбрал все сам, не тревожил ее.

И все же спросил, осторожно и строго:

— Почему вы молчите?

Вера молчала.

— Почему вы все время молчите?!

— Не все, — сказала Вера, — я иногда и говорю.

Он скрипнул зубами и натужно улыбнулся.

— И пою, — добавила Вера.

Он взорвался.

— О да! Поете! Еще как поете! Без умолку! Тут вам рот не заткнешь!
На их столик оглядывались.
Включили тихую нежную музыку. Музыка заливала горящие внутренности теплым молоком. Омывала склоненные друг к другу головы, в ней тонули глаза и пальцы.
— Это поет Зиновия... нет... да!.. это мы поем.
N прислушался.
— Да. Это вы поете. Вы поете так, что мне хочется взорвать мир.
— Вы и без меня... без нас его взорвете.
— Зачем вы играете в монашку?
— Я не играю. Я монахиня в миру.
— Ишь! — Он дернул головой вбок. — Я вам не верю!
Вера пожала плечами.
— Я не расстрига. У меня есть постриг и есть обязанности; для меня весь мир теперь — монастырь. И мои послушания в миру — они такие же, как если б я жила в монастыре. И может... — она помедлила, — я туда еще вернусь.
— Черт подери! — громко крикнул N. Опомнился. Вытер потное лицо ладонью снизу вверх, от губ до лба. — Жарко здесь!
— Да, не холодно.
— Как вы говорите со мной!
Официантка подскочила с подносом, расставляла на столе кушанья, бормотала:
— Два салатика с тигровыми креветками, зернистая икра, так... арманьяк... бастурма турецкая... вот бокальчики, бокальчики...
— А как нужно, чтобы я говорила? Есть правила?
N сжал пальцами подбритые виски.
— Ну что вы как неживая!
Вера отвернула лицо. Слезы подступили внезапно и щедро. Она не хотела, чтобы он видел, как она плачет. Он все равно видел это. Слезы крупно, быстро катились по щекам, шее за воротник.
— Я сейчас уйду, — прошептала она сквозь слезы, беззвучно.
N схватил ее руку и поцеловал. На ее запястье отпечатались его зубы.
— Я не дрессируюсь, — шептала Вера сквозь рыдания, — я не ручная.
Он выпустил ее руку. Глядел в окно. По густо-синему, уже сине-черному московскому вечеру разудало плясала пьяная белокосяя метель.
Когда он повернулся к ней, она увидела: его лицо медленно плывет к ней над столом, как охваченная огнем безжизненная планета.
— Давайте бросим всю эту чепуху. Страдать и прочее. Я вас позвал не для того, чтобы ахать тут и ручки вам целовать! Нет. Слушайте. Все серьезней, чем вы думаете... певица. Монашка! — N изогнул рот в мгновенной усмешке. — Они распускают обманные слухи. По всему миру! Что у нас ракеты давно умерли, состояние их ужасно. И они не смогут долететь, если вдруг что. Взорвутся прямо в шахтах. Они кричат... слушайте!.. просто вопят!.. во весь голос орут!.. что мы заложили во все страны мира ядерные бомбы и, когда надо, мы прикинемся любыми террористами и взорвем их. Песни и пляски смерти, мать их!.. О, простите, монашка. Вы же не переносите крепких словечек. А если я закурю? Вы вытерпите табачный дым? Только честно!
Вера наклонилась и вытерла мокрое соленое лицо подолом рясы.
— Что вы, вот же салфетки.
— Вытерплю. Курите на здоровье.
Она видела его руки, когда он шелкал колесиком зажигалки. Пальцы дрожали.
— Они врут, говорят гадости! Гадость на гадости сидит и гадостью погоняет! Столько злобы, это чудовищно! И эта злоба — нам, все подарки, весь змеинный яд — нам.

Кричат: эти заранее подложенные бомбы начнут взрываться, а мы тем временем нападём на Латвию! на Литву! на Эстонию! На Молдову! На Украину! На...

Вера взяла салфетку, глядела прямо в лицо N и медленно рвала салфетку, разрывала на мелкие части.

— Они кричат: вы обеднели! У вас нет денег! Промышленность ваша помирает! Торговлю мы вам перекрываем! А потом кричат сами себе: ребята, что мы теряемся! Хватит сюсюкать со злодеем! Россия — злодей! А кто-то должен взять топор и злодея — зарубить! Чего мы боимся?! Ядерной зимы?! Потеплее оденемся! Не так страшен черт, как его малютки! Все равно Россия гибнет! Гибнет, собака! Умирает под забором! — N схватил руку Веры и сжал до кости. — Распад! Тление! Они говорят... что мы гнием... разлагаемся...

Вера глядела прямо и мертво, глаза ее остановились, как у сомнамбулы.

— Мы, видите ли, Вера, мы — новые фашисты. И нам, новым фашистам, нужна новая война. Так они вопят, именно так. Мы хотим большой крови. Да, чтобы всюду лилась кровь. И не только. Чтобы все погибало в огне и надыхалось радиацией под завязку. И вся Земля стала — зоной! Наши люмпены их беспокоят. Наша беднота! Вопят: вы скоро начнете убивать и жрать друг друга! Именно поэтому вы строите полицейское государство! Да, так вопят, так, так...

Вера не шевелилась.

— Да вы ешьте, ешьте! — зло шепнул N Вере. — Вы же голодная!

— Я мяса не ем. Пост.

Она еле разжала губы.

— Проклятье! Ваш пост, пост! Всегда! Завтра мы все умрем. И вы вволюшку не поедите уже! Никогда! Вы хоть понимаете, что значит «никогда»?!

Вера взяла вилку в руку, нож в другую.

— А вы?

Отрезала от листа салата зеленый кусок, жевала, как корова. И опять глаза светло, твердо замерзали подо лбом.

— Я — понимаю! — Горько усмехнулся, опять рот кривил. — Я вот знаю, что я с вами — никогда... Ну и что? Я же — живу! А вот Земли не будет никогда — это уже хуже. Я их ненавижу.

— Кого?

Вера держала вилку, как скорпиона. N склонился над салатом и быстро, зверино пожирал его, будто век не ел. Остро взглядывал на Веру.

— Не притворяйтесь. Все вы понимаете. Ненавижу этих лгунов! Лжецов. Оборотней! Кто сам хочет войны, а желание ее развязать валит на нас. Котик сливочки слизал и на Машеньку сказал!

Она вздрогнула.

— Мне эту песню мама пела.

— А! Мама! Отлично. — Вытер рот салфеткой. — Матери, дети — все погибнут! Какая ерунда! Думать, что кто-то выживет в такой войне! Идиоты. Дряни! Я их всех сам убью. Вычислю, найду поодиночке. Я — сам — террористом сделаюсь, чтобы эту мразь... с лица земли...

Вскинулся.

— Да если надо — да если надо!.. их, гадов, дряней, перебить!.. я сам — войну развяжу! Страшную! Мало им не покажется. Ненавижу! Нена...

Официантка подскочила, поправляла кудри за ушами.

— Вы звали меня?.. вот она я!..

— Нет! Не звал! Да! Звал! Несите первое! Грибной суп с телятиной. И второе сразу! Да, жаркое! И форель в белом вине! Сразу, я сказал!

Вера подняла руку ладонью вперед.

— Стойте! Не надо.

— Что — не надо?

— Ничего не надо. Я ничего не хочу. Это выброшенные деньги.

— Деньги?! — N встал, резко двинув стулом об пол. — Вы — о деньгах?! Мне?!

— Сядьте... что вы...

N, будто пьяный, рванул из кармана смокинга бумажник. Высыпал деньги на мясной мрамор плит. Швырял в стороны. Хохотал, блеснул зубами и белками. Официантки сбились в кучку, глядели обалдело, тряслись. Люди за соседними столиками возмущенно переглядывались. Кое-кто прижимал палец к губам: N узнавали.

— Ну же! Ну! Налетай! Подбирай! А на счетах-то у меня сколько! На счетах! Не счесть! Я и сам не знаю! А война будет — ничего не будет! Ничего! Ничего!

— Сядьте, — уже твердо, возвысив голос, сказала Вера.

N сел.

Официантки подбирали деньги, несли их к их столику, клали рядом с тарелками. N не смотрел на деньги. Он смотрел на Веру.

— Почему вы так ненавидите людей?

— Я? — На N будто дыбом встала шерсть. — Это они — ненавидят нас! Это я — в ответ!

— Ответная ненависть множит ненависть. Это закон.

— Ишь, законница!

Он тяжело дышал.

За соседним столиком хохотали и пели песню Зиновии и Веры.

«Они и не знают, что я тут, рядом с ними, сижу. А может, это не я. А маска меня, личина вместо меня. Тело, руки, ноги. А где душа? А и нету души. Тихо из мира уходи. Звезду туши».

На маленькой сцене вздергивали ногами девочки из варьете. Когда они прекратили плясать, вышел человек в туго обтягивающем тело костюме, обклеенном блестками, с огромным ручным питоном. Питон обвинял грудь дрессировщика, раскрывал пасть и высовывал язык. Посетители косились на человека и змею, кто-то громко захохотал, кто-то тонко завизжал и оборвал визг. Вера молча смотрела на человека, на питона у него на груди. «Валя», — прошептала тихо. Змея обвила человеку шею, и казалось, что это громадный пятнистый воротник. Раздались аплодисменты и крики: «Браво, маэстро!»

— Вы любите мир?

— Какой прямой вопрос! Кто ж его не любит!

— А войну — любите?

N сморщился.

— Глупостей не говорите. Кто же любит войну! Правда, все дети играют в войну. Всегда. Это природа. Человек должен убивать. Или — готовиться убивать. Лучшие солдаты — лучшие люди. Самые честные, благородные. Творческие. В дворянских семьях детей всегда выучивали на военных. Это было правило. А Красная Армия? Она же всех сильнее. Да! Сильнее! А все слабаки. На параде Седьмого ноября тридцать второго года на Красной площади Сталин пустил по брусчатке пятьсот танков! Новейшей модели. Мы — сильнее всех! Это истина. Не спорить! Цыц! Вы слышите — не спорить!

— Я и не спорю, — Вера тихо улыбнулась.

Кожа на лбу N подрагивала.

— Как хорошо, вы улыбаетесь. Вы меня не ненавидите?

— Нет. Вы сами себя ненавидите.

— Что вы порете чушь!

— Все остыло.

Вера указала на яства.

— К черту эту жратву. Вы поняли, зачем я вас позвал?

— Да. Чтобы сказать, что первыми войну развяжете вы.

— Кто это «вы»?

— А кто тогда мы?

— Что вы мне тут...

Вера сама взяла графин с коньяком и сама налила коньяк себе в бокал. А N не налила.

— Вы — любите — войну.

N смотрел на Веру исподлобья, изумленно.

— Ну... да. Да, да! Подавитесь этой моей любовью! Вы раскусили меня. Да я и не скрываю этого. Того, что война — это свято! Мы победили в последней войне. Самой страшной. Победа эта дорогого стоит. Кровью заплатили. Трупам и родину, и Европу устлали. Поднялось государство, да, понятно, что против Гитлера страна поднялась, но страна — это ведь народ, да, поднялся народ, как один все люди поднялись на врага, и что? Народ, он и велик тем, что побеждает. Ну вы, святая, монашка, гляньте на ваши иконы! На Георгия Победоносца! Змеюку копьём колет, убивает. Зло убивает! А вы что, хотите зло навек оставить жить на свете? Взлелеять?! Грудью хотите зло выкормить? Не выйдет! Да не только у нашего народа так. У всех народов так! Все народы идут к победе и за победой! Ах, да, вы, монашка, скажете: вражда, вражда — это от дьявола! Да не от дьявола это! От Бога. Война — Богом придумана! Так на свете положено, чтобы — война! Я, солдат, иду за своим генералом! Я беру оружие в руки и иду, так заведено! Так было всегда! И будет всегда!

— После будущей войны — не будет больше никогда, — жестко, сухо сказала Вера.

— Война, а в ней победа, это право на жизнь. На жизни! Война — это не смерть, а жизнь. Да, что вы так пялитесь на меня! Жизнь! Самая настоящая. Война — это новая наша земля. Завоеванная. Это люди, они на этой новой земле селятся, вспахивают ее, засеивают и говорят, живя на ней, на своем языке. Язык — народ! Вот — жизни! И хороводы водят, и песни поют! И баб в постели свои кладут, и детей зачинают и рожают. Жизнь, а что другое?! Да даже для того, чтобы картошку в золе испечь или рыбы в реке надергать и уху сварить, земля нужна, где картошку ту вырастят и рыбу ту изловят! Земля! Своя! Завоеванная. Или — отвоеванная! Другого пути сделать землю своей — нет! Ну ведь бьются мужики — за бабу! А за вас, монашка... мне даже не с кем побиться...

Вера слушала. Молчала.

И N спешил говорить, выговориться.

— Война! Вы морщитесь: фу, война! Войнушка! Опять война! Кому война, а кому мать родна. Вы только прикидываетесь вселюбящей. На самом деле вы тоже ненавидите. Вы ненавидите войну! Она для вас как ядовитая гадюка. Такой ядерный гад. И ползет, подползает. И вам надо раздавить его сапогом. А чтобы не укусил. Ну ведь так? Да? Так где вы тот сапог возьмете? Или тот булыжник, которым гада того — скорей прихлопнуть? А! Да! Правильно! В руку камень-то возьмете! И — занесете, и опустите. И — убьете! Да, да, убьете, вы, умоленная, вы, миролюбка! Кто кого! Или вас убьют, или вы убьете! Так мир устроен. И чтобы вам — жить, вы — убьете. Вот — война! Ее смысл! И что? Обвинить ее? Оправдать? Встать, суд идет! Сто, тысячу раз в истории уже судили войну! А она неподсудна. Все никак ее не засудишь, в тюрьму не посадишь! Или... стойте!.. вы дадите змее той ядовитой — себя — укусить? И не шевельнетесь? Во имя жизни чужой гадины — себя — убьете, а ее — не убьете?

Вера поднесла бокал ко рту. Прикоснулась к нему губами. Ее глаза опять налились слезами.

— Не знаю.

— Видите! Вы — уже — не знаете! А, проняло! Проняло вас! И монашку проняло! А война, ведь она такая разная! Разномастная! Сто лиц у нее! Сто масок! Одну сдернет, под ней вторая. Война, она лепит людей! Делает их! Рождает. Там люди становятся людьми! Дымы, пожарища, выстрелы... и ты должен быстро сделать выбор. Жертва ты? Или герой? А может, ты подлец? Оборотень? Зверь ты чудовищный, пожиратель падали? Предатель ты и из окопа своего в окоп врага ползешь, чтобы ему все наши планы выдать, все наши карты и позиции... Война, в одном котле жизнь и смерть... и это такой восторг! Вы, монашка... вы даже не представляете себе, как сладко жить, когда вокруг тебя пули свистят и все пылает! Ты жив — в сердцевине смерти. И это такое чувство, такое... Полнокровнее него я ничего не знаю! Может, если бы младенец вспомнил, как он рождался, шел на свет головкою вперед, в крови, ужасе и тьме, и адской боли, и лютом страхе, и мог бы человек взрослый, жизнь проживший, об этом чувстве вспомнить, рассказать про страшные роды — вот это, наверно, сравнимо с войной. Мы — посреди войны — рождаемся! Мы — все — дети войны! Вы понимаете это, монашка вы благостная?! А! вам бы автомат Калашникова в руки! базуку! да просто — связку гранат! И приказ бы у вас над ухом: брось те гранаты под танк, да и сама бросься, ведь этот танк сейчас надвинется на твое село, подомнет под гусеницы стальные, колючие твой родной дом и расстреляет твоих детей, твоих стариков! Ну?! — командир тебе крикнет. Что ж ты ждешь?! давай!..

Н рубанул рукой воздух.

— А вы сами на войне были?

Голос Веры был тише шевеления водорослей под водой.

Н осел, обмяк. Молчал.

Молчал долго. Вера допила коньяк из бокала. С удивлением глядела на пустой бокал. Двумя пальцами взяла розовое брюшко креветки, подхватила губами. Н смотрел на ее губы.

— Да. Юношей — в Афгане. Потом в Чечне. Недавно — в Сирии.

— А на Донбассе?

— Донбасс пусть воюет без меня. — Усмехнулся. — Вру, вру я все вам. И там был. Недолго. Здесь у меня дела.

— Я догадываюсь.

— Вы, — мышцы его лица напряглись, и кожа на лице мгновенно расчертилась странными морщинами, письменами легкого презрения, — вы женщина и монашка, вы не можете даже догадываться какие. То, что я на виду у всей страны, еще ничего не значит. Мы с вами вот сидим в обыкновенном ресторане, да нет, правда очень хорошем ресторане, на всю Москву он славится, и я...

Вере надоело слушать про ресторан. Она невежливо перебила Н:

— И что? Война — по-вашему если, так выходит — лучшее, высшее состояние человечества? И — человека?

Н прямо, нагло смотрел ей в глаза светлыми, ледяными глазами.

— Да. Это так.

— Но ведь это ужасно. Это против Бога, — тихо сказала Вера.

Н рассмеялся. Смех его раскатился звоном разбитого ледяного хрусталя.

— Бог? Бог-то как раз и положил на земле все так! Как оно есть! Это порядок вещей. Люди воюют, так Бог сделал. А Он, как вы-то думаете, Он — что, глуп? Он — мудрее всех нас! И прошлых, и будущих! А мы лишь исполняем Его волю.

— А вы не думаете, N, — она назвала его по имени-отчеству, — что мы исполняем не Его волю?

— А чью?

— Вам сказать чью?

— Ну, скажите!

Не глядя, он цапнул графин и щедро плеснул себе в бокал коньяка.

— Дьявола.

— Дьявол! Дьявола! Ах! — Он опрокинул в рот весь бокал, проглотил коньяк, как водку. — Да что вы говорите! А вы откуда знаете? С дьяволом общались?

— Да. Я видела его. И говорила с ним.

— Ну и... — N, как она давеча, подцепил пальцами креветку из салата, медленно жевал. Его радужки ледяно и зло горели. — Каков он, ваш дьявол?

— Он — это я сама. Он во всех нас.

N по-мальчишьи присвистнул.

— Эка куда хватили! И во мне, что, тоже?

— И в вас.

— Где же тогда Бог? Гуляет?

— И Бог в нас.

— Оба, что ли, в нас?

— Да.

— Тогда... — Искал глазами воду: пить хотел. Щелкнул пальцами. — Если они оба в нас, тогда — кто же мы такие? А?

Вера молчала и глядела на него.

Он, глядя ей в лицо, бросил:

— Вы похожи на икону! Ешьте больше! Вы красивая, зачем вы изнуряете себя?

— Зачем вы нарочно грубы со мной? — спросила Вера почти шепотом. — Зачем вы злитесь, кричите? Про войну я все поняла. А вы — поняли? Зачем эта злоба? Вы же сами с собой воюете.

— С дьяволом! — ухмыльнулся N.

Потом опал, съежился — тестом, в которое ткнули пальцем.

— Вы заставили меня думать. Я буду думать.

— О чем? О войне?

— Да.

— Хорошо.

Он вскинулся.

— А вы?! Да, вот вы! Вам бы хоть разик, разочек побывать на войне! Тогда бы вы мне проповедей не читали. Чтобы вас волокли бы после разрыва снаряда в окоп! Под мышки бы подхватили, тащили по грязи. А кругом — земля черными веерами! И глхнешь, глхнешь от взрывов! И свалили бы вас в окоп, а сверху — опять разрыв, и засыпало бы вас землей, и стряхивали бы ее с лица, со щек, глаза, землей залепленные, открывали, а уши болят зверски, контузило, и кровь из носа течет, из ушей, и рукой вытираетесь, и плачете. Да, плачете! Потому что не мы побеждаем, а на нас враг насаждает! И, может, сейчас мы все тут сдохнем разом и не успеем нашу землю защитить! А, скажете, а если не нашу?! Да плевать, чью! Враг есть враг! Врага — уничтожить! И весь сказ! Тут не до философий! Не до жалости. И предатель от нас, Иуда, уже пополз в блиндаж врага! Нас — предавать! Так надо врага раздолбать во что бы то ни стало. Пусть все мы погибнем, а наших людей, нашу землю — спасем! И ты не будешь думать, станешь или нет героем. Ты должен быть героем! Быть героем — это твоя работа. Она прекрасна. Прекраснее всех других работ на земле. Вот — война!

— Война, — эхом повторила Вера.

— Ты убиваешь, чтобы защитить жизнь. И вы не нюхали этого чувства. И вряд ли понюхаете. На войне вы не будете перевязывать солдат. Стрелять из пулемета, из огнемета. Вы будете, как серенький зайчишка, прятаться в подвале, на дне руин. А впрочем, может, и будете воевать! И спасать! Вы же монашка. Вы же обязаны спасать!

— Спасать...

— Что вы как попугай!.. Давайте выпьем. И закусим. Почему вы ничего не едите?

— Я... ем.

— Вранье! Я же вижу. Девушка! — Он опять щелкнул пальцами, подзывая официантку. Официантка подбежала, шаталась на каблуках-шпильках, растягивала в улыбке густо накрашенный рот. — А жаркое наше где?!

— Я не буду, спасибо, — мотала головой Вера.

— Пост! Пост! Опять пост. У вас всегда пост!

— Хватит, — сказала Вера.

— Что — хватит?

— Хватит клоунады. Будьте самим собой.

Н застыл и так сидел минуту, две, больше. Красногубая официантка принесла дымящееся мясо. Н отодвинул от себя тарелку.

— Как вы, так и я. — Он протянул руку по столу и взял ее руку. Сжал. — Я хочу, как вы. Я ничего не знаю. Я буду думать про войну. Но и вы подумайте. Чтобы нас не убили, первыми должны убить мы. А по Богу вашему, по Его заветам, что, мы должны быть жертвой и не рыпаться, не шевелиться, сложить ручонки на груди, закрыть глаза и приготовиться к удару? Слишком большая жертва-то, такая наша огромная земля!

Вера едва слышно ответила на его пожатие.

Он улыбнулся.

— Спасибо. А я думал, вы вообще мертвец.

— Почему?

— Как все верующие.

— А вы сами — веруете в Бога?

— Да. Нет! Я сам не знаю. Я крещеный! Православный! У меня над постелью... образок Николы Угодника висит...

Помолчал.

— А бабушка у меня — мусульманка была... татарка...

Сидели, сжав руки. Вокруг них вспыхивал пьяными огнями, мерцал, двигался и плыл, вздыхал и выпивал, и бил посуду, и засыпал, и буянил ресторан, и улыбался во весь рот, и блестел голыми плечами и нитками поддельных жемчугов, и пел, и мычал, и звучал, и утихал, и гас, и опять вспыхивал, взрывался, и автоматные очереди били, и трассирующие пули летели огненными зернами, и воздух накалялся и остывал, и разворачивались смоляные веера подземной, гробовой грязи, и пахло дегтем и соленой кровью, и война глядела им обоим в лица, и красные, волчьи зрачки ее расширялись, и на красное их дно валились города и страны, а они глядели друг на друга, и Вера понимала — да, это любовь, это настоящая любовь, такой на мирной земле не бывает, значит, она тоже на войне, и надо его, раненого, перевязать и спасти, а бинта нет, и марли нет, и спирта тоже, есть очень дорогой коньяк, и он просит пить, и надо дать ему пить, из кружки, а кружки тоже нет, ну, значит, из рук, из сложенных черпаком ладоней, вот так, так, пей, мой соболенок, волчонок мой, мой — человек: встреченный в жизни, полюбленный в смерти, да, так бывает, и что?

Из руки в руку перетекало пьяное счастье. Чужие люди кругом гомонили. Война взрывала время. Наступил миг, и война убила время, и оно упало, раскинув руки, лежало в луже собственной крови, и смотрело в небо ледяными глазами, и остановилось. <...>

* * *

— Спасибо тебе за все. Я вернусь в монастырь.

— В Иерусалим?

Вера погладила лежащий на столе кирпич ржаного хлеба, как живого домашнего зверя.

— Вернусь. Только не в Иерусалим. Иерусалим — везде. Он всюду. Он такой же земной, как и Небесный. И я... Зиновия, знаешь... я... пойду, пойду... пойду... и пойду. И приду в Сибирь. И там сделаю свой монастырь. Соберутся люди вокруг меня! Соберутся, я верю! И будем там молиться, плакать за всех, лечить всех, любить.

Зиновия держала на руках белого подростшего котенка. Чесала ему за ухом. Котенок мяукнул, Зиновия сердито сбросила его с колен.

— Лечить... Любить... А ты будешь там петь?

— Буду.

— И наши песни?

Вера вздохнула.

— Это мирские песни, Зиновия.

— И даже «Молитва»? Даже она?

Вера молчала.

Зиновия щипала кружево рукава. Будто гитарную струну.

— Что молчишь?

Котенок мяукал: есть просил.

— Хочу... и молчу. — Вера устыдилась. — Прости меня, Зина.

— Бог твой простит!

Зиновия встала и подошла к окну. Глядела на снег: он медленно падал со страшно, фосфорно светящихся над огромным городом, туманных небес.

Облака бродили по небу, слепые призраки несбывшегося.

Далеко внизу горели, вспыхивали и гасли жестокие глупые рекламы.

— Слушай... лучше спой... напоследок... ее...

Вера выбралась из-за стола. Выдернула край рясы из-под ножки стула. Стул упал. Она его подняла.

— Прости, Зиновия.

— Да что ты все: прости да прости! Ты лучше пой!

Вера глубоко вздохнула. Песня полилась.

— Моя молитва — мое объятье! Моя молитва — любовь моя... Снимаю жизнь я, как будто платье... Устала в тесной одежке я. Устала, Боже... нет больше силы... Ни от сумы... ни от тюрьмы... Я жизни Божьей, я жизни милой, я жизни светлой молюсь из тьмы.

Зиновия, глядя в окно, пела вместе с Верой. Ее мокрое, светящееся тайной болью лицо отражало бесстрастное, алмазное оконное стекло.

— Я жизни Божьей... я жизни милой... я жизни светлой — молюсь!.. из тьмы...

Они обе спели свою последнюю песню. Общую песню.

Вера ту же затынула на шее черный апостольник. Обтерла ладонями лицо.

Оно тоже, как у Зиновии, тихо светилось, залитое прощальными слезами.

— Если надумаешь, слышишь, Зина, вдруг в мире досыта наживешься... ко мне прийти... приходи... ты меня найдешь.

ХОЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ВОЙНА

Вера не знала, летит она или идет, едет или не движется: стоит, как вода в колодце. Вера перемещалась, но не шевелилась; устремлялась, но замирала и ждала.

Мир шумел и крутился вокруг нее, обтекал ее, как остров. Она же не делала никаких усилий, чтобы этот мир преодолеть.

Пространство превратилось во время. И это было так странно. Горизонт сиял и вспыхивал, а потом гас за кромкой тайги. За черными тенями и каменными крыльями огромных городов. Вера не узнавала ни городов, ни селений; она шла по земле, а ей казалось, это земля идет по ней.

Вера возвращалась в Сибирь, и ей казалось невозможным покинуть этот мир прежде, чем она нащупает ногами сибирскую землю, ляжет на нее грудью и животом и обнимет ее сильными руками: сколько сможет. Она, возвращаясь на родину, несла свое время с собой в своей забытой скитальной котомке, в вечном своем, ветхом детском ранце, и растерянно оглядывалась назад: где он, мой святой Иерусалим?.. — и глядела вперед, будто назад, туда, за оком оставленной Святой Земли.

Она иной раз осознавала, что возвращается, и тогда ее обнимала тревога: найдет ли живыми тех, кого любила и знала? — а ее, узнают ли ее? вспомнят ли?.. — а иногда забвение туманом заволакивало горечь ее возвратного пути, и тогда ей хотелось плакать, просто плакать, как простой бабе.

И она садилась при дороге на скамью ли, на камень, на земляной холм, да просто на траву, а не росла трава — так на сухую либо сырую и грязную землю, на приречный песок, и плакала.

К ней, идущей в черной длинной рясе, подходили люди: благослови, матушка! За версту от Веры веяло иночеством. Люди припадали к ее руке, снизу вверх засматривали в ее лицо: а ты, случаем, не прозорливая, странница? Вера понимала, чего хотят от нее люди. Они хотели утешения.

И она давала им утешение; и благодарили ее люди, пусть даже безмолвно.

Когда она, поклонившись им, уходила от них дальше, вперед, иные старики вослед ей крестили ее.

Глядели на ее старый скитальный ранец у нее за спиной.

А иные люди глумились над ней, прогоняли ее, грозили ей кулаком и даже плевали в нее.

Она улыбалась: «Люди, спасибо, вы ненавидите меня, Христа тоже ненавидели и били, а потом казнили, а я жива, значит, еще потерплю. Еще побреду».

Вера, возвращаясь, видела: веры на ее земле гораздо больше, чем она себе представляла. Она мнила так: вера умерла или уже умирает, безбожие захлестнуло и утопило людей, ни к чему им оказался Бог и служители его, кто кричал о мракобесии, кто о несметных богатствах Церкви, а рядом шептали верные: настали последние дни, уже делят нас всех на овец и козлищ, и права была старушка Расстегай, что однажды, за давним чаем, просыпала перед Верой мелкие семечки слов: «Однако людишки как пьяны нынче, не понимает никто, чё деется! А деется, Верушка, вот чё: растеряли мы веру в Бога Господа, как пить дать, растеряли! И не соберем в котому, да где ж завалылась, миленька, та котомка?!» Вера тогда не соображала, о чем Расстегай ей бормотала. Теперь она понимала все.

И не умом понимала: кровавой горечью сердца.

И даже не им, не своим земным, больным, резко бьющимся, а будто кто-то Небесный за нее все знает, понимает, а ей, медленно по земле бредущей, только ясные картины в облаках показывает.

«Спасибо, Господи», — шептала Вера пересохшими губами.

Она в путешествии ела мало, привычная к постам; чаще ей хотелось пить, и она стучалась в низкие окна домов или изб, жестами показывая: пить! — и на нее махали рукой, или задерживали штору, или показывали язык, но чаще выбегал из дома мальчик с кружкой в руках или выбредал сутулый старик, на снег — в одной рубашке, оглаживая белую бороду, с початой бутылкой минералки, и протягивал Вере, и пила она. И благодарила, кланяясь низко.

Она шла, как во сне, возвращалась, поминутно благодаря Господа за легкий ход по земле, за то, что снова идет по родной стране: ее земля казалась ей, при всей непонятной жесткой враждебности, теплой и нежной под ногами, и воздух она грудью вдыхала сладкий, даже если это был горький бензинный дух. Истосковалась! Только теперь поняла как. Но святой Иерусалим по-прежнему был с ней, рядом с ней и в ней. Он просвечивал сквозь густо-синие и медвежье-черные грозовые облака. Светлой храминой нависал над утлым придорожным кафе, над серым холщовым полотном дороги, ведущей на восток.

Вера шла на восход солнца, чуть прихрамывая и улыбаясь солнцу, даже когда его не было на небосклоне, и часто ночью шла, она ничего не боялась, ведь она уже прошла через смерть, и она встречала солнце грудью, блаженно поднятым навстречу лицом — и солнце брызгало в Веру лучами, счастливо приветствуя ее.

Она видела раненых в старой забытой войне и раненых новых войн, с перевязанными свежими бинтами руками и ногами, и хромали искалеченные люди, и кричали ей хрипло: «Эй, подойди, монашка, если не трудно!.. благослови и помолись за нас!..» — и Вера подходила к воинам, к совсем юным солдатам, и широко крестила их, и в землю кланялась им, и тихо читала над их покорно склоненными головами молитву. Один такой раненый солдатик, бритый, как из тюрьмы, голая кегля башки уже обрастала колючками, нагло, по-бандитски скалясь, бросил ей: «Ты знаешь, святая мать, я раньше в Бога не верил, а когда в мясорубке побывал — поверил. Ведь это Он мне жизнь спас». Вера согласно наклоняла голову: «Да, Он тебе жизнь спас». — «Да вот калека ведь, — возмущенно, отчаянно кричал бритый калека, — как мне жить-то теперь без руки?! побираться разве?! Да на кой мне такая жизнь?!» Вера тихо гладила его пустой рукав. «С Божьей помощью все образуется. И рад будешь, и сыт будешь». Солдат растерянно проводил ладонью по бритому потному темени. «Не верю я тебе! А вот ты мне скажи, ты настоящая монашка, ну, как это у вас там называется, схима, вроде?.. или ты начинающая?.. первый раз в первый класс?.. Да нет, на рожу-то ты не первоклашка... А может, ты эта, игуменья? Да просто так вот из монастыря вышла да пошла по дороге, пошла? Типа погулять?!» Вера улыбалась. «Я не мать игуменья. Аз есмь раба Божия Вера, и монастырь свой я покинула, и вот в миру иду». — «Эх, так ты расстрига! — обиженно, разочарованно кричал молодой безрукий солдат. — Так зачем тогда рясу носишь, сними!» — «Нет, не буду, — все так же улыбалась Вера, — я в ней умру».

И нищий бритый солдат отшатывался испуганно.

И Вера внезапно и больно вспоминала того своего, давнего мужика, Бритого-сердитого, как бормотал он в железной тюрьме вагона, под стук колес: «Яички, яички красивые, цыпляточки сивые!.. тебе очистить яичко, Верушка?.. будешь?.. жри!.. а то на кочергу похожа, ни кожи ни рожи!..» — встреченного в поезде, минутного своего мужа, зэка-вольняшку, потную рубашку.

И крестилась, продолжая путь: помяни разбойника моего родного, Господи, во Царствии Своем.

Вера шла через леса, реки, поля, города, мосты, берега, богатство, нищету.

И чем дальше она шла по родной земле, тем величавее становился ее простой и незаметный ход, и ее сердце все больше раскрывалось родным людям, и многие люди вдруг стали непонятно узнавать ее, а многие, случайно или не случайно, уже знали ее; и, ее встречая, странные неведомые люди кланялись ей и падали ей в ноги, а она смущалась, останавливалась возле них на миг и благословляла их.

...красный крест... Солнце — это в небе ты. От версты до версты... от полноты до пустоты...

...красный, прекрасный Иерусалим...

...плыву, в небесной реке налим...

...Вера, зачем ты Вера... лучше бы тебя мать по-другому назвала...

...красную келью жизни всю пройти, насквозь, от угла до угла...

...красным крестом солнце с небес падает, поймаю...

...красная жизнь, я тебя вспоминаю... забываю... понимаю... <...>

* * *

К Вере прибилась рыжая собака с влажными карими человечьими глазами. Собака закидывала голову и любовно, преданно смотрела на Веру. Вера наклонялась и гладила собаку по голове. Они шли дальше вместе, и собака то и дело крепко прижималась к ноге Веры.

Собака научила Веру просить милостыню. Она научила ее не страдать и не стесняться — садиться при дороге и протягивать руку. Для собаки люди приносили кости, отгрызки, горбушки, Вере доставалось что-то и повкуснее. Они вместе с собакой ели, и собака ела красиво и нежно, Вера любовалась ею. Вера иногда разговаривала с собакой. И собака понимала ее.

Вера возвращалась, и собака возвращалась вместе с ней туда, откуда ее изгнали, — в любовь и заботу.

Жизнь все больше превращалась в житие, но Вера об этом не думала. У жизни были годы, месяцы и дни, а у жития не было этого ничего; житие — это был огромный золотой тяжелый ком, он тут же, на глазах, превращался в набухшую дождем и снегом тучу, из тучи ударяла молния, и Вера закрывала ладонью глаза.

Вера возвращалась в Сибирь вместе с собакой, и она снова, как при давнем ходе ее из Сибири в Иерусалим, встречала разных людей, попадала в разные приключения, видела и хорошее и плохое, видела и ножевые удары из-за угла, и грязные пятки спящего на лавке бродяги, видела чудо детского чистого, небесного взгляда, и чудо великого теплого сердца, когда один человек на краю бездны обнимал другого и шептал ему: «Не плачь, я с тобой». Она видела карманные кражи на рынке и внезапную смерть модного певца на открытой арене, на широкой площади; видела, как попадают под колеса электрички люди, и кровь разливается по шпалам и брызгает на серебряные, сельдяные рельсы; видела девок с фазаньим раскрасом щеки и мужиков, на виду у всех играющих пистолетами в волосатых кулаках; видела, как сворачивает голубую белую ангельскую голову подросток с сигаретой в углу презрительного рта, а рядом взасос целуются две девчонки, еле удерживаясь на земле на высоченных, как башни, каблучках. Видела, как люди дерутся не на жизнь, а на смерть и прицельно стреляют друг в друга; видела, как, стоя на коленях, плачет мать над тельцем сына-грудника, убитого в оставленной возле магазина коляске. Она видела позор и счастье, милость и подлость, жалость и войну, убийство и рождение. Да, на ее глазах родился ребенок — в угрюмом, как гроб, здании сельской автостанции, и среди пассажиров нашелся врач, он принял роды, а Вера стояла рядом, все без слов поняли, что она должна и может тут помочь;

она подавала врачу скрученные в жгут чужие рубахи, счастливо нашедшийся бинт, йод и медицинский спирт из станционной аптечки; они гляделись как настоящие врач и ассистент, и все так и подумали, что эта высокая худая монахиня в черной рясе — из ближнего женского монастыря, а это просто такое у нее врачебное послушание, здесь, рядом, в сельской больничке. Младенец родился и тонко закричал, закрихтел, Вера смотрела, как мать лежит на вокзальной лавке, подплывшая кровью, и тяжело дышит, и счастливо смотрит, как ребенок сучит ножками на руках у врача, а по лицу врача, по вискам его и щекам течет пот, а может, врач тоже плакал, как плакала Вера, не замечая, что плачет.

Собака сидела тут же, рядом, не шевельнулась. Только высоко подняла морду, вытянула по полу хвост и нюхала воздух.

Вера шла, и в воздухе перед нею маячили странные письма. Буквы. Буквицы. Она не могла их прочитать умом, но прекрасно читала их сердцем. Чем дальше она шла и приближалась к Сибири, тем плотнее выстраивались в небесах, по обе стороны ее пути, эти письма. Она боялась их рассматривать, не хотела видеть их изгибы и узоры во всех подробностях. Не хотела их разгадать. Они висели в небе рядом, как завитки облаков, и этого было достаточно.

Вера понимала: она свободно может говорить на этом страшном небесном языке, но время еще не пришло.

Сейчас, при возвращении, она могла без труда беседовать с рыбами и птицами, с деревьями и стрекозами, с легким снегом, что летел с распахнутых серебряной шкатулкой небес ей в обвязанное апостольником суровое лицо. На вокзалах, в туалетах, она стирала апостольник, потом высушивала его на солнце — на карнизе, на спинке бульварной скамейки. Черный штапельный квадрат висел под палящим солнцем. Вера поднимала лицо к солнцу и закрывала глаза, чтобы не видеть манящих и строгих небесных писем. Высохший чистый апостольник опять туго обхватывал ее голову.

И опять и опять она шла на восток.

И рыжая огненная собака шла вместе с ней. <...>

* * *

Вера поселилась на заброшенной заимке. В сараюшке нашла битые стекла, застеклила и старой ватой законопатила окна. Топила печь даже летом, чтобы в избе тепло было. Нашла в избе, за печью, топор, и пилу, и другие инструменты, подмогу в хозяйстве; на полках отлично сохранились и горшки, и кастрюли. Ходила в село, туда приезжала три раза в неделю торговая машина, безденежную Веру уже все знали, из машины бросали ей бракованный, с запеченной грязью, хлеб, сельские старухи оделяли яйцами, пирогами, морковью, луком. Старой ржавой лопатой она вскопала землю, сама посеяла лук, картофель, петрушку, брюкву, китайскую капусту и огурцы. Явилась к ней одноглазая тетка из села, давала советы, с интересом, хитро косилась на Верину обтрепанную рясу, хрипло спросила: «Из монастыря сбежала?» Вера молчала. Тетка подмигнула: «Давай постираю! А ты пока мое платьишко поносишь». Вера улыбнулась: «Сама постираю».

Тетка вынула из кармана пачку сигарет, долго смолила, потом вытащила из-за пазухи чекушку. «Рюмки у тебя есть? А то давай из горла! Не побрезгуй, сифилиса у меня нету!» Вера молча улыбалась и глядела, как тетка пьет — запрокидывая шею, жадно, как мужик, крупными глотками, без закуски. Зло утерла рот. «Хоть бы морковку какую дала, мать! Да нет у тебя морковки! Вырасти еще!» — «Выращу», — кивнула Вера. Пахло водкой. Из открытого окна тянуло хвоей. На жестком лице Веры было нарисовано великое счастье.

Она обнаружила, что Енисей оказался тут, рядом — за земляной грядой, поросшей лиственничником и кедровым стлаником. Когда она выбрела на кручу над рекой, она даже закричала от радости — так был волен и сурово-торжествен царь Енисей, так размахнул он на полмира свою синюю, холодно-парчовую мантию. Резко-сизая, будто заиндевелая, синь жестоко ударяла в глаза. Лежал под небом синий нож, и небо не могло схватить его и им разрубить время и давнюю боль. Вера стояла, руки по швам, как солдат, и глубоко, как на приеме у врача, дышала. Вдыхала родину. Сколько лет!.. без нее... А она и не считала. Толку было считать. У времени счета нет; есть только его скелет, и костяшки тихо стучат друг об дружку, дужки ребер, выгибы каменного черепа. Речной ветер безжалостно мотал подол Вериной старой рясы. Она ощутила себя старой, великой и вечной, как эта земля; и ступни ее были уже тронуты мерзлотой, и волосы — инеем. Холодное лето шло и текло, шел вдаль Енисей, царственно и мощно, к далекому ледяному океану, и вместе с Енисеем Вера сама шла по своей земле, и теперь время ей было не страшно — ведь она вращала ногами в родину, и это было тверже, важнее всего. <...>

...Понемногу вокруг Веры стали селиться люди. Старики. Старухи. Бродяги. Беглые: девчонки, что удрали из интерната, мужики, что убежали из колонии под Енисейском. Они подходили к Вере под благословение. Строили на заимке, кто что мог. Кто поселялся в старых сараях, чуть подлатав кривые доски. Кто даже в шалашах, потом себе времянку сооружал. Верина изба обрастала другими избами. Место заброшенное, тихое, власти здесь не появлялись, машины сюда не заезжали. Возникла своя упрямая жизнь, и средоточием этой жизни была Вера. Так рождался ее собственный монастырь, где она явилась всем молчаливой игуменьей, и все звали ее: «Матушка!» — и даже без имени, просто — матушка, и все. Земля родила, бабы заводили коров, косили траву и сушили скотине на зиму сено, зимою дым белыми рыбами на невидимых кукушках вставал над трубами, росла заимка, превращаясь в таежный монастырь, и Вера понимала: это судьба, и надо радоваться ей. Она и радовалась, как могла.

Она приходила к каждому в его избенку, в сарай; учила молиться, если не умели; учила сажать лук и морковь; учила детей чистить картошку, а их родителей — варить китайский луковый суп. В неурожайный год монастырь на заимке голодал, в урожайный — дома ломились от всяческой еды; насельникам кто привозил из других святых мест святые образа, а когда они и сами, перекрестясь, делали иконы — вырезали на бересте, малевали на старых кухонных досках. Вера понимала: никакого церковного права она не имеет управлять самостоятельным лесным монастырьком, но так говорила себе: права у меня на это нет перед людьми, но есть перед Господом — и просила: Господи, не дай мне покинуть моих людей, не дай оставить их прежде времени, а дай им помочь, обиходить и обустроить их, и главное, Тебе научить молиться и к Тебе идти. Она вспоминала разговоры с N про войну. Отсюда, из глубин тайги, война виделась смешным драконом, коряво нарисованным в детской тетрадке; замалюй его черной краской, зачеркни, и все, умрет он и больше не воскреснет.

<...> Однажды появился человек, седые волосы всклокочены, на башке то ли скуфья, то ли старая пилотка, в одном ухе серьга, другое топором обрублено, вместо рясы — землю кафтан метет, может, в оперном театре из костюмерной стащил. «Как тебя зовут?» — спросила Вера. «Алешенька!» — придураясь, зверино скривился мужичонка, сморщил нос. Вера закрыла глаза, и белым бледным прибором времени захлестнуло ее загорелые на енисейском солнце щеки. Мужики потихоньку строили святые дома: сперва часовни, в честь Божьей Матери Казанской, в честь великомученицы Екатерины, потом и деревянный маленький храм возвели. В честь кого храм-то будет у нас? — так спросили Веру. Вера недолго думала. Улыбнулась и ответила: «В честь Алексия, человека Божьего».

Во храме служили службы, все честь по чести. В синие густые, как сметана, великие морозы вечерами собирались в домах: то в одном, то в другом, — дети обитатели очень любили эти вечерние посиделки, просили взрослых о сказках, о страшных историях, и матери и бабушки рассказывали им, как святых, чьи имена дети носили, мучили и терзали цари и короли, и как стойко святые все муки терпели — и в котлах с кипящим маслом, и на дыбе, и на костре, и на кресте, и под плетями, и как из окровавленного рта доносилась только хвала Господу: «Христе Боже, спаси и помилуй мя!» А однажды нагрянули стражи порядка, и испуганно глядели дети на фуражки и погоны, на начищенные сапоги и черные куртки, и кричали на всю заимку стражи: «Разогнать! Снести! Разрушить! Сжечь! Не положено! Штраф! Всех в тюрьму!» — и вышла к стражам Вера, раскинув широко руки обочь спрятанного под рясой худого тела, и громко, на всю тайгу, обратилась к пришельцам: «Только вместе с нашей обителью — и нас всех убивайте и сжигайте!» — и когда люди услышали это и увидели строгое твердое лицо Веры под туго завязанным апостольником, убоялись они выражения ее лица, слишком страшным оно было — таким страшным, что и не человеческим вовсе, а небесным ликом: так вселенская гроза молнии рассыпает из черных могучих туч.

Стражи порядка укатили прочь на машинах и мотоциклах. Один из батюшек увязался за ними в Красноярск на попутке. Вернулся, гладил бороду: «Живите спокойно, братья и сестры! Не тронут нас никого!» Кого уж он там, в городе, улестил, каким властям в ноги поклонился — никто не узнал, батюшка — рот на замок, а Вера не спрашивала, только подошла под благословение и морщинистую руку батюшке тихо поцеловала.

Во всякую избу на заимке заходила Вера, и везде старались угостить ее повкуснее, да мало и скудно ела она, все меньше ей требовалось земной еды. Она молилась, глядела в небо. Наплывали из иных земель облака. Громоздили, перевивали бирюзовые, жемчужные небесные воздушы. Умиralи насельники, Вера их хоронила, и все вместе с ней пели над гробом панихидные молитвы, и батюшка возжигал ароматы в кадиле, сделанном из рыбацкого котелка, а окрестные кедровые и елки пахли сильнее и гуще святого дыма, и прибывало могил на маленьком лесном кладбище близ заимки, и думала Вера: «Вот и еще один, еще одна, Господи, прими с миром душу живую; тело мертво, но ведь душа-то жива, и взыскует Страшного суда, и верит, и ждет». Предсказала Вера однажды пожар, и правда, загорелся на заимке овин; там насельники сушили не только снопы, но и сено скоту в зимний запас. Воды много, да Енисей далеко, не потушишь, на реку не набегаешься! Вера закричала: «Песок несите! И мокрые одеяла!» Мочили одеяла в воде и набрасывали на пламя; засыпали огонь песком. Спасли заимку! Не перекинулось на избы пламя. Все люди на колени встали и молились на Веру. «Ты чудо совершила!» Вера прижимала палец ко рту. «Никогда не говорите так. Бог спас».

Насельники, все до одного, стремились услужить Вере: кто — выстирать ей рясу и апостольник, кто — нажарить картошки на огромной, как шаманский бубен, сковороде, кто — нанизать на леску сухие ягоды рябины и подарить Вере четки, тридцать три бусины, по числу земных лет Господа, кто — сварить ей варенье из жимолости, или из лимонника, или из брусники, кто — помыть полы в ее избе: и мыли, дожелта отскабливали ножом и терли мыльной тряпкой, а потом в кувшины и трехлитровые банки ставили купальницы и сияющие жарки, весенник и багульник, рододендрон и васильки. И благоухала Верина изба. И спрашивала она себя: Господи, это ли не счастье! И отвечала сама себе: Господи! спасибо, что Ты подарил мне его. На все оставшиеся мне годы.

«Только бы не война, — шептала, — только бы не война». <...>

* * *

Шли годы, и вдруг Вера захотела выбраться из тайги хотя бы на один день и снова увидеть город, где она выросла и прожила полжизни. Насельникам сказала: «В Красноярск побреду!» Люди перекрестили ее: «Счастливо, матушка!»

Никто и не спросил, вернется, нет ли.

Стояла зима, и гуляли по оврагам и площадям белые и черные ветра. Дул полуночник, лютый заморозник, льдом покрывались стрехи и ветви, звенели, стучали друг об дружку. Каменными бутылками возвышались на снежной скатерти суровые дома, они молчали, и душа Веры молчала. Она не узнавала город, а город не узнавал ее. Встречи не получалось. Люди не глядели в ее сторону. Только дети дивились на странную черную монахиню, твердо, по-солдатски идущую по обросшим наледью тротуарам. Вера не глядела на красный свет светофора и детей не видела. Она не видела времени. Время растворилось, как сахар в чае старушки Расстегай.

Вера заходила в магазины и выходила из них наружу. Денег у нее не было. Заходила в парикмахерские, там юные нежные девочки подметали щетками чужие остриженные кудри. «Вас постричь?» — вежливо спросила ее старая седая парикмахерша, сама коротко стриженная, как мужик-клоун. Вера поклонилась и попятилась. Чуть не разбила локтем стеклянную дверь.

Зашла в забавный магазин, там чирикали щеглы в клетках и быстро, весело бормотали всякую чушь зеленые и синие попугаи. Сильно пахло кошачьим, собачьим и птичьим кормом. «Купите попугайчика! — протянула Вере клетку продавщица. — Очень понятливый! Знаете, он даже поет песню такую... ну эту, старинную... а, вот! Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет! Боря, Боречка, спой! Не стесняйся!» Зеленый попугай громко и картаво запел: «Лучше нету той минуты, когда миленький придет! Как увижу, как услышу...» Оборвал пение. «К-к-как увижу... ка-а-а-ак... ус-с-с-с... лышу... как...» От стыда спрятал зеленую хохлатую башку под крыло. Продавщица зарделась. «Ну Боречка, ну что ты стушевался! Тетя тебя не обидит! Тетя тебя сейчас купит! Правда?» Вера развела руками. «Простите. У меня нет денег. А вот дети у меня есть».

Да, у нее была целая заимка детей. Как бы они подивились на такого попугая!

И тут продавщица сняла клетку с полки и протянула Вере. Косилась на ее черную измызанную рясу. «Вы небось в приют какой ходите?.. с молитвами?.. в детский дом?.. Да, там рады будут... возьмите!» Вера обняла обеими руками клетку с попугаем.

А на улице валил снег, шел призрачно и густо, а потом еле видно, невесомо, серебряные тончайшие нити прошивали серый воздух, дымы и гарь, протыкали близкую ночь гудки и звонки трамваев, разрезали визги машин, некуда было идти Вере, негде было ей ночевать: о квартире своей, откуда она тысячу лет назад ушла в Иерусалим, она и думать не хотела, да и не было просто этого бедного жилья, зачем о нем и вспоминать, только сердце надрывать. Давно дверь взломали, все ее милое, родное на снег выкинули, иные люди заселились в веселый легкий воздух, которым она дышала. Жизнь! Всего лишь жизнь. А если бы я умерла, думала Вера, ведь некому тогда сокрушаться о потерянном жилище! Пусть люди живут там, где она жила! Пусть о ней не думают. Они ведь ее не знают. И никогда не узнают.

Заморозник усиливался, ночь уже обрушилась на город, созвездия вышили небо гладью и крестом, и Вера вспомнила, как она вышивала свою старую, еще материнскую думку. И думку выкинули, а может, сожгли. А может, сейчас на ней кто-то спит? Под щеку подложил? Ох, хорошо бы! Хоть что-то останется после нее!

Черный крест. Красный крест. Гляди не перепутай.

Она прижимала клетку с попугаем к груди, к тонкому зипунчику, подшитому козым мехом. Снег залетал в клетку, вывездил ее золоченые прутья. «Замерзнет, — думала Вера тревожно, — замерзнет как пить дать». Вот и повеселила детей. Надо в тепло. В укрытие. Снег и ветер — это война. Жесткий снег летит, стреляет, бьет в лицо из-за угла. Вера огляделась; все дневные заведения были закрыты, а ночных она бы никогда не нашла. Ангел денный, ангел ночный! Помогите мне! Где вы!

Она из раструба улицы вышла на площадь. Огни обняли ее и закружили. Фонари качались и плясали, окна вспыхивали, плыли во тьме яркими лодками, и люди, далеко и глубоко, плыли в них, переплывали время. Снег повалил сильнее, заволакивал призрачным белым кружевом граненые стаканы фонарей, и Вера чуть не заплакала — снег привиделся ей кружевами покойной Анны Власьевны, и услышала Вера легкий деревянный стук коклюшек, костяшек: это отстукивало мгновения время, а кружева лились с черных нефтяных небес, обкручивали, обвивали раненых любовью и болью, бинтовали им раны сквозные, рваные, целовали мятным детским, праздничным холодом.

И вдруг — раз, два, разошелся в обе стороны плотный морозный воздух. Мягкий медовый свет, полусфера огня, и скос старой забытой мостовой, и в круге света стоит каменный стол, а за ним люди сидят. Сослепу да издали не разглядела Вера, что за стол и что за люди. Даже и не подумала, почему не в доме, а на улице за столом расселись. Подходила все ближе, ускорила шаг, крепче клетку с дареной птицей к сердцу прижимала. Вот уже стала различать за каменным грузным столом лица. Метель поднималась. Взвихряла волосы женщин, кисти скатерти. Длинный стол, и в центре стола сидит человек. Руки его спокойно лежат на столе, ладонями вверх. Он сделал вдох, другой, так дышат дети после плача. Вера сама так прерывисто дышала, когда мать в детстве била ее за провинность, и она часами рыдала в пыльном углу. Губы распухали, рот наполнился горечью. Это другая была Вера; не она. А по обе стороны от человека — люди. Гости! Это он, видать, хозяин, всех гостей созвал. Что-то он гостям такое сейчас сказал! Будто выстрелил в них. Слово — пуля! Кому в грудь попало? А они, люди-то, отвечают хозяину — не ртами, не глоткой: жестами. Руками! Пальцами! Сложенными трубочкой губами... Свистнуть хотят, дышат, как говорящие птицы... Кто руки лодкой сложил... Кто — ладонь вперед вытянул, желая спросить... а может, доказать... О чем они? Вера не слышит. Надо подойти ближе. Ближе.

Она сделала шаг, другой вперед — да так и застыла, с клеткой в руках, с птицей, кою посекал призрачный железный снег.

Справа от хозяина сидели трое. Мужик бритый, а щетина на скулах седая, и лоснится потом сморщенный лоб, череп — овалом каменного яйца, а руки почернели от работы, будто бы их коптели на коптильне, как хариусов или свежевыловленную кумжу. Женщина, лоб туго обвязан красным платком. И кофта красная расстегнута, и видны в вороте шея и грудь, и черный потертый гайтан, и морщины, они текут по груди, как дождь или слезы с подбородка. И третья, баба, тут же, вплотную к ним сидела; три красных язвы чуть ниже рта, будто три красных клеща по скуле сползают. Три родимых пятна! Их Вера сразу узнала.

А после узнала и мужика, и бабу в красном платке рядом с ним.

Узнала — и содрогнулась. Ее отец и мать.

И тетка ее, та, что в Лесосибирске жила.

Трое... троица... живая... почему у отца на лбу колючего венца нет... той метки Туруханска...

Вера застыла. Снег бил в нее, как в бубен. Отец, Емельян Сургут, смотрел и не видел ее. Мать, Дарья Сургут, туже затянула красный платок. Вера видела все. Она ви-

дела, как мать ближе придвигает к себе стакан, как отец тяжело, натужно тянет руку к обклеенной аляповатыми этикетками бутылки, и темно-алая жидкость вырывается из горла и страшно булькает, льется в пустой ледяной стакан. Доверху стакан налил. Щедро. Тетка из Лесосибирска поглядела и облизнулась.

Слева от хозяина сидели тоже трое. Вера даже не щурилась. Глаза ее обрели речную, прозрачную зрячьсть. Узнала! Родные! Какое половодье, безумье какое... Живые! Анна Власьевна, душечка, кружевница моя светлая! Спасибо, такой нежный снег мне навеки сплела! Старушка Расстегай деловито отламывала от куска, лежащего на расписной тарелке, маленькие кусочки и весело отправляла их в рот. А что на тарелке? Пирог! С чем?.. с чем... не различить... с красной ягодой такой... кровавой...

А третья, кто же третья?.. А... узнаю... та медсестричка в столичной больничке... сестричка-птичка... уколы мне все делала, когда меня раненую с улицы в палату привезли... укол сделает — и по руке поглядит, и все приговаривает: не больно?.. не больно?.. Нет, говорю, не больно... Она меня кашей из ложки кормила...

А рядом с родителями Веры сидели еще трое. И тут парадом командовал мужик. Бритый зэк, на волю отпущенный. И стол тряся, как будто не площадь под ногами, а пол вагона, и поезд идет, вперед колесами стучит. Это он, зэк лысый, ловко вино разливал. И люди, кто что мог, подставляли. Кто чашку. Кто плошку. Кто мензурку. А кто просто руки свои. Складывал живой кастрюлькой и протягивал. И пальцы плотно сжимал. Ни капли не выльется.

Второй-то — со змеею восседал! С громадным питоном, весь в пятнах змей, как яростная яшма, а уж скользкий такой, и блестящий, будто выкупанный. Жирный, может? Вера помнила гладкость чешуйчатой страшной кожи. Она проводила по ней трусливой ладонью и тихо смеялась. Циркач, смелый Валя, змеинный царевич, и ты здесь, за столом! А, у тебя уже налито вино! Куда? В миску, из нее же питон твой ест! Все живое ест из одной миски. Не забудь.

А третий, третий... ох, волна поднимается... и сейчас опять, опять смоеет тебя с палубы — в зеленую пропасть... Алешенька!.. вижу тебя, да ты хоть скажи мне, как там, на небесах?.. ангелы поют тебе, монаху-расстриге, свои лучшие, счастливейшие песни?.. Ты коньяка хочешь, одесского?.. нет, сегодня только вино... куда тебе налить?.. в эту битую рюмку больную?..

А подале святых старух и святой молодухи сидела еще одна троица, да какая! Всех, всех узнаю, дорогие! Сестра Васса, щebetунья смешливая, ничуть ты не изменилась, все такие же хулиганские солнечные веснушки у тебя на носу! Борода ты черная, ветрами крученая, Липа Гузман, серьга морская в ухе, подпусти сибирскую матерщинку, да разве ж ты откажешься выпить на дармовщинку! Праздник есть праздник. Матушка Мисаила, древняя ты старуха, еще шажок, и схимница, прости меня! За то, что я твоих молодых смертных мук в том турецком веселом доме не знала, не приняла. Да мы с тобой обе грешницы. И мы с тобой обе — грех наш — давно отмолили! На всех исповедях! Липа, разливай! Вон они, монастырские чашки, жадно под сладкую кровь подставлены!

Двенадцать... двенадцать...

Веру как стукнули тяжелым кулаком в грудь. Она покачнулась. Клетку из рук не выпустила. Двенадцать, как она сразу не поняла! И хозяин — это...

Она встала в снег, на засыпанную твердой крупкой снега, как енисейскими перлами времен Ермака, в судороге веков выгнутую мостовую перед Господом на колени, и попугай из клетки внезапно резко крикнул, как новорожденный младенец, на всю площадь:

— А-а-а-а!

А потом — человечьи слова сумасшедше, хрипло прощепетал:

— Вся душа моя пылает! Вся душа моя горит!

И все, кто мог за каменным тяжким столом наливать вино, все всем наливали; люди подставляли стаканы и бокалы, пригоршни и чашки, мензурки и собачьи миски, и даже шапки, и даже треухи и кепки, только Вере одной нечего было под живое вино подставить. Лилась кровь Господня, изливаемая во оставление грехов, и глаза Веры жадно шарили по столу, кровь-то тут, наливают от души, а где же хлеб, где же Тело Христово, без него же никакого Причастия нет и быть не может, хлеб!.. хлеб... Дайте хлеб! Разломите хлеб! Бросьте его на каменный стол. Это самая великая милостыня! Война начнется — никто вам его, хлеб, уже не бросит! Ни под ноги, ни в руки... не спрячете за пазуху...

И видела Вера: не только двенадцать сидели за каменным столом, и призрачный, косо падающий снег не только над головами сидящих складывался в многогранники, виноградные грозди, корабли с парусом в виде месяца, медленно плывущих серебряных рыб, трепещущих крыльями смелых голубей, звездные якоря, сверкающие венцы, плывущие среди планет монограммы, вольно летящих орлов, катящиеся во мраке черепа необитаемых планет, треугольники, стрелы, восьмиконечные звезды и иные восточные тайные узоры: за ними сидели и вставали рядами другие люди, они все прибывали, и рыбаки с Енисея, и торговцы с жарких улиц Иерусалима, и старуха Лиза из деревни Верхний Услон близ широкой индиговой Волги, и загорелые, со злым прищуром, солдаты посреди сирийских руин, в пыльном пятнистом камуфляже, и оркестранты, что восторженно били смычками по пультам, когда в зале публика хлопала в ладоши, и холодно, сурово молчащий за ресторанным столом, до фарфоровой гладкости выбритый Н с беспомощными глазами нашкодившего ребенка, и кудрявая сестра Веры Марина, ее убил муж, когда она у мужа хотела украденную дочку назад похитить, и поросычье лицо Марины в застолье глядело живое, не размозженное пулями, и смеялось густо, ярко накрашенным ртом. И много всякого народу еще стояло за плечами и спинами тех, кто сидел за столом, много всех толпилось и качалось штормовыми высокими волнами, но все обступали стол тихо, никто не шумел, не гудел, не бушевал, не буянил; не выкрикивал слов шуток или проклятия.

Вера обвела всех глазами. Это все был ее народ. Посланный ей Богом на земле.

Тогда кто же такой маленький говорящий попугай, что пришипился, нахохлился и смиренно, печально сидит в золоченой клетке, посекаемый безжалостным ветром и снегом?

Может, его надо родным мертвецам и родным живым — просто — подарить?

В знак... в знак любви... и — памяти...

Птица, она же восстает... из любого огня... оживает...

После любой войны... любой разрухи... птица — на площади... на пепелище...

Феникс...

— Это Феникс! — крикнула Вера и сделала отчаянный шаг вперед.

Протянула золотую клетку сидящим и стоящим за каменным столом.

Поставила клетку на край стола.

Попугай чирикнул, как соловей.

Вера крикнула беспомощно:

— И мне!.. и мне...

Озиралась. Искала глазами пустую посудину, для вина безумного зимнего Причастия.

Посудины — не было. Ни рюмки. Ни наперстка.

Тогда из-под стола вышла, качаясь на слабых лапах, тощая рыжая собака. В снежном свете она светилась, как золотая. В зубах собака держала за дужку старое, ржавое детское ведерко. С таким ведерком Вера девчонкой играла в песочнице. Вера вынула

из собачьих зубов ржавую дужку. Протянула детское ведро отцу. Он сидел за столом всех ближе к ней.

И отец стрельнул глазами в Веру из-под голого лба, где кожа сбиралась старой гармошкой; взял в узловатые грязные, от грязи черные пальцы бутылку, в ней вино не кончалось, и плеснул молча в детское Верино ведро, не глядя, резко, жестоко, — и пролилась кровь Господня на камень столешницы, и все за столом, близкие и далекие, взяли в руки свою посуду, кто первую, кто последнюю в жизни, а хлеб, где же хлеб, как же Причастие — и без хлеба, билось у Веры в висках, хлеб, хлеб, где...

— У тебя! — визгливо крикнул ей попугай.

И Вера полезла за пазуху, за воротник козьего зипуна, и потрясенно вытащила под снег и ветер жесткую горбушку — ту самую, что люди бросили ей под ноги в концертном зале, желая над ней насмеяться. Разломила надвое. Одну половину подала отцу, другую — матери.

И разломали мать и отец Веры ее хлеб, и передавали другим людям, а те ломали куски в свой черед и другим отдавали, а те — третьим, четвертым, а те — сотням и тысячам, во тьме сушим.

И Господь поднял руку и благословил всех за Вечерей Своей.

Весь Свой народ — благословил.

— Приимите, ядите...

Когда Вера наклонилась и испила вина из детского ведерка, оно ударило ей в голову и опалило душу. Попугай глядел на Веру из призрачной клетки круглым золотым глазом.

Белые кружева мели, метались во тьме живой и заматали всех: и грешников, и святых, — укутывали то ли в родильные простыни, то ли в смертный саван.

* * *

На святой заимке не читали газет, не смотрели телевизор, не слушали радио.

Детей учили грамоте по старым книгам. Складывали и вычитали на старых бухгалтерских счетах. Электричества не было: в сумерках и в ночи жгли лучины и свечи. Иногда жгли сушеную миногу, и на всю избу соленой рыбой пахло, ее горящим жиром и ее жжеными плавниками.

Люди жили тут, как в Раю: деревья, травы и цветы росли, тайга шумела, музыкой гудел кедр, пихты и старые лиственницы, попевали овощи и ягоды, колосилась пшеница на крохотном поле — его вспахивали старинным плугом, — ржали в конюшне лошади, мычали в хлевах коровы, и слишком рядом была земля, и рядом — река, а еще ближе — небо, и иногда Вере казалось: вон он, Град Небесный, ее любимая обитель, — над ней, в зеркальных, сияющих сколами и друзьями, медленно падающих прямо в сердце облаках.

Газет не водилось, а слухи доходили. Однажды осенью слух прилетел про знаменитую столичную певицу. Утонула, а поговаривают, утопили, а еще вернее, ее любовника в убийстве заподозрили, да взяли-арестовали, руки скрутили, в тюрьму посадили. Да не в тюрьму, а в изолятор! Что еще за изолятор? Под следствием он. Наследил! Да уж точно, виноват. Из ревности утопил-то? Да кто его знает, однако! Однако, из ревности! Из-за чего же еще! Мужик, баба, любовь, злоба... звери, звери люди все...

Вера выпрямилась, слушая тот слух, и стала похожа на каменную статую той своей любимой, мертвой рыжей собаки. Как звать певицу? Вы не помните?

Как же не помним! очень даже помним! Ну, эта, очень-преочень знаменитая! Громыхало везде имя ее! Со всех сцен! Все радио ею захлебывались! Ну эта, эта, да ты, матушка, наверняка знаешь... На «зэ» вроде, зэ-зэ-зэ... Зиновия звать ее!

Вера плотно сжала губы. Окаменела лицом. Отвернулась. Пошла. Остановилась. Внутри нее раскрылось ледяным бутонем молчание и тихо, мучительно-медленно раскрывалось, как бедный, на пепле взошедший цветок.

Ни слова Вера не проронила весь день. К ней обращались — молчала. Ей в лицо кричали — молчала.

Ночь она не спала.

Утром к ней опять приступили; она молчала; и ее оставили в покое.

Люди сочли, что она дала обет молчания.

И зауважали ее, благоговейно склонялись перед ней; шептали вслед ей: «Ты уж выдержи, матушка, обет, тяжелый он, да мы за тебя помолимся». <...>

* * *

Ровно год спустя Вера сидела на берегу Енисея, у самой воды. Она молчала, внутри себя читала Иисусову молитву. Сидела на большом грузном, гладком валуне, опускала руки вниз, и пальцы ее слепо ловили камни на песке, то острые, жгучие, ножевые, то нежные, глаже женской ухоженной кожи. Енисей тек мерно и мощно, серые воды клубились и разымались, темные и серебряные рыбы метались тенями, являлись потусторонним воинством подводным. Топырили плавники копьями, штыками винтовок. Взблескивали безумными секирами хвостов. Исчезали. Хоровод лиственниц, пьяно-кривых от северного ветра, махал пожелтелыми скорбными ветвями. Река дышала близкой зимой, неизбежным прощанием. С чем? С кем? С навсегда возлюбленным, единственным? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий... За спиной Веры слышались шаги. Камни хрустели под чужими ногами. «Из насельников кто-то, вечереет, холодает, меня, матушку, сейчас домой уведут. Может, дитенка за мной послали».

Вера обернулась и прижала ладонь ко рту.

Зиновия надменно глядела на нее.

— Вот ты где. Спряталась. От людей. На реку глядишь. Гляди, гляди! Река, она...

— Здравствуй, — трудно сказала Вера и легко встала с валуна.

Тяжко было говорить после года сумрачного молчания, промелькнувшего, как один миг.

— Здравствуй! — крикнула Зиновия.

Эхо разнесло ее крик вдоль по реке.

— Что ж ты не удивляешься? — ядовито спросила Зиновия.

— А чему я должна удивляться?

— Что я жива!

— Значит, это все был обман?

Зиновия глядела на Веру глазами круглыми, совиными, торжествующими. Ее зрачки метали черные искры, а все лицо горело мрачным костром.

— Да! Обман!

Ветер собакою лизал лицо Веры.

— Зачем?

— Это я все устроила! Все так подстроила! Думаешь, легко было все состряпать?! Но я состряпала. Мне помогли! Он, гад, за решеткой. Теперь с тобой разберусь!

Зиновия шагнула к Вере, а Вера стояла столбом. Каменным столбом. Соляным. Деревянным.

«Я осенняя лиственница, а это мой последний ветер».

— Это война? — тихо спросила Вера.
— Да! — крикнула Зиновия. — Война!
— Не ведаешь, — трудно, хрипло выдавила Вера, — что творишь...
— Очень даже ведаю! Я тебя — ненавижу! Все тебя любят, все тебя любили всегда, а я тебя ненавижу!

— За что? — прошептала Вера, и северный ветер ударил ей в скуластое лицо.
— За то, что любят — тебя! Всегда! Любили! Тебя! И когда ты пела, и когда молилась!
За то, что песни твои — лучше моих!

— Лучше... хуже... зачем...
— Да! Лучше! Нет! Вру! Не лучше! Мои — лучше! Я — яркая, сильная! Меня — издалека видно и слышно! А ты, ты... серая мышь! Мышенька ты! Нищенка! Дрянь ты умоленная! Сволочь ты! Возомнила себя ангелицей! Святой! Никакая ты не святая! Серость ты и блеклость! Зола ты от костра отгоревшего! Мертвячка! Душонка твоя подлая, хищная! Меня охомутала, ко мне примостилась, подлизалась и, как я, певичкой стала! Людскую любовь, людской восторг и восхищение захотела в лукошко собирать! И к Богу ты метнулась — потому что сама нищая мышь! Не драгоценный камень ты! А серый булыжник! И песни твои — тьфу! И молитвы твои — ха, ха! Ненавижу!

Вера подставляла холодному ветру горячее лицо. Приоткрыла рот.

Ей трудно было говорить. И все-таки она говорила это.

— Зина... Ты... Это — зависть! Ненависть — это зависть!

— Да что ты говоришь! — Зиновия подбоченилась. Волны злобы морщили ее красивое, холеное лицо. Оно у нее не состарилось, за эти годы только двойной подбородок, как у дородной царицы, вырос да чуть обвисли румяные круглые щеки. — Да что ты мелешь, мышь! Это ты мне завидуешь! Люто! Еще когда мы пели вместе и выходили на сцену, все так и шептались вокруг: вот, вот они выходят и поют, как сестры, похожи, и поглядите, как эта, монашка, хромоножка, с ненавистью смотрит на великую певицу, ну да, серая монашка — великой Зиновии — яростно завидует! Великая Зиновия — бессмертна! А эта серая мышь в рясе, что она-то делает рядом с ней?! Поет?! Это она только думает, что поет! А на самом деле хрипит и квакает! Все вокруг говорили, вся публика, весь народ, что ты мне завидуешь черной завистью! Мне! Яркой и гениальной! Мне! Я — бессмертна! Да! Бессмертна!

Ветер тихо стонал между ветвей осенних лиственниц и черных кедров.

— А ты — ты сдохнешь! Помрешь под забором!

Енисей тихо гудел, шелестел за их спинами.

Раскидывал громадные, серые водяные крылья.

И облака за их лопатками воздымались крыльями; и ветер хотел поднять, оторвать их, людей, от земли.

— Святая мышь! — выкрикнула Зиновия.

Вера молчала.

— Мышь никчемная! Никому не нужна! Отребье! Мусор человеческий! Тебя забудут! А меня будут помнить всегда!

Вера молчала.

— Черт меня к тебе понес тогда в Иерусалим! Лучше бы я в тот клятый Иерусалим и не ездила! Мне тебя гадалка нагадала! Перед отъездом я к гадалке пошла! Сдуру! Она мне карты разложила! И перед зеркалом свечу зажгла! А в зеркале — ты! Мышь! Вот в этом своем черном платке дурачком! И гадалка в зеркало тычет пальцем и шипит: вот к ней, к ней должна далеко ты поехать, за три моря, в Святую Землю! Поехала, черт тебя возьми. Поскакала!

Вера молчала.

— А я-то ведь только сейчас поняла! Да! Только сейчас! Ты — мой двойник!

— Кто... — разжала губы Вера.

— Ну разве непонятно! Мы же похожи, черт, как сестры! Да нет! Даже хуже! Ты когда-нибудь в зеркало со мной вместе гляделась?! Еще скажи никогда! Да сто раз! Тысячу! Ведь ты — это я!

Зиновия схватила за руку Веру. Другую руку сунула в карман плаща. Выдернула круглое карманное зеркальце.

— Гляди!

Зиновия приблизила лицо к лицу Веры. Ветер усиливался. Сорвал шляпку с затылка Зиновии, трепал концы Вериного апостольника.

Зиновия вытянула руку с зеркальцем. Прижалась холодной гладкой щекой к щеке Веры.

— Гляди, мышь!

Вера заглянула в зеркало.

Она знала, что увидит в нем.

Увидела два одинаковых лица.

Себя — и себя.

Смотрела в оба своих лица, и вереницей, чудовищным веером раскрывались, распахивались картины их общей жизни, Вериной-Зиновииной, глядел со дна времен утопленник-сын, звучала музыка, поднималась и рушилась волна оркестра, как великанское рыдание, и гладили Верины руки Зиновиино белье на широкой, как льдина, гладильной доске, и несли чужие восхищенные руки на сцену громадные, с целый дом, букеты цветов, розы, гвоздики, тюльпаны, гладиолусы, нарциссы, и чужие послушные руки складывали бешеные, дурманные цветы в пахнущую горьким бензином машину, и набрасывала Зиновия удавку на Верину шею, хрипела глотка, летел в лоб и губы первый нежный снег, горели по всей Москве фонари, сиял коньяк в графине, и стелили усталые руки постель, и клали руки дрова и хворост в богатый камин, отделанный зеленым, как Енисей, и алым, как флаг мертвой страны, надгробным мрамором, мужская выхолненная рука брала женскую рабочую руку на уставленном заморской снедью ресторанном столе, и сжимала, как рюмку пустую, приближались к микрофону поющие губы, летела песня, как живая молитва, а молитва становилась любовною песней, так и было в начале времен; Вера ждала, когда веер схлопнется, и он захлопнулся, свернули его в тонкую полоску, в древесную сухую ветку — одним движением, резким, бесповоротным.

— Ты меня убьешь? — просто спросила Вера.

Стояла. Не убежала. Не спасалась.

— Я не тебя убью. Ты ж понимаешь. Я — убью — себя. Все, как я и хотела. Когда утонул мой сын. Я хотела — себя. Теперь у меня получится!

— Это твой Страшный суд! — крикнула Вера. Ей или себе, это уже было все равно. — У каждого свой Страшный суд! И у тебя он будет! Сейчас!

Зиновия шагнула к Вере.

Ее руки были пусты.

Ничего не было в руках Зиновии: ни удавки, ни ножа, ни пистолета, ни иного оружия.

Смерть она не держала в руках.

Она держала в руках пустоту.

А за ее плечами гудела и пела ледяная вода.

«Вода, — поняла Вера, — Енисей».

Зиновия шагнула еще, вплотную к Вере, схватила ее обеими руками, обняла.

И потащила к воде.

Вера шла, ноги сами шли.

«Куда иду? Надо бороться».

Она шла покорно, не говоря ни слова.

Им было слышно дыхание друг друга.

Они вошли в воду.

Холод обжег их ноги сквозь все чулки и юбки.

— Что ж ты не вырываешься? — шепнула Зиновия. — Тебе не хочется жить?

Они уже зашли в воду по колено.

Вера молчала.

— Это ты или я? Кто из нас сейчас утонет?

Вера молчала.

Над вечерней сумрачной, волчьей рекой пискляво, тоскливо кричали чайки. Зиновия и Вера уже зашли в воду по грудь.

И тут дно вырвалось из-под их ног, и полетело вбок, и они полетели вместе с водой и землей, взявшись, как сестры, за руки, и Вера запомнила напоследок: рука другой женщины закидывается ей за шею, больно гнет, потом ее грубо толкают в спину, она валится лицом в воду, бьет ладонями по воде, пытается выплыть, ловит заполярный, хрустальный ветер жадным ртом, ловит еще живыми руками встающие золотой закатной стеной, могучие облака, а ей тяжелую руку на темя кладут и топят, чтобы скорей захлебнулась, вталкивают, младенца, опять в мрачные и кровавые родовые пути, вдвигают ее обратно в холод, в мрачную последнюю осень, в близкую зиму, во тьму, что велика и беспредельна, нет ей конца, да и начала ей тоже нет.

ВИДѢНІЕ ГРАДА СВЯТАГО НЕБЕСНАГО ІЕРУСАЛИМА МАТЕРЬЮ ВѢРОЙ, МОНАХИНЕЙ ГОРНЕНСКАГО ЖЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛѢ

..... и огонь жадно пожирал все, что мог пожрать, и гудел, и страшно кричали люди — те, кто еще мог жить и кричать.

Вера лежала рядом с горящим автобусом. Над ней сгорбилась Зиновия.

Ожоги вспухали на лице Зиновии, на руках. Она беспомощно оглядывалась. Люди орала и ползли вон от автобуса, все в саже, ожогах и ранах.

Зиновия била Веру по щекам.

— Вера! Верочка! Очнись!

Вера лежала на асфальте, испятнанном кровью, лицом вверх, молчала.

Зиновия выдернула из кармана дамское зеркальце, прислонила к губам Веры. Зеркальце запотело.

— Верочка! Ты жива! Господи! Слава богу!

Люди кругом вопили:

— Война! Война! Смотрите! Смотрите! Это началось!

Зиновия подняла вымазанное кровью и землей лицо и посмотрела вверх и вдаль.

Над городом, который они обе покинули так недавно, вставал невиданный огонь. Пламенный гриб медленно раздувался.

— Не смотрите туда! Вы ослепнете!

Глухой гул стоял вокруг, земля превратилась в горящее небо и звучала, стонала.

Дома поблизости от дороги горели все. Зиновия ощутила дикую боль в левой руке. Покосилась: рука висела плетью, перебитая в локте.

Навстречу горящему автобусу по дороге шли дети. Они держались за животы и орала. Животы их светились, и сквозь кожу видны были кишки. Время от времени кто-то

из детей падал на дорогу и затихал. Впереди шел мальчик, он был выше всех ростом. У него из глазницы вывалился глаз и висел на нитке, и мальчик пытался заправить его обратно под лоб.

Зиновия скрипнула зубами. Плюнула. Рот полон сажи. Работает одна рука. Она подхватила одной рукой Веру под мышку и тяжело потащила, поволокла.

— Потерпи... мышенька моя, Верушенька... потерпи... мы должны...

Зиновия бормотала, будто пела колыбельную.

Обожженные люди отползали от автобуса.

День или вечер? Время исчезло. Оно потеряло смысл. Потеряло само себя. Нагие женщины валялись в придорожной канаве. Асфальт оплавился. Поодаль виднелась груда обугленных обломков. Зиновия подтащила ближе к обломкам Веру, всмотрелась и поняла — это искореженные, обожженные тела. То, что миг назад было людьми. Зиновия отвернулась, ее вытошнило на горелую корку асфальта. Люди штабелями лежали на шоссе, машины валялись, как мертвые жуки, брехом вверх, металл оплавился. Молчание сменялось страшными криками. Крики — хрипами. Потом молчание обрушивалось опять, и в полной тишине тонкий, жалобный детский голос плакал. Он пел последнюю песню.

Огненный гриб увеличивался, вырастал над городом. Зиновия старалась туда не смотреть.

— Все равно мы все умрем... зачем же тогда жить... зачем тогда мы все... жили...

Заплакала. Заревела в голос, белугой.

— Зачем же тогда я тебя спасаю! Вера! Вера!

Горы призраками вставали со всех четырех сторон. А может, это были хлопья сажи. Ветер развеивал дым и пыль взрыва. Раздувал костры. Облака наплывали, превращались в скалы и утесы. Зиновия смертельно хотела пить. Воды не было нигде. Никакой. Ни капли.

— Пить... Пить... Господи...

Она подтащила Веру к разрушенной стене дома. Дом, жили люди. Где сейчас эти люди? Так же идут по дороге, как эти дети-призраки, и стонут: пить, пить?

С рук Зиновии свисала сожженная кожа. Сломанная левая рука болталась, как маятник. Зиновия смотрела в лицо Вере.

— Вера... Мы не убергли... Это все-таки началось... теперь — покатится...

Зиновия сидела возле Веры на корточках. Потом встала, шатаясь. Мрачное небо горело. Облака горели. Громоздились пламенными торосами, сталкивались, плыли, расцеплялись. Снова склеивались, сливались. Зиновия стала ходить кругами вокруг лежащей на земле Веры, как лунатик. Она наклонялась и отрывала зубами куски кожи от своей правой руки. С обеих рук капала кровь. Зиновия вытерла руку о лохмотья юбки.

Зарево поднималось над Иерусалимом, но Зиновии это было уже все равно.

Она не глядела туда.

— Там — распятие... там распяли... туда глядеть нельзя... не гляди туда...

Она уговаривала себя, как ребенка.

Пахло машинным маслом. И бензином. Рядом горела машина. Бензин разливался по асфальту. Все сильнее хотелось пить.

— Боже... Господи... дай мне воды... воды...

Она бы встала на колени и хлебнула бензина, если б смогла.

В небе появились самолеты. Они обстреливали землю. Зиновия села на землю и пригнулась. Коснулась подбородком колен и закрыла затылок правой рукой. Боль в сломанной руке становилась все сильнее. Надо было кричать от такой боли, и Зиновия закричала.

Ей казалось, что она кричала. Из ее глотки вырвался жалкий хрип.

Времени не стало. Сумерки? День? Полночь?

— Господи... спаси нас... пошли нам дождя...

Пошел мелкий черный дождь. Зиновия задрала голову, раскрыла рот и ртом ловила капли. Потом она встала на колени и пила воду из вмятины в расколоте камне.

Огонь, дым и немного воды. И так тяжело дышать. И Вера лежит, не двигается. Может, она уже умерла.

— Вера... Вера...

* * *

...она открыла глаза и ощутила, что лежит на подстилке, сшитой из огня.

Спина горела. Это сгорели ее крылья.

Они сгорели и обожгли ей спину, и внутренности, и все, что было в ней живой нежностью и жизнью.

...ничего не помнила. И — не понимала.

...нет, немного припомнила: оглянулась, а на заднем сиденье — она сама. Сидит и усмеяется. Близнец. Глядит на нее. А она — на себя. Смотрят друг в друга, как в зеркало! Вот ужас, сказала она себе беззвучно, изыди, сатано!

...и только хотела перекреститься — как вдруг этот, Последний Огонь.

...а где сейчас-то она? Лежит? Или летит? И вдруг это пламя еще не последнее?

...ужас весь в том, что — да, последнее.

...ужас Последнего.

...начать и тут же оборвать. Рвется нить. Или ее рвут. Врут. Сами себе врут.

...бабочка. Она бабочка. Раскинуты крылья. Мрачные очи, золотые ободы. Бабочка умерла. Ее выкинули в белый огонь снега, в форточку, в ночь. И она сгорела в белом пламени. Не дали долететь.

...женщина тащит, тащит ее в укрытие, забота и любовь, они ведь тоже последние, и как она раньше не понимала, а вот теперь поняла, даже без сознания понимала, а теперь, в сознании, сама заботой и любовью стала, ко всем, да, ко всем, и к самым жалким и последним, да только ее срезали, срубили под корень, под самый комель, она лиственница, крепкая, железная сибирская лиственница, и на нее нашелся топор. Топор нашелся — на всех.

...сердце билось, колотилось, крыльями птицы трепыхалось, вот-вот защебечет, подстреленный говорящий попугай, слово последнее прочирикает: не мучь! Отпусти!

...черный крест во все небо. Широкий, тяжелый чугунок. Падает. На нее! На всех!

...так болит? Почему так все тело болит? Все тело — ожог. Всю жизнь обнял огонь. И вымазал. И выжег. Огонь, небесный елей, помазал, благословил. Все рождено в огне и в огонь вернется.

...на короткий миг, равный веку, к ней пришло сознание. Она осознала Бога, и себя, и последнюю войну, и судьбу. Сознание того, что произошло, подарило ей радость причастия, ужас бесповоротности и резкую боль навечного ухода. Не себя — всех. Она лежала спиной на земле, на горячих камнях, и не видела, как над ней, стоя на коленях, наклонялась Зиновия; она лежала, вытянувшись, так навьютяжку стоят солдаты в строю, да она и была солдат, как любой монах, монахиня всего лишь солдат огромной, бесчисленной армии Божией, она лежала-стояла навьютяжку перед небом, прибудная хромоножка, и широко, до отказа распахнув налитые болью глаза, она увидела над собой, перед собой небо, а в небе — в налетающих друг на друга, громадных черных, огненных облаках — огненный, светящийся Град.

Облака из страшных и мрачных вдруг сделались пухлыми, прозрачными, ясными, излучали веселое сияние. Они росли и таяли и опять царственно возникали из пустоты. Небесный ветер медленно, радостно нес их по великому простору, и своими призрачными вершинами они уходили в надмирный зенит.

Вера смотрела вверх, все вверх и вверх, и она увидела над собой — в облаках — Град свой Небесный, Небесный Иерусалим, мечту.

Дом плыл по небу. Дом, храм, четыре каменных стены и факелы по четырем его углам, и сверкают смарагды густой бешеной зеленью, и горят радужные, остро оговоренные алмазны, и пылают болотные, лягушки хризопразы, и жжет глаза пятнистая яшма, леопардовая шкура. Дом величиною с целую землю! Да, нас всех ждет эта земля. С четырех сторон двенадцать ворот, но разве я их сейчас смогу сосчитать? Кирпичи из сапфира, дышащего морем, узоры из змеиного халкидона! Сардоникс, сердолик мерцают углями, головешками в остывшей печи. Испеки блины ближнему своему! Пожарь картошку! Нет ничего святее и чище простой любви и заботы. А когда встанут перед тобой зимние столбы, выточенные из ледяного берилла, — обними их и поцелуй их, не бойся их. Человек не боится льда, не боится ненависти, зависти, огня и смерти. Он боится только Бога: когда нагрешит, когда убьет.

Громадный дом-корабль плыл по небесам, и борта сияли винным аметистом и лимонным топазом, а ближний Ангел трубил в трубу, и она под звездами горела, изукрашенная крупным, цвета рябины на морозе, гиацинтом. Дом жемчужно и радужно светился в небе, принимавшем то темный, то золотой цвет. Меха небесной гармонии раздувались, опали. Неужели все мы там будем жить когда-то? Мы все?

Перед домом текла река. Чистая вода. Ни грязинки, ни соринки. Ни мазутного масла. Ни яда, ни отравы. В небесах оно все так; там все чисто и благодатно. Вода в реке светится сильнее паникадила и сверкает ярче январского хрустала, а на берегу реки растет Древо Жизни; лишь раз в жизни собирает человек его плоды, а Богу и вкушать их не надо: Бог лишь поглядит на них — и сыт уже, и жив, и живет вечно.

Факелы горели, воздымались высоко по четыре стороны гигантского куба, крепко среди туч и облаков стоял дом, нерукотворно сработанный для вечности, усаженный и униженный яхонтами и перлами, как невеста, украшенная для возлюбленного мужа своего; и дальние Ангелы тоже творили музыку: один Ангел играл на скрипке, другой Ангел играл на арфе, а третий Ангел широко разевал рот. Он пел. Песня не доносила сюда, на землю. А вот арфу и скрипку было еле слышно. А вот сейчас, ура, Вера услышала трубу!

И еще немного погода — голос.

Она наконец услышала голос.

Это она сама стояла на стене Града Небесного — и пела.

Она пела о доме, Небесном Иерусалиме, прибежище и скинии любящего Бога: о том, что Град Небесный век пребудет домом прощенных, омытых от грехов, бедных людей.

Люди, вы же на краю бездны стоите! И глядите вниз. А вы лучше головы поднимите! Поднимите!

Бог восходил над Градом Небесным, Он теперь светил людям вместо утраченного солнца, и свет, доносившийся отовсюду, был одновременно и могучим, и нежнейшим. Звезды внезапно пробились сквозь облака, прокололи их серебряными стрелами, окружили дом-храм и на глазах Веры превратились в мощный сияющий заплот; он сверкал ярче алмаза и сильнее чистого золота. Вера зажмурилась: глазам больно! А сердцу, сердцу радостно. Вот ты какое, небесное счастье! Я и не думала, родное, что ты такое...

Доносились нежные переливы арфы, торжественный петушинный клекот трубы, а дальний Ангела голос пел обо всем, о чем угодно; о чем Вера желала сию минуту, о том

он и пел: о чистой холодной воде из колодца, о синей яркой воде Енисея, о зимних могучих, царственных кедрах на юру, о матери, у которой убили ребенка, о бритом зэке, что был одинок на всем свете и так хотел любви и ласки; о змее, обвивающей грудь старого циркача, о монахе-расстриге, что нашел смерть в бурном зеленом море и отправился к рыбам и морским звездам, на дно; о бандите, что пулю в живот получил от слабой испуганной бабы, об нее уже ноги вытирали, как о старый ковер, и ждали ее лютые муки и скорая смерть; о колючей проволоке, о празднике, где плещутся красные кровавые флаги, о метелях и вьюгах, безумнее белого пламени, что плела на коклюшках, напевая тихую песню, толстая старая кружевница, выплетая опухшими узловатыми пальцами белые пихты и белые сосны, белую фату и белый саван, призрачные нежные снега и белые прозрачные облака, и о том Огне, что в этом году на Пасху в храме Гроба Господня, видать, не зажегся, вот оно все вниз и покатилося. И тонкая, паутинная жалоба скрипки в руках дальнего, на западной стене, строгого Ангела с буранными крылами надвое разрезала Верину еще живую душу.

Великое счастье объяло ее. Счастье случилось, какое послано видение!

И вот оно, вот! Бог идет по улице Небесного Града, по золотым ее камням. Бог спускается к Вере своей по золотой лестнице: ступени горят, Ангелы по обеим сторонам золотой лестницы реют, трепеща крыльями в чистоте сияющих небес; Бог спускается медленно, нащупывая невесомыми стопами пылающие золотые ступени, вот Он все ближе, и Вера уже может рассмотреть Его глаза, Его улыбку.

Да Ты же тоже человек, думает она смущенно и потрясенно, ну да, я так и знала, Ты всегда был человеком, Ты же на землю, к нам, человеком пришел, Ты и сейчас, в День Последний, нас не оставишь! Она бормочет: я смерти не боюсь, нет-нет, совсем не страшно, а там, на небесах, меня встретит в воротах Рая моя собака, Рыжуля? Она слышит голос: «Сие есть дочь Моя возлюбленная!». По-русски Он говорит? По-арамейски? На языке души? И вот Он рядом с ней, и садится возле нее на корточки, и она видит: Он тоже обожжен, кожа Его вспухает призраками последних ожогов, и Он почему-то в летной форме, погоны сверкают, пилотка, выпачканная сажей, сползает на затылок, падает наземь, и Он встает на колени, наклоняется и крепко обнимает Веру.

И вокруг до неба встает музыки чистое пламя, Ангелы играют все громче, и громко и прозрачно, на весь мир, на всю войну поет последнюю песню самый далекий Ангел, да он еще ребенок, и снеговые его, метельные крылья раскинулись на полнеба; на полнеба — метель, и на полнеба — пламя, так заведено, так Бог положил жить всем нам, и только два лица сияют, мерцают рядом — Бога лик и Верино лицо.

И оба лика — уже икона, золотая, горькая. А грязь на ней превращается в скань. А кровь, ею исполосована, щедро залита икона, обращается в благовонное миро святое; вот она, люди, последняя беспомощная, безумная сказка ваша. Последний ваш, слезами залитый святой образ. Последнее объятие: старый, в морщинах, без имени узник, грязный, небритый, слезы ползут по щекам и горят жемчугами прозрачными, призрачными, стоит на коленях перед лежащей молча, смиренно безымянной бабой, черная ряса черным ковром лежит на ярком белом снегу, а может, на солнечном жгучем песке, руки старика живыми, обожженными ветвями, золотыми небесными водорослями, рыбами, любовно играющими в пахтанье небесного океана, обвивают лежащую, светло-бездыханную, нет, еще дышит. Последнее дыхание. Сияние последнее. Отец напоследок обнимает Дочь, девочку, счастье, великую Веру свою.

* * *

...а рядом горько плачет, сидя на сожженной земле, уткнув лицо в грязную кровавую ладонь, еще живая женщина, черные волосы ее развилась, и перепутались, и вы-

мокли в крови, и рука висит вдоль тела мертвым канатом, и колени бесстыдно расставлены под истлевшей юбкой, и грудь изранена шальными осколками камня и железа, а ведь еще вчера она была поющим Ангелом, ребенком, и стояла на стене алмазно сверкающего в небесах дивного вечного Града, и пела — со звезд — людям о любви великую, вечную песню.

* * *

Ничего, ничего, я шепчу себе, ничего, мы еще поживем.
До того, до того, до того, как однажды умрем.
На чело, на чело положите немой поцелуй.
Ничего, ничего, это снег, лепет его в ночи перевитых струй.

Никогда, никогда, никогда я больше не буду такой —
Молодой, кровь с молоком, стоящей над ледяною рекой
В этой шубе волчьей,
В чужом кудрявом табачном дыму,
Около печи холодной, молча, в родном рыдальном доме.

Мир — родильный дом,
Мы рождаемся заново всякий раз.
Бог глядит нам в слепые прорези
Прижмуренных от лисьего визга глаз.
Не забудь, не забудь, я шепчу себе, тот, под березой,
Во мху синего инея
Ржавый замок,
Что целовала ты на морозе,
Под собой не чувствуя ног.

Подожди! Подожди! — я кричу. Свечу зажги! Надвигается рать!
Не гляди, не гляди, не видать ни зги, как буду я умирать!
Да не буду, конечно, нет, врет богослов, я останусь жить —
В этой белой палате, во вьюге бинтов,
Мне здесь голову не сложить.

Ты не верь, не верь, если скажут тебе, что меня больше нет.
Просто выйди и закрой дверь. Выйди и выключи свет.
Ничего, ничего, так шепчу себе, я ведь просто храм на Крови —
Мы еще поживем, мы еще поцелуем
На страшном морозе
Стальной окоем —
В Вере, в Радости и в Любви.

...Ты еще помолись, поплачь, я с тобой вдвоем,
Ты еще поживи, поживи.

КОНЕЦ ЗЕМНАГО ХОЖДЕНИЯ ПО ГОРЮ И РАДОСТИ
СВЯТОЙ ВЪБРЫ

Константин КОМАРОВ

* * *

Так залипает в мертвом джеме
ко всем оглохшая душа.
Дождей джедаи и диджеи
июль осенний потрошат.

Я в нем случайно оказался,
пройдя сомнительный отбор,
ни от чего не отказался,
отправив совесть на аборт.

Здесь солнце долго не кончает
кислотный выдавать паек,
и хлорист здесь, как крики чаек,
питья рыхлистого чаек.

Здесь в плесени усталых песен,
чей ритм навсегда протух,
в пустотном и постыдном сексе
скисает одинокий дух.

И вдаль развернутые степи
осваивают до нуля
здесь посетители постелей
и прочие писателя.

Под гнетом лужанья и лязга
растет в мозгу сухой нарыв.
Ржавеет детская коляска,
и наступает перерыв.

Мне не нужна чужая ласка.
Я собираюсь на прорыв...

* * *

В доме пахнет горячей водой,
у которой есть выход и вход.
Пальцы пахнут тобой, но не той,
потому что и сам я — не тот.

Константин Маркович Комаров родился в 1988 году в Свердловске. Поэт, литературный критик, литературовед. Кандидат филологических наук. Стихи публиковались в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Урал», «Дети Ра», «Нева», «Новая Юность», «Волга», «Сибирские огни», «День и ночь» «Вещь» и др. Финалист премии «Лицей» (2018). Автор нескольких книг стихов. Участник и лауреат нескольких поэтических фестивалей. Живет и работает в Екатеринбурге.

Тяжело выдыхает земля,
зимний голос ее нездоров,
мутно движутся пыли поля
по конвейеру серых ковров.

И сегодня седеет, как ртуть
протопившего сердца пера.
И заезжен заснеженный путь,
что уводит тебя во вчера.

Но пустеет волшебный колчан
снов, направленных в злую зарю.
Я еще говорить не кончал,
но уже говорю, говорю...

И приметив в окно примитив
безлюбовной свердловской зимы,
отпускаю тебя в коллектив —
растворять в чуждом «я» наше «мы»,

ибо дальше уже не продлю
этот стихший до вечера стих.
Только ветви рисуют петлю
на деревьях, уставших от них.

Я тебя не люблю, но люблю.

* * *

Протянулся размякшим тюленем
мой туннельный и уксусный сон,
где, к твоим прижимаясь коленям,
я в тебя в лобовую влюблен.

Этот сон пробужденья боится —
провокатор проекций былых,
но рассвет вечно пахнет больницей,
больно бьет санитаром — под дых.

Ну а мне, между прочим, за тридцать,
обостриться грозит всякий миг,
с каждым днем тяжелее бодриться
и настойчивый сдерживать крик.

Все грозней выжиданье момента —
голевого — у адских ворот,
все активней фейсбучная лента —
коллективный базлающий рот.

В общем, как-то все слишком фатально,
до последних гнилых потрохов,
и витальности тлеют фонтаны,
и тускнеют фотоны стихов.

И нервишки сложив, как сардины,
в захламленный телесный сераль,
я алкаю сплошной середины,
серым жажду быть, как сарай.

Не исцелится эта разлука,
но иззябшим январским чижом
в горле колетса колокол звука,
соловьиным сословьям чужой.

И рубя себя в разных кроватцах,
я надеюсь — сегодня и впредь —
лишь столкнуться с тобой, столкнуться
и на новую жизнь отвердеть.

* * *

Они ожидают за дверью —
закрытою — клетки грудной.
Приятно в забавы забвенья
впасть, памяти дав выходной.

Приятно порою вечерней,
слепой пропилив пропилен,
в воздушное впасть в заточенье,
в зачатья словесного плен.

Сегодня я лишь перевозчик
нетрезвых танцующих слов,
с немых языков переводчик —
для светлых и звонких голов.

Да будет мой путь не линеен
под сводом небесной брони.
Да будет та ночь подлиннее
и подлинней серые дни.

Выкручивай, голос, греми там,
расшаркивай скромный талант.
Да будет последним гранитом
тебе этот странный гарант!

* * *

Не хлопать — хлопотать
над каждой буквой, строчкой,
забыть отца и мать,
остаться одиночкой.

Отринь земной уют,
суровой рифмы воин.
Здесь больше не поют.
Нет, не поют, а воют.

Но в индексы весны,
и осени, и лета
навек внесены
дыхания поэта.

Три душу, сердце трать
и успевай под снегом
бессмертно помирать,
чтоб помириться с небом.

* * *

Марочная морока,
кислая благодать.
Надо свалить в Марокко
и апельсин глодать.

С «ними» ты или с «нами» —
в барчик не лезь, барчук,
не увлекайся снами,
чтобы уснуть без мук.

В тридцать трудней, чем в двадцать,
деву вести в кровать,
весело целоваться,
радостно гулевать...

Раньше хотел величья,
пыжился, будто хряк.
Ну а теперь наличье —
это уже ништяк.

Утро засветит пудрой
бледность моих седин,
словно вискарь премудрый,
как салтыковщедрин.

* * *

Все дни мои прострочены
одним глухим стежком,
и пахнет смерть просроченным
стиральным порошком.

Спят молча, как соления,
звонки былых подруг,
и смысла отслоение
не замечает звук.

Как будто в планетарии
Сатурном левым стал.
Кружусь, как пролетарии,
что видят капитал.

И совесть отвердевшая
застыла навсегда.
Живу, как отвертевшийся
от Страшного суда.

И все грехи прощаются
(привет, большой приват),
и вид мой поощряется
(хоть малость кривоват).

Мечу тузы козырные
в ограбленном стихе,
и, как мячи корзинные,
лежат слова в башке.

Но сварен кофе утренний,
и света до фи́га,
и в мир вливает внутренний
пирóга пирога́.

И я еще не выдворен
в последний свой рыдван,
пока у горла — бритвою —
несметных строк братва...

Татьяна ОКОМЕНЮК

РАССКАЗЫ

РАССТРЕЛЬНЫЙ СПИСОК

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...

Ф. И. Тютчев

Утро понедельника в десятом «Б» начиналось уроком информатики. Не до конца проснувшиеся старшеклассники проводили это время как у бога за пазухой. Одни безнаказанно досыпали, положив голову на компьютерную клавиатуру. Другие о чем-то мечтали, тупо уставившись в монитор. Третьи погружались в недра своих смартфонов, где их ожидали свежие ролики YouTub(a), смс-переписка, чаты и форумы. Девчонки лайкали фоточки и постили гифки с котятами. Парни играли в Counter-Strike и искали свои дома на спутниковой карте. Секрет этой вольницы был прост, как грабли: ребят никто не видел и не слышал. Они находились не в здании школы, а в отдельной постройке. Раньше здесь были производственные мастерские, которые после ремонта учебного заведения перевели в более просторное помещение. Освободившаяся же классная комната превратилась в кабинет информатики и вычислительной техники, или «игровую площадку», как ее окрестили ученики.

Но дислокация помещения была не главной причиной «Гуляйполя» на первом уроке. Ею был учитель информатики Олег Петрович Чистяков по прозвищу Пиксель, пожилой болезненный мужчина, дорабатывающий последний год до пенсии.

Он никогда не повышал голос, не делал ребятам замечаний, не добивался усвоения программы, не настаивал на посещениях своих уроков. С любознательными занимался дополнительно, разгильдяев игнорировал, не желая попусту расплескивать свою психическую энергию.

Движения Чистякова были плавными, реакции — неторопливыми, речь — тихой и монотонной, как у гипнотизера, погружающего пациента в глубокий сон.

Вот и сегодня он молча кивнул на приветствия учеников, неспешно прошел к своему столу и погрузился в изучение справочных таблиц.

До начала урока оставалось еще восемь минут. Соскучившиеся за выходные старшеклассники обменивались новостями. До слуха Олега Петровича то и дело доносились их забавные реплики:

Татьяна Владимировна Окоменюк родилась в 1962 году в Днепропетровске (Украина). Окончила филологический факультет Тернопольского государственного педагогического университета. Публикуется в литературных журналах Германии, Австрии, России, Беларуси, Греции, Бельгии, Франции, Чехии, США, Израиля, Латвии, Украины. Автор 20 книг художественной прозы, изданных в Германии, США и России. Лауреат литературных премий имени: А. С. Грибоедова, А. П. Чехова, А. Т. Твардовского, Л. Н. Толстого, В. В. Маяковского, святого благоверного великого князя Александра Невского. Живет во Франкфурте-на-Майне.

— Объясняю для дебилов: мобильный сканер тела — это специальное программное обеспечение, превращающее обычный телефон в устройство, способное просвечивать одежду. Скачиваете прогу со специализированного ресурса, активируете ее и спокойно любуетесь голыми девками...

— А что смартфоны? Одни понты! По причине убогого интеллекта, девяносто пять процентов их обладателей не используют и десятой доли имеющихся возможностей, но стадное чувство не позволяет им отказаться от обладания престижным девайсом...

— Лично мне планшет не нужен. Он не удобен. Экран постоянно залапан пальцами. Хардовая начинка не дает возможности ни подогнать его под свои нужды, ни заапгрейдить. А после издыхания батареи вообще дешевле купить новый...

— Память у него — шестнадцать мегабайт. Шестнадцать мегабайт, Карл! Это — не память, это — склероз...

— Он как крутой антивирусник мониторит мою страничку каждые полчаса. Пройкал уже ее всю от начала до конца. Ну, не муфлон?

«Какие продвинутые нынче юнцы! Погрузились в виртуальную реальность и чувствуют себя там как рыба в воде, — подумал Чистяков. — Да что там юнцы, если мой собственный двухлетний внук уже водит крохотным пальчиком по экрану планшета, самостоятельно запуская просмотр нужных ему мультиков...»

В классе раздался неодобрительный гул, сопроводивший появление высокого худого парня с угревой сыпью на лице и брекетами на зубах. Одет он был в куртку странного покроя и трикотажную шапку «петушок» с надписью «Вижу цель!». Звали юношу Антон Мольченков. В десятом «Б» он был новеньким. Полгода назад вместе с матерью и младшим братом парень перебрался к деду в Энск и за это время так и не сумел стать для одноклассников своим.

— Кульный куртячок! Дашь поносить? А, Моль? — бросил ему Юрка Баев, и все присутствующие гаденько захихикали.

Антон катнул желваками, но промолчал.

— А давайте всей бандой сделаем селфи и сразу запилим его в Inst(y), — предложил Ленька Луценко, доставая из кармана смартфон.

Подростки выстроились у стенки под стендом со схемами управления компьютером.

— Чиииз, — протянул Леонид, но тут же осекся. — Отбой! В объектив попала Моль.

— Испортил фотку, чмошник! Уползай из кадра! Че залип, опарыш? Шевели поршнями! — загомонили ребята.

Нервно дернув плечом, Мольченков отошел к окну.

— Чиииз, — повторил Луценко.

Все растянули губы в резиновой улыбке и растопырили пальцы, изображая «victory hand».

Прозвенел звонок. Чистяков оторвал взгляд от справочной литературы.

— Кто сегодня дежурный? — поинтересовался он, раскрывая классный журнал.

— Я, — крутнулась на подъемно-поворотном стуле Ира Богатырева.

— Кто отсутствует на занятиях?

Беглым взглядом девушка окинула присутствующих.

— Черкасова и Затонская болеют, Черняка забрали на соревнования, Салтаев на разборках в кабинете директора, и... Вовка Игошин... Этот, может, еще подойдет...

— Было бы очень мило с его стороны, — едва слышно произнес учитель, записывая на доске тему урока. — Сегодня мы будем заниматься кодированием графической информации.

— Не будем! — раздался возбужденный голос Мольченкова. — Тема нашего сегодняшнего урока: «Учимся отвечать за базар».

— Что, простите? — вскинул седые брови Пиксель, называвший свое пребывание в десятом «Б» театром одного актера. Появление второго его несколько озадачило.

— Йеееесс! У нашего селфи уже шесть лайков! — дернул вниз ручку воображаемого паровозного гудка Ленька Луценко.

Его восторга никто не разделил. Все заинтригованно смотрели на новенького. Тот включил на смартфоне функцию видеозаписи и, поместив его в специальное наголовное крепление, натянул конструкцию на свою башку. Не иначе, хотел занять руки чем-то другим.

— Утро перестает быть томным, — хихикнул Витька Окуньков. — Наша Моль дает гастроль.

— Молчать! — рявкнул Антон, доставая из правого кармана пистолет Макарова — именное наградное оружие своего деда-отставника. — Сейчас я буду вас судить. Публично. Пост об этом в Kaleidoskop уже запилен. Ведите себя прилично — идет онлайн-трансляция.

— Ты че, плана обкурился? Спрячь свой пугач, удолбьш! — пробасил Юрка Баев.

— Пугач? — оскалился Мольченков и тут же выстрелил в сторону информационного стенда с выдвигаемым стеклом. Последнее разлетелось вдребезги, ранив осколками Никиту Кулика, сидевшего ближе всех к выбранной Антоном мишени. Увидев, как обгадется кровью рукав его белого джемпера, Никита сделался бледным, как вампир.

Чистяков облизал мгновенно пересохшие губы, дважды пшикнул себе в рот из ингалятора и со словами «Парень, ты уже борщишь!» пошел прямо на Мольченкова. Последний выхватил из кармана гранату и, подняв ее над головой, процедил сквозь зубы:

— Не втыкайтесь в наши терки, Петрович! Не толкайте на беспредел — в моем расстрельном списке вас нет. Если сейчас же не сядете рядом с подсудимыми, все вместе взлетим к праотцам.

Кадык мужчины нервно задергался, по щеке скользнула судорога. Медленно, как сомнамбула, он двинулся к раненому Кулику. Снял с себя галстук, наложил парню жгут на нижнюю треть плеча и тряпичной куклой упал на свободный стул.

Антон тем временем взошел на подиум и сел на место Чистякова, положив перед собой гранату и пистолет.

— А сейчас все выстраивайтесь полукругом, лицом ко мне!

Ребята, сидевшие по периметру класса — лицом к компьютерам и спиной друг к другу, — съехались на своих «роликовых» стульях в центр комнаты. Повисла тишина, нарушаемая лишь свистящим дыханием Пикселя.

— Что ж, приступим к суду чести... — начал Антон, но тут раздался скрип дверных петель, и в образовавшейся щели показалась голова в цветастом платке.

— Че у вас тут бабахает? — поинтересовалась техничка баба Зина. — А, Олег Петрович?

Не получив ответа, женщина просочилась в помещение.

— О! Это ж кто так нагадил? — устала она на устилающие пол осколки и белую штукатурную пыль. — Тут же было стерильно, как в операционной, сатаноиды вы желтоглазые! А че кружком уселись, как эти... анонимные алкоголики?

— Шла б ты, баб Зин, по своим делам, — посоветовал ей Мольченков. — Не мешала бы правосудию...

— А кого судют-то? — поинтересовалась уборщица, поправляя на необъятной груди синий рабочий халат.

— Да скотов одних, — кивнул он подбородком в сторону одноклассников, — не привыкших держать ответ за свой базар.

Подслепогато прищурившись, женщина наконец разглядела, что за учительским столом сидит не Чистяков, а какой-то чудик со странной конструкцией на голове.

— А-а-а, — протянула она понимающе, — спектакль репетируете... Не буду вам мешать. Токо свинство свое ликвидируйте. У меня руки не казенные без конца за вами подтирать.

Техничка развернулась и, похрустывая осколками, потопала к двери.

— Баб Зин... звони ментам... — севшим голосом просипела Ларка Матвеева. — Моль — террорист, он убьет нас... — но та ее не услышала.

— Разъясняю всем присутствующим и сочувствующим, — зазвенел металлом голос парня. — Я не террорист, не принадлежу ни к каким группировкам, не беру заложников, не выдвигаю требований. Левые жертвы мне на фиг не нужны. Я восстанавливаю справедливость, наказываю виновных, творю суд чести... Те из подсудимых, кто станет на колени и искренне попросит прощения за все свои мерзости, останутся в живых. Даю слово DEMONa ADA. Кто не в курсе, это — мой никнейм с юзерпиком бро-нированного монстра.

— Банда! Наше реалии в Kaleidoscop(e)... уже заюзали в лохмотья. Каментов — хренова туча, — возбужденно выкрикнул Ленька.

— Дай сюда телефон! — приказал ему Мольченков. — Быстро!

Опасливо косясь на гранату, Луценко выполнил команду.

Антон впился взглядом в дисплей. По телу парня прокатилась горячая волна адреналина. Возбужденные комментаторы бушевали и неистовствовали:

Чучело-Мяучело

Еще один переиграл в онлайн-игры. Пора вязать болезного. Барбухайка — на выезд!

Вылысыпыдыст

+500. У чела кукушка поехала — сезонное обострение.

Чумавой динозавр

Не наезжайте на чувака. Пусть действует. Маманька мне как раз тазик попкорна подогнала.

Шаман-наркоман

Не впрягайся за конченого. Пока не было соцсетей, только близкие знали, что ты — дебил.

Толик_Алкоголик

Ниче не дибил. Око — за око, зуб — за зуб! Респектабль!

Трусы_На_Заборе

Пральна! Нужна ответочка. Другим неповадно будет!

Я Бох Ты Лох

Я DEMONa знаю. Он с моей бабулей по соседству живет. Это — Тоха Мольченков из четвертой школы. Он вроде нормальным был. Хотя...

Дедушка с веслом

Ставлю Мерс против слепой лошади, что DEMON ссыканет довести вендетту до победного конца.

Жирная но мирная

Вы че, бараны, творите? Вы ж этого невменька конкретно подстрекаете. Он и впрямь может всех замочить.

Чучело-Мяучело

Лайк. Кста, кто-нить ментам маякнул? Там же дети!

Блоха в скафандре

Не дети, а сволочи, троллившие лолика полгода. Дедовщина на-ка-зу-е-ма!!!

Антон самодовольно хмыкнул: «Вот ты какой, мой звездный час!» Он много раз прокручивал эту сцену в своем воображении и сейчас испытывал настоящий кайф, ни с чем не сравнимое удовольствие от вкушения блюда, которое подают холодным. Парень чувствовал себя киношным мстителем, отстаивающим справедливость. Им восхищались, ему сочувствовали, его оскорбляли. И было совсем неважно: хула звучит в его адрес или похвала. Главное — он был в центре внимания молодежного сообщества. И сообщество это сучило ногами в предвкушении «развития сюжета».

— Так вернемся же к нашим баранам... — произнес Мольченков, постукивая по столешнице рукояткой «макарыча».

На мгновение его взгляд задержался на латунной пластине с лазерной гравировкой: «Майору Мольченкову А. В. за доблесть, честь и отвагу». У него с дедом одинаковыми были не только фамилии, но и инициалы. «Это — знак свыше, — решил Антон. — Само провидение указывает на то, что никакая я не моль. Я — крутой чувак, и лошить меня — себе дороже».

— Начнем с левого фланга — Твой выход, Луц!

Слабо веря в серьезность намерений одноклассника, Луценко вышел на середину класса, положил руку на воображаемую Библию и с пафосом произнес:

— Клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды!

— Отставить клоунаду! — рявкнул Антон. — На колени, придурок!

Парню очень не хотелось унижаться. Он был не последним человеком на русскоязычных видеохостингах. Один его ролик даже попал в тренд, за три дня собрав на YouTube полмиллиона просмотров. Ленька, как никто другой, знал: в Интернете ничего не спрячешь. Если однажды там пукнул — это презент на века. Стоит ему сейчас расшаркаться перед Молью, и репутацию уже не восстановить.

— Не тупи — шарахну, — прошипел теряющий терпение Мольченков.

— Собрался — так стреляй. А то разговариваешь и разговариваешь, — процитировал Леонид героя вестерна «Хороший, плохой, злой».

Антон выстрелил в пол в двух сантиметрах от ноги «подсудимого», и тот как подкошенный упал на колени.

— Грешен, многогрешен, — прогундосил Ленька, уставившись в отверстие, которое проделала в линолеуме пуля. — Прошу прощения за все...

— За что конкретно?

— За... я не помню...

На губах Мольченкова застыла презрительная улыбка.

— Хорош Павлика врубать! Покайся, и все будет адидас.

— Я... — задумался Ленька, — В столовке плюнул в твою тарелку... Стебался над твоими фотками Kaleidoscop(e), писал в каментях, что ты — олень тупорылый, мастдайщик и терпила лопухий... Когда ты зарегистрировался в группе трансовиков, обзывал тебя дебильным кислотником...

— Еще!

— Когда завучке кто-то слил наше намерение прогулять контрошу и она нас запалила, я сказал, что именно тебе надо настучать по хлебалу и вместе с другими пацанами нассал в твой рюкзак...

— Еще!

— Раздавил ногой твою флешку... Притырил твоё зарядное устройство... Советовал тебе спрыгнуть с крыши многоэтажки... Прости меня, Моль, я раскаиваюсь.

— Не моль я тебе, а Антон Вадимович. Повтори, козел педальный!

Луценко нервно заерзал, но возражать не стал.

— Раскаиваюсь, Антон Вадимович. Больше не повторится.

— Пшел вон! — махнул рукой Мольченков после некоторой паузы. — Следующий!

Никто даже ухом не повел.

— Че гасишься, Мороз, выходи на правеж! — бросил Антон Тимуру Морозовскому.

Тот встал, но с места не сдвинулся — передняя часть его брюк от паха и до колен была совершенно мокрой.

— Вот такие вы у нас крутевичи! — ехидно хохотнул «судья». — Как всей стайей одного долбашить, так смелые. А как ответочка прилетела, так кипятком мочитесь! Ладно, пропустим пока твой ход, обтекай...

По кабинету прошелестел ропот негодования, но одернуть распоясавшегося одноклассника никто так и не решился.

— Ваш выход, мадмуазель Матвеева, — недобро прищурился Антон.

— Никуда я не пойду, — взмахнула наращенными ресницами первая красотка класса.

— Куда ты денешься, овца клонированная! — и юноша выстрелил в ее сторону.

Пуля пролетела над головой Ларисы, угодив в корпус графопроектора — дзеннь.

— Следующая продырявит твою тупую башку.

Нервно теребя сережку, девушка направилась на место «правежа» и едва слышно произнесла:

— Излагай свои претензии.

— На колени, живо!

Ларка не двигалась. Гордость не позволяла ей выполнить приказ парня, которого она глубоко презирала.

Мольченков направил пистолет прямо ей в голову.

— Считаю до трех. Ррраз... Два...

Глаза Матвеевой наполнились слезами унижения, и она медленно опустила на колени.

— Я... прикалывалась над твоей татушкой, — едва слышно прошептала она. — Когда ты фотки запилил в Inst(y), написала в комментах, что ты — атомный красапет и... везде отсвечиваешь в одних и тех же шмотках. Когда ты смс-ками стал меня доставать, я сделала скриншоты... и выставила их на всеобщее обозрение.

— Зачем? Хотела за счет моей симпатии заработать дополнительные очки?

— Нннет... чисто поржать...

Мольченков был обескуражен бесхитростным ответом красотки и слегка растерялся.

— Ларка что, оговорила тебя? Высосала из пальца что-то несусветное? Нет! — подал голос главный обидчик Антона качок Баев. — Ты замутить с ней хотел? Хотел! Татушка твоя лоховская? Лоховская! Одежки олдовые юзаешь? Юзаешь! Так какого пристебался к девчонке? Каждый чел имеет право на собственное мнение.

Крыть было нечем. С Матвеевой пришлось закруглиться — не хватало еще прослыть беспредельщиком, у него ведь не суд Линча, а «суд чести».

— Извиниться не хочешь? — обратился он к девушке.

— Из-ви-ни, — процедила она сквозь зубы.

— Свободна, как беспроводная мышь!

Ларка поднялась с колен и, глядя себе под ноги, направилась на «скамью подсудимых».

— Ну че, адвокат, дошла и до тебя очередь? — обратился Антон к Баеву. — Шагай сюда!

— Ща, только копыта подобью, — почесал тот крепкий, как кувалда, подбородок.

Юрка развалился на своем стуле, широко расставив ноги и скрестив на груди руки. Парень вел себя так, будто все происходящее его не касается. Это вывело Мольченкова из себя и со словами «Объем бицепса не влияет на скорость полета пули» направил на Агеева ПМ.

— Завидууй молча, дрыщ бухенвальдский, — хохотнул тот в ответ, перекатывая во рту жвачку.

— Незачет, — зазвенел от напряжения голос Антона. — Передай своим родакам последний привет.

На лице Баева не дрогнул ни один мускул. Он встал на ноги и помахал в камеру рукой.

— Пап-мам, это я! Наша Моль пропустила прием у мозгоправа и слетела с катушек...

— Разнесу черепушку! — перебил его пребывающий на грани срыва Антон.

— Разноси! Че залип? Очкуешь?

Раздался выстрел. Пуля попала юноше в горло. Из разорванной артерии на сидящую рядом Ирку Богатыреву фонтаном ударила кровь. Та пронзительно закричала и тут же лишилась чувств. Увидев окровавленных одноклассников, Рита Сырина в безумном порыве бросилась к двери.

Переполненный адреналином Антон машинально выстрелил по движущейся мишени. Взмахнув руками, девушка рухнула на осколки разбитого стекла. Образовавшаяся под ее телом темно-красная лужа стала медленно растекаться по линолеуму.

Чистяков схватился рукой за левую половину груди. «Подсудимые» разом оцепенели, поняв, что Моль не блефует. Что «суд чести» — не шутка и не игра, это — публичная казнь.

Антон тем временем пытался взять себя в руки. От напряжения и страха внутри у него все вибрировало. Стараясь не смотреть в сторону распластавшихся на полу одноклассников, он придвинул к себе Ленькин телефон и уставился в ленту комментариев. Внимание к «реалити-шоу» не ослабевало:

Виртуальная Сопля

Один покоялся. Прав был Аль Капоне — добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Гыыы...

Дедушка с веслом

Зуб даю: застремается и соскочит.

Чучело-Мяучело

Поздно соскакивать. Следи за сюжетом.

Ты Сдох-Мнепох

Первый пошел! Гаси остальных! Господь своих узнает.

Ляськи Мясяськи

Клюв прищелкни, обсос! А вы, модеры, куда смотрите? Почему не баните подстрекателей?

Хрум-Хрумыч

Ох, ты ж йопт... И правда щмальнул...

Доктор Зло

Вторую мочканул. Кааапец! Кровищи-то сколько!

Глиста в скафандре

По DEMONу плачет каторга.

Чучело-Мяучело

Ну, хоть кто-то. Родаки, походу, на него болт забили.

Я Бох Ты Лох

+100. Папашка от них сдригнул сразу, как узнал, что у младшего — ДЦП. Мать — неотлучно при калеке, ей совсем не до Тохи, а дед сейчас в госпитале лежит — его на пешеходном переходе сбил джип местного мажора. Толковый дядька, между прочим, — военный пенсионер с кучей наград.

Вылысытыдыст

Так он что, дедовский пестик спер, пока тот в больняке валяется? Вот ушлепок! Интересно, сколько патронов в обойме этого «ПэЭма» — 8 или 12, как у модернизированного...

Гамадрила

По итогам узнаем. ПравохрЕнители уже в курсе. Ща эту Чикатилу стреножат, а потом ошкурят.

У парня задергалась щека, лоб покрылся холодной испариной. Откуда-то из глубины желудка стал подниматься страх, холодный и липкий, как змея. Похоже, сообщество его недопоняло. Никакой он не Чикатило. Он — Робин Гуд, Монте-Кристо, Тиль Уленшпигель. Благородный мститель, защитник поруганной чести, рыцарь возмездия...

Антон не знал, что делать дальше. Ему хотелось прекратить трансляцию и убежать куда-то далеко, надежно спрятаться и никогда не покидать своего укрытия, но было поздно. С выстрелом в Агеева точка невозврата была пройдена. О нечаянном убийстве Риты Сыриной ему даже думать не хотелось. Опять же, онлайн-трансляция, будь она неладна. Пойди он сейчас на попятную, будет выглядеть труслом, бездарно сдувшимся на полпути. Стало быть, обратной дороги у него нет.

Печальные размышления Мольченкова прервало появление «персонажа, не заявленного в программе».

— Всем пис, мейк лав, нот вар и все такое! — с джинсовым рюкзаком на плече и наглой улыбкой на губах на пороге стоял Вовка Салтаев — хулиган, прогульщик и двоечник, хроническая головная боль педколлектива. — Прошу соряна за опоздание — дерик уже задрал меня своим отчислением...

Вовке никто не ответил. В классе стояла гробовая тишина.

— А че табло у всех такое кислое? — обратился он к поигрывающему пистолетом Антону. — Чем занимаетесь?

— Ужастик снимаем, — нашелся тот. — «Расстрельный список» называется.

Салтаев бросил недоуменный взгляд на одноклассников и, только прикрыв за собой дверь, увидел лежащую в луже крови Ритку Сырину, раненого Никиту Кулика, белого, как таблетка аспирина, Чистякова...

Парень протер кулаками глаза. Видение не исчезло.

— Че ж за день седня такой... высадный, — сплюнул Вовка себе под ноги, сбрасывая с плеча рюкзак. — Зашквар за зашкваром. Хотел же прогулять вместе с Игошным, так нет — приперся, фантик ушастый, — и тут же швырнул свой рюкзак Антону в лицо.

Мольченков грохнулся на пол вместе со стулом. Пистолет отлетел в сторону, граната покатила по линолеуму.

Пребывающие в шоковом состоянии ребята обреченно наблюдали за движением взрывного устройства, не пытаясь даже шевельнуться.

Граната ударилась о стену и остановилась. Взрыва не последовало.

— Учебная! — заорал Салтаев. — Бегом все отсюда! — и бросился на Антона, пытающегося достать из-под стола залетевший туда ПМ. Завязалась драка. Вовка уже почти вырвал пистолет из рук одноклассника, но тот умудрился вывернуться.

Помещение наполнилось возбужденными голосами и громким топотом. Это пришедшие в себя ребята спешно покидали кабинет информатики, и никто из них не бросился Вовке на помощь.

Один за другим раздались два выстрела. Наступила зловещая тишина. Тяжело дыша, Антон поднялся на ноги и оглядел «поле боя».

Рядом с учительским столом с зияющей раной во лбу неподвижно лежал Вовка Салтаев. Рот парня был перекошен презрительной ухмылкой, широко открытые глаза невидяще смотрели на закрепленный под потолком демонстрационный телевизор.

В центре комнаты, среди перевернутых стульев, в большой луже крови, лежал Юрка Баев с прилипшей к верхней губе жевательной резинкой. Рядом с ним — так и не пришедшая в себя Ирка Богатырева.

Слева, откинувшись назад, на подъемно-поворотном стуле сидел Олег Петрович. Немигающим взглядом он сверлил классную доску с написанной на ней темой урока: сердце учителя не выдержало «суда чести».

В двух шагах от двери на усыпанном битым стеклом полу скрючилась Рита Сырина. Одна ее рука была согнута в локте, другая тянулась к выходу — чуть-чуть, и успела бы выскочить...

Глаза Антона наполнились ужасом. Что он наделал! Из погибших по его вине людей в расстрельном списке был только Баев. Остальные ни в чем не были виноваты. Ни Пиксель, ставивший ему тройку за одно только присутствие на своем уроке. Ни тихоня Рита Сырина. Ни добродушная толстуха Ирка Богатырева, всегда дававшая ему списывать. Ни редко посещавший школу Вовка Салтаев...

— Я не хотел этого! — срывающимся голосом выкрикнул Антон. — Не хотел никого убивать! Я хотел их напугать, унижить, заставить просить у меня прощения... Юрка меня спровоцировал... Вовка на меня напал, я вырывался... Он сам надавил на мой палец... А в Риту... я выстрелил нечаянно... Не знаю даже, как это получилось...

Юноша поднял с пола Ленкин телефон, сел за стол, обхватил голову руками. В это мгновение пискнула эсэмэска. Мольченков бросил взгляд на дисплей. «Сынка, ты в порядке?» — волновалась мать Леонида. Спустя несколько секунд дуплетом отозвались телефоны Ирки и Риты. «Стало быть, все уже в курсе», — с досадой констатировал Антон.

Нервно хрустнув пальцами, он стал закрывать приложение и случайно нажал на значок «Фото». На экране появился коллективный снимок десятого «Б», сделанный Леонидом за минуту до начала урока. Счастливые и беззаботные ребята скалили зубы, гримасничали, ставили другу рожки, не догадываясь, какая драма их ждет впереди.

Сейчас Антон отдал бы все на свете за возможность вернуться назад. В то мгновение, когда его одноклассники выстраивались у стены кабинета в ожидании Ленкиного «чиииз». «Как жаль, что нельзя прокрутить фарш обратно», — подумал он, возвращаясь в Kaleidoskop.

Лента комментариев продолжала бурлить:

Альфа-самец

Вот это жесть! Правду говорят: бегать от снайпера глупо — просто умрешь потным.

Виртуальная Сопля

Адский ад! Если бы мой наследник такое утворил, я б его своими руками... как Тарас Бульба...

Жирная но мирная

Люто плюсу! Таких маньяков нужно четвертовать на главной площади города.

Сутулая собака

И мамашку его недоделанную, воспитавшую такую мразь.

Баба в КеДах

При чем тут эта бедная тетка? Ее и так жизнь наказала: мужик бросил, отец — в лазарете, малый — тяжкий инвалид, старший — монстр, заслуживающий пожизненного где-нибудь в Гуатанамо...

Вежливый снайпер

Не надо огульничать. Издевательствами и травлей любого можно довести до точки кипения.

Гамадрила

Ребят, канеш, жалко, но они сами виноваты — не хрен было травить долбоежика.

Глиста в скафандре

А учитель признаков жизни не подает. Походу, кони двинул.

Я Бох Ты Лох

Не втыкаю: он че, троих укнокал?

Жуткость Тормозная

С учителем — четырех. Плюс девка, которая в обморок брякнулась... Может, у нее — разрыв сердца...

Трусы_На_Заборе

По-любасу, пацан отхватит максималку, если родаки убитых не порвут его на портянки.

Хомяк-убийца

Если за вами прибежал кто-то белый и пушистый, все кончено — это песец. Психу только и осталось, что самовыпилиться.

Антон растерянно смотрел на дисплей, его плечи мелко подрагивали. В магазине дедовского ПМ'а оставался последний патрон. Вытащив из наголовника смартфон, парень зажал его в левой руке, собираясь отснять заключительный кадр своего «Расстрельного списка»...

Короткий выстрел, звонок с урока и сирены машин экстренных служб прозвучали одновременно.

СОСЕД

Легко любить все человечество —
Соседа полюбить сумей.

Кайсын Кулиев

Илью Петровича Баранца в подъезде не любили. Да что там не любили — ненавидели. За скверный характер, крайнюю неуживчивость, нетерпимость к чужим недостаткам. И кличку ему дали соответствующую — Мизантроп. Оно и понятно: пенсионер был в постоянных контрах с соседями. Особенно с теми, кто, по его мнению, «спецом нарушал тишину и порядок».

А таких было море разливанное. В одних квартирах жили собаки, не закрывающие свои пасти ни днем, ни ночью. В других — оружие младенцы. В третьих — юные музыканты, разучивающие гаммы во время полуденного сна Ильи Петровича. В четвертых — подростки, из окон которых на весь двор разносились «дебильные буги-вуги». В пятых — холостяки, имеющие наглость водить на ночевку девиц «нетяжелого поведения», которые «визжат во время секса, как мартовские кошки».

До всего Баранцу было дело. До странного запаха из-под двери уринолога Хаврулина. До шумной очереди, тянущейся к квартире местной гадалки — бабки Зинаиды. До семейных склок семьи Гуксаев. До двадцать седьмой квартиры, которую сняли какие-то подозрительные типы: «вдруг там террористы разрабатывают свои

богомерзкие планы?» До сына председателя ТСЖ Варвары Ключевой, который, пока мать на работе, собирал у себя дружков-наркоманов — «глаза-то у них — вон какие мутные». До отставника Волобуева, чистящего обувь вонючим гуталином прямо на лестничной клетке. До коллекционера часов Марка Гайсинского, чьи экспонаты каждый час отбивали столько ударов, сколько они показывают...

Дед Баранец писал жалобы, судился, скандалил, мелко пакостничал. А чем ему еще заниматься на заслуженном отдыхе? Жену он похоронил семь лет назад, с «сыном-негодяем» практически не общался, с невесткой и внуком вообще не был знаком, друзьями-приятелями не обзавелся. Да и что это за дружба со «старперами»? У них все разговоры о том, какие они лекарства сейчас принимают да какую операцию недавно перенесли. Так что Баранцу только и оставалось, что стоять на защите общественного порядка и бдить.

А бдить он умел, как никто другой. В прошлом Илья Петрович был начальником оперативной части в местном СИЗО. «Кума» Баранца арестанты боялись больше, чем начальника тюрьмы. За годы службы у него не случилось ни одного побега, ни одного бунта, ни одного ЧП. Не потому, что везло, а потому, что он вовремя предотвращал потенциальные безобразия. А такие навыки не пропьешь. Опер — не профессия, это — диагноз.

Бесконечные скандалы с Баранцом, по малейшему поводу вызывавшего участкового, наряд милиции, теток из органов опеки, репортеров с телевидения, представителей общества защиты животных, экологов из «Зеленого спасения», отравляли жизнь окружающим, и жильцы подъезда объединились против Мизантропа.

Они выдавливали в замочную скважину соседа клей «Момент», мочились на его дверной коврик, забрасывали к нему на балкон всякую гадость, опускали в почтовый ящик письма с советом переселиться в дом престарелых, а лучше — в психушку, писали на его двери оскорбительные слова. Не мелом писали, а краской. От души, что называется.

Изнывающий от безделья пенсионер составил список предполагаемых диверсантов и методично «мочил» подозреваемых.

На джип уринотерапевта, нагло припаркованный под балконами, он сбросил увесистую картофелину. Сработала сигнализация. Хаврулин вынужден был среди ночи бежать во двор, чтобы разобраться с непоняткой. И так три раза.

Сыну Ключевой Илья Петрович проколол колесо дорогого велосипеда. На брата Вардана Гуксаева, уже полгода жившего у него без прописки, наступал участковому. Гадалке Зинаиде бросил в ящик «предупреждение» из «налогового управления», где сообщалось, что незаконная предпринимательская деятельность и уклонение от налогов влекут уголовную ответственность и караются наложением крупного штрафа с ограничением свободы.

На доску объявлений мужчина повесил «Петицию от жильцов дома напротив», адресованную хозяйке визгливых болонок, «престарелой жилищке квартиры № 16». Она гласила: «Женщина, у вас такая стремная фигура, а вы ходите по дому голая. На вас противно смотреть. Повесьте наконец плотные шторы и не включайте в квартире свет. Из-за вас наши дети весь вечер сидят с биноклем на подоконнике».

Вскоре боевые действия прекратились в связи с отъездом Баранца в санаторий. Как выяснилось, в одностороннем порядке. За время отсутствия пенсионера соседи не поспешили на ответные меры. Кто-то раскурочил его почтовый ящик, кто-то нацарапал на двери голую задницу, подписав свой «шедевр»: «Нора Мизантропа». Кто-то залил дверной глазок силикатным клеем. Кто-то свинтил со стены дверной звонок.

Последнее потрясло Илью Петровича до глубины души. Звонок был дорогим, беспроводным, работающим от батареек. «Вас бы, сволочей, — да в Саудовскую Аравию, — негодовал он. — Тамошние талибы за воровство вам мигом бы руки поотрубали».

Баранец разобрал чемодан, заварил кофе. За окном беспрерывно гроыхала строительная техника: бах-бах-бах, бах-бах-бах, бах-бах-бах...

«Это еще что такое? — возмутился мужчина, выходя на балкон с чашкой любимого напитка. — Стоит на пару недель отлучиться, и возвращаться уже некуда — вокруг все-ленский хаос».

Во дворе в это время кипела «стройка века»: рабочие в синих комбинезонах сносили забор, меняли асфальт, вывозили на грузовиках мусор, реанимировали детскую площадку.

— То ли выборы внеочередные грядут, то ли мэра наконец за жабры взяли, — предположил Баранец вслух.

— Похоже на то, — ответил ему незнакомый голос с соседнего балкона. — Они в три смены пашут. Даже ночью.

От неожиданности Илья Петрович выронил из рук чашку. Ударившись о бетонный пол, та разлетелась на куски.

Когда он уезжал в санаторий, квартира слева была пустой. После того как год назад Баранец выжил оттуда мать-одиночку с вечно орущим ребенком, никто ее больше не снимал — спасибо соседям за антирекламу. Стало быть, отыскался смельчак, чувствующий в себе силы ежедневно бодаться с блюстителем тишины. Ну, и кто же это такой?

Мужчина подошел к краю балкона, высунул голову за гофрированную пластиковую перегородку. На картонном ящике из-под компьютера сидел субтильный парень лет двадцати пяти с рыжими, небрежно выбритыми на висках волосами и сосал какой-то странный предмет: не то газовый баллончик, не то зажигалку. Одет он был в рваные джинсы и дырявую, обтрепанную по краям футболку с рисунком, имитирующим кровавое пятно. Ни дать ни взять — бомж с теплотрассы.

— Ты кто? — агрессивно поинтересовался пенсионер.

— Герман Бордюжа. Можно Гера. Ваш новый сосед.

— Ну и фамилия, — покачал тот лысой головой.

— Вы, положим, тоже не граф Шереметев, — парировал парень, ничуть не смутившись, — а вредный дед Баранец по кличке Мизантроп.

От наглости «оборванца» у Ильи Петровича пропал дар речи.

— Если что, я без наезда. Просто констатирую факт, — миролюбиво улыбнулся Герман и выпустил одновременно изо рта и носа густые струи дыма.

— Посадишь жабры — новые не вырастут, — презрительно скривился мужчина. — Торчок, что ли?

— Не торчок, а вейпер. Я вейп парю.

— Что ты паришь?

— Электронную сигарету. Курить бросаю. Никотиновая жвачка не помогла.

Баранец недоверчиво прищурился. Только наркомана ему под боком и не хватало. Уж лучше бы ребенок плакал. Тот хоть ножом не пырнет. Хотя... Нынче такие детки...

Уснуть этой ночью ему не удалось. Несмотря на то, что дед вставил в слуховые отверстия беруши, уличные звуки проникали в самый мозг, доводя его до иступления. Почти до трех часов под окнами скрипело, тарыхтело, вибрировало. Переругивались рабочие, заменявшие кусок поврежденной ограды. Туда-сюда ездил каток, что-то утрамбовывая в темноте.

А утром Бордюжа стал делать дырки в стене. У Ильи Петровича бешено застучало в висках. Шум работающего перфоратора сводил его с ума. Он был куда противнее звука строительных тарыхтелок. Противнее боя «курантов» коллекционера Гайсинского. И намного противнее клаксона хаврулинского автомобиля.

От непрекращающейся вибрации со стены пенсионера сорвалась полка с книгами, а чуть позже вылетела из гнезда розетка. Это стало последней каплей, переполнившей

чашу терпения Баранца. Он ринулся на лестничную клетку и стал пинать ногами дверь Германа.

— Сколько ты еще будешь издеваться над соседями? Твое «глубокое бурение» уже превратило стену в дуршлаг! — проорал он появившемуся на пороге парню.

— А в чем, собственно, дело? — изумился тот. — По закону нельзя нарушать тишину с двадцати двух до восьми утра, а также по выходным и праздникам. В остальное время вам придется мириться с потребностями соседей, поскольку живете в *многоквартирном* доме. Так что лечите свою нервную систему или переезжайте жить за город, — и дверь Бордюжи захлопнулась.

Впервые за последние двадцать лет Илья Петрович растерялся. «Справиться с этим дрыщем будет совсем непросто», — констатировал он, прикручивая розетку на место.

Перфоратор оказался только началом «праздника непослушания», за которым последовали дробь молотка, скрежет ножовки по металлу и рев пылесоса. «Розочкой на торте» стало новоселье, на которое набилось человек двадцать «отъявленных отморожков — алкашей, наркоманов и просто бандитов, которых следовало удушить еще в детстве».

Гости Германа беззастенчиво троллили деда Баранца: хохотали во всю глотку, звонили пустыми бутылками, танцевали, исполняли песню Александра Новикова:

Куда девался кляузник сосед?
Жить без него берет меня кручина —
Ведь на меня давно управы нет.
Такая вот для кляузы причина.

Сначала Илья Петрович стучал им по батарее, потом кричал на них через балконную перегородку, а в 22.01 вызвал наряд милиции. Прибывшие правоохранители ткнули ему в нос объявление, предусмотрительно вывешенное внизу Бордюжей. В нем последний приносил соседям извинения «за возможный шум, связанный с празднованием новоселья в ближайшую субботу».

— Вот что, уважаемый, — устало вздохнул старший группы, уже в который раз являющийся по сигналу Баранца. — Займите себя чем-нибудь полезным: собаку заведите, книгу почитайте, мемуары, в конце концов, начните писать. Нам что, больше делать нечего, как без конца гонять в ваш подъезд? По пустячным вопросам морочьте голову своему участковому! Еще раз позвоните — оштрафуем.

— Так наркоманы же! — взревел потрясенный мужчина. — Асоциальные типы! Хулиганье из подворотни!

— Не сочиняйте, дедуля. Нормальные ребята. В основном студенты. А Герман Бордюжа — звукооператор. Работает на городской студии звукозаписи. Остальные соседи никаких претензий к нему не имеют.

— Ладно, — прошипел Баранец в спины удаляющейся тройце. — Сам справлюсь.

С этого момента для Илья Петровича другие жильцы перестали существовать. Все свои силы он сосредоточил на Германе. Мужчина завел дневник наблюдений за неприятелем, скрупулезно записывая туда время его прихода, ухода, отхода ко сну, с кем и сколько тот беседует по телефону.

Стены панельного дома, в котором проживали Бордюжа с Баранцом, были настолько тонкими, что каждый из них слышал не только разговоры, кашель и храп соседа, но и точно знал, сколько раз за ночь тот спустил воду в туалете и какой фильм сейчас смотрит. Все как в анекдоте: «Заезжаю в новую квартиру, думаю: „Интересно, здесь хорошая слышимость?“ — „Очень“, — отвечает сосед из-за стенки».

Полное отсутствие конфиденциальности провоцировало конфликты. Немудрено: один — жаворонок, другой — сова. Один хочет послушать музыку, другой — поспать.

Один — интроверт, обожающий тишину, другой — рубаха-парень, оживающий лишь в компании многочисленных друзей.

Герман с Ильей Петровичем оказались полными антиподами — людьми с разными биоритмами, разными темпераментами, разными предпочтениями, но... с очень похожими характерами. И тот и другой умели за себя постоять.

Следующая «стычка поколений» произошла через два дня, когда Бордюже подключили Интернет. Тогда-то пенсионер по-настоящему понял, что такое «непрекращающаяся какофония». Герман слушал тяжелый рок, болел по компьютеру за любимую футбольную команду, играл с реальными соперниками в онлайн-игры, общался по скайпу со всем белым светом. Вел себя так, будто жил в бункере, а не в панельке с «папирусными» стенами.

Из-за него Илья Петрович, смотревший по вечерам «Ментовские войны», перестал понимать: кто в очередной серии — плохие парни, а кто — хорошие ребята. Старик стучал соседу в стену, звонил ему в дверь. В конце концов написал письмо угрожающего содержания и забросил его на балкон Бордюжи.

Ответ на свое послание мужчина обнаружил, «не отходя от кассы». На бельевой веревке, рядом с трусами и майками Германа, висел закрепленный прищепкой плакатик: «Дед, иди в баню!»

Наутро Баранец подстерег молодого человека на лестничной площадке и уже набрал полные легкие воздуха, чтоб изрыгнуть всю бурю своего негодования.

— Можете жаловаться на меня в ООН, Европейский суд по правам человека и даже папе римскому, — произнес молодой человек, вставляя пенсионеру в руки согнутый вчетверо листок. — Но лучше молитесь. Говорят, помогает.

На листке оказалась отпечатанная на принтере «Молитва человека пожилого возраста»: «Господи, ты видишь, что я состарился. Удержи меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать. Спаси меня от стремления вмешиваться в дела каждого, чтобы что-то улучшить. Охрани меня от соблазна детально излагать бесконечные подробности моей жизни. Опечатай мои уста, если я захочу повести речь о недостойном поведении молодежи. Не осмеливаюсь просить тебя улучшить мою память, но приумножь мое человеколюбие, усмири мою самоуверенность, когда случится моей памятьливости столкнуться с памятью других. Аминь».

«Какая наглость! — выдохнул Баранец. — Да я до сих пор без очков читаю! И зубы у меня все свои. А память такая, что фору дам десятку подобных дрыщей. Ишь, проповедник нашелся!»

Пока Бордюжа был на работе, Илья Петрович отсыпался. С возвращением же парня домой он удалялся в парк на прогулку, что позитивно сказывалось на его самочувствии. «Может, и впрямь собаку завести? — раздумывал пенсионер во время променада. — Появился бы стимул вечернего топтания аллей, а в случае необходимости пса можно было бы натравить на вейпера... Хотя нет. Собачьего лая в квартире я точно не вынесу. Не обвязывать же скотчем песью морду...»

После прогулки Баранец ужинал, садился за письменный стол и, вслушиваясь в звуки за стеной, начинал описывать их в своем «Дневнике наблюдений». Получался калейдоскоп забавных миниатюр, способный со временем перерасти во что-то более крупное.

В те дни, когда Герман не приходил ночевать или был в отъезде, Илья Петрович скучал. Писать ему было нечего, ругаться не с кем. Звуки, доносившиеся из других квартир, больше не вызывали у него прилива «социальной активности».

Как ни крути, но с появлением Бордюжи жизнь Баранца стала интересной и наполненной. Этот худосочный вейпер напоминал ему самого себя в юности и где-то в глубине души даже нравился. По отношению к соседу Илья Петрович вел себя как энергетический вампир, подзаряжаясь от парня во время каждого скандала.

Похоже, то же самое происходило и с молодым человеком, которому были необходимы сильные энергетические выбросы пенсионера. Если тех какое-то время не было, Герман их провоцировал, манипулируя болезнью Баранца. То, что последний нездоров, он понял сразу. Как только подключили Интернет, Бордюжа заложил в поисковик «непереносимость громких звуков» и убедился, что у соседа гиперacusия — болезненное состояние, при котором даже слабые звуки воспринимаются чрезмерно интенсивными, приводящими к болезненным ощущениям, нервозности и нарушению сна.

«Прискорбно, но это не дает деду права портить жизнь окружающим, — подумал молодой человек. — Надо его приучить к мысли, что после каждого агрессивного выпада будет следовать „звуковая ответка“».

А ответить Герману было чем. Он был обладателем обширной «коллекции звуков». Чего только не было у него в компьютере: визг тормозов, хрюканье свиней, пиликанье на скрипке, слоновий топот, женский плач, скрип несмазанных дверных петель... Какие-то звуки он записал «с натуры», какие-то создал при помощи синтезатора, какие-то усилил и видоизменил. С их помощью можно было свести с ума кого угодно, а уж больного гиперacusией старика и подавно.

Введение в действие «пилотного проекта» не заставило себя долго ждать. После очередной истерики, связанной с бурной реакцией Германа на проигрыш его футбольной команды, Баранец полночи вынужден был слушать мусульманские молитвы. Засыпая под монотонное: «Куль хува ллаху ахад. Аллааху ссомад. Лям ялид ва лям юуяд...», он мысленно поклялся соседу, что месть его будет страшна и безжалостна.

Едва проснувшись, Илья Петрович отправился на птичий рынок, где по дешевке купил парочку крыс, вонючих, уродливых, с паразитами в шерсти.

— Бери, папаша, — годные пасюки, — отрекламировал свой товар продавец-алкаш, слонявшийся с самодельной клеткой меж торговых рядов. — Грызут все, до чего дотянутся: продукты, мебель, подушки, одежду, провода... Бабу мою на днях едва не сожрали, когда та по пьяному делу массу давила.

«Самое то! Не милые декоративные крыски, заполонившие все прилавки, а настоящее зоологическое оружие!» — радовался Илья Петрович, возвращаясь домой.

Ловко перебросив грызунов на балкон соседа, пенсионер удовлетворенно потер руки: «Вот так! Это тебе не вейп парить!»

Дверь в комнату Герман обычно не закрывал, и «диверсанты» беспрепятственно проникли в жилое помещение. Судя по доносящимся из-за стены звукам, операция «Беспредел» проходила успешно.

Как ни странно, появление незваных гостей Бордюжу не впечатлило. Он быстро поймал вредителей и отснял на телефон причиненные ими убытки. Затем вызвал хозяйку квартиры, представителей ЖЭУ и санитарно-эпидемиологической станции, пообещав им написать жалобу в Роспотребнадзор и выставить «крысиный ролик» в Ютуб. В итоге ему уменьшили арендную плату, а во всем доме началась дератизация. ТСЖ создало специальную комиссию, и та стала обследовать квартиры, граничащие с жильем Германа. Попал под раздачу и Баранец.

А спустя три дня «стройка века» переместилась в их подъезд. С утра до ночи в помещении стучали молотки, гремели ведра, гомонили таджики. Последние стеклили окна подвалов, заделывали щели в районе лифта и мусоропровода, устанавливали сетки на вентиляционные отверстия...

От всего этого Илья Петрович едва не попал в больницу. У него кружилась голова, дергалась щека, давление прыгало, как бешеный кенгуру. Старик сто раз проклял тот день, когда в его голову пришла мысль использовать в войне с соседом «эффективное зоологическое оружие».

Какое-то время Баранцу было не до Бордюжи, и тот безнаказанно слушал музыку, смотрел порнушку, общался с друзьями по скайпу. Но не все коту Масленица. Ког-

да Илья Петрович вынул из ушей пропитанные облепиховым маслом тампоны, он услышал, как сосед обсуждает с кем-то по телефону *его*, Баранца.

«Да ладно тебе! — смеялся Герман. — Прикольный дед, на моего, покойного, похож. Такой же вредный и нудный. Старость, как известно, не радость, а маразм, соответственно, не оргазм. В его возрасте мы с тобой сами будем яд сдавать в медицинских целях».

— Маразм, значит? — вскипел Баранец. — Я тебе, удалбыш бухенвальдский, устрою маразм. Сам побежишь в психушку сдаваться.

Следующее утро Илья Петрович встретил на балконе с отверткой в руках. Как только фигура Бордюжи скрылась за углом, он бросился откручивать шурупы, на которых крепилась разделяющая балконы гофрированная перегородка. Заржавевшие от времени болты подались не сразу, но торопиться было некуда — Герман возвращался домой не раньше семи.

Проникнув на «вражескую» территорию, пенсионер с удовлетворением отметил, что сосед — редкий засранец. Балкон был захламлен пустыми коробками и пластиковыми бутылками. В самой квартире порядком тоже не пахло. На всех вещах — слой пыли, постель не убрана, одежда разбросана. Динамик компьютера упирался как раз в ту точку, где у Баранца — изголовье спального места. «Вот почему его звуки бьют по мозгам, как церковные колокола», — понял он наконец.

Рядом с компьютером — немытая пиала с засохшей рисовой кашей, три одинаковых чашки со следами кофе и вакуумная упаковка от копченого сыра. Стена, граничащая с квартирой Ильи Петровича, вся в навесных стеллажах и полках. На них — множество книг, журналов, компьютерных дисков, настольных игр, баночек с курительными смесями. Телевизора в квартире не было, зато наличествовали мощный вентилятор и допотопный патефон «времен очаковских и покоренья Крыма». Последний, к радости пенсионера, не работал. По-видимому, был памятью о вредном деде-покойнике. Платяного шкафа у Германа тоже не наблюдалось. Его роль исполняли небольшой комод, вешалка-штанга на колесиках и... стоящий в углу комнаты скелет в байкерской куртке и мотоциклетном шлеме.

Ни ковриков, ни картинок на стенах, ни занавесок на окнах Баранец не обнаружил. Да что там коврики, отсутствовал даже холодильник, а стало быть, и еда. По всей видимости, Бордюжа питался в забегаловках или ежевечерне приносил домой что-то съедобное.

В подобной обстановке хитрый план Баранца летел в тартарары. Пугать соседа полтергейстом целесообразно лишь тогда, когда все вещи лежат на своих местах, а вокруг — чистота и порядок. Тут же — сам черт ногу сломит. Парень даже внимания не обратит на работающий компьютер, разбитую чашку или пропавшую майку. «В таком случае надо действовать от противного», — после некоторого раздумья решил старик, приступая к уборке квартиры.

Он сложил разбросанную одежду ровной стопочкой, застелил диван, унес в мойку грязную посуду, везде вытер пыль, собрал в хозяйственный мешок все бутылки, вложил друг в друга пылящиеся на балконе картонные ящики. Уходя к себе, Мизантроп прикрыл балконную дверь и приладил на место снятую перегородку.

— Вот так, — потер он руки в предвкушении вечернего представления. — Это тебе не спиннер крутить. Тут голова нужна. Субботник, проведенный «духами тимуровцев», любого заставит усомниться в собственной адекватности. После третьего сеанса ты сам сбежишь из «нехорошей квартиры».

Дождаясь соседа, Илья Петрович весь извелся. В своем воображении он проигрывал различные варианты реакции недруга на «шалости домового» — от обморока до вызова съёмочной группы с телевидения. Но... не так судьба велела.

«Прикинь, в мое отсутствие приходила хозяйка квартиры и вылизала всю хату, — делился Герман с кем-то по телефону. — В прошлый раз я ее здорово прессанул Ютубом... Ну, тогда, с крысами, дай им бог здоровья... Еще как повезло! Плачу по минимуму, теперь еще и на приходящей прислуге экономлю. Хорошая идея, ха-ха-ха... Это я ей еще за сумасшедшего соседа счет не выставил... Ну да, будет мне портки стирать и пятки чесать, ха-ха-ха... Ща пацанам расскажу, они офигеют». Забулькал скайп, и Герман повторил «свежий прикол» новому собеседнику. Потом еще и еще одному.

Услышанное настолько взбесило пенсионера, что тот потерял над собой контроль. «Ты рот свой закроешь когда-нибудь? — визжал Баранец, стуча кружкой по батарее. — Помолчи хотя бы полчаса!»

Из-за стены тут же раздалось мычание коров, за ним — жуткое уханье совы, сменившееся истерическим хохотом и похоронным маршем Шопена. Дебильный визг свинки Пеппы и ее братца Джорджа стал контрольным выстрелом в голову старика.

Илья Петрович побледнел, как-то обмяк и, шатаясь, пошел к аптечке. В квартире Баранца запахло корвалолом. Какое ж сердце выдержит подобные издевательства?

Спустя три дня Герман обнаружил на арендованной жилплощади полный разгром. По всей квартире были разбросаны пластиковые бутылки, комод выворочен, как после обыска. Джинсы висели на люстре, байкерская куртка — на вентиляторе, скелет лежал в ванне с водой. На полу в кухне валялись черепки от разбитой чашки и горшка с геранью, доставшихся ему в наследство от предыдущей жилички. На подоконнике — лужа от чайного гриба, который он так старательно выращивал. Все баночки с курительными смесями находились в мусорном ведре, а мусор — в бельевой корзине.

— Ох, ничего ж себе! — всплеснул парень руками. — Как Мамай прошел!

— То-то же! — хихикнул за стеной Илья Петрович. — Это тебе не на гироскутере гонять!

Какое-то время в квартире Бордюжи было тихо. Потом начались телефонные переговоры. Большинство собеседников убеждали Германа, что его квартирная хозяйка сошла с ума и, возможно, уже находится в специализированном заведении. Сам же молодой человек придерживался версии «барабашка» и сожалел о том, что не отблагодарил последнего молочком, когда тот в прошлый раз сделал в доме уборку.

Обрадованный услышанным, Баранец издал клич триумфатора. Теперь «обиженный домовый» будет мстить Герману регулярно. До тех пор, пока тот не съедет с квартиры.

Вскоре у Бордюжи накопилось три отгула. Он собирался провести их на природе, но аномальная жара внесла в его планы свои коррективы. Парень весь день лежал под вентилятором, предаваясь раздумьям о судьбах человечества. Делать ничего не хотелось. Настроение было скверным, башка трещала, глаза так и норовили вылезти из орбит. За окном в режиме нон-стоп носились кареты «скорой помощи», оглашая округу своими сиренами. Если молодняк не выдерживает, что говорить о пожилых гипертониках?

«Кстати, деда моего давно не слышно, — встревожился вдруг Герман. — Как в одиннадцатый сортир посетил, так больше — ни звука. Это на него не похоже. Если б уснул, его храп заглушал бы шум моего вентилятора. Если б ушел, хлопнула бы дверь, звякнули ключи, заскрежетал лифт. Как бы не скопытился... Где я еще такого приколота найду?»

Герман постучал кулаком в стену, затем гантелей по батарее — никакой реакции. Тогда парень нашел в компьютере нужные файлы и включил динамики на полную громкость. Сначала протяжно выли волки, потом плакали младенцы, цокали каблуки, пели цыгане, стучали африканские тамтамы... Бордюже стали колотить по батарее соседи сверху и снизу. И только Илья Петрович молчал как рыба.

Молодой человек понял: случилось что-то серьезное. Он выскочил на лестничную площадку, стал давить на звонок соседа, дергать его дверную ручку — тишина. Вернувшись к себе на балкон, Герман высунул голову за пластиковую перегородку:

— Ау, Мизантроп, ты живой?

Ответа не последовало.

— Эй, дед, отзовись. Я волнуюсь. Вдруг тебя черные риелторы в психушку упекли, чтоб завладеть твоими квадратными метрами...

Исчерпав все методы, дозволенные Уголовным кодексом, Бордюжа стал откручивать перегородку. Спустя пару минут он уже стоял в квартире соседа.

В комнате никого не было. Везде — чистота и порядок: ни пылинки на добротной дубовой мебели, ни соринки на толстом ворсистом ковре. Интерьер хорошо продуман, каждая вещь идеально вписана в пространство. Нигде нет ничего лишнего. Рядом с современным плоским телевизором на специальной подставке висят наушники. Вот почему в десять вечера в его квартире резко обрывается звук «зомбоящика». Выходит, старик не просто проповедует, но и сам соблюдает порядок.

Ни в кухне, ни в коридоре парень соседа не обнаружил. «Как же он умудрился так бесшумно слинять? — удивился он. — Обычно Мизантроп передвигается, как „лягушонка в коробчонке“ из известной сказки».

Герман уже собирался уходить, как вдруг заметил, что в ванной комнате горит свет. Парень распахнул дверь и от неожиданности вскрикнул. Баранец лежал в заполненной водой ванне. Глаза у него были закрыты, кожа бледная, почти белая, лицо перекошено.

«Неужели помер? — запаниковал Бордюжа. — Нет, так дело не пойдет!» Он схватил руку соседа. Пульс был слабым, едва уловимым. Но был!

Пока ехала «скорая», Герман перетащил старика на диван, завернул его в махровую простынь, брызнул в рот аэрозолем с нитроглицерином, который обнаружил на тумбочке рядом с креслом-качалкой.

— Инфаркт, — подтвердили медики его худшие опасения. — Что ж вы, молодой человек, не уследили за дедом? Понятное дело, пекло, но лезть в ванну с холодной водой в его возрасте — преступная халатность.

— Виноват! — развел тот руками. — Я поеду с вами.

Как только Баранца из реанимации перевели в общую палату, Бордюжа явился к нему с пакетом, набитым соками, фруктами и детским пюре. Принес тапочки, спортивные, смену белья, очки, беруши, сборник сканвордов, ручку, свежий детектив и MP3-плеер, куда закачал двести лучших песен советского периода.

— Ну, как ты тут? — присел Герман на край кровати. — Всех уже достал или через одного?

Весь опутанный трубками, шлангами и капельницами, Илья Петрович виновато улыбнулся, по его щекам потекли слезы.

— Здравсьте-пожалуйста! — потянулся парень за бумажными салфетками. — А я это... решил перегородку обратно не прикручивать. Будем с тобой в гости друг к другу ходить. Стол на балкон поставим, станем чаевничать, в нарды играть, козни соседям строить...

— Прости, сынок, — едва слышно прошептал Баранец. — У тебя в хате набезобразничал не домовой...

— Знаю, дед. У меня установлена камера видеонаблюдения с датчиком движения.

Глаза Ильи Петровича полезли на лысину, отполированную долгими годами безупречной службы.

— А как же твои разговоры с друзьями... о хозяйке квартиры... обо мне... о барабашке?

— Театр одного актера, — рассмеялся Герман. — Весь билет продан. Тебе!

Андрей ДМИТРИЕВ

* * *

А книжка-то,
а книжка-то — истощалась,
тлела-таяла
на руках-реках
мостом подвесным,
по которому
раньше ходили
с пищалью,
позже — с розой
белой,
потом — с бубном,
с бутылью,
с холщовой сумой,
но с умным
видом,
а теперь вот —
иной с правой ноги,
другой — с левой:
какой-никакой выбор.

Мелькала кириллица
прореженным
перелеском.
Хвойный колокол
переходил
на безлиственный тон,
когда догулявшийся август
чах стихающим
всплеском,
так и не взяв нас
в толк
при обоюдной
астме.

Таяла-тлела книжка —
чужим голосом,

Андрей Дмитриев родился в 1976 году. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Обозреватель областной газеты «Земля нижегородская». Член Союза журналистов РФ. Публиковал стихи и прозу в сетевых изданиях «Полутона», «Этажи», «Арктикуляция», «45-я параллель» и «Литература», в альманахе «Новый Гильгамеш», в журналах «Нева», «Дружба народов», «Крещатик», «Новая Юность», «Prosōdia», «Бельские просторы», «Нижний Новгород», «Гвидеон», «Луч» и других. Автор четырех сборников стихов. Живет в Нижнем Новгороде.

нашедшим себе причину,
и что-то осыпалось,
как перезревшие яблоки
на вязкую землю,
ставшую вдруг с овчинку —
то есть сызна
готовой под единственный стебель.

* * *

Шаткому табурету
не знать ли
судьбы постамента.
Дощечка с дощечкой
общего гвоздика не нашла,
но ты взбирайся, давай
прочти нам стишок
про уходящее лето,
прицепив к наплывающей туче
хвостик плюшевого осла...

Грызли гроздь,
цедили соки,
заговаривали больной зуб
и считали тонкое дело —
искомым востоком,
вышибающим
ловким ударом слезу.

Шаткому табурету
поют многие лета,
а дел-то едва ль на неделю —
топор, веер щепок,
железная печь.
Позвони, когда слезешь
в физическом
или астральном —
а может, абстрактном —
теле,
расскажешь,
о чем была,
собственно, речь...

* * *

Чем-то железным
перемешивают,
перемешивают,
и субстанция
становится бурой
и вязкой...

— Ты это про небо?
— Нет, про
столовский кисель.
Кажется, стала черней
арматура,
торчащая веером
из глыбы бетона —
стылой грибницы
строительных касок...

— Вот кстати,
еще не про небо:
не пришло SMS
о доставленном SMS.
— Проверил баланс?
Город, как мох,
с севера влез
на древесину
предместий,
есть, значит, шанс
по нему
вычислить азимут
и выйти
к финалу пьесы
к заученной фразе:
мы — вместе.

Чем-то железным
мешали,
мешали
и вылили нам
на головы,
что-то закоротило
и треснуло
нервом
двужильным,
взятым сырой и голой
рукой.
А вот это уже про небо —
редко выходит
одной строкой...

* * *

Мазай замазал
заячьим паштетом
все трещины
былой литературы
и вышел в навигацию

под скрип
уключин
с тактом половицы,
фиксирующей
наши расхождения
туда-сюда
по комнате,
что показались лучше
того, что просто длится.

Но мы впотьмах —
в глухом, сухом аду
или остатке.
Сигнальная ракета
класса «воздух»
взметнулась,
не имея нас в виду,
ведь явно и без нас
все ковыряния небес
насмарку.

Что ж, скоро лед
сомкнет свои уста,
и даже у Мазаля
с его диким,
но земляничным
чувством красоты
не хватит нот,
чтоб положить в кусты
на музыку
священные улики.

И тополя
прервали буйный рост,
нащупав корнем
пуговину смысла.
Греби, Мазай,
до отраженных звезд,
пока от скуки
заячья капуста
не прокисла...

* * *

Горацио,
этот мозаичный
авангард
раз двадцать
уже представлен
на публике
в том же подвале.

Старый пес,
задуманный
только о трех ногах,
должен был вызвать
боль или страх,
а вызвал опять-таки смех,
поэтому сам решай,
провал или успех.

Горацио,
уровень радиации
говорит
о значительном выбросе.
Винный режим
не смягчает вины.
Свинцом
перепаяны платы.
Ну что ты заладил:
в Москву да в Москву...
Столько микстур
и рыбьего жира
в лютую зиму
не выпишет льготно
чувство столичности,
которое станет
в итоге
еще одной
вредной привычкой.

С другой стороны,
друг Горацио,
обладай душа грацией
и без внутренней эмиграции
кружила бы нас
легким пеплом
из печки,
беременной черным хлебом,
как ни казалось бы
все нелепым...

* * *

Вышли из микроволновки
уже без упаковки.
Быстро и ловко.
Вроде бы
со вкусом морковки,
лука и
каких-то там специй,
если считать
молодость —

торопливым
процессом готовки,
что шеф-повар, естественно,
сочтет за кошунство —
какое ж, мол, это искусство
выбрать режим
и время,
чтобы всего лишь
пальцем большим
захлопнуть дверцу,
заставив нечто холодное
вертеться и
греться...

Но некогда было
возиться с рецептами,
а потом —
уж слишком кусачие цены
на качественные продукты,
тем более — деликатесные.
Кулинария — наука
для богатых не только душой,
но и делом,
с кучей свободной жизни.
Так что выставили режим,
в СВ-печь положив
купленный в продуктовом отделе
кусочек общедоступной пищи.
Просто, как выдавить прыщик.

Никакой культуры
в остром и тонком соусе
философии
и эстетики,
никакого духа,
парившего над водой,
в которую сыпали позже
свой растворимый кофе
из шелестящих пакетиков
охранники на проходной,
никаких растительных соков,
несущих по стеблю
от солнца благую весть,
хотя заверяют:
в целом приемлемо,
если по-зверски —
как ничего более —
банально
хочется есть...

РАССКАЗЫ

ВОТ И ДО КИШЛАКА КУЧКАК ДОШЛА ПРОКЛЯТАЯ ВОЙНА

В один из летних дней я с родителями снова посмотрел драматический советский фильм «Ты не сирота», и, как всегда, с комком в горле...

Фильм был снят в 1962 году на основе реальных событий. Он рассказывает о кузнеце Шохахмаде и его супруге Бахри из Ташкента, которые в годы Великой Отечественной войны усыновили и удочерили четырнадцать детей разных национальностей, эвакуированных в Узбекскую ССР.

После окончания фильма мы некоторое время сидели молча. Мать кончиком платка, как бы невзначай, утирала слезы. Отец сидел, отвернувшись к окну, и смотрел в одну точку, а я в очередной раз еле сдерживал слезы. Отец попросил налить чаю. Мать, держа левую руку перед грудью, вежливо правой рукой протянула ему пиалу. Папа сделал глоток и тихо произнес:

— В годы войны у нас в кишлаке Кучкак тоже жили эвакуированные.

Это меня удивило.

— Как, в Кучкаке, в Таджикистане? — я об этом не знал.

— В Кучкаке? — тоже с удивлением переспросила мама.

— Да, Мамлакат Таджибаевна, в Кучкаке.

— Расскажите, отец.

— Да... Но... Я не думаю, что помню все подробности тех дней. Все-таки прошло почти семьдесят лет.

— Расскажите, что помните.

Отец начал:

— Об эвакуированных я помню не так уж много, в основном по рассказам родителей, односельчан и моего брата Мансура. После войны чаще всего об эвакуированных вспоминала моя мать, а твоя бабушка Анорабегим.

Итак... шла война. В те годы твой дедушка Ахмад работал журналистом в редакции партийной газеты Канибадамского района «Рохи Сталин» («Путь Сталина»). Кстати, ты знаешь, что он с 1960 года был членом Союза журналистов СССР?

— Да, конечно, — растерянно ответил я, хотя, к своему стыду, об этом не помнил.

Отец задумался, наверное, сосредоточился на воспоминаниях. Сделал глоток чая, поставил пиалу на стол, глубоко вздохнул и продолжил:

— Твой дедушка Ахмад рассказывал, как в конце 1941 года в районном центре Канибадам распространился слух о том, что из прифронтовых районов к нам долж-

Шавкат Ахмедов родился в 1967 году в городе Ленинабаде Таджикской ССР, ныне город Худжанд Республики Таджикистан. После окончания Ленинабадского государственного педагогического института работал в различных организациях СССР, а затем Республики Таджикистан. Живет в Санкт-Петербурге.

ны прибыть эвакуированные. Руководство района активно готовилось их принять и разместить.

Как мне рассказывала мама, в один из поздних вечеров из райцентра отец приискал верхом. Я уже спал, но, услышав отца, вскочил с теплой постели и подбежал к нему. Он обнял, поцеловал, достал из кармана конфету и протянул мне. Я, счастливый, вернулся в постель. В комнату вошли твои прадедушка Абдуали и прабабушка Эргашой. Поздоровавшись, они сели за сандали и отец сообщил, что вернулся в кишлак по указанию первого секретаря райкома партии и что он с рабочей группой из Канибадама и активом кишлака Кучкак должны подготовить условия для расселения у наших односельчан эвакуированных из прифронтовых районов.

— Вот и до кишлака Кучкак дошла проклятая война, — сказала бабушка Эргашой.

— Это случилось раньше, в тот день когда в наш кишлак пришла первая хатисиех (похоронка), — поправил ее дедушка Абдуали. И потом добавил: — Нет. В тот день, когда первые джигиты ушли на фронт. Именно в тот день и пришла проклятая война в наш кишлак.

Затем отец продолжил:

— Но эти эвакуированные не обычные люди.

— Как не обычные? — с удивлением спросила бабушка Эргашой.

— Это немцы.

— Кто? Пленные, что ли? — в недоумении переспросил дедушка Абдуали.

— Нет, это советские люди, только по национальности немцы, они жили на берегу Волги.

— Вы хорошо подумали? Народ может принять их неоднозначно. Сохрани нас Аллах.

— Это решение принято руководством района. Как мне сказали, в основном это старики, женщины и дети. Они тоже советские люди, и они тоже спасаются от войны. Эвакуированные придут в ближайшие дни, и надо разместить их в семьях односельчан. В первую очередь у одиноких с лишней жилплощадью.

Затем отец долго обсуждал со стариками и мамой список жителей, которые смогли бы принять у себя беженцев.

Через несколько дней в наш кишлак Кучкак привезли двадцать семей эвакуированных немцев. По-разному был воспринят их приезд жителями кишлака. Что еще стоило ожидать от населения, у которого отцы, братья были на фронте. Многие получили извещения о смерти близких либо сообщения о пропавших без вести. Так, двое, мои родные дяди, братья моей матери, воевали на фронте. Вернулся Исокбай, а старший Абдуалибай погиб.

— А у меня три дяди: Абдукаюм и Нишонбай вернулись с ранениями, а Абдулло пропал без вести, — перебив рассказчика, сказала мама, глядя на меня. И в глазах ее сверкнула слеза.

Отец вздохнул, выдержал паузу, а затем продолжил рассказ:

— С 1941 года и еще несколько лет после окончания войны по всему кишлаку на таджикском, узбекском и русском языках висели агитационные плакаты «Немисрозан» («Бей немцев»), «Смерть немецким захватчикам» и т. д. Это сейчас в средствах массовой информации чаще всего пишут «фашистские захватчики и т. д.», а в те годы указывали на врага, называя национальность — немцы.

Со слов твоей бабушки Анорабегим, которая тогда была учительницей начальных классов, а также преподавала немецкий язык в средней школе имени Пушкина кишлака Кучкак и еще параллельно работала в сельсовете, сначала не все эвакуированные соглашались жить в семьях кучкаковцев. Они боялись за свою жизнь и жизнь своих

родных, боялись самосуда местных горячих голов. Действительно, как и говорил отец, в основном это были женщины, старики и дети. Было несколько мужчин и молодых парней. Позднее молодые парни были призваны на войну. Рассказывали, что некоторые из них попали на фронт, а некоторые — на тыловые работы. После войны несколько человек вернулись в наш кишлак. Но не все. Хорошо помню того, который работал слесарем в гараже.

Примерно пятнадцать семей были размещены в шипангах (кашарах) нашего колхоза имени Карла Маркса. Шипанг в то время представлял собой строение прямо посреди колхозного поля, примерно двадцать на десять метров, без забора, там имелись кухня и небольшой караван-сарай. У каждой бригады был свой шипанг, где с начала посевной и до конца сбора урожая отдыхали колхозники, а некоторые жили постоянно.

Многие кучкаковцы изъявили желание разместить эвакуированных в своих домах. Немцы согласились и переезжали к ним из шипанга. Через полгода всех расселили по семьям. В шипанге осталась только одна семья, которая прожила там до 1947 года. За это время они обзавелись хозяйством: корова, осел, куры. Думаю, они были хорошими хозяевами.

Через месяц все взрослые эвакуированные начали работать: в колхозном гараже, трактористами, учителями, в сельской больнице, на ферме и, конечно, в колхозе. Так же, как все, они выходили в поле полоть и собирать урожай (хлопок, зерно).

Взрослые парни и девушки работали и учились в интернате города Канибадама.

Если честно, немецких эвакуированных было трудно отличить от русских, которые жили в Канибадаме.

Когда наши фройляйн приезжали на выходные или на каникулы в Кучкак и прогуливались по улицам, все засматривались на них. Думаю, не одну молодую, да и седую голову джигитов вскружили светловолосые немецкие кудри и косы. Как мне рассказывали в 1950-е и 1960-е годы, парни из соседних кишлаков завидовали нашим — ведь в Кучкаке жили красивые немецкие девушки. А кучкаковцы-драчуны не разрешали чужакам общаться с красавицами односельчанками. Не раз дело доходило и до драк, в итоге всегда побеждали кучкаковцы, — слегка улыбаясь, сказал отец. — Да, всегда.

Продолжая улыбаться, отец попросил еще пиалу чая. Я, опередив маму, налил чай. Отец сделал глоток.

Я с нетерпением ждал продолжения истории. Отец продолжил:

— Одна немецкая семья с первых же дней приезда к нам в кишлак согласилась жить по соседству, в доме наших родственников, Тошматбая и тети Бахри. Немка была женщиной лет тридцати, а сын моего возраста, его звали Андрей. Они совсем не были похожи на немцев. Твоя бабушка Анорабегим говорила, что мама Андрея чем-то похожа на дочерей еврея Абрама, а Андрей на его сыновей, которые жили в Канибадаме.

В первый же день, когда они поселились у нас, на улице Олвока, мать взяла с собой меня и старшего брата Мансура, в узелок завязала какие-то угощения, чашку каймака, и мы пошли знакомиться с новыми соседями. Помню, мама попросила нас с братом подружиться с Андреем и не давать соседским ребятам обижать его. Я быстро сошелся с ним, но вначале нам было трудно общаться, потому что я не мог разговаривать на русском, а он не знал ни таджикского, ни узбекского. Объяснялись жестами и понимали друг друга.

Прекрасно помню, как я учил его правильно произносить мое имя Туйгун и как чудно и смешно он это делал. А он учил меня правильно произносить имя Андрей. Скоро я его стал звать Андрейка, а потом так стала называть его и вся улица. Редко кто обращался к нему полным именем. Уж не знаю почему. Так, наверное, было легче.

Первые месяцы нашего знакомства я приходил в дом дяди Тошматбая, и мы играли с Андреем только во дворе. Иногда к нам присоединялись другие соседские дети, но редко. Когда Андрейка просился играть на улице, его мама запрещала и что-то говорила ему по-русски. Через полгода Андрейка выучил узбекский и немного таджикский. На узбекском он говорил без акцента. Постепенно его мама стала разрешать играть с соседскими ребятами на улице. Через год его уже трудно было отличить от местных детей. Андрейка стал своим парнем на нашей улице. Иногда он носил тюбетейку, которую на какой-то праздник подарила ему моя бабушка Эргашой. Играл, матерился и дрался с нами и со сверстниками с другой улицы. Был среди них парень-немец, его имя уже не помню. Помню только, что он был рыжим. Мы все его так и звали — Сарык (Рыжий).

Андрей стал моим лучшим другом. Порой, устав от игр или от работы по хозяйству, точнее, от помощи старшим, он часто засыпал у нас дома, а иногда я оставался у них. Вначале его мама приходила и забирала сонного сына. А мне родители разрешали оставаться у Андрея, потом просто по-соседски предупреждали, что он или я остались ночевать.

Мама Андрея подружилась с моей мамой. Часто приходила к нам домой, и часами они о чем-то беседовали.

Прекрасно помню туфли Андрейки, которые тот носил первые годы, когда только приехал в кишлак. Он их по праздникам, а потом и в школу носил, коричневые, кожаные, на шнурках, похожие на современные берцы. Ни у кого не было такой обуви. Андрейка рассказывал, что до войны ему их сшил дядя.

Ранней весной со старшими ребятами ходили мы на склоны горы Каратаг, собирать тюльпаны и бойчечак (подснежники). А вечером с цветами обходили всех соседей, пели песню, сообщая всем, что расцвел подснежник — знак прихода весны. Взрослые дарили нам сласти, а некоторые давали и деньги.

В 1943 году мы с Андреем пошли в первый класс и сидели за одной партой. Классным руководителем у нас была твоя бабушка Анорабегим. Учительницей она была строгой и требовательной. Тогда казалось, что больше всего доставалось мне.

Я и Андрей попадали в разные истории. Помню, в один из майских дней, буквально перед каникулами, мы без спроса поехали кататься.

— На чем? — спросил я.

— Естественно, на осле. Я — на осле моего дедушки, а Андрейка — на осле Тошматбая. Мы проскакали до колхозных хлопковых полей. Остановились в тени урючного дерева. Наевшись еще неспелого урюка, нарисовав из углей потухшего костра себе усы, вооружились прутьями, которые заменили нам шашки, сели на своих «вороних» старых ослов и со словами «Я — Чапаев!» поскакали галопом. Мы старались перекрыть друг друга:

— Я — Чапаев!

— Нет, я — Чапаев! — вытянув вперед «шашки», с криками «ура!» мы помчались вперед. Не знаю, сколько можно скакать на старых ослах горячим чапаевцам, но через сто метров наши измученные ослики остановились и упрямо отказались вообще двигаться дальше. Вот тогда я понял, что означает выражение «упрямый как осел». Оба улеглись прямо посередине дороги. Попытки поднять их были тщетными. Мы по-хозяйски решили дать им отдохнуть. Хотя они нас об этом не спрашивали.

Сами же уселись в тени тутового дерева. Не помню, сколько восстанавливали свои силы наши ослы, но думаю, не менее часа. Вдруг вдалеке послышался гудок, мы вскочили и увидели на горизонте быстродвигающийся черный дым и сам эшелон. Не могу сказать, кто первый предложил поскакать к железной дороге, чтобы посмотреть на

поезда, думаю, это была идея Андрея... или моя. Это не важно. Важно, что было потом. Мы одновременно повернулись в сторону скакунов-пенсионеров, которые уже щипали траву у дороги, вскочили на них, как кавалеристы, и походным маршем взяли курс на железную дорогу.

Все дальше и дальше позади оставался кишлак, а железная дорога приближалась, звук поездов делался все громче. Железная дорога проходила примерно в пяти километрах от нашего кишлака. Не помню, как долго мы добирались, но в итоге добрались. Мы привязали ослов и стали ждать очередной состав. Ходили по шпалам, прижимались ухом к рельсам, прислушиваясь к далекому гулу поезда. Наконец наши ожидания увенчались успехом. Поезд шел со стороны Канибадама в направлении Худжанда. Я первый раз оказался так близко от поезда и был испуган видом подобной махины: ничего подобного я раньше не встречал. Мне стало страшно. Буквально перед нами машинист дал гудок и помахал нам. Люди смотрели в окна вагонов и тоже махали нам, а мы им в ответ. Я стоял как вкопанный, приоткрыв рот, махал рукой и только успевал провожать взглядом пролетающие вагоны. Когда поезд уже удалялся от нас, я стал орать от счастья, а Андрей, наоборот, загрустил. Я спросил у него, что случилось. Он тихо ответил, что их в Таджикистан эвакуировали в таком же поезде.

— Ты видел вагон с лошадьми? Вот именно в таком вагоне. Было очень холодно. Пока мы ехали, меня все время обнимала и прижимала к себе мама. — Потом Андрей добавил, что его мама считает везением то, что они попали в Кучкак. А могли бы и в Сибирь.

Честно говоря, тогда своим детским умом я не понял весь смысл, боль и глубину его слов. Это теперь я понимаю, что им пришлось пережить. Не дай бог пожелать такого даже врагу.

Андрей часто вспоминал о своей родине. Из его рассказов я помню, что они жили на берегу Волги, в своем доме с яблоневым садом...

Я встал на шпалы и стал провожать взглядом уходящий за горизонт последний вагон. Ко мне подошел Андрей. Он смотрел по сторонам. Потом спросил, указывая пальцем в сторону кишлака:

— Туйгун, это Кучкак?

Я посмотрел, куда он указывал, и утвердительно кивнул.

— Да, Кучкак, — ответил я.

Вдруг я осознал, как далеко мы от кишлака. При этом без спроса. Я понял, что наказание неизбежно.

Возвращались мы молча. Только иногда, поравнявшись на дороге, придумывали легенду: где мы были и как незаметно загнать ослов обратно в сараи. Но все легенды рассыпались... Незаметно можно было попасть только по воздуху.

Вдруг Андрей воскликнул:

— Ну почему ослы не летают?!

И мы рассмеялись. Но быстро вернулись к печальной мысли: наказания не избежать. Я даже позавидовал Андрею, что его будет наказывать только мама. А меня... но я точно знал, что бабушка Эргашой может защитить. Главное было попасть в ее объятия. Там спасение, думал я.

Моему другу я посоветовал в случае чего, прыгнув с осла, бежать к тетушке Бахри или к Тошматбаю. Там спасение.

Когда мы приблизились к кишлаку, к родной улице Олвака, уже стемнело. У колхозного поля нас встретил сосед. Он подошел к нам, взял за узду моего осла и покачал головой:

— Слава Аллаху. Живы. Вас ищут всей улицей. Где были?

Мы промолчали в ответ.

У ворот дома стояла заплаканная мама Андрея, увидев сына живым и здоровым, притом на «коне», она на непонятном мне языке стала ругать его. Наверное, на немецком или на идиш, но точно не на русском. Андрей на ходу спрыгнул с осла и побежал во двор. Что произошло дальше, я узнал только на следующей день.

Меня ожидала более тяжелая участь. Кто-то сообщил моей маме о том, что ее путешественник возвращается домой. У соседских ворот она ждала своего сына-«героя» с ивовым прутом.

Я понял, что должно произойти, и кинулся в спасительные объятия бабушки, но по дороге гнев и кара мамы неоднократно настигали меня.

На следующее утро, пока я собирался в школу, получил от старшего брата подзатыльник «для порядка». Злость его была объяснима. Ему влетело за меня, так как не уследил за мной. Оказывается, они с друзьями искали нас по всему кишлаку, обещав для начала всех моих одноклассников.

Все уроки, с первого до последнего, мы с Андреем провели стоя, так как после наказания ивой я не мог сидеть. Как рассказал мне Андрейка, мама пару раз стегнула его ремнем.

Позже я узнал, что в те дни в окрестностях кишлаков Кучкак и Хамирджуй объявилась стая одичавших собак, которая в поле покусала нескольких колхозников.

Первый месяц после проишествия мы без спроса даже за порог дома не выходили, ну а потом шалости продолжились. Однако урок даром не прошел.

Андрей с матерью и другие эвакуированные жили в Кучкаке с 1942 года, возможно, даже с конца 1941-го и до 1947-го. Затем их переселили в поселок городского типа Ким Канибадамского района, а позже, в 1950-е и 1960-е годы, все наши немцы переехали в другие города Таджикистана и Узбекистана. Когда Андрей с матерью жили в поселке Ким, они часто приезжали и гостили у нас или у тети Бахри. Комната, где жил мой друг с матерью, еще долго пустовала, и тетя, и мы между собой называли ее «комнатой Андрея». В общем, все эвакуированные поддерживали хорошие связи с семьями, в которых жили. Навещали друг друга.

В начале 1950-х годов Андрей с матерью переехали жить из Кима в другой город. Куда, не знаю. В кишлаке говорили, что часть наших немцев вернулись к себе на родину.

В 1960-е годы, когда я служил в государственных структурах, то узнал, что Андрей с матерью и все остальные де-юре не были эвакуированными, а были переселенцами. В 1941 году поволжских немцев насильно переселили из Энгельса и всего Поволжья. Но де-факто все немцы, которые жили в годы Великой Отечественной войны, остаются для кучкаковцев эвакуированными, людьми, которые спасались от войны и истребления.

Андрея в последний раз я видел примерно в 1950-м, когда он с матерью гостил у нас. После этого мы не встречались.

Я очень надеюсь, что он с матерью вернулся в свой родной дом с яблонями на берегу Волги.

Отец вздохнул:

— Оказывается, помню еще кое-что...

Я с гордостью смотрел на него и думал: порой я зачитывался книжками о военных сражениях Второй мировой войны, о героизме, жертвах, людях, которые в те суровые годы делились последним с эвакуированными, о детях войны, и мне все эти события казались такими далекими. А тут... Да...

Это же история жизни моего отца и яркая страница древнего кишлака Кучкак, расположенного у основания Каратага.

Великое поколение, которое в те страшные и голодные дни приняло жертв войны как своих родных, несмотря на то, что сами недоедали. При том, что эвакуированные

были особым контингентом — этническими немцами, местные жители делили с ними кров и хлеб.

Великое поколение, великий советский народ, который, сплотившись, смог победить в той великой и страшной войне.

МАХБУБА-РАЗВЕДЧИЦА

В наши дни о разведчиках много написано и сказано, сняты фильмы. Чекисты, бойцы невидимого фронта, деятельность их окружена тайнами и секретами, а разведка — это самое засекреченное подразделение спецслужб. При этом разведчики — такие же люди, и им не чуждо ничто человеческое. Для них (кроме небольшой горстки предателей, которые были во все времена) долг перед Родиной не пустые слова.

ВЧК—НКВД—КГБ — это история спецслужб всех бывших союзных республик СССР, хотя теперь некоторые из суверенных государств отрешиваются от КГБ, но при этом гордятся легендарными разведчиками и контрразведчиками, которые этнически относятся к ним, не замечая того, что эти герои носили погоны госбезопасности СССР.

Я был знаком с одним таким человеком. Если быть точным, с разведчиком-нелегалом. Звали ее тетя Махбуба. С ней я познакомился в 2004 году в Душанбе. В те годы ей было за восемьдесят. Несмотря на свой почтенный возраст, она оставалась активной, бодрой, с ясным умом и прекрасной памятью. Родилась в 1920 году в городе Худжанде. Каждая встреча с ней памятна. Как-то я у нее поинтересовался.

— Тетя Махбуба, когда с вас как с разведчика сняли гриф секретности?

— На праздновании Дня чекиста 20 декабря 1994 года тогдашний министр безопасности Республики Таджикистан Зухуров сообщил, что с меня сняли гриф секретности.

— А как вы попали в разведку?

— Во всем виновата война. В 1940 году после окончания медицинского колледжа я поступила в медицинский институт в Душанбе. Хотела стать детским врачом. Однако моей мечте не суждено было сбыться. Не только моей, а миллионов людей нашей страны. Война застала меня на студенческой скамье. Мы сдавали летнюю сессию. На каникулы планировала поехать домой к родителям, в родной Худжанд. Приготовила даже чемодан. Не тут-то было. Проклятая война. В первые дни войны мы всей группой записались добровольцами. Не помню, то ли в военкомате, то ли в институте всех наших девочек записали в медсестры. Но через несколько дней из студенток нашего института и других вузов создали группу, примерно из двадцати девушек, в числе которых была и я. С нами стали упорно заниматься специалисты по военно-физической подготовке и радисты. Интересовались уровнем знания канонов шариата, сколько знаем сур и айятов, умеем ли читать намаз, владением узбекским языком и умеем ли писать и читать на персидском и арабском языках. Примерно через месяц в группе осталось пять девушек, в их числе я.

Тетя Махбуба задумалась.

— Тогда я предположила, что нас готовят для заброса в тыл врага в партизанские отряды или для чего-то особого. Но при чем узбекский язык, каноны ислама? В голове не укладывалось, а истинные цели спецподготовки я узнала в 1942-м.

— А вам, тетя, не было страшно? Все-таки такая молодая!

— Конечно, было страшно, и не один раз. Но кто об этом в то время спрашивал. Шла война. После того как в группе осталось пять девушек, нас поселили на конспиративную квартиру в черте города Душанбе. Дом был большой, с земельным участком. В до-

ме было много комнат. В двух мы спали, а в одной с нами проводили занятия. Готовили из нас радисток, изучали персидский, дари и узбекский языки. Руководителем был Максим Александрович (имя изменено). Общался с нами на таджикском и узбекском языках. Хорошо знал фарси и дари. Он для нас был как отец родной. Заботился. За глаза мы его называли падар (отец). Он знал об этом и не обижался.

Ты спрашивал, было ли мне страшно? Да, были моменты. Помню, примерно весной 1942 года по плану подготовки у нас были парашютные прыжки. Инструктор, по национальности украинец, изначально был против моего прыжка с парашютом. Даже в день прыжка, перед посадкой в самолет, инструктор уговаривал руководителя группы отменить мое учебное десантирование. Помню, он говорил: «Она теоретически знает на отлично, но смотри, Максим, сколько в ней веса — сорок килограмм, и рост сто пятьдесят сантиметров. Покалечим дивчину». Но Максим Александрович ответил: «Пойми, не могу, она, возможно, за кордон будет заброшена на самолете, должна же знать, как и за что дергать». Из пятерых троих в буквальном смысле слова вытолкнули из самолета. Было страшно. Я летела с криком вниз, но при этом считала: один, два, три.... на счете «пятнадцать» дернула за кольцо. Купол раскрылся, страх стал отступать. Дергая за стропы парашюта, я поняла, что потоком ветра меня уносит от аэродрома Душанбе, с места условного приземления, в сторону Шахринав. Страх вернулся. Заплакала. Стала читать все молитвы, которые только вспомнила. Перед глазами пробежала вся моя жизнь. Коснулась земли у холма. Но оказалось, это не все. Приземлилась жестко и неудачно. Глядя на все еще надутый купол, подумала, что он готов еще раз взлететь, но потом представила его парусом. Визг переходил в девичий мат в адрес парашюта, который жестоко волок меня, как мешок с картошкой, по земле. Не знаю, сколько это продолжалось, кажется, вечно, но, на мое счастье, купол зацепился за дерево и смирился. Я была вся исцарапана, хромая, в кровоточащих ранах и синяках, из носа шла кровь, но была счастлива. Словно заново родилась. Несмотря на то, что еще путалась в стропях. От счастья я смеялась и пела. Меня нашли ближе к вечеру. Это был мой первый и последний прыжок с парашютом.

— Да... тетя, вы еще у нас и парашютистка?

— Да, сынок, имею один парашютный прыжок... — и рассмеялась.

Мы некоторые время сидели молча. Я представлял ее, маленькую девочку, прыгающей с парашютом.

Через некоторое время тетя Махбуба продолжила:

— Синяки прошли и раны зажили у парашютистки. Примерно через месяц Максим Александрович на конспиративной квартире пригласил в свой кабинет, где присутствовал мужчина лет тридцати. Его мне не представили. Но он все время внимательно разглядывал меня с ног до головы. Это меня раздражало. Но не подала виду. В разведке не принято задавать лишние вопросы. Не помню, о чем мы говорили с Максимом Александровичем, но беседовали около тридцати минут. Через неделю меня одну, в сопровождении моего куратора, отвезли на явочную квартиру. В квартире находился незнакомец. Максим представил меня. Незнакомца звали Салават. Это был резидент, советский разведчик-нелегал в Афганистане. До меня было доведено, что Салават из всех кандидатов выбрал меня в свою группу в качестве радиста. Но это не все. По разработанной легенде, мы должны были стать мужем и женой, то есть парной агентурой. Я была растеряна. Я испугалась: выходить замуж за незнакомого человека и без благословения моих родителей... Я не знала, кто он, кто его родители, какого рода-племени. То, что про него рассказали мне, понимала, что это легенда. Я отказалась. На следующий день Максим Александрович выступил вместо матери, сестры и подруги. Он стал уговаривать меня согласиться выйти замуж за Салавата. Напоминал, что идет вой-

на, о долге перед отечеством и что он хороший человек, буду жить за границей, как ханша. Последний довод он привел в шутку. При этом добавил, что о замужестве не должен знать никто, даже самые близкие люди — мои родители и подруги. Дали время на обдумывание — два дня. Взвесив все, я согласилась. Но с условием: замуж только по шариату, должны пройти обряд никох (брачный обряд). Руководство согласилось. Один из преподавателей, таджик, был знатоком Корана, вот он и поженил нас. Моим свидетелем была одна из курсанток из нашей группы, а вторым Максим. Он же был отцом, вместо моего отца. До 1947 года мои родные не знали, что их дочь вышла замуж. Они думали, что я пропала без вести на фронте. И тогда мне было страшно. Боялась осуждения родителей, братьев и родственников. Но этот страх переборол долг перед родиной. Шла война, враг топтал и осквернял нашу родную землю. Это, может быть, громкие слова, но тогда так думали все.

— Да... дорогая тетя, что вам пришлось пережить.

— Сынок, такое не пожелаю даже врагу.

— Когда вас забросили за кордон?

— В конце 1942 года.

— На парашюте?

— Нет, — рассмеялась Махбуба, потом продолжила: — Переправляли меня через реку Амударья, недалеко от Термеза. Не знаю, что было страшнее — парашют или переправляться на плоту по полноводной, бурлящей реке. На сопредельной стороне меня встретил теперь уже мой резидент-муж. Кстати, свидетельство о браке я получила в 1948 году. Это потом я узнала, как мне повезло. Мой супруг оказался очень хорошим человеком, как муж и отец он был идеальным. Жаль, что его нет сейчас с нами.

Тетя Махбуба загрустила и о чем-то задумалась. Через некоторое время улыбнулась и спросила:

— На чем я остановилась?

— На афганской стороне вас встретил Салават.

— А, да. Посадил меня на лошадь и отвез в афганский город Мазаре-Шариф. В этом городе у него был собственный дом. Как я узнала, Салават в качестве резидента в Мазаре-Шариф был заброшен в конце 30-х годов, под прикрытием торговца коврами. Поначалу он на центральном рынке имел небольшую лавку. Но затем стал расширяться. Дела пошли вверх. Стал одним из состоятельных купцов на рынке. Видно, проснулась жилка торговца. Купил дом в городе Мазаре-Шариф. Жил один. Народ стал интересоваться, почему у такого бая нет жены. У некоторых его сверстников уже было по четыре жены, а у него ни одной. Поэтому «центр» решил исправить положение, и срочно стали «подготавливать» жену резиденту. Отобрали пятерых кандидатов, и выбор пал на меня. Чему я теперь рада и счастлива.

— Вы общались с местными женщинами на каком языке?

— Сколько ни старалась, у меня не получалось говорить на диалекте узбеков и таджиков Мазаре-Шариф. По легенде, говорила, что я из Калаи-Нав и у меня все эти годы якобы, пока находилась в Афганистане, болели зубы и горло. Боялась лишних вопросов и, естественно, расшифровки.

В 1945 году я была в положении. Как медик и как женщина понимала, что рожать одной рискованно. Во время учебы в медучилище Худжанда наши соседи обращались за помощью. Некоторые стали называть меня доктор Махбуба. Честно, это мне льстило. Делала уколы и перевязки. Не раз присутствовала при родах и видела, как роженицы кричали, и все время почему-то «мама, мамочка». При этом некоторые нецензурно вспоминали своих мужей. Я об этом рассказала мужу-резиденту. Он подумал и сказал: «Я сам тогда приму роды. Думаешь, не справлюсь? Я же красный коман-

дир и до разведки был командиром эскадрона и не раз видел, как рожали наши кобылы. Думаю, небольшая разница. Я справлюсь». Я промолчала. Но когда приблизился срок, Салават из кишлака пригласил повитуху. Хорошая была женщина. Без институтов и училищ, но знала свое дело. Роды были тяжелыми. Во время родов, как и предполагала, я несколько раз прокричала на своем худжандском «Бувачон» (мамочка). После родов повитуха спросила Салавата: «Откуда ваша жена? Она точно не местная». Салават сказал, что мои родители из Самарканда и в 1918 году, с приходом к власти Шурави, бежали в Афганистан, в город Калаи-Нав. Тогда я подумала: «Это провал». После этого страх преследовал меня, пока мы не покинули страну. Муж хотел избавиться от повитухи, это я поняла по его глазам, но я уговорила этого не делать. Она же приняла роды и первой взяла на руки нашего сына. Она спасла меня и сына. Муж-резидент выслушал меня и сказал: «Да, ты права. Я бы сам не справился. Наши кобылы так не рожали». Сына мы назвали Гуломсохиб. — Тетя Махбуба отпустила голову и заплакала.

Я подал ей чашку чая. Некоторое время мы сидели молча.

— А где сейчас Гуломсохиб?

— В 1947 году, после возвращения из командировки, его не стало.

— Когда вы вернулись на родину?

— В 1947 году резидент заподозрил неладное с членом нашей группы Икромом (псевдоним). Потом были получены сведения, что Икрёма задерживали на несколько дней афганские спецслужбы. Честно говоря, афганские спецслужбы были слабые и особой активности не проявляли. Афганистан в конце 30-х и в 40-х годах, как и в наши дни, был полем боя для спецслужб других стран, где сталкивались их политические интересы. Наиболее активными были английские, немецкие и турецкие спецслужбы. В частности, в 1943 году нашей резидентурой были получены сведения о концентрации антисоветских элементов: бывших басмачей, наемников, немецких агентов и офицеров, которые работали под прикрытием — вблизи афгано-советской границы с целью диверсии и вторжения на территорию советского Туркестана. В самом Мазаре-Шариф таких элементов нами было вычислено около трехсот человек. Один полевой командир, из бывших басмачей, который был объектом интереса группы, был похищен и тайно Салаватом переправлен в СССР.

В 1947 году, в целях недопущения ареста, мы получили приказ о возвращении на родину. Мазаре-Шариф мы покинули ранним утром. Когда уже подходили к границе, вдаль показались всадники, они скакали за нашими душами. Мы спрятались в камышах. Потеряв нас, они ускакали вдоль берега Амударьи. Когда проносились мимо, заплакал Гуломсохиб. От неприятеля нас отделяло примерно шестьдесят-семьдесят шагов. Гуломсохиб продолжал плакать. Уговоры не действовали. Салават посмотрел на меня и зажал сыну рукой рот. Мы смотрели друг на друга, и слезы одновременно катились из наших глаз. Когда Гуломсохиб начал задыхаться, муж убрал свои руки с детского ротика, дитя жадно набрало полные легкие воздуха, а через мгновение опять начало плакать, уже истерично, и от страха кричать. Рука отца невольно, но осознанно заткнула опять рот сыну. Как это ни жестоко, но в тот момент это было единственно правильное решение. Всадники находились почти напротив нас, все прислушивались и не уходили. Вдруг они начали наугад стрелять в нашу сторону. Салават передал уже чуть живого, посиневшего ребенка мне, обнял нас и встал спиной в сторону врага. Одним словом, наш отец своим телом стал прикрывать нас. Вокруг, как скошенные, падали камыши. Слышала свист мимо пролетающих пуль. Наконец пальба прекратилась. Я прижала сына к груди. Эффект, наверное, был такой же, как и от отцовской руки. Я осмотрела Салавата, ребенка, а потом себя. Крови не было. Аллах со-

хранил, на нас не было ни царапины. Афганцы прислушались. Один из них сказал: «Может, это шакал выл». Другие ничего не ответили. В это время Салават медленно взял на руки ребенка. Мальчик молчал. То ли от бессилия, то ли понял, что, если будет плакать, будут затыкать рот. Всадники ускакали, а мы скрывались в камышах до вечера. Ближе к закату в условленном месте муж нашел лодку. Когда стемнело, мы без каких-либо проблем переплыли реку. Нас уже ждали. Как потом выяснилось, с того берега наши коллеги наблюдали все происходящее днем и при необходимости готовы были открыть ответный огонь. Кстати, под вечер афганцы вдалеке от нас стали поджигать камыши, но огонь, к нашему счастью, до нас не дошел. В этой кошмарной ситуации я боялась за сына, мужа и потом за себя. Было страшно....

После возвращения на родину мы с мужем три месяца проходили проверку. Приехали на постоянное место жительства в Душанбе, получили квартиру. Съездили в Худжанд, где я числилась без вести пропавшей. Я и муж были в военной форме и при орденах. Родные приняли меня хорошо, благодарили Аллаха, что жива и здорова, при муже, грудь полна орденов и медалей. Конечно, некоторые смотрели на меня косо, но это после всего пережитого казалось мелочью. На реке Гуломсохиб простудился. Долго болел. Умер наш сын в 1948 году от простуды.

Ушла в запас, не дослужив до пенсии, в звании старшего лейтенанта. Медиком так и не стала. Окончила педагогический институт. В мирное время родила Салавату дочерей и сыновей. В 1993 году вышла на пенсию с должности заведующей детским садом, где проработала более тридцати лет. Мужа похоронила в 1976 году. Инфаркт.

В это время зазвенел дверной звонок. Тетя Махбуба пошла открывать. В коридоре послышался детский голос: «Здравствуйте, бабушка». Затем бас: «Салом, бабуля». Это был внук, лейтенант ГКНБРТ.

Жизнь продолжалась.

Юрий ИВАНОВ

МОЯ ПОСЛЕВОЕННАЯ ДЕРЕВНЯ

Рассказ

За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты...

А. С. Пушкин

Эти «рассыпанные хаты» — наша родовая деревня. Она называется Зимари. Вряд ли Пушкин знал ее название, во всяком случае, он нигде его не упоминал, но видел нашу деревню постоянно, так как она находилась за рекой и за лугом, как раз напротив окон его усадьбы.

Закончилась война, жители Ленинграда постепенно возвращались к нормальной жизни после блокады, остался позади и голод 1946 года. Первый послевоенный год помню хорошо, так как не переставал удивляться, почему страдаю от голода почти так же, как в блокаду. И в 1947-м было голодно, даже в пионерском лагере завода «Русский дизель», где я провел две смены и откуда писал, что третью уже не выдержу.

А на все лето 1949-го меня решили отправить в деревню. Оттуда сообщали, что кое-как отстроились, картошка есть, еще один рот обузой не станет. А свежий воздух и деревенская еда должны поправить здоровье измученному блокадой и послевоенными невзгодами ребенка.

В конце мая дядя Костя, брат отца, привез меня и своего сына, моего двоюродного брата Геню, в Пушкинские Горы, к нашему общему двоюродному брату Николаю. До революции в крестьянских семьях было по многу детей, и потому у меня в Пушгорах (так жители называли село) и в окрестных деревнях родственников было немало. Несмотря на бомбежки в начале войны и напряженные оборонительные бои, в ходе которых Пушгоры в июле 1941-го не раз переходили из рук в руки, а к моменту освобождения в 1944-м были почти полностью разрушены, дом Николая уцелел, большой, добротный и даже с теплым туалетом внутри, что в то время было большой редкостью.

Сам Николай только что демобилизовался: он успел повоевать в Германии в конце войны, а вот его отец Павел, мой дядя, погиб в Латвии. (Почему-то никак не могу найти его в базе данных ОБД, хотя все о нем знаю, а его подвиг был описан в местной газете на основе данных, обнаруженных детской общественной организацией «Красные следопыты» в ходе поиска героев войны.)

Юрий Ильич Иванов родился в 1937 году. Окончил Ленинградский политехнический институт. Работал инженером на Ленинградском машиностроительном заводе «Звезда». С января 1975-го по ноябрь 1977 года по направлению Государственного комитета по экономическим связям работал в качестве эксперта ООН по дизельным электростанциям Восточной Африки в городе Могалишо (Сомали). С 1990 года по настоящее время работает по индивидуальным контрактам переводчиком с английского языка технических текстов. Блокадник, ветеран войны, ветеран труда.

Но в доме двоюродного брата пробыл я недолго. Каким-то образом известие о моем приезде дошло до деревни Зимари, родной деревни моей мамы, куда я и должен был отправиться на летний отдых. И вот оттуда приехали моя двоюродная сестра Тоня, старше меня, и двоюродный брат Геня со стороны матери, на год меня моложе. Тоня взяла мой чемодан, и мы пешком пошли в деревню, до которой было шесть километров. Всю дорогу Тоня несла чемодан сама.

Шли мы по разбомбленной во время войны железнодорожной насыпи. Надо сказать, что до войны до Пушкинских Гор можно было добраться на поезде. (Железную дорогу построили еще до революции, в те времена, когда в Российской империи строительство железных дорог шло очень активно. Из классической литературы мы знаем, что инженеры-путейцы были инженерной элитой. От технического прогресса мы в те времена не отставали. Кстати, железнодорожную насыпь можно и сейчас увидеть на спутниковой карте.)

Сначала мы пришли на разрушенную станцию Тригорское. От нее остались только фундамент и ровная площадка, напоминавшая о том, что когда-то здесь находилась платформа. А уже потом попали на насыпь. Железнодорожная насыпь, как известно, не петляет, а значит, мы выбрали кратчайший путь. Но во многих местах насыпь была изрыта воронками от авиабомб, и нам приходилось обходить их, спускаясь вниз и снова поднимаясь вверх. Во время войны село и окрестности заминировали, но я никогда не слышал о каких-либо случайных подрывах и жертвах. Спасибо нашей армии за успешно проведенное разминирование Пушкиногорья после войны. Мне так и сказали: мин можно не бояться.

Когда мы проходили мимо деревни Кокорино, места рождения моего отца, ребята показали огромную воронку, образовавшуюся после взрыва собранных в окрестностях мин. В километре от Кокорина насыпь пересекала дорога, та самая, по которой Пушкин почти каждый день ходил из Михайловского в Тригорское, в имение Осиповых-Вульф. Неподалеку виднелась деревня Воронич, расположенная вблизи одноименного городища, знаменитого тем, что некогда его жители отбились от одного из польских отрядов Стефана Батория.

Спустившись с насыпи, мы подошли к реке Сороти у разрушенного железнодорожного моста. Страшно было смотреть на искореженные балки и фермы, выступавшие из неглубокой реки. Однако рядом уже действовал восстановленный деревянный автомобильный мост, по нему мы и перешли реку. Потом повернули направо и остановились передохнуть около остатков садов усадьбы Дериглазово.

Странно, что Пушкин, проходя мимо усадьбы, не заметил ее красоты. А она того стоила. Расположенная на высоком прибрежном холме, она виднелась издали и оправдывала свое название, восхищая изумительными пейзажами («дери глаз на все стороны»). По преданию, здесь жила строгая барыня. Впрочем, одно доброе дело она все-таки сделала — заговорила правый берег от змей. И действительно, за все годы посещения заречья я никогда змей не видел, а вот на стороне Михайловского встречались. (Местные крестьяне называли заречье «зарецкой стороной»: их речь отличалась «цоканьем». А сельсовет за Соротью — «зарецким сельсоветом».)

Про отсутствие змей за рекой я не знал и, проходя по мосту, опасливо поглядывал на перила, вспоминая строки Некрасова, незадолго до каникул выученные в школе:

Мы оба нагнулись, да разом и хватъ
Змею! Я подпрыгнул: ужалила больно!
Савося хохочет: «Попался спроста!»
Зато мы потом их губили довольно
И клали рядком на перилы моста.

Я не понимал, как это Савося мог смеяться над мальчишкой, только что укушенным змеей: он ведь мог умереть от ее укуса.

Пройдя по берегу Сороти два километра, мы наконец добрались до деревни.

Деревня Зимари расположена на одном из холмов, описанных Пушкиным. Зимаревский холм представляет собой скорее хребет, протянувшийся, постепенно повышаясь, под прямым углом от реки Сороти с востока на запад. По гребню хребта проходит проселочная дорога, а по обоим склонам теснятся избы и приусадебные участки. Южный склон холма-хребта обращен к Михайловскому, поэтому засеянные рожью полоски крестьянских наделов и описаны Пушкиным: «нивы полосаты». А его вершина расположена выше Михайловского — на музей-усадьбу Пушкина зимаревские обитатели всегда смотрят сверху вниз.

Хотя после войны прошло всего пять лет, деревня уже почти отстроилась заново, несмотря на то, что во время оккупации была полностью сожжена немцами. Правда, послевоенные дома скорее походили на небольшие избышки — иначе и не назовешь. Да и откуда было взяться хорошим домам в то время? Строились кто как мог. Нашу небольшую «изобку» (так говорили местные жители) дядя Вася, родной брат моей мамы, привез откуда-то из лесной деревни в псковской глубинке. Там они бревна поместили, разобрали сруб и до Зимарей сплывили по Сороти, а потом собрали снова. Крыша была, конечно же, соломенная. Однако не стоит думать, что солома — плохой кровельный материал. Слой соломы на крыше имел толщину около 20 сантиметров, и поэтому такая крыша никогда не протекала, а тепло сохраняла очень даже хорошо. Кроме того, соломенные «хаты» хорошо смотрелись из Михайловского, и Семену Степановичу Гейченко, тогдашнему директору музея, очень это нравилось.

Тем не менее одну просторную и богатую избу позже я все-таки обнаружил. Это был дом Семеновых. В Зимарях раскулачили и сослали в Сибирь две семьи — Помогаевых и Семеновых. О Помогаевых в деревне сохранилась добрая память — они действительно много помогали односельчанам, но сгнули в Сибири. А вот Семеновы вернулись. В Сибири они не пропали: крепко работали, построили большой дом, потом его продали и вернулись в родную деревню. Вот уж поистине: русский мужик гнется, да не ломается.

И вот я в нашей избе. Здесь ютятся дядя Вася с двумя детьми: Тоней, 16 лет, и Саней, 18 лет. Их мать умерла еще до войны. Тут же моя тетя Нюша с сыном 11 лет Геней (раньше говорили Геня, а не Гена), и теперь еще буду жить я. Итого в маленькой избышке шесть человек. Электричества, конечно же, нет, как не было и до войны. Лампочки Ильича в деревне зажглись лишь в 1967 году, к 50-летию советской власти. Тогда же появилось и телевидение. Вот такая электрификация всей страны. И это рядом с заповедником всемирного значения. Изба стояла на самом краю деревни, рядом с лесом, и поэтому во время войны сюда часто наведывались партизаны. Позднее по большому секрету дядя Вася мне рассказал, что это ему не нравилось, так как они всегда просили еды и самогонки. Тем не менее он всегда помогал партизанам, иногда ремонтировал им обувь, одежду и оружие. Так же поступали и многие другие жители. Зимари с полным правом заслуживают звания партизанской деревни. Много есть у нас городов-героев. Жаль, нет деревень-героев, а они заслуживают такое звание...

Первое время немцы вели себя довольно спокойно: партизанская война еще не началась. Был такой случай. Моя тетя Нюша, тогда молодая, красивая, статная женщина (про таких как раз писал Некрасов: «Есть женщины в русских селеньях...»), пошла на реку за водой. В это время там проходил немецкий патруль из двух автоматчиков. Они стали заговаривать с тетей: «Фройляйн, фройляйн». Однако «фройляйн» не испугалась и даже замахнулась на них коромыслом, прибавив несколько крепких слов.

Немцы засмеялись, жестами показали, что они ее не собираются трогать, и пошли дальше.

Был и другой невероятный случай. Немцы забрали всех коров. Дядя Вася набрался смелости и пошел в Пушкинские Горы. Каким-то образом он попал к коменданту и рассказал тому, что он вдовец, у него двое маленьких детей и без коровы ему не обойтись. И комендант разрешил ему найти в угнанном стаде свою корову и увести ее домой! В этот рассказ я поверить не мог и признался в этом дяде, однако он клялся и божился, что все так и было.

Но постепенно партизанское движение нарастало. К северу от Сороти расположен большой малонаселенный лесной массив. (Его можно увидеть на спутниковой карте.) Там нет дорог и очень мало деревень. Немцы за все годы оккупации туда так и не сунулись. Это был партизанский край, в истории Великой Отечественной войны получивший название партизанской республики. Люди продолжали там жить так же, как при советской власти. Многие за всю войну так и не увидели немцев. Пахали, сеяли, собирали урожай. Все, что смогли сделать немцы, это установить блокпост на мосту через Сороть, служившую границей партизанского края.

Здесь иногда проходили стычки с партизанскими разведчиками. Дядя Вася рассказывал такой случай. Как-то пришел к нему партизан и спросил, нет ли в деревне фашистов. А немцы к этому времени в деревню уже не заходили, о чем дядя Вася и сообщил. «Наливай, дед, самогонки», — потребовал партизан. Дядя Вася налил ему стакан. Выпив, захмелевший партизан сказал: «Шшас вдарю», после чего направился к мосту. Через какое-то время послышались звуки выстрелов. Прошло еще немного времени, и к дяде Васе прибежали немцы. «Где партизан?» — кричали они. «Убежал в лес», — ответил перепуганный дед. Немцы показали потерянную партизаном кепку и сказали дяде Васе, чтобы он передал партизану — в следующий раз тот попадетсЯ. А несколько успокоившись, потребовали: «Наливай, дед, самогонки». Пришлось налить и им. Возможно, поэтому дядю Васю не тронули.

Кстати, «деду» было всего 42 года. Но хитрый дядя Вася отрастил бороду и молодёжи казался стариком. На эту войну его не взяли, но в Гражданскую мобилизовали в Рабоче-Крестьянскую Красную армию, и он успел повоевать с Врангелем. Побывал в плену у белых, где на вопрос, откуда родом, ответил, как принято у псковских: «Мы скобские». Поняв, с кем имеют дело, белогвардейцы отправили его работать санитаром. После освобождения из плена его отпустили домой, и он благополучно вернулся на Псковщину.

Тете Нюше повезло меньше. Не сумев справиться с партизанским движением, немцы решили сжечь все деревни вдоль правого берега Сороти, по границе партизанского края. При этом они все-таки предупредили жителей, что деревни сожгут, и дали время вывезти имущество. Тетя пошла к свекру в деревню Косохново — просить приюта для себя и маленького сына. Когда она подходила к мосту, немцы заметили движение в кустах, подумали, что это партизаны, и открыли огонь из пулемета. Тете попало по ногам. Она закричала, немцы побежали на крик и увидели раненую молодую женщину. Пожалели. В это время мимо проезжал мужик с возом сена из деревни Федорыкино. (Впоследствии он всю историю рассказал тете.) Немцы, подбегав к телеге, скинули сено, попросту перевернув телегу, тетю перевязали, положили на телегу, один из немцев сел с ней и велел гнать в Пушкинские Горы. Доставили в немецкий госпиталь, где тете сделали необходимую операцию. Одну ногу немецкие врачи сохранили, а другую ампутировали, или, как в военное время говорили, отняли, ниже колена. Когда раны зажили, деревенский плотник вытесал ей из чурбана деревянную ногу и костыль. После войны она приезжала к нам в Ленинград, где ей сделали протез. Помню, как тетя обижалась на то, что ей дали категорию «инвалид несчастного случая». Такая вот случайность. Тем не менее протез ей сделали довольно быстро,

а в дальнейшем ей делали протезы уже во Пскове. Надо сказать, что протезы изготавливали очень неплохие. Спасибо послевоенным мастерам. Таких протезов после войны им приходилось делать великое множество.

Но вернемся к моему послевоенному появлению в деревне. Вечером мы отправились на ежедневную деревенскую операцию под названием «перенимание коров». А состояла она в следующем. Коров, овец и коз пригоняли с пастбища, а для того, чтобы они не разбрелись по деревне, подростки и женщины встречали свою скотину неподалеку от деревни и загоняли по дворам. При этом если коровы и козы шли спокойно, то с овцами была сплошная мука. Их тащили за рога, а иногда просто-напросто кто посильней взваливал вожака на спину и нес домой. Частенько хлопот добавляли мы, мальчишки. Помочимся все вместе где-нибудь под забором, а овцы, охочие до соли, начинают грызть землю в этом месте. Никакими силами их не оттащишь. (Много лет спустя я наблюдал, как точно так же перенимают скотину в африканской деревне.)

На следующее утро деревня предстала во всей своей красоте. Наш дом находился на самой вершине зимаревского холма. Усадьба Пушкина — вот она, через луг. Там же виднелась Савкина горка и деревня Савкино. Деревня Савкино была отстроена специально к 150-летию со дня рождения Пушкина в качестве показательной деревни. Ряд новеньких домов с красными черепичными крышами. В них поселили жителей деревни на зависть колхозникам всех деревень в округе. С завистью мы смотрели каждый вечер и на фонарный столб в Михайловском, где, как только наступали сумерки, загоралась электрическая лампочка.

Но прежде всего луг. Вообще-то, это был не один луг, а несколько, но выглядели они как один. Луг был заливной, то есть его заливало каждую весну во время половодья. И этот луг, можно сказать, являлся продолжением деревни. Прямо под зимаревским холмом находились так называемые мочила, то есть небольшие ямы, выкопанные для замачивания льна. Возможно, они сохранились и сейчас. Затем начинался собственно луг. Здесь росли травы, которые во время сенокоса скашивали. На скошенном лугу пасли гусей и коров. Мама в детстве тоже пасла гусей и вспоминала, что весь луг был белым от гусей. Для деревни луг имел большое значение, так как Зимари славились своими крупными, жирными гусями, и поэтому для местных жителей это были не просто «луга, измятые моей бродящей ленью», как писал великий Пушкин, а луг-кормилица. Гусей возили на продажу в Пушкинские Горы, благодаря чему в деревне было много зажиточных хозяйств. После отмены нэпа и начала коллективизации гусей выращивать перестали. И трава на лугу уже не стала такой сочной, так как гуси не удобряли ее. Кстати, и мяса в Пушгорах стало меньше, а в кафе «Березка» на михайловском лугу подавали биточки. Видимо, за отсутствием в них мяса эти биточки неудобно было называть котлетами. Тем не менее наш колхоз имени Чапаева регулярно заготавливал на зимаревском лугу сено, а на свежескошенный луг выпускали пастись коров. Луг обеднел также и потому, что при стоговании сена по нему бегал трактор, причем по новой технологии он не подтаскивал копны к стогу, а, наоборот, таскал стог от копны к копне. И порос луг не шелковым разнотравьем, а травой-ежой, попросту говоря, кочкарником. Возможно, сейчас луг восстановился.

Надо сказать, Зимари занимают очень выгодное с экономической точки зрения положение. К югу от нее расположен луг, кормивший всю деревню и принадлежавший ей безраздельно, потому что других селений поблизости не было. А к северу — глухие просторы с перелесками и лугами, где тоже деревень практически не было и никто на угодьях не претендовал. На этих лугах зимаревские крестьяне накашивали много сена и заготавливали хворост в неограниченном количестве. Поэтому Зимари считались зажиточной деревней.

Слева от луга протекает река Сороть. По берегу проложена тропинка. Здесь запах речных кувшинок смешивается с запахом луговых трав. На другом берегу, напротив луга, находится так называемый «борок», то есть небольшой густой лесок, вплотную подходящий к реке. Его можно видеть даже на рисунке землемера И. С. Иванова, сделанном в 1837 году. Под борком хорошо ловилась уклейка, или, по-местному, «клея». Кстати, ерш у нас назывался «яреш». Уклеюку мы жарили и ели, разнообразя наш скудный рацион. Первый луг от деревни Зимари доходит до старицы, то есть бывшего русла Сороти. Перейдя старицу, мы попадали на небольшое возвышение. Там росла одичавшая клубника. Ягода была некрупная, действительно похожая на садовую землянику, с необычным вкусом. Здесь мы частенько собирались и «паслись». Деревенские говорили, что клубнику посадила барыня из Дериглазова. Дальше до Сороти луг был влажным и топким, но пройти можно («на влажных берегах бродящие стада»). Здесь построили небольшой временный мостик, по нему мы перебирались в Михайловское. Впрочем, там мы бывали редко, так как нам хватало своих замечательных лесов и лугов. На нашем лугу однажды сел самолет У-2, значит, зимаревский луг был большой и ровный.

На зимаревском лугу обитало множество птиц. Летом высоко в небе неподвижно висели жаворонки и пели свои песни. По берегам бегало множество куликов. Они почему-то не любили летать, а постоянно шмыгали в кусты. Осенью здесь кормилось перед перелетом на юг великое множество скворцов. Если их вспугнуть, они взлетали в небо, и их стаи начинали выписывать самые невероятные фигуры. Потом их стало меньше. Оказывается, скворцы улетают на зиму в основном во Францию, где как раз осенью созревает виноград для фирменных французских вин. Уставшие скворцы набрасываются на сладкий виноград, что вызывает недовольство местных виноградарей. Они отстреливают их, а также всячески травят. Поэтому весной не все наши скворушки возвращаются домой.

Нельзя не упомянуть о высоком славянском кургане на вершине зимаревского холма, всего метрах в ста от крайней избы. Деревенские его побаивались, рассказывали всякие небылицы. Мы, мальчишки, к нему не подходили «от греха подальше». Позднее, уже взрослым, я к нему ходил. Курган довольно крутой и, в отличие от остатков курганов в Михайловском, высокий, около пяти метров. Трава на нем росла редкая. Я удивлялся, как при таком негустом травяном покрове он простоял несколько веков. Старинные деревенские пахари его не срывали, испытывая к нему почтение, да и плугом с лошадкой его не возьмешь. Но вот в деревню пришел трактор «Кировец». Ему все нипочем. Курган мешал пахоте, и его срыли. Жаль. (Кстати, трактор «Кировец» сделал и другое недоброе дело. Однажды местный тракторист установил на лемехе плуга слишком большую глубину пахоты и перевернул все поле так, что наверху оказалась глина, а тонкий культурный слой внизу. Колхозная земля не своя, а мощный трактор мог пахать на любую глубину.)

И вот началась моя деревенская жизнь. Пока не созрели ягоды и не появились грибы, мы проводили все время на реке. Купались и ловили удочками рыбу. Заготавливали хворост. Тут как раз подоспел большой праздник — 6 июня 1949 года, 150-летие со дня рождения Пушкина. Праздник был грандиозный, народу понаехало много. Был знаменитый литературовед Ираклий Андроников. Работали небольшие киоски с каким-то товаром. Местный народ, не избалованный изобилием, кое-что покупал. На поляне поставили скамейки. После торжественной части состоялся концерт. Праздник несколько испортила начавшаяся во второй половине дня сильнейшая гроза. Сначала мы прятались под соснами, но когда промокли до нитки, то прямо под дождем и градом побежали в свою деревню через луг. Несмотря на сверкавшие молнии, до-

брались благополучно. «Под крупным дождем ребяташки бежали /Босые к деревне своей», как писал Некрасов. Об этой грозе потом долго говорили, так как кое-где она наделала бед.

Питание в деревне оставалось очень скудным. Практически одна картошка с хлебом. Как только появлялся зеленый лук, его толкли и заправляли картошку. Молока не хватало. Своей коровы еще не держали. Была стельная телка, но отела ждали зимой. Молоко брали в колхозе в счет будущего заработка в виде трудодней. В деревне было два стада коров — колхозное и частное. Когда подходила наша очередь пасти деревенское стадо, мы с братом работали у дяди Васи подпасками. Всех коров мы знали по именам. Особенно мне нравилось имя Муза — так назвала свою корову учительница. Иногда покупали молоко у односельчан, уже обзаведшихся коровами. Один раз ходили за молоком в дальний лес, где жила каким-то образом уцелевшая со времен коллективизации семья единоличников. Кстати, там же где-то неподалеку скрывался бывший полицай. Об этом знала и милиция, но на него махнули рукой, не трогали. Небольшим подспорьем служили грибы и ягоды, но они в начале лета еще не созрели. На трудодни давали зерно, а молоть его приходилось самим с помощью жерновов. Конструкция их была необычная. К подвижному жернову с отверстием посередине для подсыпания зерна прикреплен в качестве ручки для вращения шест, верхним концом входивший в отверстие доски, прикрепленной над жерновами. Это облегчало движение жернова с места в начале мукомольного процесса. Кроме того, шест обеспечивал вращение верхнего жернова вокруг вертикальной оси, не давая ему соскакивать с нижнего, неподвижного. Вращать жернова очень тяжело. Но зато хлеб из такой муки, испеченный в русской печке, необыкновенно вкусный и душистый.

12 июля у православных Петров день. Где его праздновать, как не в Петровском! Тогда никакого музея не было, но фундамент дома деда Пушкина Ганнибала помню хорошо. Туда люди и начали стекаться со всех окрестных деревень. На церковные праздники тогда собиралось довольно много народа. Кое-кто вернулся с войны, а также выросли парни, не мобилизованные на фронт по малолетству. Правда, многие ребята уехали в ремесленные училища, куда их набирали после войны. Набор проходил принудительно. Для восстановления страны требовались кадры. Забрали и моего брата Саньку, но он сбежал обратно в деревню. Согласно тогдашнему закону это строго каралось. Его и многих других убежавших из ремесленного училища деревенских подростков судили и посадили на полгода. Их пожалели, никуда не отправили, но при тогдашней нехватке площадей власти не знали, где их держать. Выход нашелся простой. Разгородили широкий коридор во псковском городском управлении милиции продольной перегородкой. По одной стороне коридора ходили милиционеры, а на другой стороне сидели подростки. Так как половина коридора была узкой, то ребята сидели поперек коридора на матрасах, упираясь согнутыми в коленях ногами в стенку. Так, полулежа, и спали.

К празднику народ нагнал самогонки. Самогоноварение преследовалось законом, но на это милиция смотрела сквозь пальцы. В основном потому, что сами милиционеры часто угощались в деревнях. Гнали самогонку в лесу, у какого-нибудь ручья. В деревне самогонка служила также универсальным способом оплаты за любые услуги, так как денег практически ни у кого не было. Тете Нюше, без ноги, эта валюта была крайне необходима.

До Петровского было рукой подать — нужно только переправиться через Сороть. Мы, ребята, туда и направились, переплыв реку. Праздник застали в полном разгаре. Проходил он так. По главной улице взад-вперед ходили группы молодежи из различных деревень. В каждой группе своя гармошка. Пели частушки, а на встречных

курсах парни воинственно поглядывали друг на друга. Подогревали себя для будущей драки. Традиция драться на праздниках считалась нерушимой. Особенно любили драться кольями, их обычно выдергивали из соседних плетней. В конце концов так и случалось. Девки с визгом разбежались, а парни бились до крови. Иногда баловались и ножичками. Один парень из нашей деревни кого-то пырнул, так и поехал в Магаданский край. Однако благополучно вернулся и получил прозвище Колыма. (Кстати, его жена частенько переругивалась на всю деревню с моей тетей Нюшей. Не случайно Гейченко в одном из своих рассказов писал, что по вечерам в хорошую, тихую погоду Пушкин мог слышать, как бранятся зимаревские бабы. Понятно, что все это слышал сам Гейченко.)

Петров день — это и начало сенокоса. «В полном разгаре страда деревенская». В пушкинском крае я постоянно вспоминал стихи Некрасова из программы пятого класса, который только что окончил. На сенокос отправились все: и взрослые, и подростки. Пришлось поработать и мне. Ребята сено, конечно же, не косили, но ворошили для просушки, собирали в копны, а копны на лошади с помощью специальной волокуши подвозили к месту стогования. Стога на Псковщине называли «одонками». Вообще, там я узнал много местных слов. Например, подберезовики называли «обабками». Вместо «нынче» говорили «нойма». Видимо, в диалекте сохранились следы языка древнего славянского племени кривичей или финно-угорских племен, живших в этих местах около тысячи лет тому назад.

После сенокоса нас, подростков, иногда привлекали и к другим работам. Помню, пригнали к нам откуда-то волов, возможно, трофейных, — скотина, в наших краях не виданная. Волы должны были заменить наших измученных деревенской работой немногочисленных лошадок. И волы неплохо потрудились. Они легко тащили за собой плуги и бороны. Как-то раз нас с братом Геней попросили перегнать двух волов в какое-то отдаленное место. Нас посадили на них, дали по хворостине и указали направление. Когда я оказался на спине огромного вола, мне показалось, что я сижу на слоне. Спина вола очень широкая, сидеть верхом на ней невозможно. Сидел, поджав ноги под себя. Однако волы послушно зашагали туда, куда мы их направили. Потребовались чудеса балансирования, чтобы не свалиться на землю, — взобраться обратно без посторонней помощи мы бы не смогли. Особенно тяжело пришлось, когда переправлялись через овраг. Волы не такие гибкие, как лошади, и при спуске их спина резко наклонилась вниз, и мы, чтобы не упасть, уперлись ногами в рога. А когда выбирались из оврага, вцепились в рога руками, чтобы не скатиться обратно в овраг. До места назначения волов мы благополучно доставили.

Наконец поспели грибы и ягоды. И началась уже наша, ребячья страда. За ягодами и за грибами ходили каждый день. Ягоды собирали не только в лесу, но и в заброшенных деревнях за Зимарями. Особенно красива была оставленная жителями деревня Горки, совсем рядом с нашей деревней. Деревня располагалась на высоком холме с видом на широкие просторы и вся засажена садами. Там мы и собирали красную и черную смородину на многочисленных кустах. У нас росло много вишняка, то есть зарослей вишневых деревьев. Правда, до черноты, когда вишня становилась сладкой, ягоды не доходили: мы ели их еще красными, а это не совсем вкусно.

Грибы собирали в окрестных лесах. Леса небольшие, заблудиться невозможно, но зато безлюдные: территория за Зимарями почти не заселена. Здесь я повстречался со следами войны.

Зимари — деревня, пострадавшая дважды. Сначала ее сожгли как партизанскую, а затем она оказалась на линии фронта с нашей стороны, когда наши части подошли в 1944 году, после снятия блокады Ленинграда. В результате вся деревня и окрестности изрыты окопами и траншеями. В самой деревне траншеи запахали, а в лесу их оста-

валось множество. Сначала я не понял, что это за канавы, где по краям так хорошо растут грибы, но потом мне объяснили, что это остатки фронтовых траншей. Много находили в лесу и квадратных ям — остатков командирских землянок с хорошо сохранившимся прорытым входом. Натыкались мы и на снаряды. Один раз мальчишки пытались разобрать снаряд, чтобы добыть тол и глушить рыбу. Я напрасно их предупреждал об опасности. Меня, конечно же, не слушали и даже называли трусом. Превозмогая стыд, я отошел подальше и залег. Мне-то, городскому, было хорошо известно о подрывах людей в окрестностях Ленинграда. Тогда много мальчишек погибли или стали калеками. А сколько ужасов я видел, когда ходил в баню: множество крепких, молодых мужчин, а тела их жестоко изуродованы войной.

В один из приездов в деревню я встретил на лугу бывшего солдата, шедшего в Зимари, отделившись от группы экскурсантов. Он очень удивился тому, что деревня отстроилась и возродилась. Вспоминал, как здесь было все перерыто и не оставалось даже бревнышка или кирпичика: все шло на укрепление траншей. Вспоминал окопный быт и петуха в Михайловском, где проходила немецкая линия фронта, по утрам будившего и наших, и немцев.

Грибы собирали каждый день, это была наша обязательная работа, и каждый день взрослые варили грибной суп с картошкой. Так что благодаря нашим стараниям летом в деревне голодных не было. В лес выходили с раннего утра и оставались там до полуденной жары. Все точно как у Некрасова: «Ух, жарко!.. До полдня грибы собирали». Сдав грибы хозяйкам, бежали на речку купаться. В деревне я, блокадник, окреп, но блокада все-таки иногда сказывалась.

Постепенно лето подходило к концу. Созревал урожай. Сначала поспели яблоки в колхозном саду. Сад большой и находился за деревней. Его посадили при организации колхоза, чтобы вызвать у колхозников энтузиазм строителей нового советского общества. Колхоз называли, непонятно почему, именем Чапаева. Где Чапаев и где псковская деревня. Сад состоял, по сути, из двух — верхнего и нижнего, разделенных елями. (Контур сада, уже сильно заросшего, можно и сегодня разглядеть на спутниковой карте.) Здесь мы, подростки, собирали яблоки, потом их отвозили на склады в Пушкинские Горы. Сейчас яблони одичали, а яблоки стали кислыми.

19 августа отмечали Яблочный Спас. По местному церковному правилу организация праздника возлагалась на деревню Зимари. Пекли пироги и гнали самогонку. Играли на гармошках и гуляли по главной улице туда и обратно. На этот раз драк не было, никто не пострадал. Ходили в гости. В одной избе я увидел висевшее у православной иконы полотенце, оставшееся от какого-то немецкого оккупанта. На полотенце надпись на немецком языке: «Morgenstunde haben Gold im Munde». Немецкий я тогда знал неплохо — предмет мне нравился. Тогда я перевел поговорку русским аналогом: «Кто рано встает, тот богато живет», за что хозяева меня очень заужали.

Кончался август. Скоро мне предстояло покинуть деревню и вернуться в город. Впоследствии я приезжал в Зимари каждое лето.

Деревня эта и сейчас красуется на высоком холме. Славная, непобедимая деревня, большое тебе спасибо за то, что ты есть. Вот какие теплые и душевные стихи посвятил нашей деревне директор Пушкинского заповедника Георгий Николаевич Василевич:

С зимаревского холма вся Россия впрямь видна,
Города ее, и веси, и стихи ее, и песни,
Птичьи стаи в небесах и часовни на холмах.
В Зимарях зимой и летом помнят Пушкина-поэта.
В деревеньке Зимари славно, что ни говори!

Евгений БЕРКОВИЧ

СЛЕЗЫ ГЕЙЗЕНБЕРГА, ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРИНЦИПА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Об одном эпизоде из истории
квантовой механики

На пути к новой теории

К середине 1920-х годов квантовая физика находилась в глубоком кризисе. В основе этого раздела науки об атомах и молекулах лежала гипотеза Макса Планка о квантах света, высказанная в 1900 году, планетарная модель атома, предложенная Эрнестом Резерфордом в 1911 году, и постулаты Нильса Бора, сформулированные в 1913 году. Поначалу новый подход успешно применялся к расчету простейших физических объектов, например атома водорода. Но попытки распространить его на более сложные системы оканчивались неудачей.

Постепенно ведущие физики планеты стали приходить к заключению, что первоначальная модель атома Бора—Зоммерфельда, с которой было связано столько надежд, не позволяет решать сложные задачи исследования микромира. Модели атомов с несколькими электронами давали результаты, не совпадающие с данными экспериментов. Попытки рассчитать орбиты электронов внутри атома сталкивались с огромными техническими трудностями, громоздкими математическими вычислениями и не приводили к желаемому результату. Сложно было объяснить, почему частота испускаемого света отличалась от частоты вращения электрона по своей орбите. Квантовая физика больше напоминала искусство, чем науку. Конкретные задачи ученые решали, делая те или иные допущения, опиравшиеся на собственную интуицию и на философский принцип соответствия Нильса Бора, а не на единый формализм теории, который еще не был построен.

Евгений Михайлович Беркович — публицист, историк науки и литературы, издатель. Окончил физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор естественных наук (Германия). Создатель и главный редактор журнала «Семь искусств» и ряда других сетевых изданий. Автор книг «Заметки по еврейской истории» (М., 2000), «Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории холокоста» (М., 2003), «Революция в физике и судьбы ее героев. Томас Манн и физики XX века» (М., 2017), «Революция в физике и судьбы ее героев. Альберт Эйнштейн в фокусе истории XX века» (М., 2018) и др. Публиковался в журналах «Нева», «Новый мир», «Знамя», «Иностранная литература», «Вопросы литературы», «Человек» и многих других изданиях.

Напряженность в среде физиков нарастала. Как часто бывает, когда многие недовольны сложившимся положением вещей, то тут, то там возникают предложения, где искать выход. И выход нашелся. Даже не один, а целых два.

В 1925 году Вернер Гейзенберг, молодой ассистент профессора Макса Борна из Гёттингенского университета, предложил совершенно новый подход к исследованию атомных явлений, который впоследствии после его совместных работ с Максом Борном и Паскуалем Йорданом стал называться квантовой (или матричной) механикой. Математический аппарат нового подхода опирался на непривычное для физиков матричное исчисление, поэтому большинством ученых был встречен настороженно. Только могучий математический талант Вольфганга Паули позволил ему рассчитать спектр атома водорода с помощью новой квантовой механики. Другие физики даже братья за подобные задачи опасались.

Второй выход был предложен в Цюрихе в начале 1926 года, буквально через несколько месяцев после первых работ по матричной механике. Профессор Цюрихского университета Эрвин Шредингер построил иной вариант теории, названный волновой механикой. Он предлагал решать привычные для большинства физиков дифференциальные уравнения, по виду очень похожие на уравнения классической физики и доступные для решения специалисту средней квалификации. Физический мир принял результаты Эрвина Шредингера не просто с облегчением, а с великой радостью.

К 1927 году в науке о микромире сложилась необычная ситуация. Всего полтора года назад у физиков не было строгой теории для расчета атомных явлений. Теперь же таких теорий оказалось сразу две — волновая и матричная механики. Несмотря на доказанную эквивалентность, они по форме сильно отличались. Формализм каждого подхода был основательно разработан. Но формализм, как не уставал повторять Вольфганг Паули, это еще не физическая теория. Необходимо было, по его словам, обнаружить «физическое ядро».

Чтобы формализм стал физической теорией и допускал проверку экспериментом, с ним должны быть связаны привычные понятия классической физики: положение, скорость, траектория, орбита и т. п., то есть те понятия, которыми оперирует экспериментатор. Проблема состояла в том, что формализм квантовой механики строился на отказе от понятий классической физики, используемых в экспериментах, так как эти величины на атомном уровне были ненаблюдаемыми. В новой науке эти понятия должны были иметь другое значение. Но вот какое? Над этим напряженно размышляли в Копенгагене Нильс Бор и его ассистент Вернер Гейзенберг.

«Неужели возможно, что природа так безумно запутана?»

Гейзенберг вспоминал:

В последующие месяцы физическое истолкование квантовой механики составляло главную тему бесед между Бором и мной. Я жил тогда на верхнем этаже институтского здания, в маленьком уютном чердачном помещении с косыми стенами, откуда открывался вид на деревья у входа в Феллед-парк. Часто Бор даже поздним вечером еще раз заходил в мою комнату, и мы обсуждали всевозможные так называемые мысленные эксперименты, чтобы проверить, действительно ли мы полностью поняли свою теорию [Гейзенберг, 1989, с. 203].

Собеседники обсуждали мысленные и реальные эксперименты, рассматривали возражения и предложения Шредингера, Эйнштейна, Борна, пытались выделить то самое «физическое ядро» квантовой механики, о котором говорил Паули.

Вскоре выяснилось, что у каждого из участников обсуждения свой взгляд на то, как преодолеть трудности физической интерпретации квантовой теории. Бор склонялся к тому, чтобы волну и частицу — два противоречащие друг другу наглядные представления об объекте исследования — объявить равно справедливыми и имеющими право на существование. Более того, хотя эти представления взаимоисключают друг друга, вместе они позволяют полностью описать процессы в атоме.

Вернеру Гейзенбергу такой подход не нравился, он считал, что нельзя допускать двойной интерпретации физических явлений. Из квантовой теории должна логическим путем вытекать единственно верная интерпретация. Если она сейчас не очевидна, то ее можно будет обнаружить в процессе дальнейших исследований.

Их споры затягивались в боровском институте допоздна, нередко продолжаясь в квартире Бора за бокалом вина. После таких споров уставший Вернер шел домой через ночной парк, спрашивая себя: «*Неужели возможно, что природа так безумно запутана?*» [Hermann, 1977, с. 93].

Напряженные интеллектуальные поединки, казалось, не имеют конца. Гейзенберг вспоминал:

Поскольку наши беседы часто затягивались до глубокой ночи и, несмотря на месяцы непрерывного напряжения, не приводили к удовлетворительному результату, мы дошли до состояния истощения, которое, ввиду разной направленности мысли, вызывало иной раз натянутость отношений. Поэтому Бор в феврале 1927 г. решил взять отпуск, чтобы походить на лыжах по Норвегии, и я был тоже очень рад тому, что могу теперь в Копенгагене еще раз наедине с собой поразмыслить над этими безнадежно сложными проблемами [Гейзенберг, 1989, с. 204].

То, что Бор не пригласил Вернера, как обычно, вместе покататься на лыжах, вызывает раздражение и усталость датского профессора. Силы Гейзенберга тоже были на исходе. В письме отцу от 11 ноября 1926 года он жаловался:

Семестр здесь, вообще-то, слишком длинный, я жутко устал от постоянной занятости. <...> Каждую неделю мы ездим с Бором верхом, это очень изысканно и здорово помогает избавиться от обычной семестровой усталости [Heisenberg—Eltern, 2003, с. 112—113].

Норвежский отпуск Нильса Бора продолжался целый месяц, только в середине марта он вернулся в Копенгаген. Отдых пошел ему на пользу, Нильс нашел, как ему казалось, выход из тупиковой ситуации, в которой оказалась ждущая своей интерпретации квантовая теория. Бор назвал этот выход «принципом дополненности». Он ввел это новое логическое понятие в физику, чтобы подчеркнуть соотношения между двумя наборами представлений, которые исключают друг друга, но оба необходимы для описания физической реальности. Исходным пунктом для него был дуализм «волна — частица», который не давал покоя ни ему, ни Шредингеру, ни Гейзенбергу. Бор давно шел к этой мысли, с одной стороны, признавая дискретность материи, свойственную частицам, а с другой стороны, тяготея к волновой картине мира (вспомним его реплику на письмо Эйнштейна о радиоволнах, благодаря которым до него дойдет телеграмма об окончательном доказательстве световых квантов [Джеммер, 1985, с. 187]).

Дополненность, по Бору, не ведет к логическим противоречиям, хотя дополнительные понятия противоречат одно другому. Сама возможность использовать противоречащие понятия появляется из-за нечеткости концепции «наблюдение». В классической физике объект наблюдения и средства наблюдения не связаны одно с другим.

В мире атома нельзя провести наблюдение, не изменив наблюдаемый объект. Если мы наблюдаем, например, электрон, мы должны осветить его, но падающий свет, то есть поток фотонов, сталкиваясь с электроном, меняет его положение и скорость. То есть мы видим уже не тот электрон, который хотели наблюдать вначале, а его новое состояние, в которое он пришел под действием нашего наблюдения. Принцип дополнительности, как считал Бор, решает проблему интерпретации квантовой механики:

Взяв атомную систему в сочетании с приборами, классическое описание которых различно, можно измерить дополнительные переменные, а выразив результаты этих измерений в классических терминах, можно описать атомную систему с помощью дополнительных классических образов [Джеммер, 1985, с. 337].

«Взошла заря новой эры»

Нильс Бор был уверен, что его долгий спор с Гейзенбергом на этом должен закончиться. Но и ассистент не терял времени даром: к приезду шефа была готова рукопись статьи «О наглядном содержании квантотеоретической кинематики и механики»¹, содержащей знаменитый «принцип неопределенности» [Heisenberg, 1927] (русский перевод [Гейзенберг, 1977а]).

Ход рассуждений Вернера Гейзенберга был примерно следующим. В правильности формализма квантовой механики он не сомневался ни минуты. Проблема была не в нем, а в привносимых в квантовую механику интуитивных пространственно-временных представлениях классической физики. Именно эти представления — положение, скорость, энергия, время, траектория и т. п. — не всегда находили точное выражение в квантовомеханическом формализме. Но если без этих представлений не обойтись, то остается только наложить ограничения на их использование.

В феврале 1927 года, когда изнуряющие дискуссии с Бором из-за усталости обоих спорщиков на время потеряли свою остроту, Вернер Гейзенберг получил свободу заниматься интересующими его проблемами. В письме Паули от 5 февраля он сообщает:

Для собственного удовольствия я снова и снова занимаюсь трудностями, связанными с общей проблемой pq - qp , <...> и мне постепенно становятся все яснее их зависимости [Pauli-Briefe-I, 1979, с. 374].

С отъездом Бора в середине февраля его ассистент все свое время посвятил вопросу, когда-то поставленному перед ним Эйнштейном: «Каким образом в квантовой механике математически представить траекторию электрона в камере Вильсона?» [Гейзенберг, 1989, с. 204].

Как вспоминал впоследствии Гейзенберг, он пять вечеров мучился этой загадкой, пока не осознал, что сам вопрос поставлен неправильно. Ключом к так долго не отпирившейся двери послужили слова Эйнштейна, сказанные почти год назад в его берлинской квартире: «Только теория решает, что можно наблюдать». Возбуждение от этой мысли было столь же сильным, как и от озарения в июне 1925 года на Гельголанде. Как и тогда, спать Вернер не мог, он вышел в ночной Феллед-парк, чтобы еще раз проверить логику рассуждений. Вот к каким выводам он пришел:

¹ Немецкое название «Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik» грамматически с одинаковым правом можно перевести как «О наглядном содержании квантотеоретической кинематики и механики», так и «О наглядном содержании квантотеоретических кинематики и механики». Традиционно в отечественной литературе используется первый вариант перевода, хотя по сути второй точнее: квантотеоретическими здесь понимаются как кинематика, так и механика.

...мы всегда бездумно повторяли: траекторию электрона в камере Вильсона можно наблюдать. Однако реально наблюдалась, наверное, все-таки еще не она сама. Возможно, наблюдались некие дискретные следы неточно определенных положений электрона. Ведь фактически в камере Вильсона видны лишь отдельные капельки воды, которые заведомо намного протяженнее, чем электрон. Поэтому правильно поставленный вопрос должен гласить: можно ли в квантовой механике описать ситуацию, при которой электрон приблизительно — т. е. с известной неточностью — находится в данном месте и при этом приблизительно — т. е. опять-таки с известной неточностью — обладает заданной скоростью, и можно ли эти неточности сделать столь незначительными, чтобы не впасть в противоречие с экспериментом? [Гейзенберг, 1989, с. 205].

Оценивая статистические погрешности в определении сопряженных переменных, Гейзенберг показал, что их произведение не может быть меньше, чем планковский квант действия. Если одна погрешность стремится к нулю, то есть переменная измеряется все точнее и точнее, то вторая погрешность обязана стремиться к бесконечности, стало быть, соответствующая переменная становится все менее и менее определенной.

Полученные результаты поднимали настроение. Письмо родителям от 22 февраля звучит куда оптимистичней, чем январское:

В физике дела у меня идут значительно лучше. В последние четырнадцать дней навел довольно систематический порядок в мыслях о моих личных делах и теперь ясно вижу, на какую проблему я хочу нацелиться; но пока я слишком глуп, чтобы ее решить [Heisenberg—Eltern, 2003, с. 119].

В интервью, данном спустя много лет Томасу Куну, Гейзенберг вспоминал о том времени:

Итак, я был один в Копенгагене, и через несколько дней понял, что соотношения неопределенностей было бы правильным ответом. Я попытался определить, что означают такие понятия, как пространство, скорость и т. д. Я просто попытался перевернуть вопрос, следуя примеру Эйнштейна. Вы знаете, Эйнштейн перевернул вопрос, сказав: «Мы не спрашиваем, как мы можем описать природу посредством математической схемы, но мы говорим, что природа устроена так, что математическая схема может быть к ней применена». Т. е. вы находите в природе только те состояния, которые можно описать преобразованиями Лоренца. Я просто предположил для себя: «Разве это не так, что я могу найти в природе только такие ситуации, которые описываются квантовой механикой?» Тогда я спросил себя: «Что же это за ситуации?» И очень скоро я обнаружил, что это такие ситуации, в которых справедливо соотношение неопределенностей между p и q [Heisenberg-VIII, 1963].

На следующий день после оптимистичного письма родителям в Мюнхен, 23 февраля 1927 года, Вернер отправил большое письмо на 14 страницах в Гамбург своему главному советчику и критику Вольфгангу Паули. В нем он изложил основные результаты, включая «соотношение неопределенностей». Гейзенбергу срочно нужна была оценка его работы со стороны Паули, желательна до возвращения Бора. Вернер чувствовал, что шефу снова не понравится его позиция, и хотел заручиться одобрением гамбургского друга, мнением которого Нильс Бор очень дорожил.

Реакция всегда критично настроенного Паули была неожиданной и очень обнадеживающей. Как вспоминал Гейзенберг, Паули написал ему что-то вроде «Взошла заря новой эры» и «Наступил великий день в квантовой теории» [Heisenberg-VIII, 1963].

«В это трудно поверить»

Вот мы и подошли к теме настоящей статьи, предыдущие пояснения были лишь предисловием. О слезах Вернера Гейзенберга мы еще поговорим, а сейчас поясним, что понимается под неопределенностью принципа неопределенности. Этот принцип, вначале именовавшийся соотношением неопределенностей, является одним из краеугольных камней современной науки о микромире. Впервые соотношение неопределенностей появилось в статье Гейзенберга [Heisenberg, 1927], опубликованной в журнале «*Zeitschrift für Physik*» (русский перевод [Гейзенберг, 1977а]). Опубликованная в мае статья поступила в редакцию 23 марта 1927 года и содержала в окончательной редакции «Дополнение при корректуре», в котором, в частности, говорилось:

После того как данная работа была завершена, новые исследования, проведенные Бором, привели к точкам зрения, допускающим существенное углубление и уточнение анализа квантовомеханических соотношений, который я пытался произвести в моей статье [Heisenberg, 1927, с. 197].

Вот это «Дополнение при корректуре» и вносит в историю создания квантовой механики известную неопределенность. Дело в том, что среди историков науки и биографов Гейзенберга нет согласия по такому простому вопросу: когда Гейзенберг передал свою эпохальную статью о «соотношении неопределенностей» в редакцию журнала «*Zeitschrift für Physik*» — до того, как все противоречия между ним и Бором были улажены, или после? Даже сам автор статьи спустя десятилетия не мог точно на этот вопрос ответить, сославшись на плохую память.

Второстепенный на первый взгляд вопрос на самом деле важен для историка науки. Сам факт существования «Дополнения» говорит, что Нильс Бор не был согласен с содержанием статьи Гейзенберга и имел на поднятые в ней вопросы свое решение. Поэтому многие историки науки и биографы Нильса Бора и Вернера Гейзенберга считают, что статья была послана в журнал без согласования с Бором. Например, биограф Гейзенберга Дэвид Кэссиди считает, что Бор вернулся из отпуска как раз 23 марта, когда статья была уже отослана в редакцию, а «Дополнение при корректуре» поступило после того, как разногласия между физиками были сглажены [Cassidy, 1995, с. 300].

Того же мнения, хотя и с оговорками, придерживался и другой ассистент Бора Оскар Кляйн, особенно близкий к нему во время острых дискуссий с Гейзенбергом. В интервью американскому историку науки Джону Хейльброну и бельгийскому физика Леону Розенфельду, тоже сотрудничавшему с Бором на этапе формирования копенгагенской интерпретации квантовой механики (интервью состоялось 28 февраля 1963 года), Кляйн, в частности, сказал:

Я думаю, что он [Гейзенберг. — Е. Б.], возможно, послал статью до того, как Бор вернулся домой. Я не вполне уверен, но полагаю, что он сделал так» [Klein-IV, 1963].

О том же говорит ассистент и биограф Нильса Бора Йорген Калькар (Jørgen Kalckar), редактор шестого и седьмого томов собрания сочинений великого датчанина:

Бор вернулся в Копенгаген примерно 18 марта и обнаружил, что Гейзенберг уже отправил свою статью для публикации [Kalckar, 1985, S. 16].

Для такого заключения были основания: психологически подобный поступок молодого ассистента можно было бы понять. Слишком ярко запечатлелись в его памяти месяцы изматывающих дискуссий с шефом, слишком хорошо знал он манеру Нильса Бора цепляться за каждое предложение, за каждое слово. Поэтому нетерпеливый Гейзенберг мог отправить статью в редакцию, не дожидаясь, пока Бор переработает каждый ее параграф. Такое объяснение выглядит правдоподобно, однако следующие факты его опровергают.

В письме Паули от 14 марта 1927 года Гейзенберг упоминает, что «Бор должен (*dicitur*²) сегодня вечером вернуться» [Pauli-Briefe-I, 1979, с. 388]. Уже 18 марта директор Копенгагенского института физики был на работе, о чем свидетельствует его письмо Кронигу [Mehra-Rechenberg-6, 2000, с. 181]. Так как в статье Гейзенберга указана дата ее поступления в редакцию — 23 марта, — то очевидно, что у Бора было достаточно времени, чтобы посмотреть статью перед отправкой. Зная приверженность Гейзенберга к строгой дисциплине в отношениях подчиненного с руководителем, будь то Макс Борн в Гёттингене или Нильс Бор в Копенгагене, естественно допустить, что Бор вначале одобрил статью и разрешил послать ее в редакцию. С этим согласуется и признание Вернера Гейзенберга, данное в интервью Томасу Куну:

Я совсем этого не помню, но когда я пишу «Дополнение при корректуре», то это выглядит так, будто статья была отправлена в печать до того, как мы об этом договорились. В это трудно поверить, потому что я никогда не отправлял статьи, пока Бор не даст согласие на это [Heisenberg-VIII, 1963].

Правда, потом он допускает, что приложение к статье было послано одновременно со статьей, что выглядит совсем уж неправдоподобно. Посланное вряд ли называлось бы «Дополнением при корректуре», если никакой корректуры не было.

Так что вероятнее всего допустить, что поначалу у Бора не было претензий к статье, и она была послана в редакцию с его позволения. Это подтверждает и его письмо Эйнштейну от 13 апреля, в котором Бор не выражает ни малейшего сомнения в качестве статьи Гейзенберга. Он пишет:

Перед его отъездом на каникулы в баварские горы Гейзенберг просил меня послать Вам экземпляр ожидаемой для него корректуры новой статьи в «*Zeitschrift für Physik*», так как он надеется, что она Вас могла бы заинтересовать. Эта статья, которую я Вам посылаю, означает весьма существенный вклад в обсуждение общих проблем квантовой теории [Bohr, 1985, с. 418].

В свете этой оценки, сделанной в начале апреля, нужно оценить как ложное предположение Дэвида Кэссиди, что Бор в письме Паули от 25 марта призывает его в Копенгаген, чтобы помочь переубедить непокорного Гейзенберга [Cassidy, 1995, с. 300]. Действительно, Бор писал Паули:

Я пишу Вам в спешке пару строк, чтобы спросить, есть ли у Вас желание в начале апреля на короткое время посетить Копенгаген? [Pauli-Briefe-I, 1979, с. 388].

Но далее он четко говорит о цели такого визита: встретиться с зарубежными коллегами, которые съезжаются в Копенгаген в ближайшие дни. Уже на следующий день в столицу Дании должен был приехать английский физик Чарлз Гэлтон Дарвин (Char-

² *Dicitur* (лат.) — говорят.

les Galton Darwin), вскоре после него ожидался приезд Крамерса, а еще через несколько дней — голландца Гаудсмита и шведа Ивара Валлера (Ivar Waller). В письме Бора нет ни единого слова, выдающего его обеспокоенность ситуацией с Гейзенбергом.

Паули очень вежливо отказался в письме от 29 марта:

Я всегда очень рад Вас слушать и в последнее время очень часто думал о том, как у Вас дела и каково Ваше мнение о современном положении дел в физике. Поэтому я был бы очень рад иметь возможность поговорить с Вами обо всех этих делах, но думаю, к сожалению, что вряд ли смогу последовать Вашему приглашению приехать в Копенгаген. Во-первых, я уже договорился с Борном и Йорданом, что я 4 апреля примерно на два дня должен приехать в Геттинген, после чего у меня договоренность с моим другом провести 14 дней отпуска (в чем я очень нуждаюсь) [Pauli-Briefe-I, 1979, с. 389].

Узнав, что Паули не приедет в Копенгаген, Гейзенберг пишет ему 4 апреля большое письмо, в котором упоминает о продолжающихся дискуссиях с Нильсом Бором:

С Бором я спорю о том, в чем кроется первопричина соотношения $p_1 q_1 \sim \hbar$ — в волновой или корпускулярной части квантовой механики. Бор подчеркивает, что, например, в γ -лучевом микроскопе существенна дифракция волн, я настаиваю, что существенными являются теория квантов света и опыт Гейгера—Боте. Преувеличивая то одну, то другую сторону, можно много дискутировать, не сказав ничего нового [Pauli-Briefe-I, 1979, с. 391].

Тем не менее Гейзенберг пока не говорит ничего о драматизме конфликта, те же аргументы обсуждались в Копенгагене и до отпуска Бора. О том, что спор Бора и Гейзенберга еще не перешел в острую фазу, свидетельствует и концовка письма:

Очень жаль, что Вы не приедете, Дарвин очень хотел познакомиться с Вашими расчетами [Pauli-Briefe-I, 1979, с. 391].

То есть не Гейзенберг или Бор крайне нуждаются в приезде Паули, способного разрешить их противоречия, а гость Дарвин, который пробыл в Копенгагене с марта по июнь 1927 года.

И в следующие дни апреля обстановка в боровском институте оставалась спокойной, без видимых новых возмущений. Об этом можно судить по письму Гейзенберга Ральфу Кронигу 8 апреля 1927 года:

Последние несколько месяцев я работал над статьей о наглядном содержании (конечно, разрывной) квантовой механики, которая, на мой взгляд, окончательно превратилась в законченную систему, отвечающую на вопрос: кванты света или волны [Mehra—Rechenberg-6, 2000, с. 182].

После чего Вернер отправился в уже упомянутую долгожданную поездку в баварские горы. По пути из Копенгагена в Мюнхен он в Берлине встретился с Карлом Фридрихом фон Вайцзеккером, который вспоминал, что от его старшего друга исходило невероятное сияние только что сделанного открытия. Рассказывая в такси по пути на вокзал о еще не опубликованном соотношении неопределенностей, Гейзенберг добавил: «Мне кажется, я опроверг закон причинности» [Hermann, 1977, с. 94].

«Часть вины, конечно, лежит на мне»

Вернулся в Копенгаген Вернер в конце апреля. Попробуем по имеющимся письмам и воспоминаниям восстановить ход дальнейших событий. В письме Дираку, датированном 27 апреля, Гейзенберг отвечает на поставленные ранее вопросы о соотношении неопределенностей и демонстрирует, что они остаются верными и в случае измерения скорости частицы с помощью электронного микроскопа и эффекта Доплера. При этом автор спокойно добавляет: «Профессор Бор говорит, что во всех этих примерах очевидно очень важная роль, которую в моей теории играет волновая теория, и конечно, он совершенно прав» [Kalckar, 1985, с. 18].

Спустя две недели, 16 мая 1927 года, Гейзенберг так же без надрыва пишет Паули:

Со времени моего возвращения с пасхальных каникул — в этот раз особенно прекрасных — мы здесь много дискутируем о квантовой теории. Бор хочет написать работу о «понятийном построении» кв[антовой] т[еории] под девизом: «Существуют волны и частицы» — если кто с этого начинает, тот может все сделать без противоречий. В связи с этой работой Бор обратил мое внимание на то, что я пропустил еще один существенный пункт в моей статье (и Дирак меня потом об этом спрашивал) <...> Тем не менее я, как и раньше, придерживаюсь точки зрения, что скачки — это самое интересное в кв[антовой] т[еории] и их роль невозможно переоценить; поэтому я, как и раньше, очень доволен этой последней работой — несмотря на указанные ошибки; ведь все результаты работы верные и относительно них я и Бор едины; в остальном между Бором и мной наличествуют лишь существенные вкусовые различия в понимании слова «наглядный» [Pauli-Briefe-I, 1979, с. 394—395].

В этом признании чувствуется некоторое изменение позиции Гейзенберга по сравнению с февральскими дискуссиями с Бором. Теперь Вернер допускает, что квантовую механику вполне возможно обсуждать с позиций волновой теории, хотя сам он остается приверженцем матричной механики, лучше выражающей роль скачков на атомном уровне.

После этого относительно спокойного фрагмента письма идет свидетельство обострения отношений, в чем не последнюю роль сыграл Оскар Кляйн:

К сожалению, дискуссии последнего времени привели к грубым личным недоразумениям между Бором—Кляйном и мной, часть вины, конечно, лежит на мне [Pauli-Briefe-I, 1979, с. 395].

Еще через две недели, 31 мая 1927 года, снова в письме Паули Гейзенберг рассказывает о противостоянии с Бором более подробно. Он пишет о событиях, которые «волновали его в последние недели сильнее, чем что-либо иное за долгий срок»:

Как Вы знаете, я считал, что теория Дирака—Йордана лучше волновой механики (даже и в форме, отвечающей принципу дополнительности), так как теория Дирака—Й[ордана] менее наглядна и более обобщена и легче позволяет формулировать скачки. Так я пришел к борьбе за матрицы против волн; в азарте этой борьбы я часто критиковал возражения Бора против моей работы слишком остро, не понимая и не желая этого, лично ранив его самого. Когда я сейчас мысленно возвращаюсь к этой дискуссии, я могу хорошо понять, что Бора это раздражало. В эти личные взаимоотношения, возникшие по моей вине, вмешался Кляйн, и для меня положение ухудшилось. <...> Слава Богу, мы понимаем все теперь снова лучше и попробуем все старое по возможности забыть [Pauli-Briefe-I, 1979, с. 397].

В конце мая острая фаза конфликта между Гейзенбергом и Бором—Кляйном, можно сказать, завершилась. В письме Паули от 3 июня 1927 года Вернер с облегчением пишет:

Слава Богу, я сегодня могу Вам снова писать о физике, а все другое забыть [Pauli-Briefe-I, 1979, с. 397].

Итак, Гейзенберг не отсылал в редакцию статью о соотношении неопределенностей без согласия шефа. Поначалу Бор с воодушевлением воспринял работу ассистента и рекомендовал ее Эйнштейну. Можно понять, что Нильс Бор, вернувшись в институт после длительного отпуска, не сразу вник в детали научной работы своих сотрудников. На директора института после долгого отсутствия всегда наваливается куча административных проблем. Но постепенно автор недавно изобретенного «принципа дополнительности» стал осознавать, что работа его ассистента тесно связана с его новым детищем. Более того, он стал рассматривать соотношение неопределенностей как следствие принципа дополнительности. Но в работе Гейзенберга, естественно, ничего об этом не было сказано. Это раздражало Бора, и он стал требовать забрать статью из журнала для радикальной переделки.

Вмешательство «хорошего друга»

Что же не устраивало Нильса Бора в статье его ассистента? Прежде всего надо сказать, что Бор нашел ошибку в мысленном эксперименте, который Гейзенберг привел для иллюстрации своего соотношения неопределенностей. Стоит отметить, что задача о разрешающей способности микроскопа уже ставила Гейзенберга в неловкое положение — четыре года назад он не смог ответить на подобный вопрос, поставленный ему профессором Вином на устном экзамене при защите докторской диссертации.

В «Дополнении при корректуре» Вернер признается:

В этой связи Бор обратил мое внимание на то, что в некоторых рассуждениях, имеющихся в настоящей работе, я упустил существенные моменты. Прежде всего, неопределенность при наблюдениях не основана исключительно на существовании дискретностей, но непосредственно связана с требованием, чтобы одновременно удовлетворялись результаты различных опытов, описываемых корпускулярной теорией, с одной стороны, и волновой теорией, с другой. Например, при использовании в мысленных экспериментах γ -лучевого микроскопа следует учесть неизбежное расхождение пучка лучей; именно вследствие него при измерении положения электрона направление отдачи в эффекте Комптона может быть определено лишь с некоторой неточностью... [Heisenberg, 1927, с 197].

Здесь сформулировано основное расхождение недавних единомышленников. Бор считал, что полное понимание явлений атомной физики возможно только при учете как волновых свойств рассматриваемых объектов (электронов, фотонов и пр.), так и корпускулярных. Другими словами, нельзя забывать про корпускулярно-волновой дуализм. Недаром, подчеркивал Бор, в основных формулах квантовой механики, связывающих энергию частицы с частотой и ее импульс с длиной волны, фигурируют как характеристики частицы (энергия и импульс), так и волновые характеристики (частота и длина волны). Гейзенберг был противоположного мнения. Он считал, что раз квантовомеханический формализм, например в форме теории преобразований Дирака—Йордана, полностью описывает явления микромира, то необходимости в привлечении волновых представлений нет. Это просто альтернативный способ исследования квантовых явлений, а не обязательный атрибут, без которого описание микромира невозможно.

По Бору, соотношение неопределенностей, которым так гордился Гейзенберг, есть простое следствие принципа дополнительности, с которым директор копенгагенского Института физики вернулся из отпуска. Об этом в статье Гейзенберга не упоминалось, поэтому Бор требовал не допустить ее публикации и забрать рукопись из редакции журнала.

Это требование было для Вернера абсолютно неприемлемым. Он не считал ошибку в одном мысленном эксперименте, служащем иллюстрацией для главной концепции, достаточным основанием для отказа от публикации. «Соотношение неопределенностей», выведенное Гейзенбергом из общего формализма квантовой механики, было в его глазах слишком важным для интерпретации квантотеоретического формализма, чтобы так легко отказаться от его обнародования. Эта статья, одобренная, кстати, Паули, должна была подтвердить высочайшую квалификацию ее автора. Отказ от публикации, напротив, сводил авторитет Гейзенберга-физика к нулю.

Бор настаивал на своем, а Гейзенберг сопротивлялся, как мог. Такое противостояние тянулось до мая. В письме родителям от 16 мая Вернер пишет, что непонимание между ним и Бором лишь недавно смягчилось, и просит мать написать шефу дружеское письмо, чтобы разрядить обстановку:

Моя последняя работа родилась под несчастливой звездой, которая привела к тяжелым персональным расхождениям между мной и Бором. В конечном счете причина состоит в том, что работа играет в той же области, в которой намеревался работать сам Бор, после того, как он вернулся из Норвегии. Я, правда, знал это, но у Бора раньше не было никаких результатов, а я рассказал Бору о своих планах еще до его отъезда, так что я имел все права работать в той же области. К этому добавилась моя неосторожность: я сделал слишком острые дискуссионные замечания, а с другой стороны, очень мутное поведение одного «хорошего друга» Бора. Расхождения, в конечном счете, в основном сгладились за счет моей полной уступки; надолго ли продлится этот мир, покажет будущее [Heisenberg—Eltern, 2003, с. 121].

На самом пике конфликта между Бором и Гейзенбергом в дискуссию вмешался тот самый «хороший друг Бора», которого упомянул Вернер в цитированном письме. Этим другом был шведский физик Оскар Кляйн, проходивший в Копенгагене стажировку. Кляйн сразу целиком стал на сторону Бора и подверг работу Гейзенберга уничтожающей критике, страшно его обидевшей.

Такая напряженная обстановка не могла продолжаться долго, нервы у Вернера уже были на пределе. И когда через несколько дней они снова встретились в Копенгагене и Бор опять попытался объяснить, почему Гейзенберг не прав и почему он не должен публиковать статью, то автор «соотношения неопределенностей» не выдержал и разрыдался:

Я помню, что это закончилось тем, что я разрылся слезами, потому что больше не мог находиться под давлением Бора. Это было очень неприятно [Heisenberg—VIII, 1963].

Через несколько дней разногласия по поводу микроскопа сгладились, и постепенно обстановка снова пришла в норму. Произошло это в конце весны, о чем самокритичный Вернер писал родителям в письме от 30 мая:

Дружба с Бором, слава Богу, восстановлена, в конфликтах есть большая доля моей вины из-за острой критики или, точнее сказать, острой защиты моего собственно-

го физического мнения. Я никогда не думал, что этим могу Бора сильно ранить, и открыл это, когда было уже поздно [Heisenberg—Eltern, 2003, с. 122].

И далее в этом письме идет фраза, подтверждающая высказанную выше мою мысль, что «Дополнение при корректуре» было послано после отправки самой статьи в редакцию:

Мою работу, кстати, я не отозвал, но по желанию Бора, точнее, господина Кляйна, написал дополнение, в котором я подчеркиваю, что Бор обратил мое внимание на существенные ошибки в работе и что в статье, которая скоро будет опубликована, он добился существенного продвижения. К сожалению, Бор пишет эту работу вместе с господином Кляйном, но тут ничего не поделаешь. Естественно, дружба с Бором важнее, чем физика [Heisenberg—Eltern, 2003, с. 122].

Всему приходит конец. Срок для корректуры статьи заканчивался в двадцатых числах мая, так как третий номер сорок третьего тома журнала «Zeitschrift für Physik», содержащий статью о соотношении неопределенностей, отправлен в печать 29 мая 1927 года [Mehra—Rechenberg-6, 2000, с. 185]. К этому дню Гейзенберг уступил давлению Бора и Кляйна и согласился отправить в редакцию «Дополнение при корректуре».

Окончательное умиротворение в Копенгагене наступило в начале июня, когда долгожданный Вольфганг Паули наконец приехал в Институт Нильса Бора и смог сгладить все оставшиеся противоречия. О его приезде Бор сообщает английскому коллеге Фаулеру 10 июня 1927 года:

У нас в институте с недавних пор немного оживленное время с довольно большим числом посетителей. К присутствовавшему, как и Дирак, стипендиату Международного Совета по образованию Йордану добавились приехавшие в эти дни Паули и Вентцель [Mehra—Rechenberg-6, 2000, с. 185].

Будучи близким другом и Бора, и Гейзенберга, Паули смог найти нужные слова для каждого. Спустя месяц Бор признавался в письме от 15 июля 1927 года: «Вы даже не представляете, каким приятным и освежающим был Ваш визит для всех нас» [Mehra—Rechenberg-6, 2000, с. 184].

Так же был настроен и Вернер Гейзенберг, написавший Бору 18 июня того же года:

Я очень счастлив, что приехал Паули. Теперь я намного лучше понял, что это действительно важно — поставить понятия в том порядке старшинства, как Вы хотите, а не так, как я сделал это в своей статье; и я теперь очень хорошо вижу, что при этом она стала много лучше [Mehra—Rechenberg-6, 2000, с. 186].

Наученный горьким опытом Гейзенберг нашел утешение в новой работе, которую недавно начал. Родителей он поспешил успокоить, что она лежит в области, далекой от непосредственных интересов Бора, так что описанная драма не должна больше повториться. И чтобы не заканчивать на грустной ноте, заботливый сын меняет тему:

На следующей неделе я должен сопровождать одну русскую певицу на концерт в русском обществе. Это что-то особенное и, вероятно, очень приятное [Heisenberg—Eltern, 2003, с. 122].

Литература

Bohr, Niels. Collected works, volume 6. Foundations of quantum physics I (1926–1932). Amsterdam, New York, Oxford, Tokyo: North-Holland physics publishing, 1985.

Cassidy, David. Werner Heisenberg. Leben und Werk. Heidelberg, Berlin, Oxford: Spektrum Akademischer Verlag, 1995.

Heisenberg, Werner. Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Zeitschrift für Physik, Band 43, S. 172–198. 1927.

Heisenberg—Eltern. Werner Heisenberg. Liebe Eltern! Briefe aus kritischer Zeit 1918 bis 1945. Hrsg. von A. M. Hirsch—Heisenberg. München : Langer-Müller Verlag, 2003.

Heisenberg-VIII. American Institute of Physics. Oral History Interviews. Werner Heisenberg — Session VIII Interviewed by Thomas S. Kuhn. [В Интернете] 25 February 1963 г. [Цитировано: 26 August 2018 г.] <https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4661-8>.

Hermann, Armin. Die Jahrhundertwissenschaft. Werner Heisenberg und die Physik seiner Zeit. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1977.

Kalckar, Jørgen. Introduction. [авт. книги] Niels Bohr. Collected works, vol. 6. Foundations of quantum physics I (1926–1932), p. 7–53. Amsterdam, New York, Oxford, Tokyo: North-Holland physics publishing, 1985.

Klein-IV. Oskar Klein — Session IV. Interviewed by J. L. Heilbron and L. Rosenfeld. Location: Carlsberg, Copenhagen, Denmark. Oral History Interviews. [В Интернете] 28 February 1963 г. [Цитировано: 20 October 2018 г.] <https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4709-4>.

Mehra—Rechenberg-6. Mehra, Jagdish; Rechenberg, Helmut. The Historical Development of Quantum Theory. Vol. 6, Part 1. New York, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2000.

Pauli-Briefe-I. Pauli, Wolfgang. Wissenschaftlicher Briefwechsel mit Bohr, Einstein, Heisenberg u. a. Band I: 1919–1929. Hrsg. v. Hermann Armin u. a. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer Verlag, 1979.

Гейзенберг Вернер. О наглядном содержании квантовомеханической кинематики и механики. Успехи физических наук, т. 122, с. 651–671. 1977.

Гейзенберг Вернер. Физика и философия. Часть и целое. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1989.

Джеммер Макс. Эволюция понятий квантовой механики. Пер. с англ. В. Н. Покровского. Под ред. Л. И. Пономарева. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1985.

К 100-летию Федора Абрамова

Олег ТРУШИН

«И ГДЕ ГАРАНТИЯ, ЧТО С НАМИ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ?»¹

В октябре 1973 года Федор Абрамов в составе группы советских писателей едет в Англию. Обычная творческо-экскурсионная поездка. Но по этому поводу в абрамовском архиве сохранился очень любопытный документ, создание которого для Федора Абрамова было явно продиктовано очень серьезными опасениями за свою жизнь и за жизнь Людмилы Владимировны. Речь идет о завещании, написанном рукой Федора Александровича:

Уважаемые товарищи, друзья!

Едем в Англию, и где гарантия, что с нами ничего не случится? Очень просим в случае несчастья все вещи наши и деньги, хранящиеся в сберкассах, передать нашей племяннице Абрамовой Галине Михайловне.

Знаем, это не документ.

И все же очень и очень просим принять все меры, чтобы выполнить нашу волю.

Что касается до моих рукописей и всех бумаг, то их передать другу моему Мельникову Федору Федоровичу.

Ф. Абрамов

Л. Крутикова

15 октября 1973 г.

22 ч. 25 мин.

Однозначно, что такой документ не мог родиться на пустом месте. И в самом деле, чего боялся Абрамов? Действительно ли так серьезно опасался за свою жизнь? И если такие опасения были реальностью, то чем они были вызваны?

Олег Дмитриевич Трушин родился в 1969 году в г. Шатура Московской области. Окончил Государственный социально-гуманитарный университет (исторический, психологический, юридический факультеты). Прозаик, член Союза писателей России и Союза писателей Союзного государства. Автор более 1500 работ (повести, рассказы, очерки, эссе, статьи) об истории, культурном наследии, природе России. Публиковался в журналах: «Живописная Россия», «Юность», «Отчий дом», «Юный натуралист», «Детская роман-газета», «Родовое имение». Многие годы постоянный автор национального журнала «Качели» Республики Беларусь. Автор 18 книг. Лауреат многих международных и российских литературных премий, в том числе премии Центрального Федерального округа РФ в области литературы и искусства, Литературной премии им. М. Пришвина, Литературной премии им. А. Н. Толстого. Живет и работает в г. Шатура Московской области.

¹ Глава из готовящейся к публикации книги «Федор Абрамов. Я жил на своей земле». В основу книги положен личный архив писателя, хранящийся в Институте русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург. Продолжение. Начало см.: 2019, № 9, 12; 2020, № 1.

1973 год. Федор Абрамов в зените не только читательской славы, он один из ведущих советских прозаиков, известных не только в стране, но и за рубежом, номенклатурное лицо в Союзе писателей — член правления, автор трилогии «Пряслины», последний роман которой «Пути-перепутья» вышел в свет в первых двух номерах «Нового мира» за 1973 год. Его «Братья и сестры» продолжают шествовать по стране и миру. В начале 1973 года роман был переведен на молдавский язык.

Еще 14 марта 1972 года в письме к В. Косолапову в «Новый мир» Федор Александрович попросит отсрочки сдачи романа «Костры осенние» до 1 июня 1972 года. Косолапов, который, в общем-то, неплохо относился к Абрамову, идет навстречу.

Все последующие два месяца Федор Абрамов, не разгибая спины, будет усердно работать над правкой текста романа, и 3 мая, за месяц до определенного для себя срока, выведет роман набело.

30 мая состоялось заседание редколлегии «Нового мира», на котором помимо одобрения рукописи и принятия ее к публикации в адрес романа был высказан ряд замечаний, а именно:

1. Представляется заметно утрированной сцена на пароходе, в результате которой Подрезов был подвергнут критике. Вряд ли следует вводить в эту сцену несколько секретарей райкомов;

2. Хотелось бы, чтобы сцена заседания районного актива, сейчас несколько однолинейная, была художественно и психологически обогащена (полнее выписать характеры и мотивы выступления защитников и противников Подрезова, что дало бы, кстати, новые краски и самому образу Подрезова);

3. Это же замечание относится и к завершающей главе, когда Михаил Пряслин собирает подписи в защиту Лукашина;

4. Некоторые замечания касались отдельных реплик, формулировок и частных сюжетных положений, либо недостаточно психологически убедительных, либо преждевременных для начала 50-х годов, к которым относится действие романа. Работа над этого рода замечаниями возможна уже в ходе конкретной подготовки рукописи к набору.

Тогда вместе с редакторским заключением Абрамову была возвращена и рукопись романа с предложением исправить замечания к сентябрю текущего года.

Отправляя рукопись в «Новый мир», Абрамов несколько не надеялся на то, что его новая вещь будет принята редакцией именно в таком виде, в котором он ее видел сам. И он не ошибся. Предложенные редакцией замечания не представляли собой легковесного поверхностного налета на текст романа, а были весьма резким вторжением в сюжет романа и требовали его полной переработки.

На все лето Абрамов вновь погрузился в работу над «Кострами осенними», фактически переписывая текст заново.

Когда работа над правкой романа для «Нового мира» подходила к завершению, 30 августа из издательства «Современник» вместе с редакторским заключением и отрицательной рецензией В. Чалмаева была возвращена рукопись «Костров осенних», что очень расстроило Федора Александровича.

В частности, в рецензии Чалмаева говорилось: «Следует сразу же сказать, что для самого писателя по объему и главное по содержанию, уровню письма, этот роман, на мой взгляд, явно меньше, „мельче“, одностороннее предшествующих произведений.

...И все же в данном романе — и не только в изображении „руководства“, где реализм нередко вытесняется шаржем, стилем газетного фельетона — происходит досад-

ное сужение горизонтов, „русла“ мужицкой жизни, „приспособление“... картин крестьянской жизни для целей фельетонного изобличения культа личности, изобличения на определенный лад. И с философско-социальной и с художественной стороны эти страницы скудны, малохудожественны...

По сути дела в рукописи утверждается старый тезис В. О. Ключевского: „Народ хирел, государство крепло“...

Следует сделать вывод о явном сужении, односторонности авторского взгляда на события, саму эпоху 1948—1950 года; Ф. Абрамов написал роман в известной мере, противоположной прежним. Тема разоблачения культа личности (понятая на особый лад) привела его к утрированному, заданному конфликту (погонялы и «надсмотрщики», руководители и бессильная жертва «бесмысленных», юбилейных поборов...), к сужению диапазона народной жизни и характеров, к бедности содержания. Народа-освободителя нет, есть гонимая, усталая, собираемая масса. Рукопись, возможно, будет дорабатываться автором в сотрудничестве с журналом, где ее будут печатать... Хотелось бы, чтобы и данные замечания были поняты правильно, не как догматические наставления, а как действительная забота о сохранении таланта художника...»

Старший редактор «Современника» Т. Ильина в своем редакционном письме от 2 августа 1972 года всецело подтверждала позицию Чалмаева: «В романе сместились смысловые, идейно-художественные акценты... В рукописи есть ряд недозавершенных сцен, есть повторы, неточности... автору следует рекомендовать доработку романа».

По своей сути это была не просто резко негативная рецензия на роман, а резкий выпад критики в сторону абрамовского литературного таланта, ведь под сомнение была поставлена не только правильность всей сюжетной линии романа, но и вообще его ценность как литературного произведения. И в этой ситуации для Абрамова не пасть духом и сохранить творческий настрой было очень непростым делом. Естественно, «подбивать» роман под чалмаевскую рецензию Абрамов не станет, и в назначенный срок в «Современник» будет отправлена все та же переработанная для «Нового мира» рукопись, работу над которой Федор Александрович завершит к сентябрю этого года.

Уже когда роман находился в верстке в «Новом мире», Абрамов срочно просит Косолапова снять с рукописи романа название «Костры осенние».

Поводом к такому решению послужило короткое письмо читателя — жителя села Россось, что на Воронежской земле, Петра Чалого, корреспондента местной газеты, а в прошлом учителя русского языка и литературы, присланное Абрамову на адрес «Литературной газеты».

День добрый, Федор Александрович!

Пишет Вам читатель Ваших книг, почитатель Вашего таланта. В новогодние дни хочется пожелать Вам доброго здоровья, а остальное — часто говорит моя мама — дай бог, само приложится.

Федор Александрович, письмо-записку я решил написать вот почему — в «Литературной газете» да и в других изданиях читал о Вашей новой книге «Костры осенние». Но роман (или повесть) с подобным названием — «Костры осенние» — год-два назад издавался в Воронеже. И вроде бы запланирован к переизданию в Москве на 1972 год. Если не ошибаюсь, то в «Советском писателе», в «Тематическом плане» видел. Автор книжки — Ф. Певчев.

Впрочем, значения это большого не имеет, главное ведь не в этом. Но на всякий случай решил сказать Вам.

Еще раз всего Вам хорошего!

Спасибо за Ваши книги.

Петро Чалый.

Воронежская область,

с. Россошь,
ул. Алексеева, д. 26
19 декабря 1971 года

Абрамов тогда немедленно принял решение, найдя роману иное название. Так появились «Пути-перепутья». А Петру Чалому по указанному им в письме адресу Федором Александровичем было отправлено письмо с благодарностью.

Стоит отметить, что в своей книге «В поисках истины» Л. Крутикова, ссылаясь на абрамовский дневник, пишет, что новое название у романа появилось 1 августа во время их совместной поездки в Комарово.

— «Пути-дороги», — сказал я.

— Нет, «Пути-перепутья», — уточнила Люся.

Я сперва отверг начисто, а потом дня через два, решил: это как раз то, что надо.

В духе поэтики других названий, соответствует смыслу книги...

Возможно, что Людмила Владимировна вообще не знала о письме Чалого и приняла переименование романа в «Пути-перепутья» как само собой разумеющееся, без всяких вмешательств извне, а лишь по желанию самого Федора Александровича.

Вполне возможно, что название «Пути-перепутья» долгое время рассматривалось Абрамовым как одна из версий названия романа, и все-таки до декабрьского письма Чалого явно уступало «Кострам осенним». И только по чистой случайности заглавие «Костры осенние» все же было снято.

Продолжения пряслинской эпопеи читатели ждали. Многие в своих письмах, адресованных Федору Александровичу, спрашивали, будет ли продолжение романа, к примеру, М. Г. Дейнеко из Северодвинска в письме 24 февраля 1970 года: «Очень прошу Вас ответить будет ли написано Вами продолжение романа „Две зимы и три лета“?.. Если напишете примерно когда?.. Мне уже 70 лет».

В марте 1972 года издательство «Современник» сообщило Абрамову о том, что «Костры осенние» выйдут отдельной книгой в 1974 году, и уже осенью этого года «Литературная газета» публикует ряд глав романа, тем самым дав читателям надежду на скорую встречу с полным текстом произведения.

Отданные в «Новый мир» «Пути-перепутья» были приняты к публикации, проанонсированы и запланированы к выходу в первых двух номерах будущего года.

Но в какой-то момент уже отредактированный и набранный роман, перед самым выходом сигнального первого номера, был снят с публикации и передан в высокие инстанции. «Из меня уже снова пытаются сделать очернителя, снова раздуть вокруг моего имени скандальные слухи и кривотолки. Почему? На каком основании? Кому польза от того, что у нас повсеместно открыта зеленая улица для серости, для бескрылой и спекулятивной посредственности и с великими муками пробивает себе дорогу подлинный талант, по-настоящему, всем сердцем заинтересованный в росте и преуспевании своей страны? — напишет Абрамов в своем письме 2 января 1973 года секретарю ЦК КПСС, кандидату в члены Политбюро Петру Ниловичу Демичеву, в котором коснется не только романа „Пути-перепутья“, но и состояния журнала „Новый мир“ в целом. — Я верю, я хочу верить, что в Центральном Комитете партии, куда, как я полагаю, отправлен сейчас мой роман, найдутся люди, способные спокойно и объективно оценить мое произведение. Вместе с тем, как писатель-коммунист, хочу обратить Ваше внимание на то, что нельзя больше терпеть создавшееся положение в журнале „Новый мир“. В журнале нет авторитетного хозяина, среди сотрудников его нет

должного единства, а между тем, этот журнал, несмотря на то, что за последние годы претерпел немало невзгод и утратил былую славу, в глазах нашего, серьезного и взыскательного, читателя и в глазах читателя зарубежного все еще имеет репутацию ведущего журнала. Именно по нему в первую очередь судят о состоянии советской литературы».

Письмо к Демичеву было не просто отчаянным шагом Федора Абрамова вернуть «Пути-перепутья» в «Новый мир», но и, как видно из текста, высказаться и о «Новом мире».

Письмо Демичеву не было случайным. Абрамов верил ему, и эта вера не была напрасной, ведь именно Петр Нилович после встречи с Абрамовым 30 апреля 1972 года сыграл огромную роль в снятии запрета на публикацию повести «Вокруг да около», сохранявшегося без малого целое десятилетие.

4 января 1973 года, на следующий день после отправки письма Демичеву, Абрамов, явно находясь в подавленном состоянии по поводу случившегося, сообщал своему знакомому, писателю Василию Юровских в город Шадринск: «У меня началась новая трудная полоса в жизни».

Да, Абрамова долгое время, и начало 70-х в этом не было исключением, обвиняли не только в искажении понятия социалистического реализма, ставя под сомнения многие произведения автора, но и, более того, пытались наставить на путь истинный, приводя в пример высказывание того же Шолохова, что «социалистический реализм — это искусство правды жизни, правды, понятой и осмысленной художником с позиций ленинской партийности». Абрамову неоднократно указывали на то, что именно Шолохов нашел частный случай «противопоставления миров через противопоставление характеров» и лишь он один осмысленно использовал его — прием столкновения миров в душе одного человека, к примеру, в образе Григория Мелихова в «Тихом Доне», тем самым делая явный намек на судьбу Мишки Пряслина.

Один из анонимных читателей в письме Абрамову писал: «Вы взялись изображать безклассовое социалистическое общество, в связи с чем ответственны за глубокое и верное отображение эпохи его развития, а потому не вольны „шукарить“ (по примеру деда Шукаря в „Поднятой целине“ Шолохова. — О. Т.). А Вы? Должна же у Вас болеть душа за дальнейшую судьбу нашей литературы...»

Обращение к Демичеву и в этот раз возымело успех. В короткий срок «Пути-перепутья» были возвращены в «Новый мир» и даже успели попасть в январский номер. Абрамову лишь было предложено дописать концовку романа. Так в «Путьях-перепутьях» появилась небольшая третья подглавка десятой главы с «летающими журавлями» и причастностью Мишки Пряслина к «делам всей страны», которая, по мнению редакции, придала оптимистический вид завершенности роману.

Возможно, хотя этому нет прямых подтверждений, что абрамовское письмо Демичеву сыграло свою роль в судьбе и «Нового мира», где вскоре сменился главный редактор. Косолапова на посту главреда сменил Сергей Наровчатов — именитый поэт, довольно заметная фигура не только в происходящем литературном процессе, но и общественной писательской жизни.

И как прежде, читательские письма, теперь уже с откликами на «Пути-перепутья», находили Абрамова и в ленинградской квартире, и в Комарове. Те, кто не знал абрамовского адреса, писали в «Новый мир» с неизменной просьбой переправить письмо Федору Александровичу. Так, некий Турченев в своем письме от 15 марта 1973 года, сравнив Абрамова с Толстым, а «Пути-перепутья» с «Казаками», привел в письме отрывок из рецензии Евгения Тура на «Казаки» из «Отечественных записок» 1863 года:

«В этой повести бедна поэзии, художественности, образности. Повесть не читаешь, не воображаешь, что в ней написано, а просто видишь: это целая картина, нарисованная рукою мастера, колорит которого поразительно ярок и вместе с тем верен природе; в нем с ослепительной яркостью соединена правда красок... Это сама жизнь с ее неуловимой прелестью».

Профессор Московского университета, литературовед Александр Овчаренко, прочитав «Пути-перепутья», писал автору романа: «Эх, дорогой Федор Александрович, знали бы вы, сколько рукописей приходится мне читать! Иногда берет огорчение, изработан что ли русский язык? Иссякло художественное воображение? И вдруг — Ваш роман, написанный таким первозданно-чистым, таким отвеянным языком. Горсть за горстью рассыпали Вы такие круглые, емкие слова, что за ними хочется ползать по полу и собирать как жемчужины, выброшенные на берег морским царем. Слова отливают у Вас, как отливает гранями хорошо отшлифованный алмаз. Я — равнодушен к драгоценностям, но, читая Ваш роман, чувствовал себя богачом, перебирающим, пересыпающим из руки в руку алмазы... великолепных, очищенных от шелухи русских слов».

Но находились и такие, кто вместе с восторженными отзывами о романе видел в нем ярко проступающий незаконченный лейтмотив повествования о Пекашине и его обитателях. «Я не согласна с таким концом Вашего романа «Пути-перепутья» и прошу продолжить его, — писала 20 апреля 1973 года О. Дубровина из Киева. — Нельзя обрывать на таком остром моменте. Читатели хотят знать, чем же закончилось с Лукашиным и с авторами защитительного письма, и с Зарудным. И хочется еще встретиться с симпатичным Михаилом и его сестрой Лизой. Дайте же нам это свидание».

Солидарен с Дубровиной был и Л. Лебедев, написавший в «Новый мир» 24 апреля 1973 года: «Жаль, что повесть не доведена до конца, а надо бы...»

Оборвав роман, по мнению читателей, на самом интересном, Абрамов поставил точку в последней строке, но не поставил таковой в умах читателей, призвав их тем самым глубоко поразмыслить, проанализировать судьбы Михаила и Лизы Пряслиных, подписавших письмо, и Егорши, не пожелавшего этого делать, Лукашина, оказавшегося под следствием, и многих других героев романа, чьи образы, как бы отступив за кулисы действия, стали своеобразным фоном для драматической развязки, концовку которой должны были довершить сами читатели. Заставить читателя думать — вот цель абрамовского слова! И в то же время Абрамов, выводя в свет «Пути-перепутья», понимал, что читатель неминуемо запросит продолжения, вот только в этом продолжении Федор Абрамов отступит во времени на целые двадцать лет.

И тем не менее даже публикация «Путей-перепутей» в «Новом мире» и получение огромного числа благодарных читательских откликов на роман, выход в свет сборника «Последняя охота» с реабилитированной повестью «Вокруг да около», январская поездка в Японию и короткий десятидневный выезд в Верколу с заездом в Суру не принесли спокойствия абрамовской душе.

7 апреля с ощущаемой тревогой и мыслями о происходящем вокруг романа Абрамов в письме писательнице Симиной Г. Я., просившей у Федора Александровича предисловие к своей книге сказок, скажет: «Мой новый роман „Пути-перепутья“ начали громить в Москве, причем в очень высоких инстанциях. В этих условиях мое предисловие не только не поможет Вам, а лишь повредит... Надо мной разразилась или разражается очередная буря. Тяжело и горько все это, но будем мужаться».

Кроме того, после выхода в свет «Путей-перепутей» в ряде периодических изданий стали появляться сомнительного содержания критические статьи, в тексте которых были намеки на несовершенство произведений Федора Абрамова.

Так, в третьем номере за 1973 год журнала «Нева» была опубликована статья Юрия Андреева «Большой мир (о прозе Федора Абрамова)», породившая массу вопросов как у самого Абрамова, так и у читателей. В частности, в статье Андреева говорилось: «Я думаю (смею высказать гипотезу), что Ф. Абрамов исподволь готовится к самому трудному в писательском ремесле делу: к созданию образа современника, который будет ему самому по сердцу, будет близок авторскому пониманию того, каким должен быть человек сейчас. Многочисленными и непростыми подступами к решению этой трудной задачи он уже овладел». Словно все, что было создано Абрамовым прежде в литературе, имело всего лишь промежуточный характер и не воспринималось самим автором должным образом. Столь странный вывод автора статьи не мог не вызвать абрамовского негодования, и письмо Федора Александровича в «Неву» не заставило себя долго ждать.

Помимо статей такого рода были и публикации содержательного характера, раскрывающие в той или иной мере объективность абрамовской прозы, которых было значительно больше: Феликса Кузнецова «Люди деревни Пекашино: полемические заметки» в «Комсомольской правде» и Шамиля Галимова «Конфликты и характеры» в журнале «Москва», Всеволода Сурганова «От романа к роману» в «Литературной газете» и Владимира Новикова «В галерее реальных характеров» в «Литературном обозрении»...

Читатель Владимир Шевченко из поселка Новый Донецкой области после прочтения ряда негативных критических статей в адрес «Путей-перепутей», сетуя на их необъективность, зимой 1973 года писал Абрамову: «Пытаются обвинить писателя Абрамова в очерничестве нашей советской действительности тех дней, и даже в художественной лжи, не хватало только подобрать статью уголовного кодекса».

Но и положительная критика, и поддерживающие писателя читательские письма не смогли загасить разгорающегося костра травли «Путей-перепутей», что заставило Абрамова изменить планы. Пришлось отложить поездку в Северодвинск, где совет работников библиотеки Дворца культуры имени Ленинского комсомола наметил 13 мая провести читательскую конференцию по романам «Братья и сестры» и «Две зимы и три лета». Отправив приветственное письмо участникам конференции, извинившись, что не может приехать, Федор Александрович укатил в Москву спасать «Пути-перепутья», выход которых отдельной книгой в издательстве «Современник» уже был поставлен под угрозу. И снова хождение по высоким инстанциям, разговоры в «Новом мире» и в издательстве «Современник», долгая встреча с Демичевым, который с 14 ноября 1974 года станет руководить Министерством культуры СССР, сменив на посту министра Екатерину Фурцеву.

И не только «Пути-перепутья» в «Современнике» столкнулся с редакционным непониманием, но и новый абрамовский рассказ «О чем плачут лошади» не смог преодолеть цензурный заслон в журнале «Дружба народов». 5 апреля 1973 года с сопроводительным письмом заместителя главного редактора журнала Л. Теракопяна он был возвращен автору с пометкой, что нужно изменить название рассказа, так как в нем «невольно звучит мотив тоски по прошлому, плача по нему, причем по прошлому доколхозному», и необходимо «ввести в рассказ мысль о диалектическом прогрессе, который несет с собой не только обретения, но и утраты», при этом Теракопян ссылается на то, что «восстановить прежнее отношение к лошадям невозможно, однако счастливые времена для лошадей не всегда были добрыми к человеку. И, кажется, сказать об этом не было бы лишним. Хотя бы фразой».

Так, Федор Абрамов был вынужден дать рассказу новое название — «Сказки старой лошади» — неблагозвучное, грубое, словно топором вырубленное, но позволившее усыпить бдительное око цензоров. Вскоре после публикации этот заголовок был снят Абрамовым, и рассказу вновь было возвращено прежнее имя.

Небольшой по объему, лиричный и в то же время до краев наполненный неисчерпаемой грустью рассказ, основанный на детских воспоминаниях, был больше чем просто повествование о лошадях, которые стали всего лишь определенным фоном для человеческих взаимоотношений. И Рыжуха, которой досталось в работе «не меньше чем ее подругам», но «сумевшая сохранить свой веселый, неунывающий характер, норовистость молодости», и прямая ей противоположность Карько, ставший от работы на лесоповале доходягой, которого в самый День Победы подвели под несчастный случай, обрушив на спину тяжелые бревна со штабеля, чтобы отметить великий праздник с мясом, не так часто бывавшим на столах колхозников, они были всего лишь вуалью, за которой явственно проступали судьбы крестьян-колхозников, для которых Победа не стала облегчением в их тяжелом труде, а, наоборот, возложила на их плечи еще больший труд на многие последующие годы.

Много было читательских откликов на этот, казалось бы, с первого взгляда незамысловатый рассказ, отдающий «детскостью», но самым точным, пронзительным было письмо все той же Веры Бабич.

Понимая глубину мысли, заложенной автором в рассказе, словно заглядывая в потаенные закрайки абрамовской души, она напишет ему в апреле 1976 года: «Какая тоска живет в тебе! После этого рассказа я посмотрела на твой портрет и увидела в твоих глазах тоску не „тяжелую лошадиную“, а глубокочеловеческую... Все лучшее, что тебе дала земля родная... живет в тебе, и никому его не вытравить. Оно светло, оно благородно это все, оно человечно... В каждой строчке твоей трепетное сердце, сердце твое. Все, что ты написал, будет долго жить, будет волновать сердца людей, потому что ты твой талант перелил в слово, в котором великая любовь к народу, и он тебе ответил своей любовью. Талант настоящий, глубокий всегда рождает в сердце читателя грусть, волнение, радость, боль и все то, что вызывает в нас чудная музыка — и слезы, и любовь, и все то, что невозможно выразить словами». И как заключение — короткое стихотворение, тонко передающее смысл рассказа:

Есть тоска лошадиная,
В ней судьба непроглядная, длинная,
В ней покорность старинная,
Вечный труд и готовность трудиться
И на бунт никогда не решиться.

Не будем забывать, что рассказ писался в очень непростое для Абрамова время, и это не могло не отразиться на его внутреннем содержании.

И словно спасение от всего этого кошмара, стоившего немало потраченных нервов и времени, которое можно было вполне использовать на писательство, — майская длительная командировка в Сибирь, к берегам Енисея, и последующий выезд в начале июля на два месяца в Дом творчества Дубулты.

Одна литератор, отчего-то пожелавшая остаться неизвестной, по всей видимости желая поддержать Абрамова в непростое для него время, писала в Дом отдыха на рижское взморье: «Спасибо за Ваши книги. О том, что каждая из них — событие в литературной жизни, Вы знаете. Я хочу сказать, что они — событие в моей жизни: прочитав Ваше, я долго не могу писать. То, о чем пишу я, кажется ничтожным, как пишу — пло-

хим. И это — благо. После книг Ваших нельзя писать вяло, „гладко“ и о „гладком“, нельзя уходить от наболевшего и, как порой кажется, неразрешимого. Ваши книги дают мужество молчать, а если уж писать, то в полную меру сил, честности и таланта, сколько его ни отпущено на мою долю».

И вся эта ненужная кутерьма вокруг его имени и написанного нового романа, сопряженная с ложью и завистью, разворачивалась еще и на фоне весьма неприятных обстоятельств, в которые Федор Александрович не по своей воле все же был втянут — кампании против Александра Солженицына в связи с выходом за рубежом его документального романа «Архипелаг ГУЛАГ» и академика Андрея Сахарова, обвиняемого в клевете на социалистический строй.

Уже находящемуся в Дубултах Федору Абрамову в начале августа по телефону было предложено подписать коллективное письмо, подготовленное в правлении союза, в котором писателями осуждались действия Солженицына и Сахарова. В частности, в тексте письма говорилось, что «поведением таких людей, как Сахаров и Солженицын, клеветующих на наш государственный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства и по существу призывающих Запад продолжать политику „холодной войны“, не может вызывать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения».

Абрамов категорично, со свойственной ему экспрессией, наотрез отказался подписывать писательскую коллективку.

Это был вызов совершающейся над людьми несправедливости, мириться с которой он просто не мог и уже не хотел. Абрамову с лихвой хватило той яростной борьбы с космополитами, в которую он втянулся в начале 50-х и которой стыдился, ругая себя всю свою оставшуюся жизнь.

Когда 31 августа в вечерней программе «Время» диктор зачитал письмо писателей, то среди оглашенных подписей значились имена Чингиза Айтматова, Валентина Катаева, Расула Гамзатова, Сергея Михалкова, Михаила Шолохова, Константина Симонова, Георгия Маркова, Константина Федина, Сергея Наровчатова (в то время еще и первого секретаря Московского отделения Союза писателей), но фамилии Федора Абрамова не было.

По возвращении в Ленинград Федор Александрович запишет в своем дневнике: «На глазах всего мира совершается очередная русская трагедия: великого патриота (Сахарова. — О. Т.) клеймят как изменника Родины, как предателя своего народа.

И кто клеймит? Все тот же народ... О, Россия, Россия... Когда же ты хоть немного поумнеешь?»

Какой же была цена этому поступку Федора Абрамова?

Отказываясь подписать открытое письмо писателей в газету «Правда», Федор Александрович скорее всего понимал, что могло повлечь за собой такое свободомыслие. Можно быть вполне уверенным, что уже вскоре после отказа поставить подпись о его поступке уже знали в ЦК партии, ведь письмо предназначалось для публикации не куда-нибудь, а в главную газету страны. При таком раскладе Абрамов мог запросто встать в один строй с Сахаровым и Солженицыным, а с учетом его прошлых «заслуг» это могло произойти довольно просто. По сути, это был еще один осознанный абрамовский акт самосожжения, говорящий о нежелании быть чиновничьей марионеткой. И не в этом ли абрамовском поступке сокрыта разгадка его последующего октябрьского завещания? Абрамов вряд ли надеялся на то, что ему сойдет с рук этот поступок, вот и подстраховался на всякий случай, отправляясь в дальнюю заграничную поездку, в которой могло случиться все что угодно.

В августе этого года «Вопросы литературы» снимают с публикации запланированное и уже анонсированное интервью Федора Абрамова. Редакционный аргумент прост — обязательства перед ранее поступившими материалами Константина Симонова и Сергея Залыгина. Между тем Абрамову также предлагается доработать интервью «более подробным рассказом о последней... и самой значительной!.. работе („Пути-перепутья“» — именно так будет значиться в ответном письме главного редактора В. Озерова 27 ноября 1973 года.

Едва вернувшись из Дома отдыха, уже в первых числах сентября Абрамов уезжает на Пинегу. Нежелание мириться с тем, что происходило в это время в писательских кругах по отношению к Солженицыну и Сахарову, влекло его подальше от Москвы и Ленинграда. 2 сентября он делает запись в дневнике: «Я скоро еду на Север, и одного боюсь: как бы меня как члена секретариата Ленинградской организации автоматически не поставили под каким-нибудь верноподданническим письмом...»

Эта осенняя поездка на родину была наполнена не только радостью встречи с Пинежьем, но и массой добрых встреч с читателями, одна из которых прошла в архангельском порту на борту сухогруза «Игорь Грабарь» и стала для Абрамова одной из самых запоминающихся на всю оставшуюся жизнь.

Неизвестно, как бы дальше складывалось отношение к Федору Абрамову со стороны властей, да и Союза писателей, если бы не вмешательство Демичева, встреча с которым состоялась у Абрамова 1 ноября, как раз в тот самый день, когда в церкви Михаила Архангела, знаменитой на всю Москву «Меншиковой башне», что на Чистых прудах, отпевали скончавшегося двумя днями раньше Бориса Шергина, перед творчеством которого Абрамов низко склонял голову и о чистом слове которого однажды в своих дневниках сделал такую пометку: «Аввакумовский язык, только в смягченном варианте. Вот бы так писать!» И тем не менее, несмотря на важность предстоящей встречи, Федор Александрович все же успел проститься с Борисом Викторовичем, а вот проводить в последний путь на Кузьминское кладбище знаменитого поморского писателя, автора удивительных «Архангельских новелл», уже не смог: отложить столь высокий прием в Секретариате ЦК Абрамов был не в силах.

Так или иначе, но с определенной долей вероятности можно предположить, что встреча с Демичевым и на этот раз помогла Абрамову, разогнав грозовые тучи, набравшие свою мощь над его непокорной головой. Наступил некоторый период относительного спокойствия, ознаменовавшийся для Федора Александровича рядом позитивных моментов на ниве литературы — выходом новых книг, театральных постановок и награждением Государственной премией СССР за трилогию «Пряслины», в реальности присуждения которой он сомневался до последнего дня.

Возвращаясь к поездке Федора Абрамова в Англию в октябре 1973 года, уместно будет упомянуть об одном примечательном эпизоде, связанном с просмотром делегацией советских писателей художественного фильма «Иисус Христос — суперзвезда», с аншлагом проходившего в кинозалах Америки и Европы, который был снят в США режиссером Норманом Джуисоном по знаменитой рок-опере и главную роль в котором сыграл Тед Нили.

Этот едва заметный случай из биографии писателя весьма ярко характеризует внутреннюю составляющую характера Федора Абрамова — крупного писателя и в то же время просто человека, сильно подверженного эмоциональному осмыслению увиденного.

Об этой сцене просмотра фильма и последующего его «разбора» поведал мне писатель Михаил Сергеевич Глинка, присутствовавший в составе той писательской делегации. «Когда Федору Александровичу после посещения советского посольства пред-

ложили посмотреть кинофильм „Иисус Христос — суперзвезда“, Абрамов, сказав, что это кошунство — снимать такой фильм, отказался. Но после того как предлагавший объяснил, что фильм одобрен самим Папой Римским, который высказался о нем как о произведении искусства, Абрамов, по-пинежски налегая на „о“, сказал:

— Ну, папа нам тут-то не указ. Ну, хорошо, пойдем.

Фильм был на английском языке, титров не было, и Абрамов специально посадил переводчицу рядом с собой.

После просмотра фильма, когда все вышли из кинозала, случилось так, что Федор Александрович, а он был лидером в группе, безусловно оказался в эпицентре нашего внимания, собрав всех вокруг себя. Наша группа чувствовала, что Абрамов под большим впечатлением от просмотра и ему есть что сказать.

И вот Федор Александрович, крепко хлопнув ладонями по коленям, произнес всего одно слово: „Пронзение!“, после чего, посмотрев на всех, начал развивать свою точку зрения на концепцию того, что он только что увидел на экране: „Ну, по сценам разберем, по сценам. Вот сцена-то с подаванием. Они там все Христу: «Дай да дай, дай да дай». А как тут дать-то, всем-то?! Нет! Вы уж тут наверное размежуйтесь: у которых ничего нет — в одну сторону, а у которых есть — так чего давать-то? Всем-то одно не дашь“.

Мы все, затаив дыхание, слушали Абрамова.

Тяжелый абрамовский взгляд, прищур глаз — все это было в Федоре Александровиче не следствием грубости натуры, внутренней сухости, а результатом глубоко работающей мысли.

Коснулся он и сцены, в которой танк гонится за негром по пустыне (режиссер фильма вместо римского легиона ввел в сюжет фильма танки. — О. Т.), и тот, убегая, чувствует, что ему не спастись.

Абрамов, сам прошедший войну, относительно этой сцены сказал: „Убегая, он все оценивал: спасется — не спасется, будет больно — не будет. Важно, что это негр или не важно? Человека-то танк все одно-то задавит, я-то знаю, от танка-то не уйдешь. И потому мне-то уже и не важно, негр он или не негр. Он — человек! И сейчас ему конец придет.“

Потом вот плач Марии Магдалины. Что вот так она заливается? Да — гуляющая, а все одно как плачет-то она. Душа есть!

Или вот торгующая во храме. На базар-то зашел и там все лежит. Зачем в храме-то, зачем в храме-то расположились?! Тут-то нельзя торговать-то, тут не то место-то!“

Мы очень внимательно, стоя рядом, слушали Абрамова, — продолжал Михаил Сергеевич. — Он был весь погружен в свой рассказ и его вид говорил о глубокой работе мысли. И все же, в этот момент осознания увиденного в потоке мысли слились воедино вместе с глубоким раздумьем над фильмом и его творческая непосредственность, воплощенная в способности действовать по внутреннему влечению глубинных порывов души, искренне выражать свои чувства и эмоции, душевные переживания. И в этом он, словно невинное дитя природы, выражал, так сказать, ощущение подростка, только что увидевшего в своей жизни что-то новое и его очень сильно поразившее. Он, фронтовик, воочию видевший смерть, сумел глубоко в своей душе сохранить ту подростковую восторженность, и может быть даже в чем-то наивность».

Ну а теперь, вернемся к «Пулям-перепутьям».

14 ноября состоялось очередное заседание секции прозы и критики Ленинградского отделения Союза писателей. На повестке был всего один вопрос — обсуждение нового произведения Федора Абрамова — романа «Пути-перепутья».

Выступавших было много, и мнения были разные. Кто-то, как это сделал Юрий Андреев, председательствовавший на секции, расхваливая роман от корки до корки, не забыл помянуть и «Тихий Дон», поставив в один ряд с Мишкой Кошевым пекашинского Мишку Пряслина — эдакого «неистового сельского Марата». Он же, впад в безудержные, отчасти нелепые сравнения, «разоблачая» образ Егорши, заявил, что тот «тип не социальный, но психологический, страшная фигура, которая существовала во все времена — от черносотенцев 1903 года до фашистов 1933-го, власовцев — 1943-го и чилийских погромчиков — 1973-го», чем вызвал оправданные удивления присутствовавших и самого Федора Александровича.

Литературовед Исаак Эвентов, прежде чем охарактеризовать новое абрамовское творение, заострил внимание на начале литературного пути Абрамова, вспомнил «оттепелый» 1954 год, когда автора «Люди колхозной деревни...» называли не иначе как «требовательная доброта» и «сражающийся современник». О «Пути-перепутья» Исаак Станиславович отметил, что «сущность труда Абрамова в том, что он не может пройти мимо тех драматических обстоятельств, которые пережила деревня в 50-е годы», и что роман нужно воспринять как «звено в летописи деревенской жизни», за которым последует «звено 4-е, где действия и все герои будут перенесены почти на 15 лет», и что «наш гражданский и писательский долг — отвести от Абрамова хулу и напраслину, которая мешает ему работать, а читателям понимать его произведение».

Кратким, но очень содержательным было выступление Юрия Рытхэу: «Абрамов романом „Пути-перепутья“ доказал еще раз, что писатель должен быть честным. Рецензии на роман обтекаемы. Книга у каждого вызывает свое. Это защита нашей истории от легковесного ее восприятия, истории в ее трудностях, истории, вырастающей в труде. От собратьев Абрамову — доброе слово».

Владимир Соловьев, тогда самый молодой, 31-летний литератор в секции, впоследствии ставший диссидентом, а ныне — известный российско-американский писатель, проживающий в Нью-Йорке, по-своему оценил композицию романа: «В романе ощущается и некоторый мелодраматизм. Композиция романа не совсем ровная, слишком последовательная, „просторная“, словно глубокий вдох. После такого начала ждешь широкого и продолжения. Вторая же часть какая-то торопливая, прерывистая, усеченная, автор словно хочет быстрее связать концы с концами (Михаил и Рая), углы сглажены. Вдох глубокий, но нет соответствующего выдоха».

Упрекнуть Владимира Исааковича в его словах относительно композиции романа вряд ли было возможно, да и сам Федор Александрович в своем ответном искреннем выступлении на этот счет смолчал. «Из кожи вон лезешь, пытаешься быть честным, сказать со своей точки зрения важные слова, а получаешь — „очернитель“, „прохожий с тросточкой“, — сказал тогда Абрамов. — За границей же подхватываются негативные оценки. И, стараясь сделать бизнес на наших ошибках, радостно хвалят — „разоблачители“, „бросает вызов“, „очернитель-патриот“...

Был и буду писателем критического направления. Но главное в моей работе — не отрицательный пафос, а с первой странички разговор о России, о своей стране, о нашем человеке, о нашем времени.

Не только не отрицаю, что являюсь бытописателем, но считаю, что словес нашей литературе хватает, а вот конкретного — что люди едят, о чем думают, сколько зарабатывают — вот этого не хватает. И счастлив, что люди замечают — я бытописатель. Стараюсь, чтобы в моих произведениях было больше „мяса“ жизни».

И под конец, словно принимая в чем-то критику, со свойственной ему прямоотой добавил: «Недостатки 3-й книги объясняются не только слабостью, но и довольно сложной судьбой книги. Она дошла до читателя не в самом лучшем виде». И в этом

нелестном в свой адрес признании тоже была его абрамовская правда — сказать так, как есть, не кривя душой.

А роман «Пути-перепутья» был принят не только на родине, но и за рубежом, куда только мог добраться «Новый мир».

21 ноября Федор Александрович получил письмо от Моника Слodziан, французской переводчицы, преподавательницы университета иностранных языков им. Мориса Тореза: «Недавно я предложила нашему издательству (Соединенное Французское издательство) перевести один из ваших романов — „Две зимы и три лета“ или „Пути-перепутья“ и наши товарищи согласились». И как выяснится впоследствии, французское издательство не станет делать выбор между этими двумя романами, они оба выйдут в свет на французском языке в 1975 году в переводе Моника Слodziан. Затем будут переводы на польский, финский, румынский...

Триумфальное шествие «Пути-перепутья» по Европе порядком снизило накал страстей вокруг романа, дав ему полный зеленый свет и на родине.

По-особому трепетное сыновнее отношение к русской деревне проявлялось у Федора Александровича не только в слове, но и в поддержке всех благих дел, связанных с этой темой. Все, что было так или иначе связано с вопросом о деревне, он воспринимал особенно близко и всячески старался поддержать то или иное начинание.

Так, в декабре насыщенного для Абрамова событиями 1973 года Федор Александрович всецело поддержал общественную идею установления в СССР памятников заброшенным деревням. Эта идея зародилась на Украине в городе Днепропетровске, а инициатором ее был Николай Лоскутов, направивший соответствующее письмо в Днепропетровский обком, заранее заручившись поддержкой Федора Абрамова. «Я очень благодарен за поддержку, — напишет он Абрамову в своем письме 4 декабря 1974 года, — оказанную Вами в вопросе о постановке памятников заброшенным деревням. Без преувеличения скажу, что Вы настоящий патриот России, никто так душевно не относится к этому вопросу как Вы».

К сожалению, тогда эта благая идея, так и оставшись в письмах-обращениях, не прижилась в чиновничьих кабинетах, а спустя время и вовсе была забыта. Память о погибших деревнях, кормивших страну в военные и послевоенные годы, а потом вдруг в одночасье ставших неперспективными, была не нужна в высоких коридорах власти. Ведь вспомнив о погибших деревнях, нужно было помянуть и тех людей, что десятилетия, а то и века жили и работали в них, и, как следствие, ответить на очень неприятный вопрос: почему такое могло случиться в середине XX столетия?

Позже, в разговорах с близкими, Федор Александрович не раз вспоминал об этом хорошем начинании, родившемся на благодатной Днепропетровской земле. Вспомнил Абрамов об этом и во время встречи редакции и авторов «Нового мира» с читателями, состоявшейся в преддверии нового, 1974 года, 18 декабря в конференц-зале Выборгского Дворца культуры. Тогда помимо Федора Александровича во встрече приняли участие А. Вознесенский, Ю. Трифонов, критик В. Соколов и заместитель редактора журнала Олег Смирнов, который выступил в роли ведущего.

По давней традиции новомирцев каждый из участвовавших во встрече писателей после ее окончания расписался на программках друг у друга.

На приглашении Федора Абрамова поэт Андрей Вознесенский, с присущей ему искренностью и восторгом в слове, ценивший в человеке в первую очередь совесть, написал: «Люблю тебя!!! Андрей Вознесенский». Для Андрея Андреевича Федор Абрамов был тем же «шестидесятником», чье творчество всеми цветами радуги раскрылось именно в 60-е годы, порожденное хрущевской «оттепелью». И это «люблю тебя» было

не только дружеским признанием в любви, но и добрым словом всему творчеству Абрамова, низким поклоном всей его человеческой натуре за любовь к людям, за сердце, которое никогда не пребывало в праздности.

Да и сам Федор Александрович не только любил Вознесенского как человека, но и очень высоко оценивал его поэтическое слово. На знаменитом авторском вечере в Останкине на вопрос из зала «Какую роль в вашей жизни занимают музыка, живопись, поэзия?» Абрамов первым назвал Андрея Вознесенского, в поэзии которого «очень ярко, современными средствами, средствами НТР выражен дух нашей эпохи». И чуть раньше, 11 октября 1981 года, в Архангельске после просмотра спектакля «Дом» на встрече с архангелогородцами скажет: «Вознесенский — сложный поэт. Не все, я не все принимаю. Есть трюкачество, есть экспериментаторство, но какие есть стихи! Есть великолепные стихи: невероятная сложность, метафоричность, невероятная свежесть и необычность образной системы!»

Наступил 1974 год.

Работа над новым романом «Дом», первые черновые наброски которого появились еще задолго до завершения «Двух зим...» и «Путей-перепутей» осенью 1965 года, утряска всех дел, связанных с публикацией «Пути-перепутья», завершение воспоминаний о Твардовском, работа в совете по прозе Союза писателей СССР, краткосрочная творческая командировка в Западную Германию и другие неотложные дела не позволили Федору Александровичу выбраться на родину в Карпогоры, где на 24 декабря в Доме культуры была намечена читательская конференция по новому роману писателя пряслинской трилогии «Пути-перепутья». Извинившись перед земляками, Абрамов пообещал провести такую встречу с карпогорцами будущей весной, как только приедет на родину. И такая встреча 28 мая 1974 года действительно состоялась.

Вообще 1974 год, как никакой другой, будет для Федора Александровича богат на читательские встречи. Приглашения выступить посыплются на Абрамова одно за другим. Так, 25 февраля кафедра литературы и журналистики Высшей комсомольской школы, что находилась в Ленинграде, настойчиво просит Федора Александровича принять участие в читательской конференции. И вот уже 2 апреля новое приглашение на встречу с читателями в вечерней школе рабочей молодежи № 135 Ленинграда. А 6 мая Абрамов уже будет говорить о своих произведениях со студентами и преподавателями Архангельского педагогического института им. М. В. Ломоносова, студентом которого едва не стал сам в середине 40-х.

Не забудут и Абрамова-шолоховеда. 7 марта Федор Александрович получит приглашение из секции литературоведения при отделении гуманитарных наук Северо-Кавказского научного центра высшей школы принять участие в апреле следующего года в конференции «Творчество М. А. Шолохова и литература народов Кавказа», посвященной 70-летию писателя: «Просим Вас, широко известного представителя Шолоховской школы в советской литературе и литературоведении, выступить на пленарном заседании конференции с 30—60-минутным докладом на „шолоховскую“ тему по собственному выбору („Общественно-политические и эстетические уроки творчества М. А. Шолохова“, „Творчество М. А. Шолохова и мой путь в литературе“, „М. А. Шолохов и советская литература“ и т. д.)». Не забудут пригласить и на будущий год в МГУ, где юбилей М. А. Шолохова будет отмечаться с еще большим размахом.

Аншлагом пройдет 24 ноября 1974 года творческий вечер Федора Александровича в Центральном Доме литераторов в Москве, на который билеты будут раскуплены задолго.

Это будет год не только многочисленных читательских встреч, но и время реализации больших планов как в творческом, так и в житейском отношении: работа над

сценарием и постановкой «Деревянных коней» на Таганке, что заставит разрываться между Ленинградом и Москвой, создание романа «Дом» и цикла рассказов-миниатюр «Трава-мурава», продолжение почти двадцатилетней работы над повестью о войне «Кто он?», которая так и останется в сотнях черновых листов.

В этом году после долгого перебирания за и против «Современник» все же издаст отдельной книгой «Пути-перепутья», один из экземпляров которой Абрамов в знак искренней благодарности за первую публикацию привез в «Новый мир» Косолапову, которого в этот момент не оказалось на месте.

Спустя время Валерий Алексеевич ответил писателю благодарным письмом: «26.06.1974 года... Вчера впервые после длительного перерыва приехал на работу в журнал и порадовался, увидев на столе Вашу новую книгу. Огромное Вам спасибо за подарок и за внимание. Как Вы, очевидно, понимаете, роман „Пути-перепутья“ мне очень дорог, и как давнему поклоннику Вашего писательского таланта, и как редактору „Нового мира“».

«Характер великого человека всегда сложный», — скажет однажды Абрамов о Твардовском, и эти слова можно в полной мере отнести и к самому Федору Александровичу.

По воспоминаниям знавших его людей, он был наделен натурой взрывной, запросто входил в раж, но и быстро отходил, не умел долго держать зла. «Заслуга» Косолапова в публикации «Двух зим...» в «Роман-газете», «Путей-перепутей» и «Деревянных коней», как только прошла череда всех этих эпопей, была Абрамовым быстро забыта. Даже после ухода Валерия Алексеевича с поста главреда «Нового мира» отношения между ними остались дружественными, и это несмотря на то, что по-прежнему находились те, кто пытался напомнить Федору Александровичу о роли Косолапова в «продвижении» его творчества. Но у Абрамова на этот счет, по всей видимости, все же было свое мнение.

«Купить Ваши книги в Риге просто невозможно», — эта строчка из письма 25 декабря 1974 года латвийской переводчицы Валентины Эйсуле наглядно подтверждает популярность писателя Федора Абрамова в Латвии, где в свое время вышел один из первых переводов романа «Братья и сестры».

И тем не менее издательские дела у Абрамова в Латвии в 1974 году шли неважно. «Пелагея» и «Алька», запланированные к выходу в одном из издательств, были перенесены на следующий год, так как в связи с нехваткой бумаги прошло сокращение издательского плана. И это еще не все. Переводившая повести Эйсуле сообщила Абрамову, что «Альку» нужно обязательно издать в сборнике на русском языке, так как по существовавшим правилам нельзя было публиковать в Латвии книгой то, что уже выходило на русском в журнальном варианте.

К счастью для «Альки», вопрос разрешился быстро, и повесть была включена в сборник «Последняя охота», вышедший в издательстве «Советская Россия», с предисловием Андрея Туркова, будущего автора очерка «Федор Абрамов», вышедшего отдельной книгой в «Советском писателе» в 1987 году. Свежеиспеченный сборник был немедленно отправлен Эйсуле в Ригу.

Латвийский перевод «Пелагеи» и «Альки» выйдет в одном из рижских издательств в августе 1975 года и будет иметь огромный успех у читателей. Сама же Эйсуле, отправляя Федору Абрамову книгу, с благодарностью признается в письме: «Вы мой автор и я Вас никому не отдам». И Эйсуле сдержит свое слово: благодаря ей пряслинская эпопея будет полностью издана в Латвии.

Случались в этот год и памятные для Абрамова встречи.

В начале декабря в квартире Абрамова на 3-й линии побывал Владимир Высоцкий. Произошло это во время гастрольной поездки «таганцев» по Прибалтике с заездом в Ленинград, куда они привезли с собой и только что родившихся «Деревянных коней».

Владимир Семенович и еще несколько артистов театра, в числе которых были Иван Бортник, Татьяна Жукова, Зинаида Славина, занятые в постановке «Коней», пришли на квартиру писателя уже поздно вечером. У Высоцкого была гитара, и можно только представить, что происходило в ту ночь в квартире Федора Александровича.

Приезд Высоцкого к Федору Александровичу не был случайным. И тут дело не только в театральной дружбе: работа Абрамова над постановкой «Деревянных коней» сдружила его со многими артистами труппы, даже не занятыми в спектакле. К слову, у Федора Александровича был особенный телефонный справочник артистов с Таганки, и он в любой момент мог позвонить любому из них на домашний или рабочий номер. Нельзя отрицать, что таких дружеских разговоров по телефону у Абрамова не было и с Высоцким.

Высоцкий прежде всего уважал в Абрамове писателя. В одном из своих интервью, данных корреспонденту газеты «Литературная Россия» 27 декабря 1974 года (статья «Владимир Высоцкий. Песня — это очень серьезно...» в № 52), вероятнее всего, вскоре после возвращения из Ленинграда, Владимир Семенович на вопрос, кто из писателей-прозаиков ему по душе, ответил: «Мне очень нравятся книги Федора Абрамова, Василия Белова, Бориса Можая — тех, кого называют „деревенщиками“. И еще — Василя Быкова и Василия Шукшина...»

В свою очередь и Федор Александрович высоко ценил Высоцкого, ценил его правду, высказанную в песнях.

Еще в марте 1980 года Абрамов окажет содействие артисту Театра на Таганке Вениамину Смехову в публикации в журнале «Аврора» его воспоминаний, где будет заметная глава о Владимире Высоцком. Именно в связи с этой главой «Воспоминаниям» не давали хода в печать более двух лет. Их опубликуют в пятом номере журнала, за два месяца до ухода Высоцкого из жизни, и он сам успеет их прочитать.

Публикация «Воспоминаний» Смехова в «Авроре» была не случайной. В это время при журнале действовала студия молодых литераторов, образованная в 1975 году, и Федор Александрович был активным ее участником. Когда Абрамов узнал, что «Воспоминания» не могут прийти к читателю столь длительное время, он сам предложил автору опубликовать их в «Авроре», возложив на себя груз ответственности за поданный материал.

Весть о кончине Владимира Семеновича в июле 1980 года застанет Абрамова в Верколе. Со слов племянника писателя Владимира Федор Александрович несколько дней ходил сам не свой, при этом не уставая повторять: «Высоцкий — это талантище! Понимаете? Талантище!!! Какого человека не стало!» Он искренне любил Высоцкого.

Но самым главным событием этого года станет для Федора Александровича обретение собственного дома в Верколе. Ради этого он даже делает невозможное — откажется от участия в майском Пленуме правления Союза писателей РСФСР и целый месяц проведет в родных местах, занимаясь реставрацией своей веркольской избы.

Все годы, приезжая на родину в качестве гостя, он неизменно будет жить с мечтой о собственном доме, и воплощение ее в реальность станет самым настоящим подарком, пусть и требующим немало хлопот. Конечно, дом семьи брата Михаила давненько стал для Федора Александровича родным. И все же свой дом — другое дело.

Об обретении Федором Абрамовым дома в Верколе и о годах, проведенных в нем, в свое время достаточно подробно рассказала супруга писателя в своей удивительной книге «Дом в Верколе».

Вопрос о приобретении дома в Верколе решился в самый канун Нового года.

17 декабря 1973 года Федор Александрович получил долгожданное письмо от Таисии Мининой, работавшей директором школы в поселке Новолавела.

Письмо было действительно желанным, так как оно касалось одного небольшого пустующего домика в Верколе, который Абрамов приметил уже давненько, да вот только решение о его покупке принял по весне, во время своего очередного приезда на родину.

Многоуважаемый Федор Александрович!

Письмо Ваше получила. Бабушкин дом мне тоже очень дорог, так как это последняя связь с родной Верколой. У меня там родных близких не осталось: отец убит в 1943 г., мать умерла в 1947 году (я еще училась в 9 классе Карпогорской школы), братьев и сестер у меня не было. Учила бабушка, а после института она жила у меня в Ловеле.

Да, жаль... а жить в Верколе муж и дети не хотят, т. к. в Лохнове (Покшеньге, муж оттуда) есть большой, хороший дом. Летом ездим в Покшеньгу отдыхать.

Если дом Вам понравился, я не возражаю. Правда, нужен ремонт печи, крылечка, изгороди (изгородь Вам надо поставить хорошую), ведь Вы для нас, земляков, большой авторитет, наша гордость.

Поэтому домик небольшой, продавать Вам неудобно как-то, вот я и молчала.

Сколько стоит спрашиваете? Я не знаю, могу подарить, если он Вам дорог. Да и у бабушки о Вас были теплые воспоминания...

Не откладывая в дальний ящик разрешение вопроса о приобретении дома, заняться оформлением купчей Федор Александрович попросил Нину Клопову, жену Федора Клопова — двоюродного брата писателя, которой и перевел требуемую денежную сумму. По всей видимости, Федор Александрович за цену не особо стоял. Хоть и плохенький был домишко, а принять его в дар Федор Александрович все одно не мог. Все же дом приобретал!

Конечно, Федор Александрович мечтал не о таком собственном веркольском доме. Глубоко в памяти сидел образ родительского дома—шестистенка с заулком, что соединяет две избы, на высоком подклете, где семь окон на девятом венце, и непременно с обязательным домом-двором в два яруса с взвозом, да охлупнем на коньке с грудастым конем на фасаде. И этот образ дома с конем никак не вязался с тем малым низеньким домишком с тремя небольшими окошками на фасаде, с уже припавшими к земле углами и где была всего лишь одна комнатка.

Но место! Место, где стоял этот осиротевший дом — вот что привлекло Абрамова прежде всего! Высокий угор на семи ветрах, простор полей под ним и бегущая лента Пинеги, а за ней, как и в его детстве, белоснежные стены построек Веркольского монастыря и бескрайняя даль лесов таких, что взором не окинешь. И эта огромная «пекашинская» лиственница из далекого прошлого, что выросла на откосе, словно живой памятник его «Братьям и сестрам». А еще его неизменно влекла родительская усадьба, что была совсем рядом на его родном абрамовском печище, до которой было всего-то дорогу перейти.

Обременяя себя небольшим домишком на угоре, Федор Александрович надеялся в душе, что ему невольно удастся приобрести стоящий рядом, с левой стороны от фасада, уже нежилой ветхий большой дом, принадлежавший Анастасии Андреевне Абрамовой, после сноса которого можно будет поставить настоящий дом с конем. Но на уговоры Абрамова продать старенький дом Анастасия Андреевна ответила отказом, и с мечтой о строительстве большого дома на угоре Федору Александровичу пришлось расстаться. Дом этот в конечном итоге все же уберут, но случится это тогда, когда Федора Абрамова уже не будет.

Хлопоты по дому начались в мае, еще задолго до черемухового цвета, когда Пинега, едва освободившись ото льда, еще не согнала полые воды с прибрежных луговин — самая пора распуты, время разбитых дорог.

Забота о приведении в жилое состояние собственного дома настолько захватила Абрамова, что он на время превратился из писателя в прораба и плотника, решив самостоятельно решать вопросы не только с доставкой необходимого материала, но и принимать непосредственное участие в строительстве.

Почти сразу после покупки дома о своем веркольском приобретении Федор Александрович рассказал в письме Михаилу Щербакову, попросив его помочь в стройке. Вероятнее всего, Щербаков не одобрил приобретения.

Вот строки из его дневника, хранящегося в музее Федора Абрамова в Верколе:

Мнение веркольцев — не дом, а гнилье. Под гору бы скрыть бульдозером. Развалюха и т. д. А между тем передняя часть дома рублена из соснового сухостоя. Бревна смолистые, крепкие. Стены под наружной обшивкой будут стоять век. В общем, дом будет хороший.

И тут же в дневнике находим запись с прямо противоположным мнением:

Советую Ф. А. строить новый дом из бруса. Брус — в Ваймуше. Но он купил небольшой старый дом (500 руб.).

Место очень хорошее. По сути дела, не дом, а место купил. Приглашает недели на 2 в Верколу помочь ремонтировать этот дом. Я дал согласие.

Уже 12 мая, еще до начала работ, Щербаков, осмотрев дом, записал: «Старый. Окладные венцы фундамента совершенно сгнили. Крыша плохая... Рамы требуют замены. Решили ехать в Карпогоры за вагонкой, шифером, обойными материалами, гвоздями и прочее».

Так что крыльцо, печка и забор, о которых упоминала в своем письме Минина, были лишь малой толикой того, к чему предстояло приложить руки. Федору Александровичу фактически пришлось перестраивать дом заново, оставив родными лишь бревна четырех стен, да и то с частичной их заменой. Даже фундамент и тот пришлось укреплять.

«14 мая — начало работ, — читаем в щербаковском дневнике. — Участвует племянник Володя (Владимир Михайлович Абрамов. — О. Т.). Сменили окладные венцы 4-х стен. Ф. А. разочарован, представив объем работ.

17 мая распилили на брусья 4 бревна (на совхозной пилораме). Весь день ушел на установку половых балок на камни, печного шеста и наборку пола.

Мысль у Ф. А. написать „плотницкую грамоту“ („Строительное дело“ сначала озаглавил)...

Разобрали крышу, сняли фронтоны, изготовили 4 пары стропил — 2 пары поставили. Облицевали угол комнаты сухой штукатуркой. 20 мая крыли крышу, 21 мая сложили печь... На следующий день заделали стенку в коридоре. Установили половые балки. Настилили пол. Окосячили окна... Следующим днем покрыли крышу. Фронтоны. Потолок... 25 мая заделали стену с крыльца, очистили двор, закончили работу с фронтоном».

И все эти две недели, пока чинился дом, Федор Александрович неотлучно находился при стройке.

«Опыт строительства, — напишет в своей книге „Дом в Верколе“ Людмила Владимировна, — обогатил Федора и как писателя. Многие впечатления, трудности, переживания и конфликты весны 1974 года отразились затем в романе „Дом“, над которым Федор Александрович только-только начал работать».

Так, в мае 1974 года в Верколе, в самом красивом месте деревни, у Федора Абрамова появился свой собственный дом в одну небольшую, но просторную и уютную комнатку, которая будет служить ему и спальней, и столовой, и писательским кабинетом. Рядом Пинега, за ней монастырь и простор лесов — все то, что он видел в детстве. «Волнами, пестрыми табунами ходит разнотравье по лугу... а за лугом поля, Пинега, играющая мелкой серебристой рябью, а за Пинегой прибрежный песок-желтяк, белые развалины монастыря, красная щелья и леса, леса — синие, бескрайние, до самого неба...» — так описывал Абрамов то, что окружало его дом.

А впрочем, могло быть все иначе, получи Федор Александрович земельный участок в Комарове, которого он безрезультатно добивался на протяжении многих лет. Да и постройка дома в Комарове наверняка бы очень сильно отвлекла его от Верколы. Но самое главное — он по-прежнему бы приезжал на Пинегу в качестве гостя. И кто знает, насколько частыми были бы эти приезды. Но вряд ли бы комаровский дом стал ему настолько дорог, как этот с виду неказистый веркольский домишко, выстроенный на той земле, что помнила его детские шаги.

Уже в своих поздних дневниковых записях 1981 года Абрамов напишет: «Дом-то мой едва ли не самый жалкий в деревне. Маленький. В три окна... Впрочем, ощущение бедности, малости лишь на первых порах. А потом пройдет какая-то неделя, и я уже бесконечно влюблен в свой дом».

Невелик, но уютен получился абрамовский дом всего-то в три оконца. Не так уж просторна комната, служившая и местом отдыха, и местом для встречи гостей, и столовой, и писательским кабинетом. Из всей мебели — самое необходимое да печь-столбик почти у самого входа в одну-единственную комнату.

Благоустройство веркольской усадьбы, как и самого дома, займет у Федора Александровича еще не один год. Но это уже не будет тем марафоном, что случился в мае 1974 года. Постепенно будут устраняться все шероховатости и недочеты спешной стройки. Спустя некоторое время летняя веранда превратится в кухню и рамы в доме погородскому «заиграют» петлями. Уже на следующий год рядом с домом появится свежесрубленная новенькая баня, разобьются клумбы, и лишь амбарчик в углу усадьбы, доставшийся в наследство от прежней хозяйки дома, будет напоминать о ее прошлом, и Федор Александрович наотрез откажется его сносить. «В амбаре жизнь моих предков», — будет отвечать он на все предложения освободить усадьбу от неказистого векового строения, давно потерявшего свою хозяйственную надобность.

Со временем появятся на усадьбе и березки с осинками, высаженные племянником Владимиром и его супругой Анисией по просьбе Федора Александровича, и кусты смородины с малиной. В письме от 17 октября 1977 года Владимир Михайлович, отчитываясь дядьке о проделанной работе, напишет: «Все, что ты говорил мне сделать по твоему дому, я в основном сделал. Привез машину чернозему, потом два вечера ездил за деревьями. Дай бог чтоб они принялись, посадил высокие, будет очень плохо, если они не примутся. Потом после первого заморозка ездил за смородиной. Ездил туда к Ворге и на Хорсу, посадил там, где ты размечал. Осталось только весной посадить два тополя... А весной я обязательно посажу малину где ты указал».

«Мой дом — как пароход, — запишет Абрамов в своем дневнике 28 июля 1981 года, — как птица, приготовившаяся к взлету. Полное растворение в мироздании».

Домик в Верколе станет для Федора Абрамова не просто райским приютом на летние месяцы всех последующих лет его жизни, но и еще более тесной связью писателя с родиной, без которой он себя просто не мыслил. Под его крышей он закончит последний свой роман «Дом», будет обдумывать «Чистую книгу», здесь родятся рассказы-этюды «Травы-муравы», записи его дневников и записных книжек, да и много еще че-

го, что станет впоследствии литературным наследием писателя Федора Абрамова. Конечно, в жизни Абрамова по-прежнему будут Комарово с Опальневым, дальние заграничные поездки и путешествия по своей стране, но с лета 1974 года его главным притяжением станет скромный веркольский дом, без которого он уже не мыслил своей Верколы.

В 1975 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР за трилогию «Пряслины» Федору Абрамову будет присуждена Государственная премии СССР.

Вместе с ним высокой наградой будут отмечены еще два писателя — Борис Васильев за сценарий фильма «А зори здесь тихие...» и Гавриил Троепольский за повесть для детей «Белый Бим Черное Ухо», посвященную Александру Твардовскому.

Как и полагается по таким случаям, скупая официальная информация о лауреатах пройдет в центральной партийной прессе. Ее же 14 ноября 1975 года опубликует «Литературная Россия».

Валентина Эйсуде 10 октября, словно чувствуя внутренний настрой Абрамова отностительно премии, признавалась ему в письме: «С большой радостью узнала, что „Пряслины“ выдвинуты на премию, узнала не из газет, а раньше. Может быть для Вас самого не так уж важно, получите Вы премию или нет, Вы свое сделали, но это важно для других, а почему — Вы сам знаете».

Абрамов действительно принял эту награду без показной радости, хотя первое время лауреатскую медаль на лацкан пиджака нет-нет да и прикалывал. Уже в первые дни после свершившегося лауреатства Федор Александрович в письме 28 ноября 1975 года Галине Яковлевне Симиной в ответ на поздравление последней писал: «Должен, однако, сказать, что хлопот с премией этой не оберешься. Знаете, например, что я сейчас делаю? Скрываюсь от людей — от корреспондентов, всяких делегатов и пр. Сижу дома взаперти, выхожу на улицу только в темноте, а Люся всем отвечает: нет дома. Срочно уехал в Архангельск».

Он по праву мог гордиться этой заслуженной, выстраданной им наградой, которая и в этот раз вполне могла пройти мимо его порога, ведь одновременно с ним на первое место претендовали не кто-нибудь, а Даниил Гранин со сборником «Прекрасная Ута» и Виктор Астафьев с трогательной автобиографической повестью «Последний поклон», противостоять которым при голосовании было весьма непросто. На этот счет в абрамовском дневнике есть такая запись: «24 октября 1975 года... Премию — дали... Самое удивительное: прошел единогласно. Но борьба была великая... Счастлив ли я? Не вышибло ли ум от радости? Нет. Довольно спокойно все принимаю, хотя премия — событие. Ведь это что же? Критическое направление в литературе утверждается... Ни единого шага не предпринял я, палец о палец не ударил, чтобы получить премию. Никого не просил, никому не звонил. И так держать впредь».

После того как в прессе прошла публикация постановления секретариата правления СП РСФСР о номинантах, в прессе началось бурное обсуждение представленных к соисканию произведений. «Пряслиным» досталось больше всего. «Певец советской деревни» Аллы Беляковой в «Вестнике агентства печати» 3 июля и «Эпос народной жизни» Евгения Сидорова в «Литературной России» 18 июля, многочисленные статьи в «Литературной газете» и «Вкус пекашинского хлеба» Игоря Дедкова в «Комсомольской правде» 5 сентября... «В ряду талантливых книг, составивших явление „деревенской прозы“, — будет значиться в статье Дедкова, — трилогия Федора Абрамова „Пряслины“ по праву может быть названа наиболее полным и последовательным художественным свидетельством о жизни и подвиге русской деревни в военные и послевоенные годы».

И вот парадокс: в печати не появилось не одной статьи с негативным отзывом о трилогии. Словно разом были забыты все грандиозные перипетии, связанные с романами «Две зимы и три лета» и «Пути-перепутья», которые, как ранее говорили, были сплошь наполнены «очернительством советской действительности».

По сути, это были полная реабилитация «Пряслиных» на высоком партийном уровне и полное торжество абрамовской правды в слове. Разумеется, сам Федор Александрович это хорошо понимал, но верил ли? Верил ли в то, что своим словом сумел побороть безропотное время застоя в чиновничьих умах, долгое время не желавших признавать правду о послевоенной деревне? Неужели ему простили все «заслуги»: «письмо 31-го» и чуть раньше единоличное письмо в защиту Солженицына, которого 12 февраля 1974 года арестовали, лишили гражданства и выслали из страны? Забыты два постановления ЦК партии по его творениям и много еще чего в его критическом направлении литературы? Вряд ли Абрамов мог на это ответить. К тому же это были годы решительной борьбы государства с инакомыслием — диссидентством, которое принудительное или добровольное — неважно — расцвело в стране махровым цветом. А Абрамов, чье произведение «Вокруг да около» издавала заграница от Европы до США? Про него словно забыли! И вот — Государственная премия. И не только!

Еще до получения премии Абрамову в октябре 1975 года поступит предложение возглавить Ленинградское отделение Союза писателей, на что он ответит отказом. Чиновничество было не его стезей. Тогда-то он и запишет в своем дневнике: «Все сразу: секретарь СП РСФСР, секретарь СП СССР, член обкома, делегат 25-го съезда... издания во всех республиках, неограниченные поездки за границу, по стране. И цена за все это — возглавить ленинградских письменников. Подкуп это?»

Справедливости ради надо сказать, что в этот год 6 июня решением Госиздата РСФСР Федор Александрович был представлен на соискание еще одной литературной премии — Государственной премии РСФСР им А. М. Горького.

Можно предположить, что это было сделано для определенной подстраховки, возможно, дуближа на случай промаха с Госпремией СССР. Так, к примеру, произошло с «Последним поклоном» Астафьева, который в этом году в числе других произведений писателя все же был отмечен Горьковской премией.

Спустя несколько месяцев после получения Федором Александровичем премии Вера Бабиц, поздравляя писателя с заслуженной наградой, 3 апреля 1976 года напишет: «Я воздвигаю в своем сердце памятник людям твоих книг, в которых живешь ты и для которых ты родился, чтобы нести им ответную любовь твою. Книги твои, как музыка — их принимаешь сердцем, сердцем оцениваешь».

И как хорошо, что эту самую музыку абрамовской прозы наконец-то услышали там, в верхах, в октябре 1975 года.

Сергей ДОМОРОЩЕНОВ

КАК НУЖНА НАМ «ПРЕХОДЯЩАЯ» ЛИТЕРАТУРА!..

Большой русский писатель, выдающийся знаток деревни своего времени Ф. А. Абрамов (29 февраля 1920 — 14 мая 1983) свой путь как писатель начал в журнале «Нева».

В июне 1941 года студент филологического факультета Ленинградского государственного университета Федор Абрамов участвовал в строительстве оборонительных рубежей на Карельском перешейке — вместе с сокурсниками рыл противотанковые рвы. Через много лет в рассказе «Потомок Джима» сказал о том, что представляла собой та работа: надо было с утра до ночи рыть лопатой раскаленный песок, долбить ломом «заклекую, ставшую каменной в то лето глину», «надрывать над стопудовой тачкой».

Недавний деревенский житель, уроженец северной деревни Веркола, что на Архангелогородчине, на реке Пинеге, Абрамов спокойно взялся за орудия труда. Запросто таскал носилки и тачку с песком. И думал: «Разве косьбу ручную с этим сравнишь или лесоповал — летом в жару. На оводах. Несчастные горожане...» Непривычные к нелегкой физической работе, они взвыли уже в первый день. Один из них к полудню уполз в кусты. Абрамову как старшему — кого ж еще было назначать старшим? — пришлось отчитать неумеху: «Видите ли, песок ему в туфли попал! Голову он нажарил!.. Кто за тебя врагу отпор давать будет?!.»

У одних уже мозоли, у других — волдыри... Но постепенно все приноровились к необходимому труду.

По возвращении в Ленинград Федор записывается в народное ополчение и ищет профессора Марию Александровну Соколову, чтобы досрочно сдать ей экзамен по русскому языку. Дома ее не было. Он узнал, что Соколову можно найти по адресу профессора Валентины Александровны Приходько. Студент не отступал от секретаря деканата: «Дайте мне адрес Приходько! Я не хочу иметь „хвост“!» Экзамен Абрамов сдал, как всегда, на отлично и, как говорил позднее, «с чистым матрикулом поехал в казарму».

Не хотели иметь «хвостов» и другие студенты. Многие были уверены: «малой кровью, могучим ударом», как в песне Лебедева-Кумача и братьев Покрасс, разделяемся

Сергей Николаевич Доморощенов родился в 1952 году в Архангельске. В 1975 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Член Союза журналистов России. Член Союза писателей России. Автор десятка книг очерков, интервью, рассказов, среди них — «Неоконченный спор», «Разбитое зеркало», «Свеча Николаю Угоднику», «Я немножко тоже Русь». Живет в Архангельске.

с немцами и вернемся в аудитории продолжать образование. Торопились на фронт, торопились совершать подвиги, о которых мечталось перед войной. И не понимали, почему притихли, почему плачут пожилые люди...

В начале июля Федор Абрамов шагал в колонне, двигавшейся под пули и осколки. Шагали парни «необученные, необстрелянные, в новых непригнанных гимнастерках, в страшных солдатских башмаках», — из воспоминаний писателя. Ополченцы поражались: где же регулярные войска?!

Воевать Абрамову пришлось в университетском 277-м отдельном артиллерийско-пулеметном батальоне. (Грозное название не соответствовало действительности: пушек не было). На окраинах Старого Петергофа батальон разбили. Его остатки вышли в Новый Петергоф. Вскоре подразделение вновь укомплектовали, и снова — бои на окраинах Старого Петергофа. Три дня почти непрерывно. Абрамов — за пулеметом. 24 сентября ранен, поступил в Ижорский военно-морской госпиталь; почти два месяца лечится в связи со сквозным ранением левого предплечья с повреждением кости.

В одной из записных книжек Федора Александровича Абрамова — такой набросок о том, как герой его первого романа «Братья и сестры» Лукашин вспоминает первые месяцы войны: встретился с горсткой недавних студентов, спросил, как воевали. А так: почти без ружей, сосед «стоял под пулями и ждал, когда убьют товарища, с которым спал койка к койке три года. И они плакали... Где самолеты? Танки? Где командующие? Первый маршал Ворошилов поведет. На чужой территории? Страшное отрезвление... Что произошло со страной?»

С 18-го по 28 ноября 1941 года Абрамов снова участвовал в боях с немцами на том же Ленинградском фронте — рядовым 1-го ударного батальона 252-го стрелкового полка. Дивизия занимала позиции на левом фланге Пулковского оборонительного рубежа в районе деревни Верхнее Кузьмино — река Кузьминка в связи с тем, что командованием Ленинградского фронта было принято решение активизировать боевые действия со стороны блокадного города, чтобы сковать немцев, части которых фашистское руководство хотело перебросить под Москву.

В 1976 году, общаясь с читателями на своем авторском вечере в Доме писателей имени Маяковского, Федор Александрович сказал о Николае Андрияновиче Комарове, прототипе одного из главных своих героев — секретаре райкома компартии Подрезова: «Крутой, сильный, пять суток мог не спать, а я на фронте в снегу засыпал».

28 ноября 1941 года — ранение разрывной пулей обеих бедер с повреждением кости. Источники по-разному говорят о спасении Абрамова. Есть такой вариант: раненый почти дополз до своих — и потерял сознание. Солдат из похоронной команды принял его за мертвого; стоя над ним, достал фляжку с водой, стал пить, капля-две упали на лицо солдатика, и у него дрогнули веки... Не будь этих капель — не родился бы писатель Абрамов.

Затем — лечение в госпитале, размещенном на истфаке ЛГУ, там ему едва не ампутировали ногу; эвакуация на Большую землю в феврале 1942 года по ладожскому льду. Продолжение лечения в вологодских госпиталях, отпуск по ранению — работа учителем литературы в родной средней школе (село Карпогоры Архангельской области).

Федор Абрамов приезжал в Верколу, видел, как надрывались люди на колхозной работе, трудился рядом с ними. Рубил лес, «толок деревянное масло». Так называли жилицу, которую использовали в колхозах, разводя ее керосином, для смазки колес телег и кое-какой техники.

Веркольский колхоз «Лесоруб» поставлял фронту не только лес, хлеб и мясо, но от него шли и подарки к праздникам: масло, капуста; колхозники несли на приемный пункт сушеные грибы, сушеную картошку, чернику и прочее. А еще людям надо было платить сельхозналог.

Потом была учеба в Архангельском пулеметном училище, а с весны 1943 года и до «звонка» — служба в Смерше, в котором следователь Абрамов участвовал в радиоиграх с абвером.

Можно было стать военным писателем, ведь материала для произведений предостаточно. Но преподаватель кафедры советской литературы филологического факультета ЛГУ, кандидат наук Федор Абрамов урывками, но упорно писал о своих земляках, увиденных им в Верколе «во весь их богатырский рост» (его слова): в конце августа — начале сентября 1943 года он снова побывал на Пинежье — ему дали большой отпуск, на 18 дней, так как дорога парходом и на лошадях занимала много времени; он сопровождал домой брата Василия, который направлялся туда на костылях в долгосрочный отпуск после ранения.

Годы без отдыха (преподавателю, кандидату филологических наук и летом некогда было отдыхать), и вот наконец «Братья и сестры» вышли в 1958 году в сентябрьской книжке журнала «Нева» 75-тысячным тиражом. Затем роман появился отдельной книгой в Лениздате (1959 год, 15 тысяч экземпляров), в двенадцатом номере за 1959 год переиздан в «Роман-газете». Читателей автор приобрел много: тираж «Роман-газеты», самого массового литературного издания СССР, составил 500 тысяч экземпляров. «Выход в большую жизнь» — слова писателя — состоялся сразу.

«Нева» открыла читателю новое писательское имя. Как написала сотрудница «Невы» Антонина Емельяновна Масловская (сборник «Русский мир», 1994 год, книга вторая), главный редактор журнала Сергей Алексеевич Воронин «принял своего единомышленника горячо и восторженно».

Публикация этого детища придала Федору Абрамову уверенности в своих силах, и вскоре он оставил университет — перешел на «вольные хлеба».

Деревня периода Великой Отечественной войны была обойдена писателями — немало написали в своих романах Григорий Медынский («Марья») и Елизар Мальцев («От всего сердца»). Они же, как и другие авторы лакированной прозы, в то время, когда деревня едва сводила концы с концами, соревновались «между собой, кто легче и бездоказательнее изобразит переход колхоза от неполного благополучия к полному процветанию». Развитие коммунистической сознательности колхозников совершалось «с необычайной легкостью». Это цитаты из статьи еще критика Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», опубликованной в четвертом номере журнала «Новый мир» за 1954 год. Из-за этой статьи Абрамов был фигурантом проработочной кампании, направленной против «Нового мира». И была та кампания не последней для Федора Александровича. И снова в его судьбе будет журнал «Нева», главным редактором которого Сергей Алексеевич Воронин работал с 1957 года.

В «Братьях и сестрах» — новый материал в русской литературе советского времени. Многие читатели (в том числе будущий писатель Василий Белов) в судьбе героев первого романа Федора Абрамова увидели свою судьбу.

В библиотеках за журналом стояли в очередь. Прочитав «Братьев и сестер», люди говорили: «Да как этот писатель про нашу жизнь-то узнал? Кто ему про нашу корову-кормилицу-то рассказал?..»

Заведующая Веркольской библиотекой Е. В. Клопова в порядке очереди выдавала экземпляр тем, кто особо интересовался произведением. А «во время перерывов на разных работах (на сенокосе, на молотилке, на веянии зерна, сортировке, уборке урожая) я проводила беседы о романе с чтением отрывков, — вспоминала Евстолия Васильевна. — Эти беседы очень любили женщины: ведь это их труд, их жизнь, страдания военных лет записывал Федор Александрович. Как и у них, у героев романа было много горя, но много и героизма».

В советские годы на последней странице книг издательства предлагали читателям «отзывы и пожелания по оформлению и содержанию» произведения направлять по определенному адресу. В январе 1960 года Л. С. Третьяков, солдат срочной службы, прочитал «Братьев и сестер», испытал потрясение, взялся за письмо и отправил его для Абрамова в «Литературную газету». Вспоминая военное детство в селе Ломоносово Холмогорского района, написал очень ценные для писателя слова: «...все мои земляки могли бы подтвердить, что и Анфиса, и Миша Пряслин, и Варвара, Клевакин и даже Митенька Малышня — все они были в нашем селе, и все они, пожалуй, были в любой большой деревне».

Абрамов прочитал письмо «с большим удовольствием» и ответил адресату. Тот был потрясен снова. Абрамов стал его «духовным отцом на всю жизнь».

Разумеется, Абрамову были важны мнения и читателей, и критиков. 9 октября 1958 года в «Вечернем Ленинграде» выходит рецензия Ю. А. Андреева «Братья и сестры». (Юрий Андреевич первым откликнулся на роман в печати.) Он подчеркнул, что писатель рассказывает о невероятных лишениях, перенесенных жителями Пекашина, «однако у читателя не остается гнетущего, безотрадного чувства. Напротив, с самого начала роман воспринимается как повествование о мужественной и сильной душе русского человека, который не согнулся перед лицом безмерных страданий и победил».

24 октября 1958 года М. Тверской в ленинградской газете «Смена» — в рецензии под названием «В капле — море» — отозвался о «Братьях и сестрах» как о «талантливой книге, проникнутой чувством радостного удивления перед подвигом советских людей».

30 октября «Ленинградская правда» опубликовала рецензию «В тяжелую годину», автор которой А. Эльяшевич, высоко оценив роман, сказал о влиянии Шолохова на Абрамова: «От М. Шолохова у Ф. Абрамова и зримая пластичность в изображении человеческих характеров, и любовь к обрисовке тонких душевных переживаний, и умение оттенить чувства героев лирически проникновенным и взволнованным пейзажем. И внимание к языку и стилю, которое не так часто встречаешь в творчестве молодых писателей».

К большой удаче Абрамова отнесли роман и В. Чалмаев в статье «Сражающийся современник», опубликованной в журнале «Вопросы литературы» (№ 1 за 1959 год), Ю. Буртин в статье «О наших братьях и сестрах» («Новый мир», № 4 за 1959 год). Хвалебные слова в свой адрес прочитал Федор Александрович и со страниц журналов «Звезда» и «Знамя».

Читал Федор Абрамов и отзыв о романе, принадлежащий В. Литвинову («Литературная газета», 27 августа 1959 года):

«Написал Абрамов о войне по-своему, не похоже на кого-либо другого.

У нас много и хорошо писали о войне героической и о войне страшной, трагедийной. Были еще книги приключенческого плана, лирические, сатирические, юмористические... Однако на беллетристические страницы до сих пор как-то неохотно, с трудом ложилась та война, которую испытала на себе, скажем, тыловая деревня, далекая от передовой, от грохота снарядов, прожившая все четыре года жизнью суровой, в изнурительном труде, лишениях и потерях». Автор рецензии подчеркнул, что об этой деревне романист рассказал «остро, даже полемично. И очень правдиво».

Федор Абрамов воспел подвиг тружеников деревни военных лет. В частности, словами одного из своих героев, секретаря райкома компартии Новожилова: «Сколько человек в Пекашине на войну взято? Человек шестьдесят. А поля засеяны? Сеноуборка к концу? Да ведь это понимаешь что? Ну как если бы бабы заново шестьдесят мужиков родили...»

Воздали должное роману и при жизни Абрамова, и после нее.

«Братья и сестры» остаются лучшим романом о деревне Великой Отечественной войны. И вряд ли кто напишет не хуже: кто сравнится с Абрамовым в знании реалий того времени?..

Уже в 1958—1959 годах общий тираж «Братьев и сестер» составил 590 тысяч экземпляров. Неплохо. Тем не менее людям приходилось ждать, когда в библиотеку сдадут прочитанную книгу. Она стала народной.

Один из учеников Федора Александровича Абрамова — академик Российской академии наук Александр Михайлович Панченко. Он написал, что опорные пункты культурной аксиоматики его учителя — «не только верность действительности, но и художественный вымысел, а также установка на новизну («о чем никто не писал»), стремление не повторять других и себя». На эти пункты писатель Абрамов опирался с первых своих шагов в литературе.

28 октября 1962 года Федор Абрамов написал в Архангельск другу — литературному критику Шамилю Галимову:

«Лето у меня было безотрадным. Дела в колхозах все хуже и хуже — так какой же к черту отдых!

Сейчас я закончил новую очерковую повесть „Вокруг да около“. Всем нравится, и все в один голос говорят: не пропустит цензура. Думаю, что так и будет. А пока повесть запланирована в 1 номер „Невы“».

Скорее всего, и во время написания повести Абрамов был почти уверен, что работает «в стол». Но продолжал писать, так как считал, что сказать свое слово надо во весь голос. Для этого нужно было набираться мужества. Как набирался его и герой повести председатель колхоза Ананий Мысовский.

Повесть — критик Феликс Кузнецов скажет о ней, что написана «в жанре художественной публицистики» — все-таки вышла в первом номере журнала за 1963 год. Она стоила должности Сергею Воронину. А Федор Абрамов перестал быть членом редколлегии.

Какие мысли приводили Абрамова к «Вокруг да около»? Об этом — в его дневниковой записи от 14 октября 1958 года в связи с чтением романа Ф. И. Панферова «Раздумье»:

«В чем причина всех бед наших? Что поставило деревню на грань катастрофы? Панферов объясняет просто: в ЦК пробрались авантюристы, вроде Муратова, которые встали между ЦК и народом, а внизу насадили бездушных „статуев“ Гараниных и Ростовцевых... Война показала, что вести хозяйство так, как мы вели, нельзя. Война вскрыла глубочайшие противоречия и пороки в нашей жизни, в нашей системе управления. Но, к сожалению, после войны не были извлечены уроки из войны. Опьяненные победой, зазнавшиеся, мы решили, что наша система идеальная...

Сигнализировал ли народ о неблагополучии? Сигнализировал. Он перестал работать. Всероссийский саботаж. Беспрецедентная в истории многолетняя забастовка крестьян во всей стране».

Дабы отвлечь нежелательное внимание бдителей, в редакции «Невы» решили поместить «Вокруг да около» не в разделе прозы, а в разделе публицистики с подзаголовком «Очерк». Не помогло.

Абрамов полагал, что рукопись если и напечатают, то он опять попадет, как в 1954 году, под шквальный огонь «приводных ремней партии», «автоматчиков партии» — так называли газеты и журналы. Поэтому психологически готовился к «проработочной буре», по выражению друга, писателя Александра Яшина. «Буря», однако, заявила о себе не сразу. Да и вообще год начался для писателя удачно: очередная пу-

бликация за рубежом, в Бухаресте, — рассказ «Собачья гордость» в антологии современной советской литературы «При свете дня». (Рядом — произведения Э. Казакевича, К. Паустовского, Ю. Нагибина, В. Некрасова, Ю. Казакова, В. Пановой. Неплохая компания.) Лениздат порадовал сборником, в который вошли роман «Братья и сестры», повести «Безотцовщина», «Жила-была семужка», рассказы. К тому же теперь Абрамов — не просто прозаик, а председатель секции прозы (в ней больше ста человек) Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР.

Поначалу было даже два публичных положительных отклика на «Вокруг да около». Оба — в «Литературной газете». Первым высоко оценил абрамовскую работу публицист Георгий Радов статьей «Вся соль в позиции» в номере за 5 марта. (Немногим раньше, из номера на 28 февраля, в «Известиях», которые возглавлял зять Хрущева Алексей Аджубей, выкинули уже набранную положительную рецензию М. Хитрова. В «Литературке» наверняка знали об этом... Хитров примет предложение Твардовского и перейдет в «Новый мир».) Радов отметил «особенность некоторых сочинений на сельские темы, которые могут даже завлечь неискушенного читателя, казалось бы, откровеннейшей „правдой-маткой“. Но если бескрылая эта „правда-матка“ способна только разоружить бойца, то правдивый, мужественный очерк Абрамова вызывает другие чувства...

Вся соль в позиции! В глубокой вере писателя в то, что можно „расколдовать круг“. Всем строем повествования, ходом размышлений героя, наконец живописными, сочными образами крестьян писатель как бы говорит людям: вот они, я вижу их отчетливо, те наличные силы, опершись на которые можно поднять деревню».

«Нет, не об истории с сеном поведал нам Федор Абрамов. Как широкодушно, как по-доброму, хотя и не щадя их, рассказал он о людях села. Сколь мудры и, главное, сколь раскованны — времена не те! — их рассуждения о жизни, о совести, о поведении, о стиле руководства».

В «Литературке» за 26 марта критик В. Чалмаев в статье «Я есть народ...» написал, что главный герой повести Ананий Мысовский в труднейших условиях «сражается с нуждой и людской нерадивостью, разными причинами сформированной».

Обратим внимание на слово «нужда»: еще недавно литературные колхозы процветали или выходили на путь процветания. Большая роль в «ликвидации» таких колхозов принадлежит Абрамову как автору статьи «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе».

Времена отчасти оказались те же... Но пока — два слова о содержании небольшой повести.

Сена заготовлено мало — чем кормить долгой зимой коров?! Нет покоя Ананию Мысовскому, уже тринадцатому послевоенному председателю захудалого колхоза. А райком КПСС насаждает на коммуниста Мысовского: силосуй! Райкому сводка нужна красивая, чтобы перед «областью» отчитаться, — и неважно, что силос можно и в дождь взять... (Обычная практика тех лет.) Завтра, в воскресенье, на сенокос надо выходить, в ведрие-то, а колхозники не хотят: мол, что нам от этого воскресника — ни рыба ни мясо те десять процентов от заготовленного сена, которые положены для личного скота. А время уходит!.. Сколько погожих дней будет, как небесная канцелярия распорядится — кто же скажет?! И тогда председатель, в чайной под хмельком, рубит сплеча: обещает для личных подворий тридцать процентов от заготовленного. Народ узнает об этом, и — агитации никакой не надо (без «заседаний, ни крику, ни рыку»), высыпает на луга, спасает сено.

...Но приехал в деревню секретарь райкома, и Мысовский струхнул — опять будут ему голову мылить, да и крепко: «Антигосударственная практика! Поощрение частного сектора...» Однако раздумывает: «Кому это надо, чтобы сено пропало?» Вспомина-

ет перегибы тридцатого года, когда он, уполномоченный райкома, вместе с председателем сельсовета, малограмотным красным партизаном, за два дня перевернул глухую деревню (не эту, не Богатку, но картина была типичная). Может, потому и тяжело сейчас, что тогда было легко? Вспомнил Ананий Егорович и послевоенную продрозверстку, «когда из года в год, начисто, до зернышка выгребали колхозные амбары». И кукуруза чуть не под полярным кругом пришла на ум. И сказал себе Мысовский: «...будь же мужествен! Хоть раз. Хоть один раз, на пятьдесят пятом году!»

Ананий Егорович Мысовский выпрямился!

И чего бы такого уж особого в этой повести? Но это на нынешний взгляд. Прочитую еще раз Виктора Чалмаева: Мысовский так жаждет, «чтобы его крестьянин ожил, повеселел, воодушевился, расцвел в труде и счастье, так ненавистна ему мерзкая бесхозяйственность, что твердо веришь: такие люди изменят все согласно своим гуманистическим представлениям о бытии, достойном человека».

Главным редактором «Литературной газеты» с 1962-го по 1988 год работал Александр Борисович Чаковский, секретарь правления Союза писателей СССР. При нем тиражи «Литературки» стали миллионными.

У других критиков был иной взгляд на Мысовского. Далеко не все хотели видеть «те наличные силы», о которых писал Георгий Радов. А если видели, то молчали, боясь начальственных окриков на собраниях — о выступлении в печати и говорить было нечего: «не пушали». Но и с письмами было неважно: из коллег-архангелогородцев только один Шамиль Галимов высказался в поддержку Абрамова. Из коллег-северян поддержал еще Сергей Викулов, вологжанин, будущий главный редактор журнала «Наш современник». Викуловские строки (от 10 марта):

«Я первый в Вологде прочитал „Вокруг да около“... Первый заинтересовал этой замечательной вещью секретарей обкома — они еще переживали „Вологодскую свадьбу“, и было очень кстати „утешить“ их (вхож был глава вологодских писателей к партийным начальникам, находил с ними общий язык; благодаря Викулову и первому секретарю обкома Анатолию Дрыгину уроженка Архангельской области Ольга Фокина, которая была неприкаянной на родине после Литинститута, получила в Вологде жилье, там и обосновалась. — С. Д.). И, конечно, заставил бегать за журналом всех своих друзей и знакомых. Хотел сразу же написать Вам. Пожать Вашу руку бойца. Руку, которая не сфальшивила ни на одной ноте. Впрочем, рука тут ни при чем: сердце! Сердце чистое и честное. И хочется верить, что такие сердца есть и еще в нашей литературе!»

В том же письме Викулов прозорливо заметил, что повесть «сыграет свою, если хотите, историческую роль».

Ленинградский коллега Е. С. Добин подарил Абрамову свою книгу «Герой. Сюжет. Деталь» с дарственной надписью: «„Русскому праведнику“, благородному ревнителю святых традиций правды-истины и правды-справедливости — Федору Александровичу Абрамову — с великим уважением, сердечным и душевным расположением». Тем более приятно было Федору Александровичу читать эти строки (от 28 мая), что антиабрамовская кампания уже вовсю шла.

Впрочем, были добрые письма и от «простых» читателей. Люди отправляли письма в «Неву», архангельскую областную газету «Правда Севера», в обкомы КПСС. Оттуда их пересылали Абрамову. «...Я всегда отвечаю на письма», — скажет он в 1976 году на своем авторском вечере в Доме писателей имени Маяковского. (Позже писем будет так много, что Федор Александрович станет отвечать только на самые важные. Но встречаясь с читателями в той или иной аудитории, отвечал на все.)

Читатели называли Абрамова «настоящим гражданином», мысленно, как и Викулов, жали руку. Одна из читательниц поддерживала писателя и сочувствовала: «Если Вас не посадят, то хорошо...»

Схожие дни переживал Александр Яшин из-за повести «Вологодская свадьба». 10 июля 1963 года он писал Абрамову из родной деревни Блудново: «Здесь (мать и другие) считали, что меня уже посадили, и оплакивали меня, настолько нагло вели себя всякие газетчики и фотографы, приезжавшие сюда за организацией материала и „сбором сведений“. Родственников буквально допрашивали. У матери требовали даже сведения (почтовые квитанции) о том, часто ли и сколько я перевожу ей денег и перевожу ли вообще. И это какие-то говнюки, которые раньше не посмели бы зайти ко мне».

В больничной палате перед смертью Александр Яшин рассказал Федору Абрамову и литературоведу Александру Михайлову, что «один критик» хотел написать книгу о нем, переписывался с Яшиным, но после «Вологодской свадьбы», то есть после проработки Александра Степановича, потерял к нему интерес. Александр Алексеевич Михайлов воспринял эти слова Яшина как завещание и написал книгу о нем.

Как ни странно, «проработочную» кампанию против «дегтемаза» (в ходу было такое словечко) начала газета «Гатчинская правда». Почему-то кто-то решил пустить «пробный шар» из-под Ленинграда. В номере за 31 марта — статья Семена Бабаевского «Партийность — душа художественного творчества». Фамилий тех, на кого демагогически ополчился автор лакировочных произведений, нет, но намеки понятны. «Всегда легче очернять и отрицать, нежели созидать и утверждать новое». (О том же через много лет, в рыночное время, написал он и в своих мемуарах. Стойких взглядов был человек.) Абрамова опять вносили в проскрипционные списки.

6 апреля заведующий идеологическим отделом ЦК КПСС по сельскому хозяйству РСФСР (пусть читатель не удивляется — была такая должность как один из результатов хрущевских реформ), бывший слесарь и лесоруб, работавший в Архангельской области, Владимир Ильич Степаков докладывает в ЦК КПСС о «клеветническом, пасквильном характере» абрамовского очерка. Записка его, будущего редактора «Известий» (сменил Аджубея) и доктора исторических наук, убедительна и обстоятельна, на взгляд «больших мужиков». На нее и опирались затем секретари ЦК на своем заседании, проведенном 9 апреля (вряд ли они, вооруженные запиской, читали повесть Абрамова), где решительно заявили об ошибке журнала «Нева».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вот вам и хрущевская «оттепель»!..

О чем еще сказано Степаковым? «Все дело, оказывается, в том, чтобы потрафить частнособственническим инстинктам людей, их стяжательским наклонностям».

В дореволюционной деревне работа на помещика или кулака исполу, то есть за половину урожая, считалась крайней степенью эксплуатации. А тут тридцать процентов!..

Говоря о «стяжательских наклонностях», т. Степаков имел в виду Петуню-бульдозера, старика с больными ногами, который благодаря своей «луковой плантации» за полтора года дом перекрыл заново, новую баню построил, погреб и изгородь со столбовыми воротами сладил. И лук у него — «не чета колхозному: перо синее, сочное, разметалось по грядкам точно жирная осока, а луковицы до того крепкие да ядреные — будто репа».

То, что сделал Петуня Девятый, приговор таким колхозам, как «Новый путь».

Плевали на частную собственность наши лидеры, — ну и, как давно хорошо известно, доплевались.

(В послесловии к пятому тому, 1993 год, абрамовского шеститомника вдова и литературовед Л. В. Крутикова-Абрамова написала, что писатель был «убежденным сторонником частной собственности как гаранта свободы личности, он возмущался демагогией партocrats, которые сами, по существу, были явными собственниками.Государственные дачи, дворцы, которые в пожизненном владении. Что это — разве не частная собственность? Частная, только ни к чему не обязывающая“».)

«Написанный с позиций фрондерства, политически безответственного критиканства, очерк Ф. Абрамова встретил похвальные отзывы реакционной прессы капиталистических стран, а журнал „Уорлд“ (Англия) даже перепечатывает его на своих страницах.

Неправильную позицию заняла в отношении очерка „Литературная газета“, — это тоже из документа, подписанного Степаковым. Он же отметил, что „идейно-порочный очерк Ф. Абрамова не встретил осуждения со стороны Ленинградского промышленного и сельского обкомов партии, отделения Союза писателей“, и полагал бы „необходимым поручить Ленинградскому промышленному обкому КПСС обсудить вопрос об ошибке, допущенной журналом «Нева», и *принять необходимые меры, исключаящие появление в печати идейно неполноценных произведений* (курсив мой. — С. Д.); редакции газеты «Правда» выступить с критикой очерка Ф. Абрамова“».

Секретариат ЦК определил линию поведения партийных органов, руководителей писательских организаций, газет и журналов. В связи с этой линией «Советская Россия» — орган Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совмина РСФСР — 13 апреля опубликовала письмо агронома колхоза имени XVIII партсъезда Гатчинского района Ленинградской области В. Колосова «Действительно, вокруг да около»:

«Сейчас на дворе весна, весна великого обновления. В каждом селе — много солнца, много луж, встречаются, конечно, и мусорные кучи. И если мы будем ходить вокруг да около каждой из них, то и работать не станет времени, да и завтрашний день из-за них не увидишь. Мусорные кучи надо убирать, а не любоваться ими. Пусть этим занимаются залетные заморские хлюсты. И не к лицу советскому писателю уподобляться им».

Колосов (или тот, кто писал за него) сравнил Абрамова с забугорным туристом, который «в брюках дудочкой и беретике набекрень бродит по городу» и выискивает что-нибудь не то. Такой же турист для автора — и Александр Яшин.

Письмо Колосова стало как бы гласом народа, подтверждавшим правоту руководителей компартии. Об этой правоте заявил в Ленинграде на совещании идеологических работников парторганизаций Северо-Запада РСФСР главный редактор главной газеты страны «Правда» П. А. Сатюков. В «Новом мире» пришлось снять уже набранную статью И. Виноградова «Тридцать процентов». Федор Абрамов получит от автора положительной статьи гранки с цензурной правкой, прочитает о том, что очерк (у Виноградова повесть названа очерком) «останется как подлинное свидетельство о нашем времени, и именно такие вот, утверждающие правду жизни очерки, рассказы, романы, фильмы будут для людей будущих поколений тем главным источником, по которому они смогут представить нас, сегодняшних людей. С нашими сегодняшними заботами. А что до нашего времени, то — Бог ты мой! — как нужна нам сейчас именно такая вот „преходящая“ литература! Ведь без нее мы, сегодняшние люди, пожалуй, и „вечные“-то проблемы понимать по-настоящему не научимся».

11 апреля «Вечерний Ленинград» в статье без подписи «Творить для народа. Служить народу» позицию Абрамова назвал «озлобленной, клеветнической»; место такой публицистике — в «мусорной яме».

Долго пригвозждали писателя к «позорному столбу». Методично, гвоздь за гвоздем. Один ржавый, другой новехонький. И короткие, и длинные. Но около месяца Федор Александрович и Людмила Владимировна не читали о том, что писали о «Вокруг да около», — впервые находились за границей, на лечении в Карловых Варах. На пути в Чехословакию Абрамов зашел в «Новый мир». Познакомился с критиками В. Я. Лакшиным, И. И. Виноградовым. Повстречался с главным редактором А. Т. Твардовским. Александр Трифонович сказал, что его журнал не смог бы напечатать «Вокруг да около»: в Москве цензура бдила сильнее. Но вскоре Ленинград не будет отставать.

Федора Абрамова поносят на собраниях, бюро и пленумах Ленинградских сельского и промышленного обкомов, в газетах и журналах. Критических публикаций —

больше двадцати. О «Вокруг да около» читали в «Ленинградской правде», ленинградской «Смене», «Литературной России», «Известиях», той же «Литературной газете», журналах «Вопросы литературы», «Крестьянка», «Знамя». «Вечерний Ленинград» еще и полностью перепечатал «открытое письмо» веркольцев. В. Новиков, автор «Знамени», в сентябрьском номере обвинял Абрамова в том, что писатель не «изобразил активное участие масс в борьбе с недостатками», «не обличал гневно последствия культура личности» и т. д.

Целый год лупцуют писателя. Пишут разное: дескать, талантливый же человек, автор «Братьев и сестер», а унизил себя этим очерком; клевета на коллективные формы ведения хозяйства; не хватает глубокого партийного подхода; не надо нажимать на «пережитки проклятого прошлого» и прочее. Еще и не обо всех «критических стрелах» Абрамов знает. В декабре на семинаре молодых литераторов Архангельской области руководитель областной писательской организации внушал поэтам и прозаикам (подобное внушали творческой молодежи, видимо, по всей стране):

«Идет борьба двух идеологий. Ни на минуту нельзя забывать об этом. Буржуазная идеология все время ищет новые формы и методы борьбы с идеологией коммунистической. И если мы будем допускать политическую незрелость, если мы будем недостаточно подкованы идейно, то срывы неизбежны. Так неизбежны, как это случилось в свое время с талантливым поэтом Евтушенко, с прозаиком Абрамовым, скульптором Неизвестным, с некоторыми работниками кино и театра. Нельзя было не заметить, как идеология старого мира начала протягивать к нам отвратительные щупальца, оказывая свое влияние на некоторую небольшую часть молодежи, да и не только молодежи. Но мы под руководством Коммунистической партии вовремя отрубили эти щупальца и объявили непримиримую борьбу влиянию идей Запада».

И напутствие:

«Больше романтики, товарищи! Ведь в жизни она — на каждом шагу! Больше молодости в стихе и прозе, долой творческую дряхлость и рационалистское брюзжание».

Хорошо, что не слышал этих «идеологически выверенных» слов Абрамов, — его особенно задевала критика земляков. Как та, что содержится в так называемом открытом письме односельчан «К чему зовешь нас, земляк?», опубликованном в «Правде Севера» 11 июня 1963 года и перепечатанном затем «Вечерним Ленинградом» и «Известиями».

К слову сказать, наверняка было известно Абрамову разное мнение другого архангельского коллеги, опубликованное в «Правде Севера», об одной из работ северного художника Ивана Котова: «И. Котов встретил где-то бедного и неряшливо одетого, взлохмаченного крестьянина и, написав его портрет, назвал свое произведение „Колхозник“. К чему чуть ли не репинского бурлака называть колхозником?»

Федор Абрамов таких «бурлаков», в отличие от писателя-горожанина, видел. И знал, почему они неважно одеты. И больно за людей деревни было слышать ему пренебрежительное «колхозник»!.. На праздновании своего шестидесятилетия он сказал: «...мы, крестьянские дети (это всем известно, кто вышел из деревни), отравлены комплексом неполноценности на всю жизнь».

В июне 1963 года мне было десять лет, я жил в Архангельске. Может быть, как раз в день выхода в «Правде Севера» письма собрался погулять. Запомнилось, что мама посмотрела на меня и сказала: «Оделся как колхозник». Родившаяся в вологодской деревне и познавшая в детстве, в тридцатые годы, голод, матушка моя не относилась пренебрежительно к колхозникам: просто дело в том, что слово прочно вошло в обиход, им походя бросались. Да и ныне еще бросаются.

В конце 1963 года, прочитав статью Г. Ломидзе «Сила реализма» (четвертый сборник «Литература и современность», издательство «Художественная литература»), Федор Александрович опять горячился: «Надо же такое написать!» — увиденное Абра-

мовым «испуганными глазами и раздутое до непомерных размеров закрыло перед ним лучи солнца».

У Федора Александровича был свой взгляд на вещи, что обусловлено, в частности, его натурой человека горячего, страстного, нередко резкого и радикального в суждениях и оценках. Отчасти в повести краски сгущены, похоже — намеренно, чтобы за дело, зацепило написанное читателей, принимающих решения. И ведь зацепило же!..

В Государственном архиве Архангельской области я прочитал прелюбопытный документ — докладную записку от 6 ноября 1963 года («с анализом экономики отстающих колхозов» Пинежья) секретаря Пинежского райкома КПСС Амосова и председателя райисполкома Шехина в Архангельский обком КПСС и облисполком «в соответствии с запиской Н. С. Хрущева Президиуму ЦК КПСС (в ответ на повесть Ф. А. Абрамова „Вокруг да около“)».

Как ни относишься к советской власти, КПСС и лидеру страны эпохи «оттепели» Н. С. Хрущеву, факт поразительный: на публикацию повести неизвестного партийной верхушке писателя ответил главный человек в государстве!.. И ведь, выражаясь известным языком, меры были приняты.

Сам Хрущев вряд ли читал повесть — до того ли ему было? Да и не охотник он был до чтения. Но, предположим, полистал «Неву». И наткнулся на размышления председателя колхоза: «Ну-ко, вспомни, сколько глупостей — да что глупостей! — преступлений творилось на твоём веку. Может, ты забыл перегибы тридцатого? Легко сказать, перегибы... А продрозверстка после войны, когда из года в год начисто, до зернышка выгребали колхозные амбары? А то, что чуть не под самым Полярным кругом из года в год сеют кукурузу, а потом перепахивают под рожь? И ты все это понимал, да, да, понимал и делал, заставлял других».

Крякнул Хрущев: да, было все это, но я никого не заставлял кукурузу под полярным кругом сеять — на местах перестарались!..

Власть обиделась. Ее можно было понять: работай-работай, а какой-то Абрамов говорит, что в деревне дела плохи!.. Мы что, ничего в сельской жизни не понимаем и ничего не делаем?! (С любой властью подобное нередко происходит. Власти опаздывают, а их критики, бывает, торопятся, отсюда и конфликты.)

Но ведь отгорячилась власть и сказала начальникам на местах, что надо думать, как помочь отстающим колхозам. Получив такое задание, В. П. Амосов и М. З. Шехин признали бедственное положение своих колхозов и высказали соображение о передаче трех из них в подсобные хозяйства леспромхозов, где дела шли несравненно лучше колхозных. «...Рядом с колхозами „Стахановец“, имени Калинина и „Искра“ расположены лесозаготовительные предприятия — Сосновский, Лавельский и Карпогорский леспромхозы, где условия труда, жизни, быта и заработная плата в несколько раз выше, чем в колхозах, и не случайно многие колхозники ушли из колхозов, работают в этих предприятиях, имеют собственные дома на территориях колхозов, проживают в них, но вернуться в колхозы не желают».

Пинежские руководители также подчеркнули: «...основная часть, причем самая полноценная рабочая сила из числа бывших колхозников, сейчас работает в лесозаготовительных предприятиях, а оставшаяся часть колхозников физически не в состоянии справляться с объемом работ и поднять экономические показатели колхозов, т. к. на одного трудоспособного колхозника приходится пахотных земель от 3 и выше гектар, свыше 6 га сенокосов».

К пинежанам прислушались: некоторые колхозы были переданы леспромхозам.

Получается, что веркольский колхоз был еще ничего, если предложения районных руководителей не коснулись его. Но в своем «открытом письме» Абрамову односельчане «написали» (их собрали в клубе и сказали, что очень надо поставить подписи) так:

«Колхоз наш, конечно, отстающий, один из экономически слабых на Пинежье. Но даже и в нашем хозяйстве есть кое-какие сдвиги, которые говорят сами за себя».

Но они же весьма скромные:

«Даже в нашем, экономически слабом хозяйстве шесть престарелых колхозников получают пенсии. Несколько лет у нас уже установлена оплата по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Каждый добросовестный колхозник имеет право получить трудовой отпуск на 12 рабочих дней или компенсацию за него».

«К великому сожалению, Вы не видите и роли коммунистов в деревне. ...А ведь у нас коммунисты трудятся примерно. Возьмем Лидию Семеновну Рогалеву. Это — наш маяк. По 2448 килограммов молока надоила она в прошлом году от каждой коровы своей группы, добилась роста продуктивности против предыдущего года на 227 килограммов. Лидия Семеновна превысила среднеколхозный показатель более чем на тысячу килограммов».

Таких ли сдвигов хотелось видеть — не только в Верколе, разумеется, — Абрамову?! 2448 килограммов молока, при всем уважении к доярке, это разве хороший показатель? А среднеколхозный, около 1400, — слезы же... Впрочем, в деревне, хлебавшей лиха и во время индустриализации, и во время Великой Отечественной войны, перемены все же были. О том и написал собственный корреспондент «Правды Севера» по Пинежскому и Лешуконскому районам Валентин Земцовский, а односельчане, которым привезли «из района» текст письма, «подмахнули» его.

«Только за три последних года 49 семей у нас отпраздновали новоселье, причем колхозники вошли в 31 новый и перестроенный дом. ...Семидесятилетней Пелагее Васильевне Абрамовой, не имеющей никого из кормильцев, колхоз три года назад построил избу, назначил пенсию и выдает 15 литров молока в месяц бесплатно. Разве могла бы Пелагея Васильевна рассчитывать на это, не будь колхоза!»

49 семей справили новоселье... А во второй главе романа «Дом» (впервые опубликован в 1978 году) сказано, что «Пекашино изрядно обновилось за последние годы. Домов новых наворотили за полсотню». Здесь действие происходит в самом начале семидесятых годов. О времени семидесятых люди, особенно деревенские, будут говорить, что они «пожили при коммунизме». Значит, так ли плохо было лет десять назад?.. Повторю банальное, но многими выстраданное: не наделай советская власть глупостей (с подавлением «частнособственнических инстинктов», излишне жесткой борьбой с диссидентами), она, возможно, устояла бы, и не знать бы нам периода дичайшего накопления капитала.

К слову, в Верколе был случай, когда председатель хозяйства решил на выдачу колхозникам тридцати процентов заготовленных кормов.

Подчеркну: 49 семей отпраздновали в начале шестидесятых новоселье за три года; в первые горбачевские годы прокатился по селу строительный бум, тогда тоже много людей погуляло на новосельях, а потом? Да ничего похожего, увы.

Не первым ли в советской литературе написал Абрамов о том, что, лишив колхозника паспорта, государство превратило его в крепостного? Второе крепостное право существовало на Руси... И горько было писателю от того, что он заступался за крестьянина, а его же крестьянин и ругал печатно.

Но от верных читателей получил Федор Абрамов больше 50 писем в поддержку смелой повести. Ему говорили, что все селяне, многие писатели, многие чиновники знали, видели, что каждую осень уходили по снег луга, не убранные до конца, а колхозникам для своих коровок и по закрайкам, и на неудобьях косить не разрешалось, что не положено было в колхозах самим решать, когда, в какую погоду какой корм заготавливать, но об этом, и не только об этом решил сказать только он, Абрамов, народный заступник...

На мой взгляд, по-своему убедительно (но и с перехлестом) написал Земцовский внушительное по размеру письмо — на четыре колонки, от верха и почти до самого низа полосы прежнего, больше нынешнего формата почти всех газет.

Больше всего задевали писателя в письме две вещи: то, что не приняли его желания помочь, и несколько завуалированное обвинение в незнании деревни. И ладно бы только в «Правде Севера» письмо напечатали, так и «Известия» перепечатали его в номере за 2 июля, выпустив, к примеру, слова о том, что «шесть престарелых колхозников получают пенсии». Пенсии были колхозными, дать их смог колхоз только шести человекам.

Еще цитата из письма «К чему зовешь...»:

«И особое возражение у нас возникает, когда читаешь, как Вы обрисовываете женщин. Все они в очерке какие-то тупые, забытые, униженные».

Это совсем зря: и молоденькие девушки-доярки хорошо написаны, и «пережиток» Тихоновна (таким старухам, как она, памятник бы поставить — слова главного героя), и распутница Клавдия Нехорошкова, которая «любую мужскую работу делает не хуже мужика, а при крайней нужде даже на трактор сядет» — она «высокая, величественная». А что до ее, незаменимого бригадира, «закидонов» по части мужиков и спиртного, так ведь она из тех женщин, счастье которых украдено войной. К тому же литература не должна быть «бесполой», как втолковывал Абрамов одному из своих адресатов. При других жизненных обстоятельствах «ходить бы ей в героинях», как написали Абрамову супруги Семеновы из Киева.

Читатель И. Г. Чуркин из Пятигорска (город Бабаевского) написал в редакцию «Невы»: «Я знаю, что произведение Абрамова „Вокруг да около“ подвергнется критике... но от этого оно не потеряет своей ценности».

Игорь Золотусский скажет, что «никто, пожалуй, со времен Некрасова не писал так о русской крестьянке, как Абрамов. Никто так не понимал женского сердца, надорванного на работе, на долготерпении. Никто так не желал, чтобы страдания этого сердца были вознаграждены».

Но повторяю, на мой взгляд, по-своему были правы и Абрамов, и журналист с подписантами.

21 человек подписали письмо. Сколько из них брали в руки журнал? Бог весть. Но письмо-то, подготовленное Земцовским, прочитали (или им прочитали) — и почему бы было не согласиться с содержанием? Ведь не страх же заставил их ставить подпись: 1963 год — не арестуют, на Колыму не отправят за отказ! Хотя если не страх, так боязнь все же сидела в людях. Поэтому и «забыли» о том, что в Верколе был случай, когда председатель хозяйства решил на выдачу колхозникам тридцати процентов заготовленных кормов.

14 июня 1963 года, не имея возможности отступить от практики директивного руководства литературным процессом, руководители Ленинградского отделения Союза писателей провели в Белом зале Дома писателей имени Маяковского обсуждение повести на собрании литераторов. Федор Абрамов еще не читал письмо земляков, опубликованное тремя днями раньше. Будь иначе, с еще более тяжелым сердцем шел бы на собрание, от которого ничего хорошего ждать не приходилось.

В изложении Л. В. Крутиковой-Абрамовой выступления мужа на том собрании, Федор Александрович отстаивал свою правоту, поскольку писал повесть «не в порядке кабинетного сочинительства. И не с налету. И уж, конечно, не из желания оклеветать и очернить нашу деревню, как об этом писали, мягко выражаясь, торопливые газетчики». Но, дескать, пришлось Абрамову признать, что надо было сделать акцент на положительных тенденциях в жизни колхозной деревни.

Интересно, что литературный критик А. И. Рубашкин несколько по-другому вспомнил то собрание:

«...президиум не проявлял агрессивности. Велено указать — пожалуйста. Но не более того. Ведущий — или председательствующий — даже бросил спасательный круг:

— Но ведь вы же, Федор Александрович, не хотели, чтобы такое впечатление создалось о нашем селе, наших колхозниках и колхозницах?

Вот сейчас Федор Абрамов поддержит этот тон — и все будут довольны. Но что это? Не тот характер у Абрамова, непокорный, ершистый:

— Хотел — не хотел. Да я еще не всю правду сказал. Не поднялась деревня после войны».

3 июля на пленуме Ленинградского промышленного обкома КПСС (в повестке дня был вопрос «Итоги июньского Пленума ЦК КПСС и задачи Ленинградской областной промышленной партийной организации») выступила бригадир колхоза «Память Ильича» Гатчинского района, которая сослалась на организованную в клубе этого колхоза читательскую конференцию по «Вокруг да около»: там Абрамова «осудили», возмутились тем, что он «не знает народа». И почему опять Гатчина? Странно.

«Печальную славу» повести Абрамова отметил 5 июля на пленуме Ленинградского сельского обкома КПСС в своем докладе первый секретарь сельского обкома Г. И. Козлов. Писатель Павел Иванович Петунин сказал, что ленинградские писатели «сурово осудили Федора Абрамова, его творческие просчеты». Может быть, фронтовик Петунин словом «сурово» прикрывал Абрамова от лишних нападок?..

Любопытно, что 7 июля в лондонской «The Sunday Times» напечатана рецензия на лондонское издание перевода «Хитрецов» (так называли в Англии «Вокруг да около») с таким, в частности, пассажем: «Когда американские писатели добираются до фермы, они отыскивают там похоть и расовую ненависть, инцест и лунный свет; г-н Абрамов менее сенсационен: он обнаруживает неэффективность».

Как рассказал мне друг Федора Абрамова Дмитрий Клопов (самодеятельный художник, «пинежский Пиромани», как называл его писатель), сначала письмо привезли в лесопункт. «Когда в лесопункте собрание проводили по „Вокруг да около“, мы ведь все из клуба ушли, никто письмо против Абрамова не подписал».

Прямо по марксизму: рабочий класс посмелее крестьянства.

Журналист «Правды Севера» Нина Орлова в октябре 1975 года приехала в Верколу, чтобы собрать отклики жителей деревни о трилогии Абрамова «Братья и сестры» в связи с выдвижением ее автора на Государственную премию СССР. Узнала, что в 1963 году не все из веркольцев, кому предлагали подписать письмо, подмахнули его. «Но и они, в разговоре чувствовалось это, несли в себе общую вину».

После смерти Федора Александровича постепенно сочинялся миф о том, как все односельчане со временем полюбили своего ставшего знаменитым земляка. Миф этот развенчивал тот же Д. М. Клопов. От Дмитрия Михайловича я услышал: «Нас обоих не любили. „Вон идут писатель с художником“, и ворота на защелку: вдруг что-нибудь напишут. Страшно было, как правда-то не нравилась...»

Впрочем, тут дело еще и во взаимоотношениях автора и его прототипов. Земляки обижались на писателя, увидев в героях его произведений что-то свое: из биографии ли, из характера ли. Однако это уже, как говорится, другая история.

И в том еще дело, что по разным причинам боялись люди сказать правду: не от райкома КПСС, так от бригадира достанется...

После смерти Абрамова Игорь Золотусский общался в Верколе с одной из женщин, поставившей свою подпись под письмом. Она плакала, вспоминая тот день, когда услышала, что требуется сделать это.

В 1965 году Федор Абрамов в качестве делегата участвовал в работе II съезда писателей РСФСР. Был готов сказать о том, что он «против эпистолярных сочинений от имени земляков, которые при первой же встрече с тобой решительно отмежевываются от подобного рода литературы».

Слово Абрамову тогда не дали — его время выступать на писательских сборах еще не пришло.

...А бедного Земцовского — не называя фамилии — долго вспоминали худым несправедливым словом. Особенно уместным показалось это в «эпоху гласности», когда искали «врагов перестройки». Похоже, что после 1963 года никто и не читал «паквиль» — письмо земляков.

Понятно, что отношения Абрамова и Земцовского были, мягко говоря, непростыми. Но я слышал, что Валентин Павлович захаживал в Ленинграде к супругам. Вроде даже и ночевать у них случалось. Однако настороженность Федора Александровича к этому земляку не проходила. На вопрос Земцовского «Как настроение?» Абрамов с подтекстом отвечал: «Советское. Советское».

За границей отдавали должное мужеству Ф. А. Абрамова, написавшего горчайшую правду. Повесть его возвеличивали, что, конечно же, имело политическую окраску.

Весной «Вокруг да около» напечатали сначала в Великобритании — это фототипическое воспроизведение журнальной публикации. А потом повесть и рецензии на нее вышли — в 1963–1964 годах — в Федеративной Республике Германии, Соединенных Штатах Америки, Австрии, Франции. Федора Абрамова сравнивали с Борисом Пастернаком и Александром Солженицыным, отдавали предпочтение «Вокруг да около», так как в «Докторе Живаго» и «Одном дне Ивана Денисовича» речь о прошлом, а у Абрамова — о настоящем времени.

Лондонский издатель А. Флегон «горячо поздравил» Федора Александровича с «колоссальным успехом» книги. В письме от 8 июля 1963 года сообщил, что в воскресной газете «Обсервер» назвали Абрамова «первым, после Тургенева, русским писателем, который сумел привести в советскую литературу русских живых крестьян». Флегон отправит Абрамову вырезки из газет (рецензии) и книги с «Вокруг да около». Он также писал:

«Со всех концов мира приходят письма с просьбой продать права на переводы на все языки мира. Что делать? Надеюсь, что Вам дадут разрешение приехать в Англию и решить все эти вопросы». Разрешение не дали.

Не получил Абрамов ни гонорар, ни зарубежные издания «Вокруг да около».

В предисловии к повести, изданной в ФРГ «Посевом», говорится, что пока существует эта «рабовладельческая» советская власть, она «обрекает сельское хозяйство на мертвый застой, а крестьян — на беспросветную нужду».

«...За границей по-прежнему шумиха», — 2 августа написал Ф. А. Абрамов «новомирцу» В. Я. Лакшину.

С одной стороны, самолюбие Абрамова тешили публикации за границей; с другой — он понимал их значение.

Те зарубежные публикации и подтолкнули высокое начальство к принятию мер — в частности, к открытому письму земляков. Повторю, оно опубликовано в «Правде Севера» 11 июня. А 18 июня в Москве открылся пленум ЦК КПСС, на котором секретарь ЦК Л. Ф. Ильичев в своем пространном докладе «Очередные задачи идеологической работы партии» (пять страниц в «Правде Севера») сказал:

«И в литературе, и в кино, и на подмостках театров одно время стали мелькать жалкие, духовно нищие люди, персонажи с ограниченным кругозором, примитив-

ными чувствами и переживаниями. Но нужно ли проходить мимо произведений, односторонне, тенденциозно изображающих нашу жизнь, мимо произведений, в которых сочно описывается маленькая «правдочка», но игнорируется большая правда? Может быть, следовало бы назвать некоторые произведения, напечатанные в толстых журналах — «Новом мире», «Неве», «Юности» и других, — встреченные советской общественностью с неодобрением. Но пусть сами авторы и редакторы скажут, что они думают по этому поводу».

Обычная для того времени ремарка: «Доклад товарища Ильичева был выслушан с большим вниманием и неоднократно прерывался аплодисментами».

Похоже, публикация «открытого письма» веркольцев была инспирирована Москвой; докладчик уже знал, что земляки спрашивали писателя, к чему он их зовет.

Выступил на том пленуме и первый секретарь Ленинградского промышленного обкома партии Г. И. Попов, назвавший повесть Абрамова «вывертом», а публикацию ее в журнале — «серьезным промахом редакции».

Первый подраздел в докладе Ильичева назван так: «Великое десятилетие в жизни Советской страны». Критик Ю. Г. Буртин в связи с этим — о хрущевском политическом курсе и культе личности Н. С. Хрущева — заметит: «Как и прежний, сталинский, этот новый культ базировался на всяческом преувеличении успехов, достигнутых страной под руководством нового лидера, и замалчивании всего, что не могло служить его славе. ...То, что под покровом этого безудержного славословия и пресмыкательства коллеги по „коллективному руководству“ точили нож на неудобного им владыку, не делало их более терпимыми к критическим голосам „снизу“; напротив, они демонстрировали особое рвение в заглушении таких голосов».

Шумиха за рубежом продолжалась и после 1963 года. Как было не издавать там Абрамова и писать рецензии, если у него сказано, к примеру, что сын старушки Авдотьи Моисеевны «пропал за слова». То есть в годы политических репрессий сказал неосторожно о советских порядках — и не стало человека.

Приехавший из райцентра в Богатку поднимать колхоз недавний районщик Мысовский увидел однажды утром, как одинокая Авдотья Моисеевна побиралась в деревне: «Открылось окно, высунулась рука с куском хлеба. Старушонка перекрестилась, положила милостыню в коробку и поковыляла дальше».

Мысовский настоял на том, чтобы правление колхоза назначило Моисеевне пенсию: десять килограммов зерна на месяц и четыре воза дров на зиму; первую пенсию за все существование «Новой жизни».

Прочитали за рубежом также о том, что лет тридцать назад не было в Богатке пestyря и в помине. «Тут был околок — штук десять домов, плотно, почти впритык стоявших друг к другу». Лет тридцать назад — значит, во время коллективизации и раскулачивания. Так вот социализм строили!.. Или же вот такой кусок: редкий мастер «устраивать публичные балаганы» Игнат Поздеев снова наскокивает на лектора: «...что выгоднее сеять: березу или жито?» Лектору вопрос не ясен. Тогда Игнат «доподлинно выходит из себя. — Мать твою так... не ясен! Сходи в те же навины. Раньше мы с полей хлеб возили, а теперь дрова».

Еще два отрывка. Мысовский думает:

«Прямо какой-то заколдованный круг! Чтобы сделать полновесным трудодень, надо, чтобы работали люди, — какой же другой источник у колхоза? А чтобы работали люди, надо, чтобы был полновесный трудодень.

Где выход?

В райкоме говорят: плохо руководишь. Ослабил агитационно-воспитательную работу. А как агитировать нынешнего колхозника? Без рубля до него агитация не доходит».

Аж до самой горбачевской перестройки говорила «родная партия» о необходимости усилить агитационно-воспитательную работу. Договорилась!..

Разговор бригадира строителей Вороницына с председателем колхоза:

«...помнишь, я нынешней весной в город ездил? Помнишь? За запчастями?»

— Ну, помню.

— И ты еще мне колхозную справку выписал? На, мол, получи деньги по аккредитиву. Липовая это справка! Пришел я в сберкасса, сую эту самую справку в окошечко. А там кассирша, крашенная, вся с головы до ног завита. Фыркнула: „Это не документ личности“. Я туда-сюда, в облизполком. С этажа на этаж, из кабинета в кабинет — два дня доказывал, что я не жулик, а человек. ...Почему у меня нет паспорта? Не личность я, значит, да?»

Цензура в 1962 году в Ленинграде еще не зверствовала. И многое в повести Абрамова не вызвало у нее возражений, в том числе все приведенные здесь цитаты. А не понравилось, в частности, то, что козы названы были «сталинскими коровками», слово «сталинские» исчезло. Такое впечатление, что цензор убрал некоторые слова и несколько строк, как бы показав, что он поработал, не зря хлеб ест. То ли будет позже!.. В связи с этим — немного о нашем общении с автором «Летописи жизни и творчества Федора Абрамова» Г. Г. Мартыновым на тему цензуры.

В первой книге «Летописи...» Геннадия Георгиевича я прочитал: «В первой по времени отдельной публикации, посвященной А. Ф. Калининцеву, с умыслом или без такового, сказано: „На Пинежье Калининцев учительствовал около 30 лет, там и умер“, см.: Доморощенин С. Идеал учителя // Север (Мезень). 1984. 28 авг. № 115. С. 2».

Эти слова — «...с умыслом или без такового...» — меня, мягко говоря, озадачили. Я написал уважаемому человеку, что никакого умысла быть не могло, — просто в ту пору, работая в районной газете Архангельской области, я еще не знал о трагической судьбе учителя Федора Абрамова. Об этом и написал в Петербург. Г. Г. Мартынов ответил так:

«Сноска про Вас на С. 118 означает, что Вы-то сами изначально могли знать и написать, как именно окончилась жизнь Калининцева, но в 1984 году цензура еще вполне могла принудить Вас, или редакцию газеты (и таких случаев было более чем достаточно, в том числе и с Абрамовым!), изменить текст соответствующим образом».

Я удивился и ответил, что предварительной цензуры в районных газетах не было — цензоры «сидели» в Архангельске. Была нехилая брошюрка (она хранилась под ключом в редакторском сейфе) о том, что можно публиковать, что нельзя. К примеру, нельзя было писать, что рыболовецкий колхоз перевыполнил план по добыче рыбы. О том, что экипаж отдельного рыболовецкого судна потруился ударно и поднял рыбы на борт сверх плана — пожалуйста. А что все два (а у кого и три) траулера колхоза наловили мойвы и путассу больше запланированного — ни-ни.

Или: нельзя было ни одного слова сказать о космодроме «Плесецк» — как будто супостаты о нем не знали!..

И райком КПСС, идеологический цензор, не вмешивался в подготовку номеров газеты. Другое дело, если редакция нарушила цензурные запреты или в райкоме что-то не понравилось в журналистских публикациях, — тогда не сладко редактору...

В свою очередь удивился Г. Г. Мартынов и написал:

«Как Вам хорошо жилось в Мезени! Я-то рассуждаю о цензуре с позиций собственного опыта, приобретенного в начальниках производственного отдела Ленинградского отделения издательства „Советский писатель“. Шагу нельзя было ступить, предварительно не согласовав! Но это в Ленинграде свирепствовали, в Москве было легче. Поэтому сам Абрамов в Ленинграде мало публиковался, в основном в Москве».

Цензура ужесточила требования к писательским произведениям: из «Невы» стали убирать их одно за другим. Среди них — стихи Александра Яшина (из апрельского номера): «Трудно живу, Молча живу, Молчу до ожесточения...» Леноблгорлит (цензура) из того же номера выкинула стихи Вадима Шефнера, рассказы Сергея Воронина.

Времена менялись, отчасти и под воздействием писателей-«деревенщиков», таких, как Федор Александрович Абрамов. Власти страны приняли решения о приусадебных участках, о повышении материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства, о развитии сельского хозяйства в Архангельской области (та же передача отстающих колхозов леспромхозам).

Через полтора года после выхода повести — 15 июля 1964 года — появился Закон СССР «О пенсиях и пособиях членам колхозов». То есть устанавливалась государственная система социального обеспечения колхозников. Женщины — члены колхозов — получили право на пособие по беременности и родам. Позднее состоялась и паспортизация сельского населения СССР.

Моя бабушка Мария Федоровна Доморощенина, бывшая колхозница Каргопольского района Архангельской области, потерявшая во время Великой Отечественной войны трех сыновей, переехавшая в Архангельск после смерти мужа и продажи дома, получала сначала государственную пенсию в 12 рублей. Через некоторое время прибавили ей четыре рубля. Почтальон приносила ей эти 16 рублей (может быть, приблизительно 1600 рублей по-нынешнему), я получал от бабушки рубль. На другой день она ехала на трамвае — билеты туда и обратно стоили шесть копеек — в церковь, ставила свечечки за упокой души мужа Тимофея Гавриловича, поминала погибших на Великой Отечественной сыночков Мишеньку, Степушку, Егорушку, оплакивала свою деревеньку Давыдово, погибшую, как и абрамовская Мамониша. Для Давыдова не нашелся свой Геха-маз, о котором я еще скажу. («Мамониша» — последняя из законченных повестей Федора Абрамова. Опубликовано в «Неве».)

Марию Федоровну Доморощенину советская власть не «охватила» почему-то грамотой — рубль она вручала мне за то, что я расписывался в получении пенсии. Впрочем, не только за это.

Несовременная бабушка не интересовалась политикой. Почти абсолютно. На мой вопрос, кто такой Ленин, ответила своим вопросом: «Это тот, который больше всех народу убил?»

Если считать народные жертвы, понесенные в результате Октябрьской революции, то по сути бабушка была права. Впрочем, перед Октябрьской была безумная Февральская, но это уже совсем другая тема.

Федор Абрамов — о том же, в 1970 году: «Только азиатская страна может позволить себе такую роскошь, как гражданская война».

В 1970 году, окончив в Архангельске среднюю школу, я поступил на факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Стипендия у первокурсников была — 30 рублей. Через год добавили пятерку. О студентах власть побольше заботилась, чем о колхозниках, вынесших на своих плечах все тяготы жизни в тылу в 1941—1945 годах и в послевоенное по-своему такое же тяжелое время.

Абрамов университетской жизнью интересовался, о студенческих стипендиях знал. И еще больше жалел и любил старух, тех «пережитков», тех прототипов Тихоновны из его «Вокруг да около», которым он, как и его герой Мысовский, памятник бы поставил.

...До публикации письма земляков, 3 июня, заседало партбюро, которое вынесло Абрамову выговор «за отказ признать правильность оценки обкомом КПСС очерка».

В 1963 году Федор Абрамов и его повесть стали явлением не только литературной, но — в первую очередь — общественной и политической жизни страны.

Об Абрамове можно прочесть, что он был бесстрашен в поисках истины. Если с этим мнением согласиться полностью, то таким писателем стал с «Вокруг да около». Если в статье 1954 года «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» он еще записывал ритуальные фразы, то в повести их уже не было.

В сентябре 1963 года упомянутый партработник Степаков познакомил со своей позицией читателей журнала «Коммунист». И земляки от Абрамова не отставали. 2 октября межрайонная газета «За коммунизм» опубликовала статью «Так говорит читатель» — о читательской конференции в Карпогорском Доме культуры, на которой повесть Федора Абрамова противопоставлялся сборник очерков журналиста «Правды Севера» Виктора Страхова «На лесной реке». Страхов, по мнению автора публикации В. Дементьевского, местного партийного работника, «сумел глубоко разобраться в сельской действительности, увидеть рост экономики, культуры, а главное — самих сельских тружеников».

«Энциклопедией нашего Пинежья» назвал работу Страхова один из читателей. «Энциклопедия» — в связи с тем, что две главы небольшой книжки называются «В местах царской ссылки и партизанской славы», «В век минувший и век нынешний». Современности посвящены главы «Это — наш лес» и «По полям и наволокам». В первой части сборника — о том, что увидел автор, пройдя по маршруту Михаила Пришвина.

«Писать правдиво, жизнеутверждающе» — название отчета Валентина Земцовского с той же конференции, опубликованного в «Правде Севера» 20 октября.

В Архангельской областной научной библиотеке я попросил книгу Страхова. Нашлось ее второе издание (1964 год), подготовленное автором с учетом пожеланий и замечаний, высказанных читателями на конференциях и в письмах.

«На лесной реке» — среднего уровня журналистская работа. Автор добросовестно описал то, что увидел на Пинеге. («И то, что вижу, и то, что слышу, пишу в блокнотик впечатлениям вдогонку; Когда состарюсь, издам книжонку» — Владимир Высоцкий.) Отчасти познавательно. Отчасти — смешно не только сегодня, но и с точки зрения ироничного читателя начала шестидесятых годов.

«Бассейн Пинеге с ее многочисленными притоками занимает территорию в сорок три тысячи квадратных километров. Это почти в полтора раза больше Бельгии и равно площади Дании. Вот он каков — Пинежский край!»

«Материальное положение ссыльных было тяжелым. Пособия интеллигентам казна выдавала по двенадцать рублей, а ссыльным из рабочих — по семь рублей в месяц». Кто-то из немногочисленных читателей этой книжки — сужу по контрольному листку сроков возврата — оставил на полях карандашную пометку: «Корова стоила 5 руб».

«В 1907 году несколько вооруженных ссыльных заставили Пинежскую городскую думу установить более низкие цены на товары. Дело дошло до такой „дерзости“, что председатель „исполнительного комитета ссыльных Мамулов силой заставил исправника выдать ссыльным деньги сверх положенного пособия. В магазине Володина была экспроприрована касса, в которой оказалось восемьсот рублей“».

«В. О. Ключевский чередование на Севере финских и русских названий объяснял тем, что на пространствах между старыми чудскими поселениями поселялись русские и давали новым деревням свои названия. ...Вызывает недоумение, почему многие лесные поселки на Пинеге, которые возникли в новых местах в советское время, получили нерусские названия: Кулосега, Шуйга, Ново-Лавела... Разве хуже звучит Сосновка — новый поселок выше Суры, или Красное — на Илеше!»

Страхов познакомился с председателем колхоза «Организатор»; в этом хозяйстве получали от коровы молока 2400 литров. Это считалось хорошим показателем. Но че-

рез пару лет дела в коллективном хозяйстве стали хуже. Журналист замечает: «Верится, что колхоз имени XXII съезда партии (колхоз к тому времени получил новое название. — С. Д.) вновь займет передовые позиции в решении задач, поставленных съездом. Так должно быть! Это дело чести председателя Кузнецова, дело чести всех колхозных коммунистов».

Земцовский не утаил от читателей, что, по мнению учительницы карпогорской средней школы Н. К. Орешниковой, «критика преувеличивает ошибки Федора Абрамова.

— Ведь почему бригадир-строитель Вороницын — главная опора председателя — запил? — задает она вопрос и отвечает: — Он встретился с несправедливостью. А почему мы охаиваем писателя за то, что он показал только отрицательных героев, темные стороны?

Однако все остальные выступавшие не согласились с Н. К. Орешниковой. Они присоединяются к критике последнего произведения Федора Абрамова, считают ее справедливой, очерк — идейно порочным. Они говорили, что видят основной его порок в передержке, искажении действительной картины жизни, смаковании недостатков».

К слову, Надежда Константиновна Орешникова станет директором кеврольской восьмилетней школы. На Пинежье она приехала по окончании филологического факультета Ленинградского государственного университета, выбрала этот край, потому что ей здесь понравилось, когда она студенткой ездила сюда в фольклорные экспедиции. Директорствовала в Кевроле долго. Здесь же вела литературу. Ученики очень ее любили.

Этот большой отчет Абрамов тоже читал. Но читал и другое. В частности, Александр Яшин написал ему, что перечитал «Вокруг да около» и считает повесть «высокоталантливым произведением», написанным «для пользы дела». И еще очень важные строки из яшинского письма: «Необходимо, чтобы Вы полностью осознали это сами, и, может быть, тогда Вам будет спокойнее переносить неприятности».

Александр Яковлевич Яшин помог Федору Александровичу Абрамову переносить «неприятности». Но в какой мере спокойнее — кто ж знает?..

Первый номер журнала «Нева» за 1963 год вышел тиражом в 180 000 экземпляров. Затем он поднялся до 200 000.

Постепенно тучи над головой Абрамова рассеивались. В 1967 году на IV съезде писателей СССР, в работе которого автор «Вокруг да около» не участвовал, секретарь правления союза Георгий Марков в докладе отозвался об Абрамове и его повести в положительном смысле. Позднее, в статье «Пинежский материк...», приуроченной к 60-летию Абрамова (публикация состоялась в «Литературной России»), В. Д. Оскоцкий отметил художественное достоинство «Вокруг да около».

В связи с 70-летием со дня рождения Ф. А. Абрамова Владимир Солоухин высказал в журнале «Москва» мнение о том, что «большой русский писатель Федор Абрамов начался не с повести „Безотцовщина“ или романа „Братья и сестры“, а именно с этого очерка», который был подобен грому среди ясного неба. Такое же мощное впечатление произвел на Солоухина роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым».

В 2013 году на телеэкран вышел сериал «Две зимы и три лета», снятый Тэмо Эсадзе. Этот режиссер так оценил повесть «Вокруг да около» (публикация в газете «Архангельск» от 19 марта 2015 года): «А что он такого сказал в „Вокруг да около“? Ну показал, что все жлобы, а мы этого не знали?»

Мог ли этот теледеятель хорошо экранизировать Абрамова?

На взгляд научного редактора «Летописи жизни и творчества Федора Абрамова» А. Г. Тимофеева, советская история — «сплошная череда трагедий и катастроф», советские годы — «долгая, почти беспросветная и бесперспективная жизнь... с ее кол-

лективизацией, войнами, тюрьмами и лагерями, бесконечной чередой полубезумных идеологических кампаний, работой на износ, без надлежащей оплаты изматывающего труда». А дореволюционная жизнь была «изобильной». С этим даже спорить не хочется: уже написано очень много работ, авторы которых убедительно считают такие воззрения, высказанные во вступлении ко второй книге «Летописи...», «полубезумными». Сошлюсь только на мнение Игоря Золотусского, который написал, что автор «Вокруг да около» Федор Александрович Абрамов «как истый государственный (а им он оставался до самой смерти), от всего сердца хотел помочь государству, подсобить ему в трудном деле сближения с народом, в понимании нужд тех, для кого оно существует. Он вовсе не покушался на строй, на систему, не желал ни бунта, ни революции, а хотел добра».

Не прошла ли мимо внимания г-на Тимофеева эта цитата из «Литературной газеты» («Тропа Федора Абрамова». 1990. 28 февраля)? Отсылаю его к странице 409 второй книги «Летописи...».

Защитник (жизни покажет, что Абрамов станет несгибаемым защитником) униженных и оскорбленных деревенских людей — вот что главное в этом писателе, а не то, что его печатали за рубежом и ставили рядом с Солженицыным, на чем акцентирует внимание читателей научный редактор.

Федор Абрамов за свою писательскую жизнь получил очень много читательских писем. В 1979 году Л. Ханбеков, который готовил рукопись книги об Абрамове, попросил писателя показать письма. Федор Александрович написал Леониду Васильевичу: «Должен огорчить, у меня правило: никаких публикаций читательских и иных писем при моей жизни! Единственное письмо, которое будет напечатано, — письмо А. Твардовского по поводу 1-го варианта „Двух зим“. Но оно печатается по воле Марии Илларионовны (жены Твардовского. — С. Д.), перечить которой я не в силах».

Благодаря Л. В. Крутиковой-Абрамовой и Г. Г. Мартынову читатели знакомы с самыми интересными письмами, в том числе с теми, что написаны по поводу «Вокруг да около». Опубликованы они во втором томе «Летописи жизни и творчества Федора Абрамова».

В девятом номере 1980 года — при главном редакторе Дмитрие Терентьевиче Хренкове — опубликована в «Неве» повесть «Мамониha». Как автор выражался, «это кусочек сегодняшней живой, а точнее полуживой России, Нечерноземья — так ведь ныне принято называть Россию».

Главные герои — Геха-маз, оставшийся на родной земле и выстроивший каменные хоромы, и Клавдий Иванович, неплохо устроившийся вдаль от дома при благах цивилизации. В критике разгорелся спор о повести, в основном о личности Гехи-маза. Одна точка зрения: Геха-хват, Геха такой-сякой. Другая позиция: благодаря таким оборотистым Гехам живут еще деревни и жить могут.

Тетка Клавдия Ивановича говорит племяннику, что Геха так зажил, что раскулаченные земляки — «голяки против его».

А как Геха, он же Геннадий Матвеевич («тип эпохи», «открытие Абрамова», по словам Игоря Золотусского), наживал свое добро?

Клавдий Иванович знает, что как только встал Геха на ноги, так и начал «гвоздить сверстников направо и налево: неси пирога, неси яиц, ежели жить хочешь. А с годами он и вовсе обнаглел — даже со старух подать взыскивал. Закатится это середь бела дня в избу, сядет к столу: „Екимовна, у тебя морковка ничего растет?“ — „Ничего чур быть“. — „Ну дак нынешней ночью ребята вытопчут“. — „Да пошто вытопчут-то? Што я им худого сделала?“ — „А уж не знаю чего. Только разговор такой был. А ежели не

хочешь, чтобы вытоптали, неси кринку молока. Я покараулю». И Екимовна — что делать — несла».

Этот Геха — предшественник тех, кто в «лихие девяностые» занимался «крышеванием» и рэкетом. Абрамов предвосхитил «героев нового времени».

Геха-маз говорит отпускнику, что такие, как он, Клавдий Иванович, довел Мамонику до ручки.

« — Я? Я Мамонику до ручки довел? Да я двадцать лет в Мамонихе не был!

— Во-во! Ты двадцать лет не был, да другой двадцать, да третий... Дак какая тут жизнь будет? Критиковать-то вы мастера... Ездит вашего брата — каждое лето. Ах-ох, то худо, это худо... Геха-маз Мамонику загубил... Да ежели хочешь знать, дак только на Гехе-мазе тут жизнь и держится».

Действительно, если не Геха, то кто старухам на зиму дров привезет? Замерзнут же!..

И тот же Геха, когда запропадали Клавдий Иванович, его жена и сын в доме, заливаемом дождями, вывез приезжих по худой дороге поближе к «большой дороге», поближе к теплому сортиру и водопроводу. Некому больше было и вывозить.

Один из поразительных кусков в повести — про Ивана Егоровича, у которого дом умер, и он сам умер... Приехал человек с женой в родную деревню, хвастал старухам, как хорошо живет (свой дом, свой сад, дети выучились, большие деньги зарабатывают), в Мамонихе-то жизни не видел; через две недели отправились восвояси, «вышли за деревню, Василий-то Егорович и говорит жене: „Марья, — говорит, я ведь, — говорит, — вьюшку в трубе не закрыл“. — „Ну и бог с ней, с вьюшкой-то, — говорит Марья. — Дом погибает, а ты о вьюшке думаешь“. — „Нет, — говорит, — надо закрыть вьюшку“. Убежал — полчаса нету, час нету. Марья не знает, что и думать. Пошла домой: где у меня мужик-то? А мужик-то у ей в избе висит».

Так кому ж костерок жизни в деревнях было поддерживать? И таким, как Геха-маз.

До сих пор по русским деревням умирают брошенные старики и старухи. Для многих не нашелся свой Геха-маз.

В первом номере «Невы» за 1981 год опубликованы замечательные абрамовские рассказы «Бабилей», «Валенки», «Золотые руки», «Когда делаешь по совести», «Бревенчатые мавзолеи» и другие. В «Мавзолеях» герой-автор, глядя на алмазное мерцание звезд, вспоминает притчу о том, что «после смерти людей души их поселяются на звездах, каждая душа на особой звезде.

Но, боже, как холодно, как одиноко и тоскливо на этих звездах... И почему бы душам погибших на войне из этой деревни не поселиться в собственных домах, за которые они отдали жизнь?»

Дома эти, бревенчатые мавзолеи, — в погибшей деревне на Новгородчине и по всей России...

В четвертом номере того же года — очерк «От этих весей Русь пошла...», написанный в соавторстве с Антонином Чистяковым.

...В мае 1975 года ленинградский поэт с новгородскими корнями Антонин Федорович Чистяков подарил Абрамову свою книгу «Вхожу в июнь». Федор Александрович читал стихи внимательно, делал пометы. Пришел к выводу: «Все, что от жизни, — хорошо. Все, что от лукавого (конъюнктурного), — плохо».

Критика чистяковских стихов не помешала сближению двух писателей. Несомненно, большое значение имело то, что оба были фронтовиками: хотя Чистяков на пять лет моложе, он тоже защищал Ленинград, воевать ушел в 1943 году из девятого класса школы. И новгородские древние корни Абрамова (новгородцы Пинежье осваивали) способствовали общим интересам, общей работе: в разные годы коллеги трижды и ко-

лесили, и пешком ходили по Новгородской области — «насмотрелись» на мертвые деревни — и написали три публицистических очерка, «Пашня живая и мертвая», «От этих весей Русь пошла...», «На ниве духовной». Второй из них и увидел свет в «Неве». В нем авторы, в частности, коснулись трагедии у деревни Мясной Бор во время Великой Отечественной войны.

Как известно, Волховский фронт пытался деблокировать Ленинград. Поначалу успешно действовала его 2-я ударная армия в районе Мясного Бора. Однако весенняя распутица 1942 года нарушила снабжение наших частей. Армию окружили. Выручать ее направили генерала Власова, а он стал предателем. Тень предательства пала на бойцов и офицеров 2-й ударной.

«До сих пор находят в заплывших болотных траншеях скелеты, сжимающие то ржавый пулемет, то винтовку, — написали Абрамов и Чистяков. — Эти солдаты Родину не предали.

У кого же может после этого возникнуть святотатственная мысль о предательстве армии, 2-й ударной армии?! Истекая кровью, до последнего патрона и до последнего дыхания бились разобщенные отряды армии. Это ж не один, не сто, а тысячи сынов Отечества.

Да, 2-я ударная армия честно исполнила свой долг. Ценой своей гибели она приблизила победоносный исход битвы под Ленинградом...»

Обращение писателя к «чистой» публицистике в последние годы было логичным: ему хотелось, чтобы слово воздействовало на жизнь непосредственно, как можно быстрее. Увы, читателей в «верхах» немного. Молчать Федор Абрамов не мог, зная, к примеру, что в той же Новгородской области «догадались» на лето давать учителям задание накосить для совхоза по тонне сена. «Молоденькая учительница при упоминании о предстоящей косьбе с ужасом посмотрела на свои городские музыкальные пальчики, которые ни разу еще не прикасались к еловому косовищу, и, наверное, подумала: вот пойдет она по кустам (косить надо было по неудобьям. — С. Д.) кровавые мозоли набивать, а школьники и сосед-тракторист, что опохмеляется до обеда, будут посмеиваться...»

Писатель Борис Никольский (главный редактор «Невы» с 1984-го по 2006 год) был ведущим последнего для Абрамова литературного вечера в Доме писателей имени Маяковского, незадолго до преждевременной смерти Федора Александровича). Согласился Абрамов прийти на вечер неохотно, так как давала о себе знать недавняя операция. «...Поначалу он говорил словно бы с трудом, словно бы преодолевая эту свою неохоту и усталость. Но постепенно — как это бывало не раз и во время его других публичных выступлений — общение с залом, с аудиторией захватывало его, он увлекался, речь его обретала внутреннее напряжение, и это напряжение передавалось залу».

Никольского поразило и поражало всякий раз при воспоминании о вечере, что поток вопросов читателей к Абрамову был «нескончаемым». Но дело не в количестве вопросов, а в их характере. Спрашивали не только о банальном: как вы стали писателем, какие у вас творческие планы, что вы думаете о таких-то писателях. Каких только ни было вопросов: о проблемах развития Нечерноземья, о преподавании литературы в школе, о неперспективных деревнях, о состоянии литературной критики, о борьбе с пьянством и так далее. И «обращались к нему с такой открытостью, с такой настойчивостью и непосредственностью, словно и правда надеялись, верили, будто писатель сумеет не только дать нужный совет, но и откроет, отыщет рецепт решения всех острых, непростых, а то и больших проблем».

Значит, зная книги Абрамова, относились к нему как к человеку, от которого в стране, в Ленинграде, в его деревне зависит очень многое. И он опять вел разговор очень

серьезно, честно, горячо, словно с высокой трибуны, потому что для него не было выступлений рядовых.

Писатель Федор Абрамов не писал ничего необязательного. И на встречах с читателями не говорил ничего такого же. Спорно или чересчур категорично — это уже другое дело.

Никольский сравнил Абрамова с его героем «Сказания о великом коммунаре», Силой Ивановичем: великая одержимость работой — в характере того и другого. Микула Селянинович из Шавогорья в одиночку сорок лет осушал болото, чтобы ранние заморозки не срезали лето, чтобы выростали и жито, и рожь. Он и в церковь не ходил, хотя местный батюшка страшил его: прокляну! А Силантий (Сила) Иванович отвечал, что он каждый день лопатой крестится, вот его молитва. Сорок лет! — а земляки не разрешили ему ходить на болото напрямик, «через полевые межи тропку протоптать», чтобы дорога в два раза короче была, — и мирской праведник по-прежнему на одну ходьбу два часа тратил, а мог бы в это время болото рыть. Его считали чокнутым. Им, Болотным, пугали малых детей, они в него камни и палки бросали, — а он задарма рыл и рыл канавы, спускал воду в озеро. В Гражданскую войну бои стихали между красными и белыми, когда с лопатой и батоном (уже старый был, ветром его шатало) Сила Иванович шел на свое болото. До конца дня своего последнего будет он креститься лопатой. Не женится — некогда ему было. На болоте и умрет, отогнав от деревни Север.

«Долго мы с Санниковым (председатель сельсовета в рассказе. — С. Д.) бродили по кладбищу, побывали у каждого столбика, у каждой пирамидки и не нашли, не нашли могилы Силы Ивановича. Не уцелела.

— Следопытов красных у нас нету, — начал было объяснять мне Санников, когда мы уже выходили с кладбища, — а то бы они живо отыскали... В газетах-то вон читаете: там того отыскали, там другого...

И замолк, отвел глаза в сторону».

Летом 1986 года ученики 25-й архангельской школы во главе с учителем Юлией Борисовной Сапожниковой нашли на кладбище деревни Шардонемь (прототип Шавогорья) место захоронения Петра Михайловича Ряхина, десятки лет осушавшего болото, и поставили ему памятник.

Надпись на памятнике:

Ряхин
Петр Михайлович
(1832—1922)
Герою рассказа
Федора Абрамова
«Сказание
о великом коммунаре»
«...Вся деревня —
твой вековечный должник»

Федор Абрамов видел героизм «простых», обычных вроде бы людей, восхищался ими. Они помогали ему жить.

В пятом номере журнала «Дружба народов» за 2012 год напечатана повесть Романа Сенчина «Полоса» — о человеке, который двенадцать лет содержал в порядке ВПП списанного аэропорта (вычеркнутого из реестра гражданских аэропортов Российской Федерации) в таежном поселке Временный Республики Коми. Он (реальный человек —

Сергей Сотников) продолжал считать себя начальником всего авиахозяйства, а не просто вертолетной площадки. Над Алексеем Сергеевичем Шулиным смеялись, называли чокнутым: он за свою работу гроши получал. Хотели разобрать полтора километра отличной бетонки — Шулин не дал. Гонял с нее тех, кто ставил на ней автомашины, приехав за грибами-ягодами. И ведь пригодилась полоса, лайнер сел на нее, — если б не она, погибли бы 72 пассажира и восемь членов экипажа ТУ-154, которому надо было куда-то приземлиться, когда отказала электроника, отключилась связь.

Когда удалось предотвратить трагедию и спасти десятки жизней, о Шулине стали говорить, что он «как знал», что делал. «Через знание нерациональное, интуитивное, твердую уверенность в необходимости стать на пути распада, катастрофы произошло настоящее чудо.

Шулин, как крестьянин Сила Абрамова, встал на пути смерти и победил ее своими малыми делами, но с немалым смыслом», — цитата из статьи критика Андрея Рудалева, опубликованной в журнале «Двина» (2014, № 4) «Гвоздь и заселение Луны, или Требуется Личность».

Члены экипажа получили звезды Героя России и ордена Мужества, а Шулина в Кремль не вызвали: вроде как не герой, подумаешь — ивняк в швах полосы рубил, который в крепкие деревца превращался... Но интернет-сообщество назвало Шулина народным героем. Затем пригласили Алексея Сергеевича на ежегодный телеразговор с Владимиром Владимировичем. И сказал Шулин о бедах малой авиации, и ответил тогдашний премьер-министр, что проблема известна, что она, разумеется, будет решаться.

«Изменения будут, — подумал Сила Иванович нового времени. — В одну из двух сторон».

Абрамов и Сенчин показали тип русского человека: тихих героев-одиночек, которых не поддерживают. Санников говорит: «Ну а русский мир сам знаешь какой. Бульдозером не своротить».

Некоторые люди пробуют своротить. Есть те, у кого получается.

В известном смысле Федор Абрамов был идеалистом. Но и время, в котором он жил, было совсем другое — все же к писателям порой прислушивались, поэтому им и хотелось повлиять на действительность пьесой ли, повестью ли, очерком...



ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

Вера ХАРЧЕНКО

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ:
семейные нарративы
75-летней давности,
фрагменты истории, судьбы

Чем дальше уходит в прошлое война, чем меньше и меньше остается живых ветеранов, тем острее память, родовая память о тех событиях, запечатленных частично в документах и письмах, но большей частью в рассказах, которые памятны близким, но которые, к сожалению, неминуемо забываются. Но война парадоксально становится все актуальнее! И здесь задействованы как положительные, так и отрицательные внешние причины. С одной стороны, это дивный Бессмертный полк, с каждым годом набирающий обороты, когда каждая семья несет на транспарантах портреты и фотографии своих предков, воевавших за Родину и отдавших за нее свои жизни. И каждый участник шествия, конечно же, сожалеет, что раньше не было такого скорбного, но и такого великого шествия. Знакомые люди, а подчас и совершенно незнакомые повествуют окружающим о людях, защищавших и защитивших страну. С другой стороны, сейчас все более активизируются политические причины: пересмотр позиции Советского Союза, стремление ряда государств, обелив врагов, осуществить «переворот» в восприятии военной истории, переделать границы государств. И если раньше внутрисемейные рассказы о войне были, по существу, достоянием семьи, то теперь все это наиважнейшая часть нашей общей, нашей большой, нашей священной истории, которой не могут помешать тысячи причин ее «пересмотра».

Вера Константиновна Харченко родилась в Калинин (Тверь), окончила Новосибирский педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы Белгородского государственного национального исследовательского университета. Автор более 600 научных работ и пяти поэтических сборников. За двухтомный «Словарь богатств русского языка» в 2004 году удостоена медали ВВЦ (ВДНХ). Живет в Белгороде.

Собирая архив семейных родословных (Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014620814 от 3 июня 2013 г.), мы не предполагали, что фрагменты этих текстов станут столь актуальными в год 75-летия Победы. Писались они как свободные сочинения, и авторами были слушатели Белгородского филиала Орловской академии государственной службы. В материалах, которые далее будут представлены, нет ничего придуманного, все это законсервированная память семьи, да и писались они достаточно давно — в 2002 году, лишь некоторые фрагменты датированы 2003 и 2006–2008 годами. Причем война входила в общий срез истории рода, но входила она, пускай скупыми, но, однако, весьма и весьма яркими трагедийными нотами.

В 1943 году во время боев на Курской дуге на минутку он забежал домой повидаться с детьми и женой. Это было последнее свидание. Прадед пропал без вести на Курской дуге (О. Л.).

В 1943 году под городом Сумы погибает отец, он был разъездной связист, бомба взорвалась прямо под телегой (Ж. З.).

В нашей семье трепетно относятся ко всему, что связано с Великой Отечественной войной. Оба моих дедушки воевали. Отец мамы Литвинов Михаил Николаевич был ранен в левую руку и пришел инвалидом третьей группы. Отец папы Пархомов Иван Александрович потерял левую руку до плеча. После войны оба работали в колхозе (Е. П.).

«Мы так устали, что ноги не держали, вот и расположились кто где. Я лег прямо на сухие ветки камыша, а мой друг стал располагаться напротив меня. Обернувшись, он еще сказал: „Пенек!“ и присел на него. Тут взрыв... Очнулся я в госпитале, ничего не понимая. Мне стали объяснять, что за пенек погибший принял противопехотную мину. Я сразу спросил, а как же мой друг?» Эпицентр взрыва был от деда метрах в двух, и дед получил множество осколочных ранений. Был поврежден левый глаз, а самый главный осколок остановился в нескольких миллиметрах от сердца. Всю оставшуюся жизнь он беспокоил дедушку (Д. Ю.).

В 1943 году Прасковья во время Курской битвы спасалась в погребе. Выбегала, чтобы посмотреть домик. Любой огонек и — соломенная крыша вспыхнет мгновенно. Выскочив в очередной раз, она увидела в конце огорода парашютиста. Преодолевая страх, подошла к нему. Это был советский летчик. Зачем привела его к себе? В соседнем доме жили немцы, им прислуживали полицаи русские. Вот загадка русской православной души! Паша передела летчика в одежду мужа, довести в безопасное место поручила младшему брату Николаю. Летчик шел позади Коли, уже выходили на шлях, когда полицай окликнул незнакомца. У колодца стояли немцы. Полицай указал на неизвестного ему человека. Коля успел оглянуться, и в это время прогремел выстрел (А. Б.).

Газеты, военные очерки... Мы многое узнавали из них, но более ценными всегда оказывались личные, домашние рассказы. Повторенные неоднократно, эмоционально пережитые всей семьей, они воспринимались как живые свидетельства прошлого, которому пятнадцать, двадцать, двадцать пять... и в этом году уже более семидесяти пяти лет.

Вышел указ расстреливать всех мальчиков в селе. Карательный отряд ходил из дома в дом с проверкой. Наталье Даниловне ничего не оставалось, как спрятать детей. За домом был вырыт окоп, в котором она с детьми пряталась от бомбежки. Наталья Даниловна спрятала детей в этом окопе, закидала ветками, строго-настрою

наказала им молчать и засыпала землей. Дети сидели тихо, когда немцы пришли во двор и стали осматривать все сараи и подвалы. Единственным желанием Натальи Даниловны в тот момент было, чтобы дети ни в коем случае не закричали. <...> Всего в нескольких шагах от окопа ходил немец и мог провалиться в эту яму, и тогда весь обман бы раскрылся, но этого не произошло. Когда немцы ушли со двора, Наталья Даниловна вытащила детей, которые не узнавали свою мать. Она в свои двадцать шесть лет стала абсолютно седой (С. М.).

Ее брат Николай Иванович в войну был пограничником, и в первые дни войны попал в плен и пережил семь концлагерей: Майданек, немецко-фашистский концлагерь вблизи г. Люблин (Польша), Маутхаузен, немецко-фашистский концлагерь близ г. Маутхаузен (после войны на месте Маутхаузена создан музей), Освенцим — город на юге Польши, на р. Сола, Вельское воеводство (на территории бывшего концлагеря создан музей «Освенцим-Бжезинка»), Бухенвальд, немецко-фашистский концлагерь близ Веймара и другие немецко-фашистские концлагеря. А ее отец Иван Васильевич охранял немецких военнопленных (Е. О.).

Когда дед выпивал, он, как правило, начинал вспоминать про войну, как он воевал, изредка пересыпая свой рассказ крепким словом, при этом у него по щекам катились слезы. Помню, что рассказывал он о том, что погибло много людей, воевавших рядом с ним, что сам он остался жив каким-то чудом. Иногда их заставляли идти в атаку на вражеские пулеметы совсем без оружия с криком «Ура!» и «За Сталина!», рассчитывая, что они по ходу подберут оружие недавно погибших солдат. По его рассказам, воевал он в Белоруссии, Литве, Польше и Германии (К. Ш.).

Когда дед выпивал... Рассказывать можно было не все. Да, и родословные хранят некоторые свидетельства столь вынужденного молчания.

В 1940-м году, когда уже все пахло войной, Якову Ивановичу Круглякову пришла повестка из военкомата. Мужчин мобилизовали рыть окопы и строить заграждения. Говорят, что он не взял с собой никаких вещей, только документы, ведь уходил на несколько дней. С тех пор его никто и никогда не видел. Никто не знает, что с ним случилось. Его жена, Круглякова Пелагея Андреевна, искала мужа, писала какие-то запросы, ходила по военкоматам. Однажды ее попросили успокоиться и никуда не лезть. Теперь я могу себе представить, как ее об этом попросили. Кстати, моя мама узнала судьбу своего деда только в девяностых годах. До этого она была уверена, что он умер от сердечного приступа. «Бабушка, — ужаснулась я, — почему же ты ничего не рассказала маме раньше?» — «Время было такое...» (Е. К.).

Очень тяжелая жизнь была у людей после войны, когда росли наши бабушки и дедушки. Они очень мало о себе рассказывали своим детям и внукам, боясь последствий; такое было время — время молчания (Т. В.).

Когда началась Великая Отечественная война, подался в партизаны, истоптал все псковские и брянские леса. Может быть, и на его судьбу выпало немало героического, но о себе он всегда стеснялся говорить. Вот что он мог сказать: «Да что тут рассказывать! Бродили по лесам да вредили фашистам, как могли. Встретим немца — убьем, встретим танк — взорвем!» — смеялся и уходил (С. И.).

Так уж получилось, что о семье папиных родных я знаю очень мало. Дедушка — Бирюков Виктор Николаевич родился в 1924 году в городе Короча. В 1942 году ушел на фронт вместе с частями Красной армии. После окончания артиллерийских курсов стал командиром гаубичной батареи. Закончил войну в Будапеште, получил ранение, освобождая королевский дворец. Умер он в 1994 году, так и не рассказав нам,

внукам, о своем боевом пути. Да и папа мой немного может рассказать: не любил дед вспоминать о войне. Только рубцы от старых ран не давали покоя (М. Б.).

Молчание усиливало тяжесть переживаемого горя. В статье Г. Гусейнова «Язык и травма освобождения»¹ говорится, что горе надо пережить, рассказывая о нем. «Культура преодоления травмы через глубокое повествование о ней пришла на смену идеологии «преодоления прошлого» относительно недавно»². Тем и ценны родословные, что открывают нам маленькие окна в то великое и скорбное время, которое именуется Великой Отечественной войной. Помнится, в частности, самое начало войны, страшный слом привычной жизни.

Первыми фашистов 22 июня 1941 года встретили пограничники <...> пулеметный взвод старшины П. С. Семенова сделал все, что мог, и четыре часа удерживал фашистов у пограничной заставы, пока 80 % пограничников не погибло. Мой дед, тяжело раненный — у него пулеметным огнем были перебиты обе ноги — более пятнадцати километров полз до того момента, пока не встретил красноармейцев. Потерял много крови, очнулся уже в эвакогоспитале, где ему сделали четыре операции (Д. С.).

Дедушка рассказывал, что он отчетливо помнит два дня войны — начало и Победу. Он так описывал начало войны: «Из окна было видно море, легкий туман над ним. Солнце. Мы с ребятами проснулись рано, сидели за книжками. И вдруг за городом забухали пушки, зенитные разрывы в синеве неба, вой самолетов. Самым тягостным и тревожным было в тот день то, что Феодосия, казалось, враз обезлюдела. На улицах только военные» (М. П.).

Память о войне не может угаснуть, потому что в таких экстремальных ситуациях высвечивается онтология человеческих страданий, проходящая через историю семьи. Нечеловеческие, сверхчеловеческие страдания выпадали на долю наших родных: дедов и прадедов, отцов, братьев, матерей, сестер.

Во время выполнения девушкой партийной задачи власовцы арестовали сестру Евдокии Иосифовны Ольгу вместе с подругой. После жестоких нечеловеческих истязаний их закопали живыми, не узнав никаких сведений о подпольщиках. Похоронены отважные девушки в районном центре Володарка. После войны Евдокия Иосифовна за собственные деньги установила им памятник. Подруги, которых нашли в могиле, крепко обнялись в смертные минуты, и так вместе [они] и похоронены в одной могиле... (М. В.).

...В дом к бабушке зашли два немецких солдата и стали требовать еды. Но в доме не было ничего из еды. Она сказала это им, тогда один из солдат вырвал у нее из рук ребенка (грудную девочку) и ударил ее по голове деревянным половником, отчего девочка умерла. <...> Из шести девочек, которых она родила, в живых остались только две (Г. Т.).

Не обошло это горе и мою бабушку. Ее некоторое время держали в плену немцы, после чего она в течение трех лет не разговаривала. Она потеряла дар речи (Е. С.).

В одной из родословных рассказывается, как после войны сказались контузии и множественные раны, дедушка стал сходить с ума и в апреле 1954 года в момент помутнения рассудка или, напротив, в момент просветления повесился. Но гораздо больше

¹ Гасан Гусейнов. Язык и травма освобождения // НЛО, 2008, № 6 (94). С. 130–147.

² Там же. С. 133.

было других примеров. Сколько осталось в памяти рассказов, как люди крепили наперекор бедам, страданиям, смертям!

Когда она умерла, мне было пять лет, но помню ее, милую, теплую, добрую бабулю или «бабуш», как я ее звала, всегда приберегающую для меня что-нибудь сладенькое. Но что пришлось перенести этой хрупкой, маленькой женщине: Первая мировая война, революция, Вторая мировая война. В 1942 году ее с детьми чуть было не повесили немцы как жену председателя колхоза и коммуниста. В 1943 году с фронта вернулся чуть живой, весь израненный старший сын, в 1944 году коммунисты репрессировали мужа. Говорят, характер у бабушки был как сталь, жизнь учила ее быть сильной (Л. Н.).

Боевое крещение получает под Смоленском у Ельни. Он подвозчик снарядов на лошадях. Его задача — доставить снаряды на передовую, а назад — раненых. Дорога, по которой пролегал его маршрут, была немцами пристреляна, и его лошадей все время убивало осколками снарядов. Дедушка чудом оставался жив. А когда лошадей убило в третий раз и он явился пешком в свою часть, то командир грозился отдать его под трибунал, обвиняя в трусости. Скрепя сердце командир разрешил отправиться ему с новыми лошадьми за ранеными, оставленными на дороге. И лишь свидетельства раненых, которых он привез, спасли солдата от сурового военного суда (Н. Ч.).

И в один из налетов ее с детьми полностью завалило землей: недалеко разорвался снаряд, образовав глубокую воронку. Они оказались заживо погребенными. Как вспоминает бабушка, большого страха и ужаса в своей жизни она никогда не испытывала. Хорошо, что не была ранена и контужена и сумела трезво оценить, казалось бы, безысходную ситуацию, принявшись, что было сил, раскапывать землю. Она выбралась сама и откопала детей. У них, контуженных и насмерть перепуганных, из ушей и рта шла кровь. Много тогда беженцев погибло. Бабушка дала себе зарок на всю жизнь: раз Бог отвел от них беду, уберег их, она должна без роптаний достойно жить дальше, что бы ни выпало на ее долю (Н. Б.).

Достойно жить дальше, что бы ни выпало на ее долю. Золотые слова, высечивающие внутренний стержень простого советского человека.

За малейшее неповиновение хозяин отправлял на двое-трое суток в подвал, где вода доходила до пояса. Ночи, проведенные в этом страшном подполье, не могли не сказаться на здоровье женщины. Через несколько лет после войны страшные раны начали появляться сначала на одной ноге, затем на второй. А потом была ампутация сначала одной ноги, а потом и второй. Так без ног и жила эта мужественная женщина; чем могла, помогала своей старшей сестре и ее семье. Жалко было смотреть на ее сухое маленькое тело, которое быстро перемещалось летом по огороду. Чистоте и порядку грядки могли бы позавидовать селекционные станции (Е. К.).

В 1942 году в село пришли немцы. Они ходили по дворам и отбирали у местных жителей все, что можно было отобрать. Однажды они пришли в дом к бабушке. Увидев кур, они стали требовать от бабушки яйца. Бабушка отказала им. Тогда они стали жестоко избивать ее. Кое-как бабушка вырвалась и выбежала во двор. Когда она бежала через двор, то провалилась в яму, вырытую для погреба. В это время над ее головой просвистели пули. Вот так волей судьбы она избежала смерти. Через некоторое время она выбралась из ямы и вернулась в избу. Немцы ушли, прихватив кур, а в колыбели плакала дочь. Спустя некоторое время она получила похоронку на мужа, заболела и умерла дочь. Еще позже немцы сожгли дом; хорошо, приютили соседи. Сложным выдался этот год для бабушки, но она не сломалась, продолжала жить. Зимой 1943 года немцы собрали всех местных жителей и погнали копать окопы.

Холодные и голодные люди долбили мерзлую землю. Многие не вынесли таких тяжелых условий. После того как немцы были изгнаны с территории Красненского района, [бабушка] вернулась в деревню и начала все с нуля. Потихоньку построила дом при помощи родственников. После войны она продолжала ждать мужа, не веря в его смерть. Долго ждала, но тщетно (Т. П.).

Говорится, география — это судьба. Сколько их, повествований о Курской дуге! Вот одно из частных свидетельств. Залыгины рассказывали о переселении, «эвакуации» курских соловьев. Интересно, что бои были такими сильными, что даже соловьи «бежали», эвакуировались далеко на восток, в Сибирь, о чем свидетельствовал один окольцованный соловей. И теперь они есть и в Сибири³. Но людям «улетать» было некуда.

Сколько раз ей приходилось очищать детские рты от земли, которая вся была поднята в воздух взрывами. А тут еще горе. Не бомба попала в избу, а наши ее разобрали и подожгли, чтобы сделать дымовую завесу. «Не горюй, — говорят, — мать. Мы тебе новую построим!». Да некому строить было: погибли они все, но не пропустили танки в крестах к Прохоровке. Как притихло, все выбрались и не узнали всего. В пойме речки, в болоте горы танков. Все огороды гусеницами перепаханы. А ведь она закопала там самое ценное: документы и вещи. Ничего не нашли. Жили у родни. Она и пятеро детей. Ждали отца. В 1944 году пришло письмо, что ранен, скоро приеду. А потом пришло другое письмо, где было написано: «Ваш муж Гридчен Василий Петрович скончался от ран в госпитале г. Махачкала»<...> Своими силами смастерили себе маленькую избушку. Старшие дети помогали по дому, но когда начался голод и дети стали пухнуть, все старшие и моя бабушка (ей было 10 лет) пошли работать к людям, чтобы кусочек хлеба принести маленьким. В колхозе почти ничего не платили за работу. И это они пережили (Е. К.).

Семейные родословные хранят и счастливые воспоминания о тех событиях. Эта вера в счастливое стечение обстоятельств помогала жить. Увы и ах, немодно теперь стало писать о счастливых событиях, литература наша прошествовала мимо них, а семейные родословные как раз повествуют — о счастье.

Дедушку забрали на фронт. Он даже и не знал, что его два старших сына тоже ушли воевать. Когда дед дошел до Берлина, именно там он и встретил своих сыновей Ивана и Михаила. Одержав победу, они вместе вернулись домой целыми и невредимыми. Каждый был награжден боевыми наградами (О. Н.).

Дедушка был тяжело ранен, попал в госпиталь, где ему чуть было не ампутировали ногу. Его отговорили оперироваться, «отбили» у врачей, ногу вылечила санитарка какими-то компрессами (М. Д.).

...Вернувшись домой, весь израненный, Василий свою жену не узнал. А через несколько дней на дедушку пришла похоронка. Эта похоронка еще долго хранилась в семье как залог долголетия деда (В. А.).

Тех, кто говорил по-украински, освобождали. Бабушка научила молодого казака разговаривать на ее родном языке, и он остался вместе с ней. Когда пришли наши войска, женщин и детей отправили на родину. Их погрузили в три машины. Когда они переправлялись через реку, мост взорвался, и одна машина упала в воду. Дедушка не знал, осталась ли жива Александра или нет. Только лишь в июле 1946 года он вернулся с войны и первым делом заехал в украинское село узнать о судьбе любимой. Там он встретился не только с Александрой, но и с маленьким сыном Иваном. Забрав

³ Елена Ржевская. «А что, если так писать...» из двух тетрадей (1970–1971) // Знамя, 2019, № 10. С.137.

жену и сына, поехал на родину. Счастливо зажили они в казачьем крае. Построили дом, он до сих пор стоит на берегу реки — бревно к бревну, блестит на солнце его железная крыша. Рождались дети... (Е. З.)

Ну, конечно же, незабываемым счастьем была встреча с родными, и здесь уже повествование становится почти художественным.

Николая Константиновича забрали на фронт. Он принимал и отправлял военные поезда, сам участвовал в военных действиях. Каждый день, каждый час ждала его семья весточки, с каждым разом замирало сердце, когда приходила почта: ни черкнул ли пару строк любимый муж и отец. А какая боль жила в душе: как он там, не ранен ли, не убит ли? Но на этот раз судьба была благосклонна. Летним, солнечным днем, когда шелест листьев и трели птиц ласкают слух, вдалеке Аннушка увидела знакомые черты лица: огромный чуб, светлые, но с невыразимой болью глаза, которые были наполнены в то же время счастьем. Анна дождалась. Это был он. Она выбежала к нему навстречу. Это расстояние показалось ей вечностью, она боялась, что это все ей кажется, что это сон. Когда она оказалась в его крепких объятьях, ей и тогда с трудом верилось, что все закончилось. Взявшись крепко за руки, они так дошли до дома и пообещали друг другу, что теперь не расстанутся никогда (Е. Н.).

В конце войны в 1945 году все село работало в поле, мимо шел военный человек и сказал: «Идет ваш земляк с города Харькова, пешком, растер ноги, рука раненая, шел с ним. Меня забрала машина, а он идет. Просил передать, что он с хутора Пенки, зовут его Иваном». К сожалению, тогда на хуторе было два Ивана, на одного пришло извещение о гибели, а на другого нет. И моя прабабушка подумала, что этот Иван не наш. Тогда люди взяли лошадь и поехали за ним. Работа в поле закончилась, все возвращались в село, неожиданно увидели раненного в руку солдата, он шел, немного прихрамывая. К великому удивлению всех сельчан, домой возвращался мой прадедушка Иван (М. С.).

А потом пришла Победа. Как ее ждали! Каждый солдатский треугольничек прочитывали всей улицей, и каждая женщина надеялась, что ее муж вернется домой целым и невредимым. Прошел победный май, за ним — июнь, июль. Вернулись в родные дома уцелевшие мужики, а известий от прадеда Николая все не было. Все жители села от мала до велика работали в поле: началась жатва. Женщины серпами срезали колосья, связывали их в снопы. Дети крутились здесь же. Дальше рассказывает дедушка: «Вдруг вижу: со стороны Лозно-Александровки по дороге идет солдат. Очень ярко в памяти: по одну сторону зеленый лес, по другую — желтое пшеничное поле, вверху — голубое небо, и на этом фоне — фигура мужчины в гимнастерке. Женщины бросили серпы, замерли. Чей? И вдруг среди этой звенящей тишины раздался крик мамы: „Михайло!“. Это был мой отец. А я его совсем забыл за эти годы» (М. К.).

За счастье повидать близкого человека надо было платить, и платить сверхнапряжением, жестким усилием воли, но кто мерил, кто считал эту плату, коль за нее полагалась встреча с родными?

Лагерь был основан немцами на территории Старого Оскола. Продуктов там не хватало. Дед заболел тифом, думали: не выживет. Бабушка, узнав, где находится дед, стала носить сухари в лагерь. Она ходила туда через день, преодолевая более пятидесяти километров за день (Е. З.).

Началась война. Ребят забрали на фронт, распределили по вагонам и увезли, оставив их семьи в постоянном напряжении и страхе получить с фронта страшное

письмо. А ведь так и случилось! Восемь! Восемь сыновей, красивых, трудолюбивых, честных! Каждого девять месяцев носила под сердцем, терпела мучительные боли, потом столько ночей не спала, ухаживая, поднимая их на ноги, многострадальная мать. И ни один не умер в младенчестве, что было частым явлением в те времена, и все выросли здоровыми, высокими, статными, на радость отцу и матери. Кому как не матери больнее всего получать одну за одной похоронку, после которой сердце рвется на части, глаза застилает черная пелена и хочется кричать нечеловеческим голосом! Вернулся только один — Макар, Макарушка... Как радовалась Наташка! Как она бросилась ему на шею, едва он сошел с поезда! Мать стояла рядом, терпеливо дожидаясь, когда стихнут Наташины эмоции, и лишь потом сильно прижала Макарку к себе и так стояла, не отпуская его, зарылась лицом в его прокуренную шинель, и только плечи вздрагивали, и голова все сильнее зарывалась в его широкую грудь... (М. Г.).

Счастье часто выстраивалось как избегание несчастья, когда ты по идее должен погибнуть, но ты парадоксально спасен. Это военное счастье нередко сопровождалось, шло бок о бок с несчастьями других людей. Здесь вступал в силу Его Величество счастливый случай, который и сберег родственника, счастливый случай опять и опять проявлял себя, бывал в действии.

В 1943 году моя бабушка пошла учиться на тракториста, выучившись, вернулась в родное село, где работала на стареньком тракторе, на котором днем и ночью распахивала плохо разминированные поля. Сколько раз она своим плугом цепляла противотанковые мины! Сколько раз на ее глазах разрывало ее напарниц! Но она не уходила оттуда, работая до конца войны и после войны... (Л. В.).

Так как он еще не подходил по возрасту (ему было 13 лет), на фронт его не взяли. В 1943 г. он закончил краткосрочные курсы минеров и в 16 лет ходил по минным полям Белгородской области, разминировав наши поля от страшной «начинки». Многие подростки подрывались, но моего дедушку миновала такая участь (Г. К.).

После победы мужчины возвращались с фронта домой героями. Шел героем и дошедший до Берлина Куприянов Юлиан Максимович, капитан, с тремя своими детьми, мать которых унесла война. Во время бомбежки она с детишками пряталась в погребе. Старший сын побежал за водой, а мать, до пояса высунувшись из укрытия, смотрела за ним. Поблизости разорвался снаряд. Им-то и убило мальчика, а его матери осколком снесло голову. Куприянов со своим уцелевшим семейством попросился на постой в дом по улице Коммунистическая. Там, без крошки хлеба, но с крашенными губами сидела на печке Симочка с Володей. Нетрудно догадаться, что молодой капитан и молодая докторша создали новую семью (С. К.).

От бабушки я узнал, как немцы его расстреливали. Его отделение было послано в разведку. Зашли они в село, спросили, есть ли немцы. Местные жители ответили, что нет. Они и расслабились, выпили, покушали да и заснули. Проснулись от яркого света и лающей немецкой речи, их вывели во двор, заставили выкопать братскую могилу, поставили на край и дали залп. Дед очнулся уже в яме. Сверху лежали убитые товарищи, слегка присыпанные землей, он выбрался и дошел до своей части (Г. Ж.).

Прадед вернулся невредимым, а вот дедушку моего ранило. Прожил он с осколком в груди еще почти пятьдесят лет (А. Ф.).

Эти счастливые события были выстраданы, память сберегла и некоторые спасительные хитрости тех лет, тоже отраженные в родословных.

Гитлеровцы давали пленным неочищенную вареную гречку, от которой многие умирали. А дедушка спасся потому, что по совету сначала жевал гречку, потом высасывал, выплевывая шелуху. Это кошмар длился четыре года. И вот при росте 190 см дедушка стал весить 46 кг (Н. Ч.).

А в это время Мария, работавшая в столовой и иногда кое-что приносявшая к поездам с ранеными на вокзал, стоя на своей станции, высматривала очередной эшелон. Ни она, ни тем более дед не догадывались, что их встреча более чем близка... Она заметила его в последнем вагоне, когда поезд уже отходил, набирая обороты и увозя любовь всей ее жизни куда-то вглубь необъятных казахских степей. Где она нашла деньги и полуторку, как сумела нагнать поезд на следующей станции и найти своего Савву, остается чудесной загадкой. Хотя мне кажется, что и тут не обошлось без тех заветных трех рублей (О. У.).

Когда немцы заняли Ракитное, она и ее сестры мазали ноги чесночным соком, имитировали болезнь. Кожа съеживалась, сок чеснока темнел. Бабушка говорит, что ноги жгло, но все это стоило того, чтобы не быть угнанной в Германию (Е. А.).

Не обошлось в таких испытаниях и использованием «доброхитростной мудрости», как в следующем примере.

Мой дед Иван в голодные годы собирал колоски, за это его бригадир избил, связал и на лошади гнал пятнадцать километров в милицию. Там его, связанного, бросили как вредителя и кулацкого сына в подвал, да и забыли о нем. Через четыре дня в подвал бросили очередную жертву и увидели связанного четырнадцатилетнего «вредителя», моего дедушку. Тут же отпустили, а мать сутками искала его по оврагам и балкам. <...> Когда началась война, дедушке Ивану было семнадцать лет, и он доставлял повестки из военкомата в сельский совет. Однажды вместо повесток был дан список с фамилиями. Дедушка и дописал обидчика — бригадира в этот список. И отправился бригадир воевать теперь уже с врагами внешними, с внутренними он повоевал с успехом. Нет давно участников этих событий. Дедушка Иван расписался на стене рейхстага «Иван Бондарь из Воронежа (местность тогда входила в Воронежскую область). Когда я слышу эту историю, то уже не испытываю чувства ненависти ни к этим людям, ни к тем событиям, но прошлое — серьезный учитель (О. Б.).

Выступая по каналу «Культура» («Линия жизни»), современный писатель Евгений Водолазкин произнес следующее: «Я вам скажу: пишите, записывайте все мелочи! Потому что ваши дети будут, не отрываясь, все это читать!» Да, писатели о войне пишут, много пишут, но именно в мелочах высвечивается подчас самое главное, то, мимо чего иногда проходит военная проза. «С ранних лет мы растем в сознании, что большое — важнее, чем малое» — это слова Януша Корчака о детях⁴, но ведь мысль о значимости мелочей в жизни носит едва ли не методологический характер.

Она рассказывала, что у нее были черные волосы и вплетены в них красные ленты, но кто-то из женщин сказал, что немцы не любят красный цвет и расстреливают тех, у кого есть что-либо красное. Бабушка быстро расплела волосы маме и спрятала куда-то ленты. Мама потом иногда вспоминала этот случай и говорила о том, что больше никогда не видела тех лент (Н. Г.).

Затем был призван в армию во время Финской войны. Есть легенда (семейная), что благодаря лысине, приобретенной после тифа в гражданскую войну, дедушку

⁴ Я. Корчак. Как любить ребенка. — Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2009. С. 6.

нашли, когда рядом взорвался снаряд, и землей присыпало до этой самой лысины так, что видно было только ее (М. Д.).

В 1943 году, когда фашисты входили в село, детвора на улице бросилась враспынную. Мой папа, будучи совсем маленьким, поспешил домой через дорогу, испугавшись колонны танков. Споткнулся... Упал прямо перед надвигающейся машиной. Казалось, это был конец, будущего не будет... Но нет. Танки один за другим, меняя траекторию движения, объезжали плачущего мальчишку (Т. М.).

...Во время войны бабушке было тринадцать лет. Был голод, и они с другими ребятами бегали из дома в дом. В одном доме им дали кусочек хлебушка, в другом чуточку вареной картошки. Один раз им повезло. В одном доме их накормили петухом, при этом хозяйка приговаривала: «Ешьте, детки, правда, петух был коростовый-коростовый, вот нам и пришлось его зарезать». Но они ели и такое мясо, потому что другого не было (М. К.).

Бабушку мой папа помнит плохо, зато хорошо помнит, что жизнь ему спасла именно она, когда он босоногим мальчиком пел немцам песню «Катюша». Немцы решили убить мальчика, а ему было всего четыре годика. Бабушка откупила его за банку самогона и спрятала у знакомых, так как в ее доме жили немцы (Л. И.).

А вот рассказ о встрече с Сергеем Лемешевым. Мелочь? Может быть, но мелочь памятная, запомнившаяся надолго, на всю жизнь.

После ранения и госпиталя попал в разведку. На фронте судьба свела его со знаменитым Лемешевым, больше недели жившим в блиндаже с солдатами, среди которых был мой дед. Дедушка не раз вспоминал те дни, когда он общался с Лемешевым (М. Т.).

Родословные хранят и великодушное отношение к немцам, стремление в чем-то поучиться у врагов.

Немецкий солдат говорил прабабушке, что пусть Гитлер сам повоевал бы со Сталиным, тогда и не воевал бы он с русскими. Солдат выглядел усталым, и глаза были у него грустные (И. Л.).

А дедушка Сережа ушел на фронт и дошел до Германии. Имел награды и часто рассказывал внукам, как за границей побывал, как мужики там свою землю любят, говорил, что можно было кое-что у немцев перенять (Т. С.).

Когда во время Великой Отечественной войны немцы пришли в наше село, прабабушка помогала им продуктами (немцы побирались по домам, просили что-нибудь съестное). Прабабушка когда картошки им даст, когда яиц, несмотря на то, что у нее было пять детей. Немцы полюбили ее, приходили помогать ей срезать лен, пасти скот и т. д. А когда им было приказано отступить, немцы оставили прабабушке некоторые свои пожитки. Вот о такой дружбе с немцами поведала мне прабабушка (М. П.).

По чистой случайности она попала в хорошую немецкую семью, где ухаживала за коровами, носила молоко на приемный пункт, обрабатывала огород, выполняла всю работу по дому. Труд ее был тяжелый. Она вставала в пять часов утра и ложилась поздно. Но она хвалила семью немца. Ее не били, кормили не в сарае, а в доме. (Всем русским работникам запрещалось сидеть за одним столом с немцами. Исполнение этого закона строго контролировалось полицейскими. Хозяйка дома позво-

ляла себе есть стоя, а бабушку Лиду сажали за стол. Когда приходил полицейский, они менялись местами) (Л. Н.).

В поселок, где была (угнанная в Германию) бабушка Лида, первыми пришли американские войска. Русские знакомые привели американских солдат к ее хозяину, чтобы убить его. Она не растерялась. Встала перед немцем, которого уже поставили к стене для расстрела, заслонила его руками и кричала: «Нет! Он хороший!» В то время она могла уже хорошо разговаривать по-немецки. И только этот случай остался в живых немца. Об этом бабушка Лида всегда вспоминала со слезами (Л. Н.).

Бабушка награждена многими боевыми наградами, в том числе и орденом Красной Звезды. Много боли и горя в ее рассказах. Она рассказывала не только о том, как выносила раненных из-под обстрелов и с поля боя, но и о том, какими внимательными были советские солдаты к жителям поверженной Европы. О том, как выхаживали детей, оставшихся без родителей, больных и немощных людей. Из ее рассказов я поняла, что, какие бы несчастья не принесла нам война, советский народ не очерствел душой (Н. П.).

В сочинениях по истории рода маловато описаний, но если они есть, то они красноречивые, говорящие, знаковые.

В семилетнем возрасте отец впервые пошел в школу. Сумкой для учебников служила сумка от противогаза, пальто было перешито из солдатской шинели, обувь была сшита из голенищ кирзовых солдатских сапог (Е. Ц.).

Я помню темно-коричневые узловые следы прежних ран на мышцах его рук, спины и ноги. Позже я прочитал документы о его длительном госпитальном лечении (В. П.).

Интонация в сочинениях по истории семьи обычно сдержанная, но иногда прорывается искренний пафос. В 2014 году в Курске была защищена диссертация, в которой говорилось, что такие слова, как «честь», «достоинство», «нравственность», утрачивают свою былую силу⁵, а «патриотизм» ассоциируется с давно пережитым временем. Нет, военные события в рассказах наших предков возвращают всем этим словам их силу, прежнюю их значимость.

Дед считал, что героических подвигов он не совершал, хотя каждый день, прожитый в огненном кошмаре, — это уже подвиг (Л. Д.).

И, вот однажды, когда я первый раз увидела книгу «Солдаты Победы» и прочитала там фамилии родных (может, это и однофамильцы), меня охватили чувства, которые нельзя выразить одним словом: это и боль, и радость, и гордость. Боль за украденное детство моих бабушек и дедушек, радость за тех родных, кто прошел страшное пекло войны и возвратился домой с победой. Я горжусь ими, горжусь своими родными! (К. Л.).

Я и теперь читаю письма родных к бабушке в военные годы с особым трепетом: «Симочка, родная, держись! Бог не оставит нас своей милостью, наша Армия победит!» Звучит парадоксально. Эти люди все так же великодушны и милосердны (С. К.).

⁵ Е. Н. Кондратенко. Идеологические проксимы в индивидуальном лексиконе (экспериментальное исследование) // Дис. канд. филол. наук. — Курск, 2014. С. 103.

Самураи теснили русских к самому обрыву, но люди в плен не сдавались. «Только не позор!» — кричали они. Расстреляв все патроны, люди выходили на край обрыва и кидались вниз. Ни один не сдался. Русское мужество ошеломило врагов. И только после японский офицер, подойдя к обрыву, сказал своим солдатам: «Учитесь умирать...» (С. И.).

В один из зимних солнечных дней военнопленных построили в один ряд и начали делить на группы. Один шел налево, другой направо. Того, кто шел направо, отправляли в газовую камеру, кто шел налево — оставались стоять на месте. Когда очередь дедушки была недалеко, он начал считать, куда ему (выпадет) идти. Один раз посчитал: налево, другой раз — направо, и так он считал несколько раз. (Прошло много лет, но дедушка не мог вспоминать об этом спокойно). За дедушкой шел старик. Когда дедушке пришла очередь идти в газовую камеру, старик толкнул его в другую сторону, а сам пошел вместо него. Дедушка так и не знает, кому он обязан своей жизнью (А. Д.).

Мы привели лишь малую толику сочинений, точнее, фрагментов из сочинений взрослых людей. Спрашивается, зачем «ворошить прошлое»? А затем, что это надо обществу в целом, причем далеко не только бывшему советскому обществу. Хорошо бы собрать эти сведения в многотомную энциклопедию Великой Отечественной войны. Была бы значимая и весьма поучительная книга. Но это не все. Все эти родословные, фрагменты из них, касающиеся войны, остро необходимы и нам самим.

Во-первых, потому что эти отрывки сохранены. В романе Захара Прилепина «Обитель» есть такая мысль: «С другой стороны, что есть истина, как не то, что помнится. Истина — это то, что помнится»⁶. В своей статье Г. Гусейнов цитирует А. и М. Митгерлих: «Повторение внутренних дебатов и их критический [групповой и национальный] разбор необходимы для того, чтобы преодолеть сопротивление инстинктивно и подсознательно действующих сил психической самозащиты в виде забвения, фальсификаций, проекций и других оборонительных устройств»⁷.

Во-вторых, памятные фрагменты родословных необходимы в наше невоенное время для самостояния. «*Вот и все. Смежили очи гении. / И когда померкли небеса, / Слово в опустевшем помещении / Стали слышны наши голоса. / Тянем, тянем слово залежалое, / Говорим и вяло и темно. / Как нас чувствуют и как нас жалуют! / Нету их. И все разрешено*». Автор этого стихотворения Давид Самойлов писал о смерти Анны Ахматовой, но ведь поэзия в отличие от прозы всегда многозначна, и эти слова прекрасно подходят к нашей памяти о войне: «*Нету их. И все разрешено*». Говорят же еще: нет героев — нет родины.

И третья причина — это уроки на будущее. «У меня есть подозрение, что это эволюционный механизм, который заставляет нас интересоваться частной жизнью других людей. Потому что это повышает наш опыт, нашу безопасность и наше умение ориентироваться в социальных сетях... Мы так вырабатываем приемлемые и неприемлемые паттерны поведения», — считает Линор Горалик⁸.

Так что прошлое, сколько бы лет ему не было, продолжает жить в нашей памяти как идущий из истории рода образец, кодекс, эталон сегодняшней жизни действительно Бессмертного полка.

⁶ З. Прилепин. Обитель: Роман // Наш современник, 2014, № 5. С.10.

⁷ Mitseherligh Alexander, Mitseherligh Margarete. Die Unfähigkeit zu trauern, 20. Auflage. München, 1988. S. 24–25.

⁸ Истории Линор Горалик. Автор и собиратель историй — о том, почему они так важны // Colta.ru. 2019. 6 августа. См.: Новый мир, 2019, № 10. С.228.

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Игорь ШУМЕЙКО

КРОКОДИЛЕР

(литература двойного назначения)

Андрей Щербак-Жуков. Сказки для друзей, бывшие сказки для идиотов.

М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2019. — 100 с.: ил.

Тут книга странная попалась в руки, смешная, двоящаяся. Правда, я даже вообразил себя продавцом книжного магазина. Или — чего стреноживать полет мечты! — самим мерчендайзером. И... стал в тупик. В какой отдел нести? На какую полку выкладывать поступивший товар? «Детская литература»?

Мои милые еноты,
вы зачем — не бегемоты?...
Что ты, что ты, что ты, что ты... -
загадели тут еноты. —
Лучше дайте нам работы,
постирать, погладить что-то...
Хоть лишите нас компота!
Только лишь не превращайте
нас, енотов — в бегемотов!

Ну, допустим. Есть такие детские смешные стишки, что читающие вслух родители первыми громко хохочут (порой под настороженными, испуганными взглядами детей). Например — Заходер, Борис... Рецензируемая Щербака — тоже про зверушек:

У лангуста в глазах пусто,
то ли дело у мангуста...
Немного, совсем немного,
и станет акулой минога...
Один тюлень варилпельмень.
Спросил тюленя ламантин:
А почемупельмень — один? —
Воскресный день, готовить лень,
один тюлень — одинпельмень...
Поселились у реки
непонятные зверьки...

Игорь Николаевич Шумейко родился в 1957 году. Автор художественных, историко-публицистических книг, лауреат нескольких премий, в том числе петербургских: «Александр Невский» (2012) и «Лучшая публикация журнала „Нева“» (2013). Роман «Вещество веры» («Нева», 2013, № 9), финалист премии «Независимой газеты» — «Нонконформизм-2014». Живет в Москве.

Вот так увлечешься, листая, и...

Я с карманами пустыми домогаться к ней не мог.
Но зато над ней в пустыне надругался носорог.

Тут подзатыльник от жены и схлопочешь: Ты чего ребенку читаешь!

— Так... мер-чендайзер подсунил как детскую.

— Твой мерчендайзер небось пьет вместе с твоим автором, вот и...

Ладно, переставим книжку на «Взрослую», повесим бирку «18+»... Но двоение остается. В отдел «Поэзия»? Так оказалось, что половина книжки — вполне прозаические рассказы, в духе Феликса Кривина. Не то что, допустим, в газете одной, «НГ-Exlibris» — там все четко разложено: «Поэзия», «Проза», даже страницы у них разные! — а тут...

Но если б только это! Возьмем название книги: «Сказки для друзей, бывшие сказки для идиотов». То ли речь о двух версиях текста: был для идиотов, а потом автор поработал, существенно улучшил, и теперь можно забирать книжку из Кащенко и нести друзьям.

То ли все же... тут речь о друзьях, проделавших противоположный путь по интеллектуальной лестнице человечества?

А фамилия автора? Щербак-Жуков... в глазах по-прежнему двоится. То ли Щербак писал прозу для друзей, а Жуков — стихи для идиотов, то ли для друзей были стихи, а проза — для этих...

Итого, комбинаторика (рецензент по образованию прикладной математик) не даст соврать: число вариантов сочетаний велико.

Рассказы тоже занятные. Один рыцарь упорно желал увидеть единорога. (Мог бы полюбоваться на герб Британии или пачку сигарет «Philip Morris», но рыцарь хотел узреть живого!) Полмира обошел: никто ни сном ни духом. Но в какой-то горной стране стали наконец встречаться люди, выдавшие сего геральдического красавца. Очевидцы, все почему-то одноглазые, и привели рыцаря к пещере. Полез он навстречу своей гордой мечте, и... вспышка. Сидит теперь одноглазый рыцарь дома и радуется: единорог — все ж не банальный двурогий козел.

Но... я опять о своем: двоение в глазах — все ж лучше одноглазой определенности! Так что вернусь к стихам.

Плач крокодила

Кто знал, что будет крокодилом?
Кто знал, что станет страшным львом?
Что будет жить, зарывшись илом,
Иль с дерева смотреть кругом?
Или, как слон, трубить в саванне?
Как носорог, пугать народ?
Иль в грудь стучать по-обезьяньи?
Иль тину мять, как бегемот?
Кто знал, что станет страшным зверем?
Приобретет зубов оскал...
И я не знал, и я не верил...
А ты скажи, ты сам-то знал?

Я, например, до этого года тоже не знал, что стану рецензентом поэтических книг. Стихи публиковал, позже стал их вкладывать в уста героев романов, повестей. Рецензировал нон-фикшн, прозу... набралось, наверно, немало. И вот теперь решил писать

о поэзии и как истинный неофит подобрал себе формат: без литературоведения, но со своим... «встречным маршем». То есть рассказываю о книге и сам чего-то присочиняю *под влиянием*. Наличие/отсутствие этого «влияния», по-моему, и есть самый объективный признак воздействия поэзии, ее качества. Как выражаются в торговле (наверно, и книжной): зашло/не зашло. Летом разобрал одну книгу, у автора очень сложное отношение к Москве, изящная, порой даже веселая социопатия, плюс несколько раз он поминал патриарха Лота. Я и откликнулся восьмистишием:

Не терплю больше этот Содом,
 Тут и жители все: содомиты.
 Знаю, что с ними станет потом —
 Не пророки, но лыком не шить!
 Не хотел их судьбу разделить,
 Переехал, за прессой слежу.
 Скоро-скоро!
 Тут соседи: ОК! Можно жить.
 Да и город уютный... Гомор-ра!

Вставил свои стишки в рецензию, и, представьте, опубликовали. Второй попавшейся под мой рецензентский резец книге я переделал название. В книге Шербака-Жукова меня «зацепил» этот контрапункт: в прозаической части царит единорог, в поэтической — крокодил. Кроме выше цитированного «Плача», есть еще и занятные, я бы их назвал

Размышления у карусели

Почему-то, отчего-то
 Все хотят на бегемота.
 Только дамочка одна
 захотела на слона... — и т. д.
 И уж не нашлось дебила,
 Чтоб хотел на крокодила.

В России, тысячами километров отделенной от ближайших ареалов этих рептилий, крокодил — более культурный, нежели биологический тип. Его несоразмерное присутствие в литературе, фольклоре поразительно. Не видавшие и тени его хвоста соотечественники твердили про «крокодиловы слезы», напевали «По улице ходила большая крокодила...». Целые стаи крокодилов Чуковского, сатирический журнал.

Русская литература включилась в своеобразное «одомашнивание» импортного страшилища. У Чуковского он от злого глотателя солнца идет в помощники Айболита, в борцы за гигиену. А наш Гена уже — чистый ангел в сравнении с ихним Данди. Поэты еще более вольны в этой литературной евгенике. Александр Еременко: «Я мастер по ремонту крокодилов, / окончил соответствующий ВУЗ».

И вот последнее (по времени) слово: «Кто знал, что будет крокодилом?» Это же — о неведомой Судьбе, вдруг одевающей нас в зеленую чешуйчатую броню и устанавливающей на наших плечах сильную и жадную пасть. Автор сочувствует: пред силой Судьбы мы все равно беспомощны. И не сведущи: «А ты скажи, ты сам-то знал?»

Но это сочувствие не отменяет опасения: «И уж не нашлось дебила, / Чтоб хотел на крокодила». Здесь я и подключаюсь с доистолкованием. Ведь на современном жаргоне «крокодил» не только: боевой вертолет, символ националистов, но и опаснейший из наркотиков дезоморфин. Подсевшие на него получают зеленую (откуда и название)

шелушающуюся кожу, быструю гангрену, разрушение иммунной и так далее (очень недалеко далее).

Так что Щербак-Жуков, описывая зверей парковой карусели, как истый поэт подсознательно угадал еще одно значение для «не желавших *сесть на крокодила*». Это мое доистолковывание. А досочинение — см. заглавие рецензии.

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Андрей Бесков. Язычество восточных славян перед лицом современности.

СПб.: Дмитрий Буланин, 2019. — 192 с.

Тема славянских древностей и язычества активно эксплуатируется в литературе, в кинематографии, на телевидении. Языческие талисманы продаются в сувенирных магазинах, именами славянских богов называются фирмы, товары. Свои позиции в современном мире отстаивают «неоязычники». Причину такой активизации религиовед Андрей Бесков видит в исчезновении контроля со стороны государства за СМИ, книгоиздательством, кинематографом и в коммерциализации литературы и СМИ. Наше историческое сознание формируется не специалистами-историками, а публицистами, журналистами, политиками, извлекающими из интереса людей к своей истории политическую и коммерческую выгоду. На конкретном материале автор рассматривает, какой посыл закладывают в свои произведения эти деятели. Дает оценку книгам, кинофильмам (от первого, снятого в 1929 году, до современных), анализирует, как и почему изображалось язычество в советском кинематографе и как сегодня. Досталось фильму «Викинг». Критично относится автор к телевидению, где в отличие от кинематографии возвеличивают и романтизируют славянское язычество и его богов. Оплотом славянского язычества он называет передачи на «РЕН ТВ», где падки на околонульные сенсации и антинаучный вздор. Шарлатанством — разрекламированные боевые искусства и оздоровительные практики восточных славян. Все конкретно: названия, имена, суть. А. Бесков рушит мистическую систему, воздвигнутую вокруг свастики как символа, и отрицает магический характер рун, опровергая и само существование славянских рун. Роль массовой культуры в наших представлениях о далеком прошлом велика. Так, «дизайн» викингов (рогатые шлемы) придуман художниками в XIX веке и широко растиражирован в театральных постановках, кино, комиксах, видеоиграх. Волхвов мы представляем по картине В. Васнецова «Встреча Олега с кудесником» (иллюстрация к «Песне о вещем Олеге» Пушкина). Возможно ли установить, что подлинно, а что фальшивка? А. Бесков считает, что реконструировать славянское язычество невозможно. То, что мы знаем о нем, может уместиться в несколько строк. Слишком мало материала: летописи, где кое-что упоминается о славянских богах, древнерусские поучения против язычества. Известны имена славянских божеств: Перун, Хорс, Дажьбог, Велес, Сварог, Макошь, но в отношении каждого из них существуют противоречивые версии. «Велесова книга» — откровенная подделка. Автор не ставит задачу реконструировать прошлое, но подробно рассказывает, как добываются знания о прошлом вообще и о славянском язычестве в частности, сравнивает научный путь изучения этой темы и псевдонаучные домыслы, освещает позиции ученых и дилетантов, выявляет отличия научной литературы от популярной. Знакомит с наиболее значительными трудами на тему восточнославянского язычества за последние полтора столетия. В зоне его внимания генетика, антропология, археология, лингвистика, мифология. Подробно рассмотрен вопрос о том, кто такие восточные славяне (русские, украин-

цы, белорусы), их этногенез со времен неандертальцев и кроманьонцев. Весьма актуально, ведь ныне в Интернете идут яростные споры: являются ли русские славянами, или они потомки татаро-монгол или финно-угров, потомки ли неких «укров» украинцы, а белорусы — славяне или балты? Много интересных исторических фактов в вопросах крещения Руси. Автор поддерживает точку зрения М. Васильева, что к крещению Руси привело случайное стечение обстоятельств в Византии и на Руси. Но вывод один: пусть не при Владимире, но решать вопрос о переходе в новую веру русским правителям все равно пришлось бы. Названы и причины, по которым Русь не вздыбилась, не защитила своих исконных богов. Сами себя наши предки язычниками не называли, термин введен в обиход христианами для обозначения верований, бытовавших у различных народов до возникновения иудаизма и христианства, авраамических религий, к которым позже присоединился и ислам. Если язычеством считать поклонение различным богам, то с ним было покончено достаточно быстро, если же разного рода суеверия (гадания, колдовство, веру в духов), то все это дожило до наших дней, и не только у славян, но и повсеместно. Смешение христианства и восточнославянского язычества в отечественной научной литературе обозначают термином «двоеверие». Подробно рассказано и о неоязыческом движении. Еще один честной способ отъема денег у населения или прикрытия набирающего силу неонацизма? Названы имена идеологов, рассмотрены идеи, популярные в русской неоязыческой среде. Современные язычники славянских стран позиционируют себя как «родноверы», термин же «родноверие» появился лишь в конце XX века. В России развитие неонацизма и неоязычества шло одновременно, у них разные корни, но они переплелись между собой. Автор не ставит знак равенства между ними. Если неонацисты хотят иного политического устройства, смены государственной идеологии, то неоязычникам не нравится поддержка государством так называемых традиционных религий, и прежде всего православия. Возможно, родноверы избавятся от националистических фантазий, хотя выбор ими в качестве эмблемы свастики ставит крест на возможности занять заметное место в ряду представленных в России религий. Стыдиться или гордиться нашими языческими предками? Негативное отношение к язычеству формировалось древнерусскими книжниками на протяжении столетий. Из «Повести временных лет»: «жили звериным обычаем, жили по-скотски, убивали друг друга, ели все нечистое». На примерах истории христианского человечества и дня сегодняшнего автор показывает, что приписывать язычникам все пороки нельзя. Так, многие формы сексуального поведения, принятые западным обществом сегодня, и в древности, и в средние века, и в Новейшее время, и в России, и в той же Европе понимались как явные половые извращения. И очень красиво А. Бесков сравнивает языческий этап нашего развития с детством. Ведь «детские годы мы обычно вспоминаем с особо теплотой, даже если некоторыми из этих воспоминаний не готовы делиться с другими людьми». Современным ревнителям православной веры А. Бесков предлагает с уважением относиться к своим языческим предкам, как это делал митрополит Илларион в XI веке, а тем, кто видит в христианизации Руси великую трагедию, умерить свой пыл. Взвешенная, написанная доступным языком книга.

Элизабет Килби. Гаджетомания: как не потерять ребенка в виртуальном мире. СПб.: Питер, 2019. — 256 с. — (Серия: «Родителям о детях»).

Британский детский психолог Элизабет Килби уже двадцать лет наблюдает детей первого «цифрового» поколения, окруженных с самого рождения девайсами. Вместо развивающих воображение, активных игр — одинокое многочасовое сидение перед

светящимся экраном. Дети перестают слушаться родителей, отказываются делать домашнюю работу, оторвать их от любимого гаджета практически невозможно. «Мама, можно я возьму планшет?» — первое, что говорят они по утрам. Залипнув в любимом гаджете, дети словно впадают в транс, не реагируют на вопросы. Такая поглощающая концентрация называется гиперфокусом. Это состояние может быть полезным, но если долго не получается «пробудить ребенка», это плохо. Пещерного человека такой гиперфокус мог привести прямиком в лапы саблезубого тигра. Смартфоны, планшеты и приставки мешают ребенку гулять, играть, учиться и общаться. Бесконечное зависание в Интернете ведет к серьезным психическим расстройствам, создает проблемы в более взрослом возрасте. Э. Килби считает, что в жизни наших детей появилась бомба замедленного действия — интернет-зависимость. Круглые сутки ее часовой механизм тикает в домах и школах, становясь причиной истерик, стрессов и семейных ссор. Треть современных детей мастерски пользуется планшетом, еще не научившись ходить или говорить. Они познают мир, находясь под сильнейшим воздействием сетевых технологий. Впервые перед нами стоит задача, с которой не поможет справиться опыт прошлых поколений, констатирует Э. Килби. Мы не знаем, что делать в подобной ситуации. Факты не утешительны: очевидна связь гаджетов и ожирения — дети забыли подвижные игры, падает зрение, сложные химические процессы в организме отрицательно влияют на развитие мозга, на мышцы или кости, могут нарушить пищеварение и остановить выработку жизненно важных гормонов. Э. Килби — реалистка, она понимает, что запрещать детям гаджеты в современном мире, живущем онлайн, невозможно, да и в цифровых технологиях множество достоинств. На примере реальных историй из своей клинической практики она показывает, как сделать виртуальный мир верным помощником в воспитании, выработать у ребенка здоровые привычки пользования цифровыми устройствами и вернуть его интерес к активной жизни. Автор дает практические советы по многим актуальным темам: когда давать ребенку первый гаджет, как научить ребенка правилам безопасности в Сети, стоит ли запрещать девайсы, как установить ограничения на пользования компьютером. Привить ребенку хорошие привычки общения в Сети нужно до того, как начнутся проблемы, объяснить правила «входа в свет», в Интернет: что выкладывать на свою страницу, как относиться к рекламе, какие опасности поджидают. Надо разъяснить, что человек в Интернете, с которым ты вступил в контакт в социальных сетях, совсем необязательно — друг, может быть и наоборот, приучить сразу сообщать, если ребенка что-то смущает, научить блокировать каких-то пользователей и жаловаться на них. И приводит еще множество «правил безопасности». Она предупреждает, что ограничивать онлайн-активность подростка, у которого вовсю бушуют гормоны, уже слишком поздно. Прививать правила пользования девайсами, предотвращая развитие зависимости, лучше всего в так называемый латентный период (возраст от четырех до одиннадцати лет). Это книга практических советов, среди них и «инструкция», как преодолеть зависимость детей от гаджетов. Если одержимость велика, лучше всего убрать все цифровые устройства минимум на две-три недели, чтобы дети привыкли к нормальной жизни, после чего можно снова постепенно давать им девайс, установив правила пользования и строго следуя им, эти правила она подробно расписывает. Очень важен личный пример, а ведь большинство родителей сами спят в обнимку со своим смартфоном. Родителей, как правило, пугают буйные истерики детей при попытках отнять девайс. Что делать? Уходить, не пытаться общаться или что-то обсуждать — это только ухудшит ситуацию. Если вы уже объяснили, почему забрали девайс или сокращаете время игры, нет причины повторять это снова и снова. Ребенок почти наверняка понял, почему вы так поступили, и протестует потому, что ему это не нравится. Никакие объяснения не помогут. Он злится. Игнорировать истерики можно до тех пор, пока это не станет

реальной опасностью. «Отвлеките ребенка, займите его чем-нибудь другим, направьте внимание в другое русло. Станет поведение лучше, похвалите его». Э. Килби говорит и о том, что делать, если запрет не решает проблему. А вообще люди, чья жизнь насыщена, богата на события, на признание, встречи, реже страдают зависимостью. И чем меньше связи ребенок чувствует с семьей и обществом, тем глубже он погружается в виртуальный мир, а это прямая дорога к одержимости.. Эта книга на самую обсуждаемую тему в области современного воспитания подойдет и тем родителям, которые уже столкнулись «вживую» с какими-то проблемами из-за чрезмерной привязанности ребенка к виртуальному миру, и тем, чьи детки только готовятся к знакомству с Сетью.

Екатерина Алтайская, Анна Булатникова, Анна Малоземова.
История Странноприимного дома. М.: РГ-Пресс, 2019. — 184 с.

Здание с полукруглой ротондой из колонн в центральной части известно (в не последнюю очередь благодаря телесериалам и новостям) по всей России — НИИ Склифосовского. Когда-то это учреждение именовалось по-другому: Странноприимный дом или Шереметевская больница, названная так в честь своего основателя — графа Н. Шереметева, построившего ее в память о горячо любимой жене (в прошлом крепостной актрисе) Прасковье Ивановне, умершей в 1803 году, спустя три недели после рождения сына Дмитрия. Граф желал, чтобы дом призрения стал памятником той, кто и сама принимала участие в его создании. Первый проект богадельни на сто «призреваемых» человек обоего пола и бесплатной больницы на пятьдесят коек для «страждущих от недугов» разработал крепостной архитектор Е. Назаров. После смерти жены граф призвал своего друга архитектора Кваренги перестроить здание Странноприимного дома. Достойное, но простое здание Назарова следовало превратить в великолепный дворец. В помощь Кваренги Шереметев пригласил других знаменитых мастеров: живописца Д. Скотти, скульпторов Г. Замараева, Фортини и Кампиони, резчика по дереву Эрке. Н. Шереметев не дождался открытия Странноприимного дома несколько месяцев, оно состоялось в день его рождения — 28 июня 1810 года. Но успел сделать многое: вместе с главным смотрителем Малиновским точно просчитал все необходимые расходы на содержание дома, каждого его работника и жителя, определил обязанности всех обитателей, оставил огромное состояние на содержание дома и добился его освобождения от налогов. Своим потомкам завещал «неусыпное попечение» о Странноприимном доме, «дабы оный навсегда существовал на твердом основании». Семья Шереметевых неукоснительно исполняла его волю. Странноприимный дом стал одним из первых благотворительных учреждений в России для беднейших слоев населения: здесь лечили, давали еду и кров, помогали сиротам. О строительстве, организации, деятельности Странноприимного дома подробно рассказано в книге. Ни одно из значимых событий русской истории не обойдет стороной этот дом. Знаменательно даже место, где он построен: Кучково поле, где, по преданию, и заложил новый город князь Юрий Долгорукий. В XIV веке именно здесь состоялось Сретение (встреча) привезенной из Владимира иконы Владимирской Божьей Матери, после чего от стен Москвы отступило многотысячное войско Тимура-Тамерлана. В честь этого события были воздвигнуты стены Сретенского монастыря. Все происходящее в доме и с ним рассматривается на широчайшем историческом и политическом фоне. Шереметевская больница не раз превращалась в госпиталь. Во время Отечественной войны 1812 года дом принял раненых под Бородином русских и французских солдат, здесь размещался госпи-

таль сначала русской, а потом французской армии. До вступления французов успели вывезти во Владимирскую губернию часть денег, архивы, церковное убранство. Исполнили решение совета Странноприимного дома: «имеющиеся под бельэтажем темные подвалы закласть кирпичом, положив там железный сундук с деньгами и что есть лучшего». Средства пригодились потом на восстановление дома, которому пришлось испытать «все неистовства, какие токмо изобрести могут одни просвещенные французы». А ведь главный хирург «Великой армии» Ж.-Д. Ларей позднее вспоминал: «Шереметевская больница выделялась своей архитектурой и внутренним расположением помещений, ее аптека была одной из самых красивых и богатых, которую я когда-либо знал. Коридоры, палаты, кровати и другие предметы содержались в большой чистоте». За короткий период было фактически уничтожено богатое убранство, не так давно привезенное из шереметевских дворцов. На воссоздание дома ушло несколько лет. И Странноприимный дом справился со страшной эпидемией холеры 1830 года. Хлеб и кров дали воинам, искалеченным в Крымской войне. Во время Русско-турецкой войны к театру военных действий был направлен сформированный в доме санитарный отряд, раненых солдат эвакуировали непосредственно в Шереметевскую больницу. Сюда же поступали раненые с фронтов Русско-японской и Первой мировой войн. Здесь лечили участников революции 1905 и 1917 годов. В июне 1917 года представители нового строя разграбили Странноприимный дом Шереметева. Богоугодное заведение стало обычной больницей, хотя ее по-прежнему звали Шереметевская. В 1919 году в Странноприимном доме была организована Московская городская станция скорой медицинской помощи, а с 1923-го здесь разместился один из корпусов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, хотя, возможно, сам Склифосовский Шереметевскую больницу даже никогда и не посещал. История Странноприимного дома в новой ипостаси — это и всевозможные реорганизации, и внедрение новых методов лечения, и огромная работа в годы Великой Отечественной войны, когда не только лечили раненых в самой больнице, но и выезжали на фронт, высылали методички по новым методам лечения ранений. Современный облик больница примет в конце 1971 года: был построен многоэтажный клинично-хирургический корпус. В советское время больница знала взлеты и падения. В настоящее время величественное здание, построенное в начале XIX века, отреставрировано, заблестело золотом его исконное название — Странноприимный дом. История — это и люди: главные смотрители, попечители, руководители советского времени и всегда — врачи. Их биографии, характеры, заслуги. Среди них и сами Шереметевы, и первый главный смотритель А. Малиновский, и главный доктор дома в 1858—1873 годах А. Тарасенков. И, конечно, С. Юдин (1891—1954) — крупный советский ученый, главный хирург НИИСП имени Н. Склифосовского, которому принадлежит инициатива восстановить Странноприимный дом и вернуть ему былой блеск. В заключительной части рассказано о современном состоянии института, об отделениях, которые в нем действуют. Книга содержит редкие фотографии и богатый фактографический материал.

Сергей Доморощенин. Великий счастливцев: биография Федора Абрамова: к столетию со дня рождения писателя. Архангельск: КИРА, 2019. — 478 с.

При обилии изданий, посвященных Федору Абрамову (1920—1983), по словам автора, столь полная биография одного из наиболее известных представителей «деревенской прозы», — «первая в своем роде». Архангельский журналист Сергей Доморощенин собирал материалы о жизни и творчестве Абрамова 35 лет, беседовал с людьми,

близко знавшими писателя. В работе над книгой принимала участие Л. Крутикова-Абрамова, соратник писателя на протяжении 34 лет. В книге использованы редкие архивные документы, воспоминания, цитаты из состоявшихся и несостоявшихся выступлений писателя, фрагменты прижизненной критики. Рассмотрены все этапы жизненного пути писателя. Автор стирает «белые пятна» биографии, полемизирует с известными авторами, развенчивает необоснованные суждения. Так, он опровергает, что детство Абрамова прошло в страшной нужде: рано овдовевшая мать, староверка, сумела создать крепкое хозяйство, дать детям образование. Автор восстанавливает обстоятельства тяжелого ранения, полученного Абрамовым в боях под Ленинградом. Студент третьего курса филфака ЛГУ Абрамов ушел сначала на оборонные работы, потом — в ополченцы и солдаты. «Неловкой» страницей в его жизни писателя считается его служба в особом отделе НКВД по Архангельской области, преобразованном со временем в Смерш. В апреле 1942 года будущий писатель, проведший блокадную зиму 1941–1942 годов в ленинградском госпитале, был эвакуирован по льду Ладожского озера, получил по ранению отпуск, с июля 1942 года продолжил службу в Архангельском военном округе. Автор считает, что вокруг Смерша существует слишком много нелепости, правдивой и неправдивой информации. В регионе, через который шли северные конвои и помощь союзникам, куда проникали сотни немецких агентов-парашютистов, охрана была необходима. Абрамов успешно вел радиоигры с разведывательно-диверсионными группами противника, боролся с антисоветской пропагандой. Сам он считал: «...мне стыдиться нечего, хотя в то время было другое восприятие происходящего». Еще одной «неловкой» страницей является участие Абрамова в 1949 году, в бытность аспирантом ЛГУ, в кампании против профессоров-«космополитов», в которой писатель, однако, не переусердствовал. Автор дает подробный анализ поступков Ф. Абрамова, выбора им решения, которого требовала ситуация. Так, в послевоенные годы Абрамов считался неблагонадежным: его жена Крутикова была на оккупированной территории в Белоруссии, что не позволило ему поступить на работу в обком КПСС (чему он был и рад). А в 1969 году, не любя Солженицына, он написал письмо в его защиту, решив, «что никакими соображениями и доводами нельзя оправдать рабское молчание. И мой голос в защиту Солженицына — это прежде всего голос в защиту себя. Кто ты — тварь дрожащая или человек?» С. Доморощенин подробно освещает и сложные отношения писателя с газетой «Правда Севера», испытывавшей давление со стороны властей, а порой и грубое вмешательство в ее информационную политику, но отнюдь не игнорировавшей Абрамова. Подробно пишет о том, какие трудности «несоветский» писатель Абрамов, «очернитель» социализма, испытывал с публикацией своих произведений. Так, его первый роман, который он писал шесть лет, «Братья и сестры», в течение двух лет не принимали к публикации, отказали журналы «Октябрь» и «Новый мир», лишь в 1958 году он был опубликован в «Неве». А в 1963 году в журнале «Нева» вышла «идейно порочная» повесть Абрамова «Вокруг да около», вызвавшая постановление Ленинградского обкома КПСС об искажении колхозной жизни, и редактора журнала сняли с работы. После положительных отзывов о повести последовали разгромные статьи, Ф. Абрамова несколько лет нигде не печатали. Не раз писатель подвергался опале, замалчиванию критикой или разгрому, вносился в проскрипционные списки. Острую реакцию вызвало опубликованное в 1979 году в газете «Пинежская правда» и адресованное к землякам открытое письмо Абрамова «Чем живем — кормимся?». В нем писатель говорил о равнодушии деревенского люда к работе и среде обитания, пассивность и равнодушие назвал национальной бедой. И все-таки, указывает С. Доморощенин, не все так однозначно. Несмотря на все сложности, голос писателя был слышен, в его адрес звучала и конструктивная критика, времена менялись, и в 1975 году

писатель получил звание лауреата Государственной премии СССР. Прослеживая эволюцию писателя, С. Доморошенов показывает, как реальная жизнь, собственный опыт и впечатления писателя отражались в его произведениях, состоявшихся и замышлявшихся. Быт деревни, ее проблемы и беды Абрамов знал из практики. С. Доморошенов восстанавливает реальные судьбы и прообразов героев произведений Абрамова, и жителей Пинежья — его родных, односельчан, знакомых. Подробно пишет и о последнем, незавершенном романе Абрамова «Чистая книга», посвященном драматическим событиям в родных местах писателя во времена Гражданской войны. Детально рассмотрены публицистические работы писателя, проникнутые заботой о крестьянах. Истинный государственный деятель, не покушавшийся на строй и систему, Абрамов выступал как защитник народа в литературе: «Любить народ — значит видеть с полной ясностью и достоинства его, и недостатки, и великое его, и малое, и взлеты его, и падения. Писать для народа — значит помочь понять ему свои силы и слабости. Важная задача искусства — просвещение. Высшая цель его — правда и человечность, так сказать, увеличение добра на Земле. И красоты». Он верил во влияние литературы на жизнь. И не без влияния писателей-деревенщиков в 1960-е годы были приняты постановление ЦК КПСС об отмене трудодня и замене его ежемесячными денежными выплатами, закон СССР «О пенсиях и пособиях членам колхозов», паспортизация сельского населения СССР. Отреагировали и жители родной Верколы: в порядок были приведены дороги, дома и поля, сегодня Веркола, где похоронен писатель, — важный культурный центр Архангельской области. Абрамов работал во времена, когда спорили о литературе, о стоящих перед ней задачах, о положительных героях. Ф. Абрамов выступал против приглаживания действительности и теории бесконфликтности. «Плохая книга отличается от хорошей тем, что хорошая книга — эта та, где ставятся вопросы времени. И эти вопросы решены художественно». Его жизнь была постоянной борьбой за правду. Эта книга фактически является и хроникой литературной жизни бурных, тревожных времен: система взаимоотношений партийных органов и писательской организации, журналы, цензура, издательства и, конечно, люди, близкие и враждебные герою этой книги. Картина получилась масштабная. А «великим счастливецем» называл себя сам Федор Абрамов, счастливецем, потому что не погиб в Великую Отечественную войну и познал читательскую любовь.

Елена ЗИНОВЬЕВА

Редакция благодарит за предоставленные книги
Книжную Лавку Писателей
(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06,
www.lavkapisateley.spb.ru)

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ОБИТЕЛИ АФОНА

Часть 7

ХИЛАНДАР

Хиландар (Хилендарь), называемый балканскими славянами Сербской лаврой, возник в XII веке. Его основатели — сербские правители, св. Симеон (в миру великий жупан Стефан Немань) и его сын св. Савва (в миру княжич Ратько), принявшие постриг на Афоне. В течение веков Хиландар служил духовным и культурным центром сербского народа. Как и другие святогорские монастыри, он производит впечатление крепости, усиленное благодаря мощным стенам и башням, одну из которых построил, по преданию, сам св. Савва¹. После битвы на Косовом поле (1389 г.), закончившейся победой турок-мусульман и падением Сербского королевства, Хиландарский монастырь, потеряв большую часть своих владений, пришел в упадок.

В Хиландарской обители хранится множество русских икон (начиная с XVI в.) Больше всего икон хиландарские монахи получили во время частых посещений православной Руси, когда просили о помощи, особенно во время турецкого ига. В середине XVI века самым значительным жертвователем стал русский царь Иван Грозный, чья бабушка (по одной из версий) была сербского происхождения, из видной семьи Якшичей².

«В 1567 году царь Иоанн Грозный, по изволению супруги своей Анастасии, прислал в Хиландар шитую в 1566 году шелками катапетазму и триста рублей. — пишет о. Порфирий (Успенский), — да царевич Иоанн послал от себя панагию серебряную, вызолоченную, с жемчугами, а князь Юрий Васильевич 50 рублей, и столько же дано было священноиноку Сильвестру и старцам его от государя»³.

Как сообщал А. Н. Муравьев (1849 г.), «есть русские иконы в ризнице и драгоценная для нас утварь: ветхая завеса, уже не употребляемая, с изображенным на ней Господом и святыми русскими, которую пожертвовал царь Иоанн Васильевич Лавре славяно-сербской; ибо он ее принял под особое покровительство, как единоплеменную; на завесе доселе сохранились имена царя и супруги его Анастасии и царевича Иоанна, лета 1556»⁴.

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Талалай Михаил. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 153.

² Милеуснич Слободан. Хиландар. Суботица, 2008. С. 263–264.

³ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 891.

⁴ Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849–1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 230.

Особую ценность представляет русская завеса Хиландара, как вклад царицы Анастасии, первой супруги Ивана Грозного. Завеса сделана в 1556 году; уже в 1559 году Анастасия болела, а в 1560 году скончалась. На завесе читается надпись крупной вязью: «Божиею милостию и Пречистыя Владычицы наша Богородици помощию повелением благовернаго и христоролюбиваго царя государя и великаго князя Ивана Васильевича самодержца Великия Русия, Володимерскаго, Московскаго, Новоградскаго, Казанскаго, Смоленскаго, Югорскаго, Пермскаго, Вятцкаго, Болгарскаго и иных, зделана катапетасма сия в преименитом граде Москве в КВ-е лето государства его а в 0 лето царства его в светью гору в Хиландар монастырь сербский при его благоверной царице великой княгини Анастасии и при их сыне благородном царевиче Иване Ивановиче в лето 7064 месеца ноамбрия 20». Завеса шита по дымчатому бродату венецианских фабрик, затканному густо цветами, золотом, серебром, шелками: голубым, малиновым, красным и золотистым, последним сплошь все лики. Работа исполнена в царских мастерских, а *знаменили*, очевидно, первые иконописцы Двора⁵.

О Хиландарском подворье. В марте 1571 года Иоанн Грозный пожаловал Хиландару двор с хоромы в московском новом городе Китае, возле Устюжского двора. За это хиландарцы благодарили его благожелательным посланием⁶. «Лавра Хиландарская прибегла к защите царя Иоанна Васильевича, и царь, как великий благодетель единоплеменников, принял их под свою высокую руку, ибо уже не имели ниотколе помощи с падением Сербского государства, — пишет А. Н. Муравьев. — Он даровал им, в вечный поминок, подворье в Москве в 1576 (1571) году, на прокормление и вспоможение во всяких скорбях, по словам его грамоты. Замечательна ответная грамота Хиландарская, в которой, вспоминая все милости и даяния царские, иноки молят еще укрепить стены обители и испросить у султана Мурада позволение перенести из Сербии мощи второго ктитора краля Милутина в созданную им церковь, заключают же пламенными мольбами, дабы Бог, покоривший ему царства Казанское и Астраханское, ради его благодеяния к единоверным, покорил бы и весь язык агарянский (народ мусульманский) под ноги его»⁷.

В сентябре 1586 года царь Феодор Иоаннович своей грамотой подтвердил право Хиландара на владение оным двором⁸. В 1603 году, 8 февраля, царь Борис Годунов своей грамотой подтвердил право Хиландара приезжим двором в Москве, что правую сторону Богоявленского монастыря, в городе Китае. В мае 1623 года приехал в Москву хиландарский архимандрит Феодор и исходатайствовал своей обители утверждение царских грамот, данных Иоанном и Феодором на владение Хиландарским подворьем в Москве. В 30-й день августа того же года он представлялся патриарху Филарету Никитичу и поднес ему мощи св. мученика Стефана, а от него получил образ Вознесения Господня, обложенный серебром, 40 соболей, камку и 20 рублей. В сентябре 1653 года государь Алексей Михайлович своей грамотой пожаловал Хиландару «на проезд двор со всеми потребными хоромы в Китае городе, у Богоявленского монастыря» (то есть подтвердил право Хиландара на владение этим двором)⁹.

В марте 1684 года «Великий государь царь и великий князь Иоанн Алексиевич и Петр Алексиевич всея великия и малыя и белыя России самодержцы и многих государств и земель восточных и западных и северных отчичи и дедичи и наследники, государи и обладатели, жалованную грамоту отца нашего, великих государей блажен-

⁵ Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902. С. 246

⁶ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 891.

⁷ Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 249.

⁸ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 891.

⁹ Там же. С. 892.

ныя и вечныя памяти достойнаго, великаго государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всея великия и малыя и белыя России самодержца, слушав, пожаловали Афонския горы Введения Пресвятыя Богородицы Хиландарскаго монастыря архимандрита Гавриила с братиею, велели им вместо монастырскаго их подворья которое написано в жалованной грамоте отца нашего, — и живут в том месте великаго господина святейшаго Иоакима патриарха Московскаго и всея России певчие, дьяки и подьяки, — давать нашего великих государей жалованья в прибавку к милостынной прежней даче к семидесят рублям по тридцати рублей, всего и с прежнею милостынною дачею по сто рублей из нашей царской казны соболми тогда, когда они будут на Москве в приезд по нашей царской жалованной грамоте в указной год, и для того сей наш государской милостивый указ на жалованной грамоте (Алексия Михайловича, 1653 г.) подписать повелели. Думной дьяк Емельян Игнатъев сын Украинцев»¹⁰.

«Грамота царя Иоанна подтверждена была в свое время царями Феодором Иоанновичем, Борисом Годуновым и благословенным домом Романовых, начиная от патриарха Филарета, — пишет А. Н. Муравьев. — Царь Алексей Михайлович записал в помянник Лавры всех своих предков и присных, которые и доселе там поминаются. Но в малолетство царей Иоанна и Петра, при патриархе Иоакиме, отобрано было сие подворье, для патриарших певчих, и в замену положено отпускать по сто рублей милостыни»¹¹.

Помимо тех доходов, которые Хиландарская обитель получала со своего подворья в Москве, Россия оказывала помощь ее насельникам и напрямую.

В мае 1591 года в Россию прибыл Тырновский митрополит Дионисий с грамотой от восточных патриархов, в которой сообщалось, что на Константинопольском Соборе в 1590 году за русским патриархом были признаны все права Предстоятеля Автокефальной церкви. В составе посольства находились архимандрит Пантелеимонова монастыря Неофит, архимандрит Хиландарскаго монастыря Григорий, приехавшие в Россию за милостыней. 20 июня посольство принимал царь Феодор Иоаннович.

Уезжая из России, послы получили щедрую милостыню, архимандриту Пантелеимонова монастыря царь Феодор Иоаннович дал жалованную грамоту, в которой подтвердил право старцев этого монастыря на беспошлинный проезд в Москву за милостыней. 4 февраля 1592 года была отправлена царская грамота к Проту Св. горы и средства на строительство келий и церкви Пантелеимонова монастыря. Царь пожаловал «рухлядью да ризы и стихарь» на 500 рублей с обещанием впоследствии при успешном строительстве прислать «больше того». Царь также пожертвовал «большие ризы» в Хиландарский монастырь. В декабре 1593 года Феодор Иоаннович послал на Афон дьяка Кошурина с милостыней по случаю рождения царевны Феодосии. Царь Борис Годунов в 1603 году подтвердил право иноков Хиландарскаго монастыря на беспошлинный проезд в Россию за милостыней и право на владение подворьем в Москве¹².

В июне 1605 года в русскую столицу за милостыней приезжал хиландарский архимандрит Лонгин. Лонгин преподнес царю Борису Годунову часть мощей вмч. Феодора Стратилата¹³.

В 1625—1626 годах царь Михаил Федорович щедро одарил хиландарскаго архимандрита Лаврентия многими драгоценностями, среди которых упоминались и три иконы¹⁴.

В мае 1628 года приехали в Москву бить челом о милостыне, по двум жалованным грамотам, Афонской горы Хиландарскаго монастыря митрополит Мардарий и келарь

¹⁰ Там же.

¹¹ Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 250.

¹² Романенко Е. В., Турилов А. А. Русско-афонские связи в XI—XVII вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 152.

¹³ Там же.

¹⁴ Милеуснич Слободан. Хиландар. Суботица, 2008. С. 264.

Макарий; и по именному указу изготовлены были сему митрополиту церковные облачения ценою в 113 рублей. В 1658 году, 3 июня, государь Алексей Михайлович повелел «приезжати в Москву за милостынею в седьмой год трем или четырем старцам, да службе»¹⁵.

В августе 1629 года явился в город Путивль хиландарский архимандрит Филипп. Государь Михаил Федорович приказал выдать ему там царское *обычное* жалованье 12 рублей и отпустить его обратно, потому что хиландарцы недавно приезжали за милостыней¹⁶.

В 1684 году, 7 ноября, Иоанн и Петр Алексеевичи на обороте грамоты отца их Алексея Михайловича 1658 года о приезде хиландарцев в Москву за милостыней в седьмой год повелели надписать, и надписано: «Пожаловали архимандриту Гавриилу указом впредь быти по всему по тому, как в той отца их великих государей блаженныя и вечно достойныя памяти великаго государя его царскаго величества жалованной грамоте писано»¹⁷.

В начале XVIII столетия Хиландар оставался в совершенном запустении, о чем пишет Василий Григорович-Барский.

Монахов тамо бысть число мало, яко тридесят или четиредесят, прочии же, яко на двадесят человек, разийдошася по милостиням, ради помощи монастыря, иже тогда под великим долгом бяше. Древле же бяху тамо, якоже слышах, до двух сот монахов же и иеромонахов, но от времени, отнелиже сгоре обитель сия, около 1720 года, и разбегошася иноцы, аки серны, и запусте, умаления ради людей, и обдолжившиися, не может даже доселе свободитися, наипаче же ради небрежения их и несогласия между собою, ради сребролюбия неких безсовестных. Ибо между братиею их, инны суть зело добродетелны и нестяжательны, инны же средняго, мернаго и благоговеннаго жития.

Суть же неции под овчею кожею волцы и хищницы, на которых мне тогда прочии добрии иноцы жаловахуся, с многим соболезнованием глаголющи, яко не давно прошлых годов от таковых лестцов, мнимых быти верных, двух обще послаша от обители в Россию за прошением милотины, не в едино время, но в разное, и взяша тамо качество немало денег и прочих церковных дарований не точию Ея Императорскаго Величества, но и от князей и от архиереов. Обаче един от них еще не всю поправ совесть, глаголаху, едва третую часть даде в монастырь; другой же с болшою користию, ниже явися к тому в Святую Гору, но отъиде в страны Немецкии, и тамо, безсовестный, оста с имением и погибелию, и не возвратися в монастырь, якоже и ворон Ноев в корабль. Сия аз слышав, соболезновах им, и утвердих их благою надеждою на род христианский и упованием на милостиваго и всемогущаго Бога и на Божию Матерь, Ея же есть обитель¹⁸.

О бедствиях, постигших Хиландар, пишет и А. Н. Муравьев: «В 1722 году страшный пожар опустошил половину обители; сгорели келлии восточные, западные и южные, но сохранился собор, хотя многие сокровища церковные и хрисовулы погибли в ризнице монастырской. Лавра обновилась милостыней болгарской, и это дало решительный перевес народности болгаров против сербов; но не возобновилось ее прежнее величие, потому что усердие сербов к ней охладело, и она как бы перестала быть их народным святилищем»¹⁹ <...> Неустройство внутреннее в обители Хиландарской происходит

¹⁵ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 892.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Второе посещение святой Афонской горы Василия Григоровича-Барского, им самим описанное. М., 2004. С. 245.

¹⁹ Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849–1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 251.

от того, что она утратила в последнее время свою исключительную народность сербскую и сделалась сборищем разных племен, в которых сербы господствуют только по имени и старой памяти; большая часть болгаре, есть русские, греки и влахи»²⁰.

Указом Синода в 1742 году была введена единообразная дача милостыни афонским монастырям: Московская синодальная контора обязывалась выдавать Хиландарскому монастырю по 35 рублей в год. Однако в XVIII веке из-за русско-турецких войн эти суммы поступали нерегулярно, но в XIX веке деньги монастырям выплачивались аккуратно, в том числе за прошедшие годы. Так, Хиландарскому монастырю за 24 года было выплачено 720 рублей²¹.

Собор посвящен Введению во Храм Богородицы. В Хиландаре внутри алтаря, на оборотной стороне иконостасной преграды, помещены *праздники* — иконы, привезенные из России — 32 x 28 см, обложенные басмой. На одной из икон представлено: *Аз есмь лоза* — в разводах Деисуса с апостолами, русского письма, а на обороте иконы, на доске написано чернилами по-гречески, что икона вкладывается в монастырь Богородицы Хиландарской из Москвы смиренным архиепископом Арсением 7103 года июля 20-го²². Императрица Екатерина II пожертвовала в Хиландар большую причащательную чашу. Ее держит литой ангел на голове своей, а сам стоит на большом поддоне ее. Вместе с этой чашей прислан был и большой дискос со звездицей и лжицей. На звездице чернью изображены составители литургии: Василий Великий, Иоанн Златоустый и другие²³.

Среди святынь храма — чудотворная Богородичная икона «Троеручица» (Богородица считается игуменьей монастыря) и серебряная рака св. Симеона Мироточивого. В 1803 году первоначальные фрески в хиландарском соборном храме были переписаны. Здесь в числе прочих святых были представлены русская княгиня Ольга и ее внук — князь Владимир²⁴.

Павел Свинын (1819 г.): «Монастырь сей богат серебряной утварью, привезенной из России, ибо прежде часто из монастыря сего езжали архимандриты за милостыней; сверх того, они имели и подворье в Москве, пожалованное им царем Иоанном Васильевичем, и до сей поры держат они довольно значущие капиталы в Московском Воспитательном Доме, с которых получают ежегодно проценты²⁵. <...> Служба в монастыре сем отправляется по славянским книгам, и большая часть монахов — русские»²⁶.

Д. В. Дашков (1820 г.): «Монастыри **Хиландарский** и Зограф прилегают к северной границе Афонской. Первый основан царем сербским Стефаном, постригшимся там в монахи и причтенным к лику святых; величиной уступает только Лавре и Ватопеду, и довольно богат. Соборная церковь Введения светла и великолепа. Почти вся братия из сербов; есть, однако, между ними несколько русских и болгар; служба отправляется на языке славянском. Книг и рукописей нет, кроме требников; но много хрисовул от царей и воевод сербских. Из российских грамот примечательны две: Иоанна Васильевича на пожалованное сему монастырю, в *вечный поминок*, подворье в *Новом Китае-городе* 1571 года (подтверждена Борисом Годуновым) и Алексея Михайловича, 1658, о пропуске в Москву единожды в семь лет приезжающих за милостыней

²⁰ Там же. С. 225.

²¹ Кочетов Д. Б. Русско-афонские связи в XVIII—XIX вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 159.

²² Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902. С. 180—182.

²³ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 892—893.

²⁴ Милеуснич Слободан. Хиландар. Суботица, 2008. С. 253—254.

²⁵ Воспоминания на флоте Павла Свинына. Ч. 2. СПб., 1819. С. 79.

²⁶ Там же. С. 81.

старцев. Такое же право даровано зографским монахам грамотой Михаила Феодоровича, 1641, с убавлением положенного срока до пяти лет»²⁷.

Владимир Давыдов (1835 г.): «Церковь Хиландарская великолепна, и едва ли не самая богатая, из всех виденных нами на Святой Горе. Кроме собора множество малых, или второстепенных храмов, находится в разных этажах монастыря. В ризнице хранится множество даров царей русских и грамот, свидетельствующих милости их к Хиландарю. Он и теперь не лишен пособий из России, ибо получает годовую плату из Москвы, взамен дома, принадлежавшего прежде ему, в силу грамоты царя Иоанна Васильевича, а ныне приписанного к ведомству Московского воспитательного дома. Болгары и сербы занимают обитель сию, но в числе братии находится в нынешнее время **5 русских**. Служба происходит на славянском языке. Итак, вот третий монастырь и сей последний в разряде первостепенных на Афонской горе, в котором понимают церковный язык наш и говорят им, с небольшими изменениями»²⁸.

Из записок иеросхимонаха Сергия (Веснина) (Святогорца)

(1844 г.) Справедливость того, что Царица Небесная изволила принять на Себя правление и начальство над одним из здешних монастырей (Хиландарем), в котором называют Ее *Игуменьей*, подтверждается рассказом, который неоднократно удавалось мне слышать здесь от афонских русаков. Назад тому годов пять, не более, одному иноку-греку, по совершении обычного правила, в тонком сне, было странное откровение: в необозримом пространстве воздушных высот, по светлым облакам, целые полки, бесчисленные лики святых (афонских) он видел грядущими к славе райской жизни. В самых возвышенных рядах были русские, там болгары, сербы и прочие славянские племена, а позади, или ниже всех — греки.

Впереди ликов, держа в руке царственный скипетр, и имея на себе темное одеяние, шествовала в невыразимом сиянии Божественной славы Богоматерь. При виде святых, а, тем более, Небесной Царицы, греческий старец был вне себя от радости; но, обратив внимание на преимущество русских перед всеми, и на низшую степень славы греков, он удивился и не понимал, отчего это так. «Место это — Св. Гора, — подумал он, — наше наследственное, а пришельцы»... Не успел он задуматься далее, как вдруг донесся до него выспренный голос: справедливо, что это место ваша собственность; но поэтому-то самому и теряется цена ваших подвигов; поелику вы дома, вы в спокойствии, а русские, между тем, как пришельцы, терпят более и неприятностей разного рода здесь, между вами, что и возвышает их особенно в очах небесной правды.

Истину этого рассказа русские свидетельствуют даже тем, что этот грек, в числе святых, более прочих, был занят видением скитского диакона из русских, который умер очень недавно, и что грек нарочно приходил в скит и расспрашивал: что особенного в жизни своей имел виденный им в славе русский диакон, имя которого знают и помнят наши земляки на Афоне²⁹.

(1847 г.) Хиландар славен потому, что в нем нет игумена, место которого занимает Сама Богоматерь Своей Божественной иконой, так называемой *Троеручицей* <...> Слово *Хиландар* в русском переводе имеет двойное значение: или *тысячная мгла* или *уста львовы*. Первое значение всего ближе к монастырю, потому что многократных набегах варваров на Св. Гору, при разграблении всех ее обителей, Хиландар всегда оставался под особенным покровительством Божией Матери. При появлении под стенами его варваров, сумрак расстилался по окрестности; глупо-

²⁷ Дашков Д. В. Афонская Гора. Отрывок из путешествия по Греции в 1820 году // Северные цветы, 1825. С. 158–159.

²⁸ Давыдов Владимир. Путевые записки, веденные во время пребывания на Ионических островах, в Греции, Малой Азии и Турции в 1835 году. Ч. II. СПб., 1840. С. 199–200.

²⁹ Письма Святогорца о святой Горе Афонской. Изд. 8-е. М., 1895. С. 203–204.

кая, непроницаемая мгла ложилась кругом монастыря, и случалось так, что варвары, в расстройстве духа, как сумасшедшие бросались друг на друга, и впоследствии тысячи бездыханных и израненных их трупов находили в окрестностях и под стенами монастыря. Особенная защита Божией Матери проявлялась здесь и в прошедшую турецкую войну (1828 г.): турки долго держали в осаде Хиландар, и однакоже не могли проникнуть внутрь стен его.

<...> Нас с особенным радушием приняли здесь **русские иноки**; их только трое. Братство исключительно состоит из сербов, потому что монастырь основан Стефаном, царем сербским³⁰.

Инок Парфений (Агеев) (1847 г.): «Здесь находится и гроб св. Симеона Мироточивого, царя Сербского; а мироточивые его мощи отнесены сыном его, св. Саввой, в отечество его, в Сербию. А из гроба его выросла виноградная лоза, которая приносит плод изобильный. Ныне братья общежития не содержат; правило в церкви читают на славянском языке, **по русским книгам**, а поют греческим напевом»³¹.

В 1858 или 1859 году Хиландарскому монастырю дано было Высочайшее разрешение собирать милостыню в течение одного года. В конце его хиландарцы послали в наш Святейший Синод свое прошение следующего содержания:

В Святейший Правительствующий Синод Всероссийский братства священного монастыря Хиландарского на Святой Горе Афонской покорнейшее прошение³²

Всемиловитевейшее внимание Благочестивейшего, Самодержавнейшего, Великого Государя Императора Александра Николаевича всея России ко многим и великим нуждам нашего священного монастыря, благословение Вашего Святейшества и милосердие православного народа российского уже окрылили нашу надежду на поддержание и благоустройство нашей бедной обители. Ибо наши собратия (архимандрит Софроний и др.), пребывающие в богоспасаемой России, уже собирают милостыню доброхотных дателей, тепле молящихся о благостоянии всех святых божиих церквей и по вере, любви и надежде желающих всюду совершать поминовение душ их родителей, сродников и знаемых. Для сбора такой милостыни назначен один год, и этот срок истекает.

В столь короткое время в пространнейшей Державе Российской слух о наших нуждах еще не достиг до всех доброхотных дателей, и если достиг, то не всякий из них изготовился принести или послать свое добровольное подаяние на поминовение ближних своих в нашей обители и на поддержание ее. Посему мы, проникнутые чувствами благодарения и упования, припадаем к стопам Вашего Святейшества и смиренно просим, и молим Ваше преосвященнейшее и боголюбезнейшее архипастырство продолжить срок пребывания вышепоименованных собратий наших в богоспасаемой России для сбора милостыни настолько времени, насколько заблагорассудит Ваше Святейшество, по примеру прочих афонских обителей, кои сподоблялись подобной милости.

Вашего Святейшества низжайшие послушники со всею о Христе братиею.

Просимая отсрочка была дана на год³³.

Русский Святогорец (1867 г.): «Тотчас по приезде гости направились в Хиландарский залив. Здесь, пока шлюпка шла от парохода к пристани, имели довольно времени полюбоваться видом живописных развалин укрепленного старого Хиландарского

³⁰ Там же. С. 394–395.

³¹ Парфений (Агеев), инок. Описание святой горы Афонской. Белый город, 2016. С. 34.

³² Оно было сочинено мною в бытность мою в Хиландаре (прим. о. Порфирия (Успенского)).

³³ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 893.

монастырька с церковью Вознесения Господня. У пристани, усыпанной лавровым листом, встретили Его Высочество Великого Князя Алексея Александровича несколько старцев и ждали монастырские мулы; отсюда по веселой равнине, разительно напоминающей русские сельские виды, направились к Хиландарю. У св. врат ожидал высокого гостя старец игумен (Герасим) с братией. При пении „Достойно есть“, Великий Князь вошел в святолепный соборный храм хиландарский, где доселе еще все дышит столь любезной русскому сердцу славянской стариной. Выслушав молитвословие, Великий Князь поклонился гробу пр. Симеона, облобызал богато украшенный крест царя Стефана Душана, рассматривал игуменский жезл, данный пр. Савве императором Алексеем Комниным, и чудодействующую доселе виноградную лозу, прозябшую из гроба пр. Симеона. В монастырском архондарике Его Высочество изволил кушать чай; здесь же рассматривал златописанное Евангелие (от св. Иоанна Богослова) и жалованные грамоты Хиландарю от русских государей, которые, по падении сербского царства, приняли эту обитель под свое особое покровительство»³⁴.

Арсений (Стадницкий) (1883 г.): «Хиландар основан в XII в. Стефаном, царем сербским, а в монашестве св. Саввой архиепископом сербским. Поэтому этот монастырь считается сербским, хотя теперь здесь очень мало сербов, а все болгары. Дело объясняется тем, что с 1770 г. по 1820 г. в Сербии продолжалось народное восстание против турок. В это-то время никто из сербов не шел на Афон. Вместо них нахлынули болгары. Монастырь этот весьма часто подвергался пожарам, так что здесь почти все заново устроено, за исключением соборного храма и братской трапезы»³⁵. После ужина мы познакомились с интересной личностью, о. Евфимием, который своими разглагольствованиями на время прогнал сон. О. Евфимий — архимандрит и один из главных эпитропов этого монастыря. Он отрекомендовался нам окончившим курс Киевской Духовной Академии. По рассказам его, он играл очень большую роль в Болгарии в последнюю русско-турецкую войну, и, кажется, много преувеличивал свое значение»³⁶.

К хиландарской иконе «Троеручицы» относятся многочисленные свидетельства о ее чудотворной и животворящей силе. В 1905 году, когда Россия воевала с Японией, русские просили хиландарцев послать икону Богородицы Троеручицы на помощь. Иноки откликнулись на помощь, и отправили в Россию освященную копию иконы»³⁷.

Из записок С. Германова (1912 г.)

Мы увидели высокие стены Хиландарского монастыря, окруженного яркой живой зеленью рощ и кипарисов. Массивный пирг и колокольня, оригинальной архитектуры, высоко поднимавшие свои верхи из общей массы каменных строений, придавали своеобразную красоту обители <...> Мы поспешили в собор, считающийся одним из первых по красоте и богатству на всем Афоне»³⁸ <...> Когда мы вошли в собор, кончалась вечерня, совершаемая по какому-то случаю, позже обыкновенного. Чтение на церковно-славянском языке способно было создать иллюзию, как будто мы присутствовали за богослужением в родном русском храме, но пение тропарей по греческому унисонному распеву своими ноющими мелодиями возвращало нас к действительности <...>

Алтарь нам показался необширным; верхняя часть стен и своды его были открыты потемневшей живописью. сторонам расставлены в симметричном порядке массивные шкафы для хранения святынь и священных сосудов. На горнем месте —

³⁴ Русский Святогорец. Двухдневное пребывание на Святой Горе Афонской Его Императорского Высочества Великого Князя Алексея Александровича. Изд. 2-е. СПб., 1868. С. 24.

³⁵ Арсений (Стадницкий), митрополит. Дневник паломника на Афон. М., 2014. С. 227.

³⁶ Там же. С. 219.

³⁷ Милеуснич Слободан. Хиландар. Суботица, 2008. С. 267.

³⁸ Германов С. На Афон и Святую Землю. Ч. 1. На Афон. М., 1912. С. 422.

большой, старинного письма образ Спасителя в золоченой ризе; внизу образа помещался особенной формы ларец, приспособленный для хранения Евангелия, замечательного по своим выдающимся размерам и весу. Евангелие печатано на пергаменте крупным церковно-славянским уставом, снабжено тяжелыми золочеными (или золотыми, как утверждает эклессиарх) досками, украшенными изображениями Спасителя и евангелистов, массивной чеканной работы. При высоте более аршина и ширине $\frac{3}{4}$ аршина священная книга имеет более двух пудов веса. Эта достопримечательность — щедрый дар императрицы Елизаветы Петровны. Не менее замечательны были показанные нам священные сосуды, — приношение греческих и сербских царей; среди них большая чаша из чистого золота с литыми изображениями херувимов, пожертвованная русской императрицей Екатериной II³⁹ <...>

В трапезной нас ожидал неожиданный сюрприз — небольшой русской самовар, стоявший среди накрытого стола и громко шумевший. Общее удовольствие чаепития по русскому обычаю, было всеобщее.

Управление Хиландарским монастырем, братия которого состоит из ста иноков, сербов и болгар, принадлежит собору старцев, почти без участия выборного проигумена, архимандрита Мельхиседека, русского по происхождению, с которым мы имели случай познакомиться во время вечерней трапезы, приготовленной в настоятельских кельях. Он произвел на нас прекрасное впечатление своей апостольской наружностью и ласковым обращением, полным достоинства и искренности. Во всех его движениях и жестах, и в манере вести разговор чувствовался неуловимый оттенок интеллигентности и несознаваемого превосходства над присутствовавшими эпитропами и старцами обители.

В общих разговорах, касаясь различных вопросов общественной жизни в России и в южных славянских государствах, о. Мельхиседек не высказывался весь, но любил, чтобы его образную речь понимали с коротких слов. В вопросах, касающихся сущности православного мирозерцания, он был осторожен, считая несовместимым со своим званием повторять непроверенные легенды и сказания. Но в то же время он передал несколько фактов с искренней увлекательностью о тех подвижниках Хиландарской обители, свидетелем жизни которых он был в течение долгого времени. В общем это смешение светских привычек, свободных остроумных речей, в которых ярко светилась несомненная религиозность, совершенно сбивало всех его собеседников и рисовало его личность загадочною. (Мы сами могли только впоследствии убедиться в справедливости наблюдений. О. Мельхиседек действительно происходил из русской интеллигентной семьи, — он был мировым судьей в одном из южных городов России, но в скором времени оставил свет и удалился в пустынный славянский Хиландар и погрузился в самозерцание и изучение творений отцов Церкви⁴⁰. <...>

Здесь мы имели случай познакомиться еще с одним русским иноком, архимандритом Алексеем, прибывшим на Афон с целью приобретения св. мощей для устройства нового монастыря на Амуре. Редкая начитанность, находчивость и остроумные сравнения характеризовали речи о. Алексея. Взаимная беседа двух архимандритов была чрезвычайно интересна по форме и содержанию; она искрилась красноречием, образностью и богатством мышления, привлекая к себе всеобщее внимание и удивление. Как мы узнали после, о. архимандрит Мельхиседек был всецело погружен в занятия в монастырском книгохранилище и в собственной большой библиотеке, привезенной из России⁴¹.

Удивительна судьба Владима Черне, американце сербско-русского происхождения. Родом он был из известной семьи Черноевичей, потомок сербского патриарха Арсения III Черноевича. Предки его перебрались в Россию в середине XVIII века. Отец его

³⁹ Там же. С. 424.

⁴⁰ Там же. С. 430.

⁴¹ Там же.

был монархистом. Поэтому после 1917 года и покинул Россию, вместе с семьей уехав в Америку, когда Владиму было всего восемь лет. Зов предков у Владима оказался необычайно сильным, хотя он никогда не был в Сербии и не знал сербского языка. Впервые в Хиландарском монастыре он побывал в середине 1970-х годов и тогда же решил завершить свой жизненный путь хиландарским монахом. Большую часть своего имущества он завещал Хиландарской обители. Будучи тяжело больным, он был привезен из афинского аэропорта в Хиландар на вертолете. На следующий день, 1 марта 1981 года, он постригся в монахи; в честь своего знаменитого предка получил монашеское имя Арсения и через 12 дней скончался⁴².

Из записок Михаила Талалая (2003 г.)

Изможденный солнцепеком, я прошел сквозь святые врата обители, не заметив даже указатель к архондарнику — странноприимнице, куда полагается поначалу идти паломнику. Ангел-хранитель повел меня к трапезной, где два послушника накрывали на стол. «Русский? Из Петербурга? Как там у вас Валаам?» Я был вполне вознагражден теплой встречей. Послушники налили мне добрую чашу вина: «Вообще-то у нас угощают с дороги в архондарике, но русским можно везде». Архондаричный отец Василий, отведав в комнату, действительно не замедлил с угощением и доброй беседой. В ней прозвучала, правда, горькая нота: о. Василий скорбел о том, что российское правительство, по его мнению, порой изменяет вековой дружбе с сербами⁴³.

В толстенной книге посетителей монастыря оставило свои записи, кажется, пол-Сербии. Для сербов Хиландарь — великая национальная святыня, которую они титулуют Лаврой. Она связана с именами двух самых чтимых сербских святых — св. Саввы и св. Симеона. Святитель Савва (в миру княжич Растько), из царского рода Неманичей, отказавшись от престола, ушел на Афон и принял постриг в обители, называемой сейчас Старый Русик (на землях русского Пантелеимоновского монастыря. Домовую церковь Старого Руссика, где сейчас живет один-единственный пантелеимоновец, сербы недавно по-братски восстановили. Перейдя в Хиландарь, св. Савва вскоре принял своего отца, великого жупана Стефана Неманя, ставшего в иночестве Симеоном. Мироточивые мощи св. Симеона были впоследствии перенесены в Сербию, а св. Савва недавно удостоился сооружения в свою честь в Белграде величественного храма <...>

Обойдя храмы, я рассмотрел их убранство. Заинтересовавшись богослужебными книгами, обнаружил, что старые книги были в основном печати Киево-Печерской Лавры, а поновее — русского Джорданвилльского монастыря в штате Нью-Йорк. На богатых ризах там и сям стояли дарственные надписи на русском. На следующее утро я покинул гостеприимных братьев, в духовном и кровном смысле. У Святых врат монах-серб, прощаясь, сказал мне почти по-стольпински: «Нам нужна сильная Россия»⁴⁴.

...Пожар, вспыхнувший в ночь с 3-го на 4 марта 2004 года в южной части братского корпуса, охватил всю северную часть монастырского комплекса. Из 10 000 кв. метров общей полезной площади Хиландарской обители сгорело около 55 %. Из 42 икон и четырех иконостасов, находившихся в четырех придельных храмах, удалось спасти 14 икон и одни царские врата, в то время как все остальное было утрачено навсегда. Восстановительные работы продолжались 10 лет⁴⁵.

⁴² Милеуснич Слободан. Хиландар. Суботица, 2008. С. 268.

⁴³ Талалай Михаил. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 77–78.

⁴⁴ Там же. С. 79.

⁴⁵ Милеуснич Слободан. Хиландар. Суботица, 2008. С. 279.

Contents

Prose and Poetry

Yevgeny Stepanov. Poems • 3

Elena Kryukova. Jerusalem. *Novel* • 8

Konstantin Komarov. Poems • 115

Tatyana Okomenyuk. List of Persons Sentenced to Death. Neighbor. *Short stories* • 120

Andrey Dmitriev. Poems • 138

Memory of Victory

Shavkat Akhmedov. So Damned War Reached the Village of Kuchkak. Mahbuba the Scout. *Short stories* • 144

Yury Ivanov. My Postwar Village. *Short story* • 155

Journalistic Writings

Yevgeny Berkovich. Heisenberg's Tears, or Uncertainty of Uncertainty Principle. *About One Episode in the History of Quantum Mechanics* • 164

Criticism and Essays

To the 100th Anniversary of Fedor Abramov.

Oleg Trushin. „And Where is Guarantee that Nothing will Happen to Us?“ • 177

Sergey Domoroschenov. How Do We Need „Transient“ Literature! .. • 198

Petersburg Bookman

Territory of Memory. Vera Kharchenko. Memory of War: 75-Year-Old Family Narratives, Fragments of History, Fate. **Art of Reading.** Igor Shumeyko. Crocodiler (Dual Purpose Literature). **Book Island.** Elena Zinovieva's Publication • 223

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Monasteries of Mount Athos. *Part 7* • 245

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“»,
e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 23.01.2020. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Заказ № 735
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СТР
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28